

ISSN 0130-7673

НОВОБЫИ
МИИР

5

НОВОБЫИ МИИР

1982

5

1982



НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 5

Май, 1982 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ — Александр Коваль-Волков, Вадим Сидоров, Глеб Пагирев, Николай Петропавловский, Николай Арсеньев, Иван Киуру, Владимир Бут, Ник. Кутов, Виктор Боков, Александр Куницын, Татьяна Андропова	3
ФЕДОР АБРАМОВ — Рассказы	11
Б. НОСИК — Запах шпата, рассказ	34
БОРИС ВАСИЛЬЕВ — Вы чье, старичье? Рассказ	41
ВЛАДИМИР КАРПОВ — Полководец, документальная повесть	64
РОБЕРТ ПЕНН УОРРЕН — Потоп, роман. Продолжение. Перевела с английского Е. Гольшева	132
ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ	
НИКОЛАЙ ТАРАСОВ — Голос за кадром. Публикация Елены Тарасовой	193
ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ	
Э. ШЕЙНИС — Страницы жизни Колловтай. Окончание	195
В МИРЕ ИСКУССТВА	
ЕЛЕНА ДАНГУЛОВА — Содружество. Беседы с народным художником СССР Д. А. Шмаринным	224
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
Д. ТЕВЕКЕЛЯН — Сотри случайные черты	236

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

Стр.

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Литература и искусство

255

А. Кондратович. Каждый из нас все еще воюет...

В. Шитова. В прозе и драме.

Марк Лисянский. Поэзия в строю.

Политика и наука

265

В. Победоносцев. «Общего дела водители».

КОРОТКО О КНИГАХ:

Евгений Папернов.— **Равиль Файзуллин.** Короткие стихи. **Равиль Файзуллин.** Снег новогодья. Стихи. ◆

Петр Ткаченко.— **Владимир Малахов.** Жили мы на войне. Фронт-овые рассказы. ◆

Андрей Василевский.— **Виктор Горн.** Характеры **Василия Шукшина.** **Василий Макарович Шукшин (1929—1974).** Библиографический указатель. ◆

П. Черкасов.— **В. М. Далин.** Историки Франции XIX—XX веков

268

ПАМЯТИ МАРИЭТТЫ ШАГИНЯН

271

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

272

ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ



АЛЕКСАНДР КОВАЛЬ-ВОЛКОВ

Держава

1

Моя солдатская земля
От Командоров и — до Бреста...
Все равнины и поля
Политы кровью. Повсеместно.
И время, горе отдаля,
Светлеет славой безвозмездной,
Отечество беречь веля.
Спасенный мир в борьбе
совместной.
Но мир теперь толкает в бездну
Нейтронно-ядерная спесь.
В игре опасной и бесчестной
Не худо было б ей учесть
Конец истории известной.
И на нее управа есть.

2

И на нее управа есть:
У права жизни есть управа.
Жизнь жизнью выстрадала
право
На жизнь, на совесть и на честь.
Хоть жизнь сама добра по праву,
Доверчиво обнажена —
Всесветно бодрствует она,
На всех высотах и заставах.
И я уверен наперед:
Неоценим рассудок здравый.
Бесспорно, жизнь свое возьмет
И победит врагов лукавых.
Залог тому — моя держава,
Надежда жизни и оплот.

Двойная радуга

Как долго радуга стоит,
Двойная радуга — жар-птица:
Росой обсыпана, пшеница
Как будто жемчугом горит!
Какая радуга стоит! —
Не мешкая и не робея,
Поторопись пройти под нею.
И день твой счастье озарит.
Смотри, прошел под нею бор
И Дон, в волне смиряя пламя,
И ласточки, сверкнув крылами,
Под ней разрежали простор.

Какая радуга стоит! —
Напоенный озоном воздух,
Качающий ночные звезды,
И тот под ней пройти спешит.
В такой-то миг да я и сам,
Перед мечтой благоговей,
Лечу за радугой моею,
Чтоб длился счет весенним дням.
И не пройти под ней нельзя.
Пройдя, попробуй оглянуться —
И ты увидишь: провернётся
Спешит под ней планета вся!..

ВАДИМ СИДОРОВ

9 Мая

Опять весна пахнёт полынной далью,
Той давней горькой памятью войны.
В лучах косых блеснет металл медалей,
Сравнимый только с блеском седины.

* * *

Мы ночевали в хате у рыбачки,
Она всю ночь стирала нам белье
И в том уделе добровольной прачки,

Наверно, горе прятала свое.
 И было что-то в сухонькой фигуре
 От ярости безудержно-хмельной.
 И от доски, как от клавиатуры,
 Победный марш вздымался над страной.
 Старее прачка, руки сбив до ссадин,
 Портянкам нашим потерявши счет.
 Она возьмет рубах полсотни на день —
 Большое наступление идет.
 Ее душе не скоро отогреться...
 Но на прощанье вымолвила вдруг:
 — Сынки, на всех мне не хватает сердца.
 Дай бог чтобы хватило крепких рук!

ГЛЕБ ПАГИРЕВ

В погожий день

Здесь голубика, мох да вереск —
 убранство северной земли.
 Деньку погожему доверясь,
 гудят над вереском шмели.
 Оставишь все, закроешь книгу —
 и в лес, туда, за поворот.
 Идешь и спелую бруснику
 бросаешь пригоршнями в рот.
 Полдня проходишь в одиночку
 и, вовсе выбившись из сил,
 ничком повалишься на кочку:
 немалый край околесил.

И вдруг в пяти шагах от дома
 среди привычной тишины
 тебе в лицо пахнет знакомо
 забытым запахом войны.
 А что, откуда — непонятно.
 Пустынно, тихо на тропе,
 и так же солнечные пятна
 лежат на листьях, на траве.
 Вода блестит в канавке ржаво,
 пчела снует, не устает.
 А только сердце что-то сжало
 и сделать вдоха не дает...

Ничейная земля

Опять я в постели врастяжку лежу,
 последние силы ухлопав,
 как тот самолет, что упал на межу
 за линией наших окопов.
 Опять я ползу по ничейной земле,
 лицо обдирая о кочки,
 а тело мозжит, и не выбраться мне
 из брэнной своей оболочки.
 Потом поднимаюсь; пригнувшись, бреду;
 лежу под разрывами в яме.
 И это теперь не во сне, не в бреду,
 а в полном сознании, въяве.
 Лежу, рукавом вытираю слезу,
 дрожу — гимнастерка сырая.
 И снова к своим по-пластунски ползу,
 к окопам переднего края.

НИКОЛАЙ ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ

* * *

О, как мне памятны березки
 У долгих волжских переправ!
 Они, как девочки-подростки,
 Глядят, на цыпочки привстав.

Глядят испуганно и зябко
 Как месим снег, прильнув к

Уже не девочки — солдатки,
 И мы не мальчики уже.

Идем навстречу первым залпам,
 В багрово-черный оком,
 В одну лишь сторону —

барже... И день, и ночь, и год идем. на запад...

* * *

А родина — не во поле березы,
 Не тощая картошка в чугулке,
 Не первые признания и слезы,
 Не домик детства на Миасс-реке.

Не благоприобретенный средь буден
 Тот клин земли, где благодать и тишь,
 А пядь земли, что заслонила ты грудью
 И, если надо, снова заслонишь!

И там, за ней, — и во поле березы,
 И тощая картошка в чугулке,
 И первые признания, и слезы,
 И домик детства на Миасс-реке.

НИКОЛАЙ АРСЕНЬЕВ

Кант. Кёнигсберг

Еще не сгорела ракета,
 Орудия начали бить...
 Так что же, философ, а это
 Сумеешь ли ты объяснить?
 Ты веровал в звездное небо,
 В его нерушимую твердь.

Но как быть с краюхою хлеба,
 Которая жизнь или смерть?
 Зачем ты твердил неизменно
 Про разум? Тебя опроверг
 Филистерский, чинный,
 надменный,
 Поверженный в прах Кёнигсберг.

* * *

Полжизни ушло без остатка,
 Распалось, рассыпалось в прах.
 Стихов небольшая тетрадка
 Осталась одна на руках.
 И что, коль не эти бы строки,
 Теперь уж напомнить смогло,

Все то, что в минувшие сроки
 Так сильно томило и жгло?
 Что мелким казалось, что
 важным,
 Что счастье сулило и страх —
 Все стало листочком бумажным,
 Уже не дрожащим в руках.

Осень

Невеселый снежок упадает в траву,
 Не спеша упадает, не вдруг,
 И октябрьский воздух не тает во рту
 И томит, как невнятный недуг.
 Пробегает ознобом, по телу спеша,
 Заставляя невольно дрожать,
 И, подвластна ему, забывает душа
 Предстоящей зимы благодать.
 Невесомое сердце трепещет в груди,
 Как за пазуху взятый птенец,
 И в уме замечаешь, что, как ни крути,
 Есть всему неизбежный конец.
 И возвышенный ворон парит в стороне
 Бледной тенью, утратившей вес,
 Словно чья-то душа, что достигла вполне
 Невысоких обширных небес.

Молодость ручьев

Который год подряд иду сюда в апреле
 Вдоль почерневших лип, проржавевших оград,

И я и этот сад, мы оба постарели,
 А молодость ручьев не ведает преград.
 Как помнится легко все то, что здесь случилось...
 Когда? Давным-давно. А снова видишь въявь.
 Зачем же горевать, что жизнь не получилась, —
 Перечеркни ее, перепиши, исправь.
 Но что такое жизнь? Ответишь ли на это...
 Все то, что впереди, что ожидает нас,
 Иль прошлое в груди, иль эта капля света —
 Случайное тепло, пригревшее на час?

ИВАН КИУРУ

Гончар

Кто помогал тебе, гончар,
 когда на вазе
 Ты кистью набросал вакханок быстрый хор?
 Цимбалы их называют,
 плачут флейты,
 и не молкнут цитры до сих пор:
 Тут пение и пляс
 переплелись в божественном экстазе...
 Никто теперь, гончар, уже никто — ни в коем разе! —
 Твоих флейтисток, плясунов твоих не повторит.
 Рисунок их летуч и звучен, и подвижен колорит...
 Единство места, времени и цели
 Тут съехались с благословения харит
 И не без помощи отца комедии —
 Аристофана...
 Ах, как гнусавили волынки там, как лихо лиры цели!
 Поют! — ничто из дивных ритмов не пропало;
 Сияют смехом лица, ветер
 развеивает платя, волоса,
 И свешивается прямо из кувшина
 Дионисова лоза,
 И влагою божественной звенит сам Дионис
 из недр сосуда!..
 Из бедной, формы не имущей глины! — и создать
 такое чудо!
 На всех изделиях твоих высокого художества печать.
 Но ты художником себя не мыслил величать;
 Сам глину добывал, замешивал; сам лаки изыскал
 и краски,
 Сам круг вращал, сам испытал печи творящий жар,
 Лепил посуду, статуэтки, маски
 И рисовал Орфея, нисходящего
 за Эвридикой в мрачный ад...
 Ты был богат,
 Гончар!
 Вослед Гомеру, как никто на свете, был богат!
 На Адриатики лазурных берегах
 Ты в простоте души своей — из глины! — не из золота
 и бронзы! —
 Но вылепил и — сам! — такой разрисовал сосуд,
 Что наш, людской, его судить уже не вправе суд.
 А суд богов ему давно не страшен
 грозный.

ВЛАДИМИР БУТ

Полустанок

Есть в Сибири полустанок
 Под названием Ое...
 Промелькнет он спозаранок
 И уйдет в небытие.
 И останется в итоге
 От таежных этих мест
 Взгляд девчонки-недотроги,
 Охранявшей переезд,
 Буду ехать долго-долго,
 Вспоминать былые дни,
 Ах, печаль моя, дорога,
 Транссибирские огни...

Буду слушать стук колесный
 С тихой думой об одном:
 Вот и снова чьи-то весны
 Пролетают за окном.
 Среди печалей и веселий,
 Не заметил как-то я,
 Как в житейской карусели
 Отзвенела и моя.
 Отыграла без остатка
 И ушла в небытие,
 Как девчонка с полустанка
 Под названием Ое...

Солдатки

Убегает большак на восток,
 Стелет сумерки синий платок,
 Воздух свеж, ароматен и чист,
 И ложится березовый лист
 На поросший травой бугорок...
 Убегает большак на восток,
 Как слеза уронился листок,—
 Ой, березы, не зря говорят,
 Вы — извечные вдовы солдат...
 Если будешь один ты в ночи,
 К ним, к солдаткам, в окно не
 стучи —

В стоге сена, в овине, во ржи
 До рассвета без сна пролежи,
 Не тревожь их в печальной
 красе,
 Не тебя, не тебя они ждут
 И, быть может, по первой росе
 Сами тихо к тебе подойдут.
 Постомят над тобой, пошумят:
 Кто, откуда да в званье каком?..
 И осудят тебя, и простят,
 И парным напоят молоком.

НИК. КУТОВ

* * *

Стрижи над полем ржи
 Со свистом режут воздух,
 И ловят этажи
 Деревни дальний отзвук.
 Спешат в грузовиках
 На помощь урожаю
 Работницы в платках,
 Ширь песней оглашая.
 И как живая мощь
 Богатырей-заводов —

Среди полей и рощ
 Комбайны-самоходы.
 Над лесом вертолет,
 Как стрекоза большая,
 А неба синий лед
 Блестит, в лучах не тая.
 И видят лес, и дол,
 И цехи заводские
 Многоэтажных сел
 Приметы городские.

ВИКТОР БОКОВ

Весенний день

Весенний день дарован
 Для завиванья гнезд.
 И этим очарован
 Лесной оратор дрозд.
 Где снег лежал по пояс,
 По грудь вода стоит.
 Весна идет, как поезд,
 Ей семафор открыт.
 Весна вовсю водою
 Бурлит у Костромы.
 Улыбкой молодою
 Взрывает сон зимы.

В воде леса и межи,
 Велик ее напор.
 Воды весенний межень
 Установил рекорд.
 Февральские метели
 Прокинулись дождем.
 А птицы прилетели
 Все те, которых ждем!
 Весна везде воочью
 Сметает пыль преград.
 Величественно ночью
 Лебеди летят!

* * *

Война давно прошла, а горе помнится,
 В народе от нее урон велик.
 И в память все настойчивее ломится
 Ее кровавый и ужасный лик.
 Тот день, то утро, те большие проводы,
 Тот траурный динамик со столба,
 Те поражения и потери кровные,
 Та подлая, коварная стрельба.
 Тот первый пограничник покалеченный,
 Тот первый тополь, вспыхнувший в ночи.
 И марш-броски, задуманные с вечера,
 И тонушие в тине тягачи.
 И слезы матерей, и крики раненых,
 Упрятанные в белые бинты,
 И вспышки самолетов протараненных,
 И порванные швы стальной плиты.
 Нет! Не забыть, как коршун над курганами
 Кружил весь день и пищу выбирал,
 Как злой фашист прапнелю ураганною
 Косил людей, как клевер, наповал.
 Все помнится! И все незабываемо,
 Мы до сих пор у памяти в плену.
 И долго нам придется разговаривать
 На тему «Миру — мир!», «Долой войну!».

* * *

Стоял поэт у родника
 В осанке легкой, благородной.
 Уверенно его рука
 Несла стакан воды холодной.
 Не пил поэт, а смаковал
 И откровенно наслаждался.
 И, как язычник, ликовал,
 Как будто вновь на свет рождался.

Но подошел пастух с кнутом,
 Нагнулся, смял в руках пилотку,
 Напился молча, а потом
 Обмолвился: «Вода не водка!»
 И удалился не спеша.
 Не всем дано понять природу,
 Нужна широкая душа,
 Чтоб освятить восторгом воду!

Охота

Я постоянно на охоте.
 Мое ружье — мой чуткий слух.
 В казарме, помню, в пятой роте
 Я ни минуты не был глух.
 Словлю словцо и рад до смерти.
 То слово тут же повторю.
 Другие есть слова на свете,
 И к ним дорогу я торю.
 В тени развесистого кедра,
 Где дотлевет старый скит,
 Мне слово раскрывало недра,
 Я брал его, как антрацит.

Подобно сердолику-камню,
 В котором будничности нет,
 Мне слово раскрывало тайну,
 Струило тихий лунный свет.
 С утра хожу, брожу по рынку
 Под огурцов ядерный хруст.
 И вот уже словил новинку,
 Словечко из народных уст.
 Подвиньтесь, старые словечки,
 Знакомьтесь с новеньким
 жильцом!
 Он из живой народной речи
 И чище девушки лицом!

АЛЕКСАНДР КУНИЦЫН

Черемуха после дождя

Черемуха после дождя!
 И девушка тут, на скамейке...
 Пройти равнодушно сумеи-ка,
 Сумеи не взглянуть, проходя!

Черемухе завтра отцвезть,
 А наша судьба человечья...
 И плачу, что это не вечно.
 И счастлив, что все это есть.

ТАТЬЯНА АНДРОНОВА

Вдох

Поколения пред вечной преградой,
 как волны моря, — встают и падают,
 и бессчетны провалы и гребни:
 вдох и выдох, опять — вдох и выдох.
 Жадным временем миг этот выдан,
 и, ликуя, бесчувственный жребий
 раздает неизбежные тризны,
 расстиляет дорогу жизни;
 но идущим верить не хочется,
 что, начавшись, однажды — кончится,
 только надпись оставит на плитах.
 Вдох и выдох, опять — вдох и выдох.

* * *

Не скажу и потом о себе,
 когда жизнь будет пройдена,
 ты останешься где-то в судьбе,
 и в душе — только родина,
 ее весен и зим благодать,
 ее верное небо;

а тебе придет время гадать,
 был ты счастлив иль не был.
 Цену жизни и смерти познав
 (столь изменчивой истины),
 может, вдруг и окажешься прав,
 ошибешься — то искренно.

* * *

В расставанье поверить нельзя.
 Я плечом прислонилась к сосне.
 Небо, сильным ветром грозя,
 с тучей сизой стоит в вышине.
 Хоть и хладное небо — мое.
 Среди деревьев и трав у крыльца
 неприметно и скудно жильце,
 да пребудет со мной до конца,
 как и небо над вечным былзем.
 Как оно — над суровой весной,

над туманной, как снег, пеленой
 или летнею далью в тепле,
 все равно. И над каждой
 судьбой —
 это небо на брэнной земле,
 на любимой и брэнной земле,
 где с годами мне станет
 грустней,
 где всеильного времени бег,
 где исчезнет двадцатый век
 вместе с жизнью и смертью моей.

* * *

Я подумаю: «Жизнь такова,
 что поделаешь, милый!»
 У меня есть святые слова,
 да советник — постылый.
 Как потянется к горлу рукой
 (велико же уменье!),
 сразу сердце займется тоской
 и в глазах — подозренье.
 Сразу ветер весенний плох
 (будет осени ветер,
 превратятся все травы в мох,
 ветви — в темные плети!).

Сразу сумрачен зимний пейзаж
 (ни тепла и ни света,
 будет срок ожиданий не наш,
 доживем ли до лета?).
 Сразу жалостью глянет любовь
 (сколь незнаемы души!
 и на юность очаг не готовь,
 будет старость — разрушит).
 Но в такие мятежные дни,
 вдруг покой и потери
 (холодея душою) сравнив,
 в милость жизни поверю.

Родина

<p>За европейским гордым поворотом — Россия, скромная средь богачей, и лишь души немолчная забота глядит все время из ее очей, и вдохновенье сердца освещает</p>	<p>от войн земных уставшее лицо; но, древней тайной встречного смущая, не обольстясь, себя не обещаая — на пальце носит верности кольцо.</p>
---	---

* * *

<p>Встречаю поздние раскаянья — у лба и глаз горит огонь моих возвышенных отчаяний, и ветер сбывшихся погонь уносит — к очагам прикаянья; но мчит, ярьась, безвестный конь над искрами через костер, через костер — во весь опор. Там застывает дым горячий</p>	<p>глаза, открытые незряче, и сквозь стекло слезы наплывшей лицо твое не разглядеть и не понять обиды жившей; а снисхожденью не успеть очаг прикаянья согреть, чтоб светил жертвенным огнем, огнем, который мы клянем.</p>
---	--

* * *

<p>Дым и уголь костра — в зимний праздник один ты глядишь до утра в раскаленный камин. Алой розой горит его горло, к трубе вдруг огонь пролетит и напомнит тебе грубый запах смолы над журчащей водой и мерцанье золы в жизни той, молодой! Как средь жижин и псов нам казалась добрей бесконечность лесов</p>	<p>и открытость степей! И цветы бодылья, пыл величья в крови да убогость жилья, всё — началом любви! Будто вечность в душе — это вечность с собой... Что, восходят уже звезды в тьме голубой? И в рассвет над плетнем не вскричит воронье? Снова жизнь проживем, вспоминая ее.</p>
--	--



ФЕДОР АБРАМОВ

★

РАССКАЗЫ

Жарким летом

1

Столярка у Аркадия была на задах, под одной крышей с баней и погребом, и велика ли ходá от нее до дома, а он вот как упрясался за день у верстака — крыльца не мог одолеть без передыху.

Шумно, как загнаный конь, отдуваясь, он вытер ладонью худое запотелое лицо, посмотрел за реку. Солнце садилось в ельник, но жара еще не спала и картофельная трава в огороде как обвисла тряпьем после полудня, так и висела. Не предвещал никаких перемен на завтра и пес, развалившийся прямо на земле возле дома.

Обычно, когда вечером он переступал порог кухни, на него с криком, с гамом вешались дочери — четыре кобылы сразу, — да еще мать иной раз в детство впадала, а сегодня ни одна с места не сдвинулась.

— У вас что — собранье или забастовка ныне?

На шутку никто не откликнулся.

Почувствовав что-то неладное, Аркадий окинул взглядом дочерей — по всей кухне вразброс сидели, — искал глазами старшую.

— А та где? Не вижу.

Опять экзамен на выдержку.

— Я спрашиваю, Гелька где?

— Ушла, — не сразу ответила Фаина.

— Куда ушла? Я, по-моему, ясно сказал: никаких гулянок!

— К отцу ушла... — опять с оттяжкой ответила жена. И вдруг всхлипнула, а вслед за ней прорвало и девок — в три трубы заревели.

— Ладно, — отрубил Аркадий, — с возу упало — кобыле легче.

Первым делом он, как всегда, оседлав скамеечку возле печи, снял прокаленные за день ботинки, затем начал было расстегивать широкий брезентовый пояс, к которому был прикреплен протез — две металлические шины, подпирающие больную ногу, — и вдруг заорал на всю кухню: по горячей кирпичине голой спиной шаркнул.

— Ты калишь печь-то — крещение на улице?

— Дак ведь как... Исть-пить надо...

— Исть-пить... А вы чего расселись? — накинулся он на дочерей. — Делать вам нечего? Отец с работы пришел, а у них еще и стол не накрыт.

— Сейчас, сейчас накроем, не успеешь руки сполоснуть. — И Фаина, несмотря на свою полноту, с живостью бросилась хозяйничать.

— А их куда берешь? — еще пуще прежнего заорал Аркадий,

кивая на дочерей. — Что за порядки новые завели? Мать с утра до ночи убивается, а они диван дают.

За столом сидели как на похоронах. У Аркадия жара изнутри поднялась — пять стаканов чая подряд выдул, и все равно не помогло, пришлось холодяночкой заливать.

— Ну, каковы за сегодняшний день трудовые успехи? — спросил Аркадий, когда, вытерев полотенцем пот с лица, с шеи, опять сел на свое место.

— Какие успехи... — ответила за девок Фаина. — Та ушла... мы с ума сошли...

— А тебе-то чего с ума сходить? Мати ты ей родная, чтобы с ума-то сходить?

— Мати не мати, да об ей перва забота была. Какая копейка в доме завелась, кому чего бы купить, нет, стой: Гельке. Гелька у меня в девки выходит.

— Вот и дура! Не теперь у людей сказано: сколько волка ни корми, все равно в лес смотрит.

— Папа, а ты бы съездил в Горки-то, — захныкала самая малая.

— Зачем? Чего я там не видал?

— Да, может, Геля-то еще там, не уехала...

— Да вы что?! За кого отца принимаете? Игрушка отец-то вам? Так вот сел в лодку, мотор завел и покотил: не угодно ли вашей милости на прежнее местожительство?

— Ну и что... А как мы без Гели-то?

— Как, как... А как она без вас, так и вы без ей.

— Папа, съезди за Гелей... Папа, привези Гелю...

Заголосили в три голоса. И даже не заголосили, а затрубили.

Хотел, хотел он было сегодня вечером передышку сделать, хотел было «Технику — молодежи» почитать, свежий номер вечер привез из Горок, и ноге больной покой требовался, но разве его доченьки об отце думают?

В общем, выскочил из-за стола как на пожар, даже не покурил.

2

Вечер не принес свежести. Лодка у реки совсем обсохла. И надо бы, надо бы дойти до реки, спихнуть ее на воду (все не так гнить будет), но он представил себе, какой сейчас зной скопился на песчаном, раскаленном за день берегу, и похромыкал в столярку.

Стоять за верстаком у него уже не было сил, и он разобрался с сеткой, которую с весны сочинял из всякого старья и хлама... Была, была у него сетка, и хорошая, капроновая, да прошлой осенью опростоволосился — отобрал рыбнадзор, а новую схлопотать не удалось, хотя кому только он не писал в город. Вот и приходится все лето мучиться, потому что по нынешним временам без подмоги реки какая жизнь? Хлеба, сахару купишь, а насчет всего прочего лучше и не думай — своими средствами добывай.

Работа попервости пошла ходко, хорошо заходила в руках деревянная игла, а потом он вдруг увидел в ногах смятый бумажный рубль (из кармана, должно быть, выпал, когда сигареты доставал) — и стоп: опять на уме Гелька. Взяла ли на автобус денег? Или гордость заела — без копейки из дому выскочила? Да и вообще, спрашивал себя немного успокоившийся к этому времени Аркадий, как все это могло случиться? Как могла ихняя семейная лодка на всем ходу развалиться?

Ну он себя не хвалит: псих. Под горячую руку может наломать дров. А у нее-то, у Гельки-то, где ум? Раз видит, отец распсиховался...

Э-э, да какой ты, к дьяволу, отец! Отец-то у нее на черной лакированной легковухе по району разъезжает, а ты ей кто?

Аркадий устало перевел дух, помахал рукой в запотелое лицо.

Жара, жара во всем виновата. После Петрова дня ни одного дождя за целый месяц не было, даже в Ильин день не помочило — вот какой нынче год, — и все, и люди и животины, измаялись до крайности. Сегодня, к примеру, за ночь он пять раз курил — ну и ясно, что утром не успел протез надеть, был на взводе.

А началось все... все началось с семейного наряда.

Четко, ясно сказал после завтрака:

— Сегодня, как и вчера, — все на пожню.

— Все, но только не я.

Аркадий попервости подумал: шутит Гелька. Сестер хочет этой перепалкой с отцом встряхнуть, ведь тех, соней, ежели с утра не растрясати, до полудня киснуть будут, — и он еще ответил шуткой:

— Ты-то как раз впереди всех и пойдешь.

— Нет, папа, я сегодня не пойду.

— Как это не пойдешь? С кем решила?

— Я на день рождения к Ире Манухиной поеду.

— Никаких дней рожденья! — уже начал закипать он.

— Но, папа, я же обещала.

— А я медицине обещал, что у верстака каждый день стоять не буду, а вот стою. Чтобы вам пить-исть что было.

— Нет уж, Аркадий Васильевич, надо отпустить девку. — Это Орефьевна, старая курва, высказалась. С утра черт принес в гости! — Девка заслужила выходной. Смалу ломит как незнамо кто...

— Поезжай, поезжай, Гелька! — поддакнула Фаина, а на то, что отец сказал, наплевать.

И у самой Гельки в эту минуту ум отшибло. Первая его помощница, первая советчица, с одного взгляда все понимает, а тут начала смеяться в лицо, да еще, как малого ребенка, по головке гладить.

— Не надо подсказывать папочке. Папочка у нас хороший. Папочка и сам отпустит...

И вот небывалое дело — схватил ремень, огрел изо всей силы.

— Папа, да ты это всерьез?

— А как ты думаешь? Меня всего трясет, колотит, а тебе — шуточки?

И, надо думать, на этом все и кончилось бы — ведь умница же! Как не понять его, дурака? Так нет, Орефьевна дубоголовая огоньку подбросила. Прямо навзрыд запричитала:

— Что, дочь не родная, не жалко. Кто заступится за сиротину...

— Да не сиротина она! — с новой силой взъярился он. — А ежели сиротина, может хоть сегодня же проваливать! Есть у ей отец.

...И сейчас Аркадий был уверен, что все дело именно в этих последних его словах. Не в ремне, нет. Ремень — ерунда. Боль прошла, и все. А вот когда тебя по душе бьют, когда тебе такие слова кидают... Гордая девка! Пятнадцать лет за отца почитала, пятнадцать лет думала, что я у себя дома, а чуть не так сказала — и проваливай! Вон из моего дома...

3

Аркадия Лысохина в четырнадцать лет выписали на лесозаготовку, а в семнадцать лет он уж был инвалидом: простудился на осеннем сплаве — и костный туберкулез правой ноги.

Долго, годами кочевал он по всяким больницам и лечебницам, два раза был под ножом, а когда предложили ему и третий раз на операционный стол лечь, он сказал: хватит — и поехал умирать домой.

И вот вскоре после приезда в свою Лысоху он и встретился с фельдшерницей Тоней. Сама пришла к нему, без всякого вызова. Из соседней деревушки. И, помнится, первое, что он увидел, когда она перевалила за порог, — ее дырявые, вдребезги разбитые сапожонки.

А весенняя распутица была, самый что ни на есть потоп. И он ей строго сказал:

— Не ходи больше ко мне. Мне все равно крышка, а ты в этих чоботах без ног останешься. Как я.

И еще он пожалел ее потому, что она была с брюхом — шлепнется по дороге, что будет? Криком кричать — ни до кого не докричаться.

Однако через три дня Тоня опять пришла. И опять в этих самых калеках-сапожонках. И тут уж он просто заорал на нее:

— Да ты совсем сдурела, баба! Как тебя и мужик-то отпускает в такую погоду?

— Нету у меня мужика.

— Понятно. Так сказать, невтерпеж стало — досрочно отоварились.

Тоня расплакалась (кто бы на ее месте не расплакался), но вот какой характер у человека: в один миг все шлюзы перекрыла и так ему больную ногу обработала да промыла, что он ту ночь спал без снотворного. Впервые за много-много недель.

Назавтра проснулся — солнце во все окна барабанит, журавли на озимях за деревней трубят — с закрытыми окошками слышно, и мать вошла с улицы — так и хлынула весна в ихнюю берлогу.

Э, да хватит тебе лежать! Вылезай на крыльцо, подыши еще напоследок вольным воздухом да полюбуйся на земную красу.

Вылез. На все предписания, на все запреты медицины плюнул, самого Евгения Федоровича побоку, а Евгений Федорович Калистратов — бог в областной больнице. И мало того что вылез. Рубаху еще с себя стащил. Пущай и кости прогреются на весеннем солнышке.

Мать увидела — заругалась, запричитала: с ума парень сошел? А парень одно твердит: помирать, так помирать с музыкой.

Тоня ходила к нему целый месяц, и Аркадий целый месяц блаженствовал: стихли боли в ноге, аппетит появился, а потом настал день — и на ноги встал.

Первый большой выход, конечно, в Радово, к ней, своей спасительнице. Нашло, накатило — сдохнуть, а самому доползти до Радова.

Тоня услышала гром в дверях — не совладал с костылями, — перепугалась насмерть:

— Ой, ой, сумасшедший человек!

— Сумасшедший? Сумасшедшие-то мировые рекорды не ставят, а я сегодня два километра за пять часов пробежал.

— Так вы это пешком? — Тут уж у Тони и вовсе глаза на лоб.

— Пешком! Говорю, рекорд скорости поставил.

— Да вам же категорически нельзя.

На Аркадия опять нашло, накатило — весь день с утра на взводе был, — выпалил:

— А раз мне нельзя ходить, переезжай ты ко мне.

— Я?

— А чего?

— Я что-то вас не понимаю, — пролепетала Тоня.

— Да чего понимать-то? Человек ей руку и сердце предлагает, а она — не понимаю...

Тоня расплакалась — ручьи по полу побежали, — а потом, глядя на него мокрыми, несчастными глазами, сказала:

— Я вам ничего худого не сделала, а вы так издеваться надо мной...

— Да я не издеваюсь! С чего ты взяла, что издеваюсь?

— Но вы же видите, какая я...

— Вижу. С брюхом. — И пошутил, чтобы как-то приободрить невесту: — Имей в виду, эта посудина и впредь пустовать не будет.

Разговоров в этом духе было немало. Тоня заладила — на брюхатых не женятся, колом не своротить, а когда он наконец допек ее,

опять мать родная взбунтовалась. И сколько ей ни доказывал Аркадий, что ежели бы не Тоня, так, может, его и в живых-то сейчас не было, укатила от срама к дочери.

А сраму действительно было немало. Потому что часто ли такое бывает, чтобы невеста рассыпалась в первую брачную ночь? А у Тони роды начались, как только переступила порог дома жениха.

4

Падчерицу свою Аркадий разглядел чуть ли не в день похорон жены. То есть видеть-то ее он видел и раньше. Куда от нее денешься? За стол садись — глаза мозолит, и из-за стола вылезает — глаза мозолит. Да только внимания-то он на нее никакого не обращал. Как, впрочем, не обращал никакого внимания и на родных дочерей.

Тоня после первых родов передохнула три годика, а потом как начала выстреливать каждый год по девке (она от родов и умерла) — дай бог силенок да ума, чтобы всех напоить, накормить да одеть, и где уж тут было думать, кто у тебя и как растет.

Смерть жены открыла Аркадию глаза на падчерицу.

Ночью в день похорон проснулся он от головной боли (на поминках стаканами давил горе) и вдруг в углу у печки услышал плач.

Он встал, осветился спичкой. Малыш, то есть родные дочери спали — хоть из пушки пали, не проснутся, а плакала, заглатывая слезы, Гелька.

— Ты чего не спишь?

— В дет-дом не хо-чу...

— В какой детдом?

— Да ведь я не твоя.

— Не моя? Кто это тебе сказал, что не моя?

— Орефьевна.

— Ну я ей, старой курве, ноги узлом завяжу! Ты мамина, так? А мама-то чья была? Дак соображай теперь, чья ты.

Он натянул на всхлипывающую девочку одеяло, сделал шаг к своей кровати и вернулся.

— Ну-ко пойдем ко мне, а то я тоже не могу заснуть. Мне ведь, дэвка, не меньше твоего маму жалко, а что сделаешь? Надо жить. Вас у меня четверо, а большая-то ты одна. Понимаешь?

Кажется, за все эти годы он впервые взял ее на руки и удивился, до чего она была легка. Как пушиночка.

В постели Геля сжалась в комок. А сама хулущая-хулущая, каждое ребрышко под рукой выступает.

— Да ты не бойся меня. Прижмись. К матери-то ведь жалась.

А с чего жалась-то? Всем хороша была Тоня, никогда не раскаивался, что женился, а первого своего ребенка не любила. Не любила, потому что Гелька не от него, Аркадия. Во всяком случае, он не помнит, чтобы она хоть раз когда-либо на его глазах приласкала старшую дочку.

И, подумав так, он обнял девочку, привлек к себе.

— Спи.

Затаилась, замерла, как воробышек, когда того накроешь рукой.

— Спи. Сколько ни убивайся, а матери не воротись. А нам с тобой надо жить. Девоч-то малых, сестер-то твоих, кто будет поднимать-воспитывать?

И тут он почувствовал, как маленькое худенькое тельце под его ладонью с облегчением начало распрямляться. И они оба заснули.

А наавтра утром встал он, встала и она. Он встал, чтобы какой-никакой завтрак, еду соорудить, ведь вот-вот раздастся: «Папа, исть хочу!» Как воронята голодные в гнезде, крик подымут. А она-то чего встала? Ей-то чего не спится?

А она встала, чтобы ему помогать.

И помогала. Ох как помогала! Он со своей клешней туберкулезной куда попал? А ведь надо воды с улицы занести, девок на горшок посадить, на огороде луку нащипать, в лавку за хлебом сбежать, овец из хлева выпустить, посуду прибрать... Все делала. И как быстро делала! Только что крутилась, вертелась возле тебя, шелестела голыми ножонками (летом не заставишь надеть что-либо на ноги: «Босиком-то быстрее, папа»), смотришь, строчит уж по дороге — за молоком побежала. Как трясогузочка, перебирает своими палочками.

И вот прошел какой-то год-два, за хозяйку стала. Даже кассу семейную незаметно для себя передал. Валяй, девка, рассчитывай, что и когда купить, а мое дело пятаки зашибать.

5

Утром он не встал к чаю — сказался больным (да у него и вправду разболелась нога), — но когда в доме все стихло, заставил себя подняться. Нельзя ему разлеживать! Позавчера из Горок нарочно приезжал Афанасий Фефилов, бригадир по животноводству, — давай, мол, рамы скорей для нового коровника, осень на носу — и, пополоскав теплым чаем кишки (никакая еда в горло не лезла), Аркадий вышел на улицу.

Все то же пекло, все тот же зной. У хлева, в тени, лежат овцы, совершенно обалдевшие от жары, телушка воеет во дворе (тоже измаялась от духоты), за рекой канюк плачет, молит бога: дай воды. А бог, поди, с Петрова дня гуляет — некогда краны небесные открыть.

Аркадий по привычке направился было в столярку и раздумал: Орефьевна который уж день просит пол в избе перебрать. Вредная старуха. Это она настропалила девку против него, она запричитала: сиротинушка разнесчастливая... Да и вообще у Орефьевны всегда он во всем виноват. А с другой стороны, как не помочь старухе, когда она всю жизнь тебя выручает! Да и патриотка. Все укатили из Лысохи и ее звали — племянник звал, племянница. Нет, помирать буду, а не поеду. И вот живут-маются два дурака на кладбище (а как иначе назывешь нынешнюю Лысоху?) — он, калека, да она, старуха.

— Чего у тебя с полом-то? — закричал Аркадий еще в дверях и в следующую секунду едва не растянулся: так и выиграла под ногой половица. — Пляшешь ты, что ли, тут одна?

— Ладно, не зубань, к лешакам, а делай, раз пришел!

Вот так, такая вот у него соседка. Считай за счастье, что тебе в ейном старье разрешают поковыряться.

А поковыряться пришлось основательно. Половая балка возле порога от сырости сопрела (у Орефьевны вечно помой под тазом), и пришлось набивать на нее основную подушку да метра на два половицу менять, тоже выгнила.

— Ехала бы лучше к племяншу, чем в эдаком-то мышовнике жить! — сгоряча запустил Аркадий в старуху, когда забил последний гвоздь, потому что страсть как употел: печь натоплена, окошко на запоре — нечем дышать.

Орефьевна в долгу не осталась:

— Пошто я из дому-то своего поеду? Я ведь не Гелька, меня из дому не выгонишь.

— Да ты рехнулась?! Когда это я Гельку-то из дому гнал?

— Кабы не гнал, дак не бежала бы девка без оглядки.

И пошла, и пошла пушить. В общем, в каталажку сажать надо. Зверь, изверг, девку никогда не жалел...

Аркадий поначалу только отмахивался, а потом мало-помалу начал и сам заводиться, а под конец и вовсе в раж вошел.

— Ты завсегда так, завсегда на моих нервах играешь. Не жалел... А помнишь, как о третьем годе сюда отец ейный приезжал?

...Шумилов нагрянул среди бела дня в черной лакированной машине — нарочно за рекой на самое видное место поставил. И сам разодет, как на свадьбу: в галстук, в шляпе, духами надушен. А он тоже надушен духами, только коровьими (как раз в то время в хлеву навоз отметывал, тогда еще корова у них была), небритый, пиджачонко замусоленное, заплатка на заплате...

Фаина прибежала:

— Гелькин отец приехал, иди скорее в кладовку переоденься, я костюм тебе вынесла.

И он потрусил было в кладовку, а потом: чего это ему стыдиться, что работал?

Шумилова он до этого не видал и Тоню, бывало, никогда не терзал расспросами (крестовина на прошлом!), а тут глянул — всю кухню собой загородил — и сразу понял: такой кому хошь голову задурит.

Шумилов времени на разговоры не терял. Начал по-деловому, как у себя в конторе:

— Вот, товарищ Лысохин, приехал за дочерью, Пора, думаю, ей начинать новый этап.

— А это уж как она сама. У нас свобода,— сказал Аркадий.

А Фаина, та в слезы: никак не ожидала такого поворота. Да ежели правду сказать, его и самого потом прошибло. Потому что что же это такое? Жили-жили всю жизнь вместе и вдруг — не твоя девка.

Меж тем в избу вошла сама Гелька. С сестрами — за черникой за реку ходили.

— Папа, папа, на той стороне чья-то машина стоит... — И вдруг осеклась, увидав родного отца.

Аркадий, собравшись с силами, сказал:

— Вот, Ангелина, отец за тобой приехал...

— Да, дочка, пора тебе вернуться к родному отцу,— сказал Шумилов.

— Нету у меня другого отца, кроме папы, а папу моего зовут Аркадий Васильевич Лысохин, и я его дочь. — Отчеканила так, как будто загодя выучила. А кто его знает, может, и выучила: знала ведь, что у нее родной отец есть, этого в семье не скрывали.

Шумилов такого, конечно, не ожидал (он думал, на колени упадет Гелька от радости), Шумилов страшно побледнел (так же, между прочим, бледнеет и Гелька) и уже заговорил тоном пониже:

— Это правильно, конечно, дочка, Аркадий Васильевич много для тебя сделал, можно сказать, второй отец, но понимаешь, какое дело...

— Нечего мне понимать,— опять отрезала Геля,— у меня есть папа, а другого отца мне не надо. — И только и видели ее: хлопнула дверь.

Шумилов — эдакий разодетый, раздушенный туз, эдакий кедр под самый потолок, и что перед ним он? Да еще в этом парадном костюмчике, отутюженном коровой. А вот Гелька ни минуты, ни секунды не раздумывала: мой папа — и basta! Никакого другого не хочу.

Да, радость переполняла Аркадия, хлестала через край. Даже в тот день, когда он сам на своих ногах приковылял к Тоне в Радово, кажется, в тот день он не был так счастлив, как сейчас.

Но он увидел поникшего, красного от стыда Шумилова, привыкшего всю жизнь подавать команды, и примиряюще сказал:

— Ты уж извини, товарищ Шумилов, что так получилось... Может, поумнеет еще... Может, и к тебе повернется лицом...

На небе, пока он возился с полом у Орефьевны и переругивался с нею, появились льняные начесы, и у Аркадия по-крестьянски взыг-

рало сердце: авось натянет дождя. Но к радости сразу же прибавилась и тревога: догадается ли Фаина сложить сено в стог? Фаина не Гелька. Это та глянула-зыркнула вверх и сразу все поняла, а Фаина в лесном поселке выросла — откуда ей в крестьянской грамоте разбираться?

Аркадий вывел своего коня из сарая — старый, много лет служивший велик — и покатил на пожню.

Луга у них начинаются сразу за деревней, вверх по реке, а это значит, что ему, живущему в нижнем конце, надо проехать через всю деревню, а вернее сказать, через деревенское кладбище.

Была, была Лысоха, одно время даже колхозную контору имела (тридцать пять домов своих да двадцать семь в соседнем Радове — чем не колхоз?), а в войну и после войны сколько мяса, сколько молока давала государству! А потом начали мудрить, начали укрупнять да разукрупнять — люди дай бог ноги: кто в леспромхоз, кто в город, кто куда, а потом уж и совсем черт-те что — переспективкой объявили.

Четыреста годов перспективкой была, четыреста годов Лысоха здравствовала (Аркадий сам это вычитал в одной книжонке, когда в больнице лежал) — и вдруг команда: сматывай удочки, вытряхивайся из своего дома. Да, скот перегнали в Горки, школу прикрыли, лавку прикрыли — как жить?

Аркадий восстал. Аркадий, самый худявый мужичонко в Лысохе (в смысле здоровья, конечно), уперся ногами и руками: не брошу родную деревню, сдохну, а с места не сдвинусь. И первой опорой его, первой помощницей в борьбе за родную Лысоху — они так и выражались иной раз, чтобы пожарче раскоцегарить себя, — была Гелька. К примеру, тот же ларек. Как жить без хлеба? Не будешь же каждый день ездить за семь верст в Горки. «Ничего, папа, наши отцы-матери пекли сами, и мы печь будем». И пекли. Фаина по этой части всём специалистам специалист.

А кино взять. Ведь у всех этих районных прижимщиков, которые Лысоху подвели под монастырь, какой главный козырь? Культура. Дескать, малым деревням культуры дать не можем. Кино, телек там и все такое. «Будет у нас, папа, кино, — сказала Гелька. — Добьемся». И добились. Написали в район, написали в область — разрешили пользоваться старыми кинокартинами. И Гелька еще три дня назад крутила «Чапаева» (специально в школе выучила киношное дело). Крутила в клубе, хотя, конечно, для ихней семьи да для Орефьевны можно было и не открывать клуб. Но разве Гелька согласилась бы такое важное мероприятие (тоже ейное словечко!) у себя в доме проводить?

Клуб в Лысохе, неказистый четырехстенок с сенцами, поставлен каких-нибудь двенадцать лет назад, еще при жизни Тони, и это сейчас была единственная во всей деревне постройка, не считая, конечно, дома самого Аркадия и Орефьевны, которая сохранилась в целости. А все остальные...

Большая ли эта радость — разглядывать рот у старой старухи? Ни единого здорового зуба. Одни старые коренья торчат. Так вот такая сейчас была и Лысоха. Все мало-мальски годявые дома увезены. Одни в Горки, другие в райцентр, третьи еще куда-то. А остальсь старье да гнилье, заросшее буйным ельником крапивы.

И Аркадий ехал по деревне, сцепив зубы, не глядя по сторонам. А за деревней для него началась новая пытка — луга.

Раньше сена у них на этих лугах было невпроворот. Свой скот кормили и еще в Горки всю зиму возили. А сейчас что? Стожок там, стожок тут — пожни подменили, что ли?

Нет, «передовой» метод уборки, так сказать, по последнему слову науки делают. Середину у луга выстригут, а в кулиги, в кусты, в залузья (а там главные сена) и не заглядывают. Вот вам и результаты — два-три стожка на всем лугу.

Участок Аркадию выделили неблизко — за четыре километра от деревни, за Фалькиным ручьем, который и пехом-то не скоро возьмешь (завалило ольшаником), а с велосипедом он и подавно намаялся.

На пожню выбрался весь мокрый, от пота глаза ослепли, а когда огляделся вокруг — где Фаина, где девки? Шесть копешек, шесть грибков свежего сена на выкошенной пожне, ветерок слегка треплет сухое, еще не улежавшееся сенцо (может, и в самом деле соберется дождь), а куда девались сами сеноставы?

— Эге-гей! Давай сюда!

Он кричал, сложив руки трубой, в одну сторону, кричал в другую, в третью — никто не отозвался.

Все понятно, со вздохом сказал себе Аркадий, укатили домой. И укатили берегом, потому и не встретил по дороге. Да, девки приступили: мама, пойдем рекой, хоть выкупаемся; а мама и растаяла: любит, когда его дочери называют мамой.

Аркадий в нерешительности поднял глаза к небу. Льняные начесы не стали гуще. И вообще мало похоже, что из них родится дождь. А с другой стороны, кто может наверняка сказать, что на уме у бога?

Больная нога ныла. От усталости? От предчувствия погоды?

Нет, нельзя до завтрашнего дня оставлять сено в копнах. Всякое может быть. И он, отвязав от багажника велосипеда топор, пошел рубить стожары.

7

Какая это работа для здорового мужика — шесть копешек сухого сена скидать в стог? Не работа, а разминка. А он проваландался целых четыре часа. Разломило больную ногу, криком кричит: не могу. Да и с головой что-то неладно сделалось — сколько раз прикладывал ко лбу мокрую тряпицу.

В общем, он выехал домой, когда уж вечерело, и на душе у него было слякотно.

Нет, нет, без Гельки ему не воевать за Лысоху. Силенка-то, правда, кое-какая еще есть, весной в районной больнице авторитетно сказали: можно жить, ежели режим выдерживать. А кто костер в нем будет раздувать? Фаина да девки и раньше-то в сторону Горок поглядывали — надоело жить в глуши, без людей, без электричества, — а теперь, когда Гельки нет, с утра до ночи будут зудить: папа, поедем в Горки... Папа, поедем в Горки...

Гелькой, Гелькой он держался. И не только летом, а и зимой. Зимой из Горок на выходной прибежит — как солнце, как весна ворвется в избу. На всю неделю заряд. Да и летом — что за жизнь без Гельки? Кто съездит за газетами в Горки? А Гелька взяла за правило: ни дня без свежих газет! И вот дождь ли, ветер, устала, нет, хочется, не хочется — поехала. В лодку села, мотор завела — «вперед за политической!».

Кое-как дотащившись до старых полевых ворот, за которыми начиналась деревня, Аркадий слез с велосипеда: отказывается работать больная нога. Да надо и успокоиться. Нельзя в таком вот разобранном виде заявляться домой, когда там и без него вой стоит.

Привалившись спиной к одному из столбов, оставшихся от порушенных ворот, Аркадий попробовал было представить свою жизнь без Гельки (надо же в конце-то концов трезво взглянуть на дело) и сразу же сплюнул. Ничего не получалось без Гельки. Трех дочерей нарожал, три дочери родные по крови, по плоти, а разве они заменят Гельку? Кто из них хоть раз по-настоящему согрел отцовское сердце?

В деревне темнота стала заметно гуще — похоже, и в самом деле собирается дождь, — и он набил же себе шишек! Деревни нет, домов

нет, изгородь давно пропала, а он на каждый кол, на каждую жердину натыкался. Наконец он выбрался из мрака, глаза укололи хрупкие золотые лучики, которые венчиком разбегались от лампочки в кухне, подъехал к крыльцу.

Что такое? Музыка в доме?

Девки на всю катушку врубили приемник. Этим все равно. У этих душа ни о чем не болит — было бы только весело...

Закипая от злости, Аркадий начал заталкивать велосипед в угол между крыльцом и стеной кухни (не хотелось тащиться в сарай), и вдруг ему почудилось, что в незанавешенном окошке мелькнуло Гелькино лицо.

Какое-то время он стоял с закрытыми глазами (сердце подкатило к самому горлу — не дыхнуть), затем выпустил из рук все еще теплое железо руля и подошел к окошку.

Кухня ходила ходуном — от музыки, от скачущих, обезумевших от радости девок, Фаина и Орефьевна тоже не аллилуйю пели, но он в эти минуты видел только одну ее, Гельку. Гелька улыбалась. Улыбалась мачехе и Орефьевне, улыбалась тормошившим ее сестрам, но черный-то глаз ее, настороженно, по-птичьи скошенный к входной двери, не улыбался. «Меня ждет», — догадался Аркадий.

За домом отчаянно заливался пес — не иначе как выяснял свои отношения с новой кошкой Орефьевны, — по-прежнему грохотал в окне приемник, а он, обхватив голову руками, сидел на скамейке под окном, на которой любил вечером выкурить сигаретку, и мысленно говорил себе: боже мой, боже мой, какой же ты все-таки остолоп! Гелька не вернется, Гелька уехала насовсем... Да как ты мог так худо подумать о девке? Гельку, самого близкого человека, не знал... Да как же ты вообще-то знаешь-понимаешь?..

Наконец он встал, выбрался из своего укрытия, поднялся на крыльцо и опять задумался. Задумался над тем, как войти в свой собственный дом.

1970—1981.

Нюркино лекарство

(Разговор в такси)

— Откуда, откуда приехали? С Казахстана? С целины?

— Да. А что?

— Да у меня же брательник там! Целиноградский край, совхоз «Расцвет». Не были, случаем?

— Не приходилось.

— Коренной ленинградец, между прочим. Как и я. И женка городская. А теперь куркуль. Чистый куркуль! Одних свиней стадо.

— У кого свиней стадо? У брата?

— Ага. Все шалопай, хулиган был, отец, да и мы все замучились с ним. Что ни случилось на заводе, в цеху — выпивка, заваруха какая, — а Валерка обязательно влип. И вот когда это движенье на целину началось — бога ради, катать! Не держим. Прижился. Сколько лет прошло с тех пор, а он и не собирается обратно. Дом. Дети. Все честь по чести. Приедет это со своей Нюркой в Ленинград, всего накупит — и айда. Но скупой — жуть! Сорок свиней у человека, да? А сальца послал хоть раз брату? И в гости приедет — большие деньги, да? А чтобы бутылку выставить — не жди. «Я гость, а гостей положено угощать...» Был я в позапрошлом году у него, разобрало любопытство, дай, думаю, съезжу. Точно: загон свинины, нарочно пересчитал. Тридцать одна штука. И свиньи все такие звери — страшно подойти.

— Да что же у вашего брата — частная ферма? Нигде не работает?

— Почему не работает? Тракторист в совхозе. И жена не на последнем счету. Депутат поселкового Совета. На жене-то, между прочим, все и держится. Вот баба! Не женщина, а автомат. Утром в шесть часов встанет, все успеет за два часа: свиней накормит, детей накормит, в школу соберет и Валерия на ноги поставит. Я как-то смеюсь: «Нюра, говорю, да ведь ты из Валерки куркуля сделала». «Может, говорит, и сделала. А вашего Валерия ежели, говорит, с головой не занять, сопьется. Посмотри, говорит, что у соседа делается. Ящичками водку покупают». Между прочим, я думаю, что Нюркино лекарство неплохо бы и в городах применить. Вот разрешить бы рабочему человеку в саду копать, дачку завести или ремеслом каким у себя дома заняться — смотришь, поменьше бы пьяниц стало. Так? Согласны со мной? Да и общество не было бы в накладе. Валерка, конечно, у нас куркуль, тут спорить не приходится. Но ведь этих двадцать поросюх не сам же он съедает. На рынок вывозит. Значит, кто же выигрывает от того, что он свиней кормит? Только он сам? Вот то-то и оно. Начинаясь всяких ученых книжек, а как жизнь-то понохаеть: э, нет, погоди, тут надо и свой рубильник включить... Правильно гвоздь бью? По шляпке?

1974.

Райозеро

Сказки про Райозеро нам начали сказывать еще в Новгороде. Места бесподобные, райские: светлые, нетронутые сосняки, синие ельники, упирающиеся в небо, грибов да ягод всяких навалом, а уж само-то озеро так и вовсе небывальщина — в одном году есть, а в другом нету, вместе с рыбой под землю уходит. Одно плохо: пути-дороги туда заказаны.

— Кем заказаны? Какой такой кощей там сидит?

— А вот именно что кощей. Только имя-то у этого кощей нынешнее — бездорожье. Что вы хотите, на стыке двух районов, самая что ни на есть лесная глухота...

— Ну а раньше?

— Чего раньше?

— Были раньше дороги?

— Тю, спрашиваешь! Сам Александр Васильевич на тройке разъезжал.

— Это какой же Александр Васильевич?

— Какой, какой... Один у нас, на Новгородчине, Александр Васильевич, которого все знают: граф Римникский, князь Италийский. Имение у него в тех краях было, а может, так, для огляду ездил...

Новгородские рассказы крепко запали нам в голову, тем более что по мере продвижения по области они обрастали все новыми и новыми подробностями, и вот когда мы с приятелем оказались в райгородке, от которого ближе всего до сказочного озера, мы чуть ли не с порога заговорили о поездке туда.

— Нет, нет, — замахали на нас руками, — пустая затея. Не проехать.

Но тут уж взвились мы. Как это не проехать? В каком веке живем? Да вы что, дорогие товарищи!

И в конце концов пристыженным дорогам товарищам ничего не оставалось как уступить. Короче, нам дали самую сильную машину из легковых — зеленый с крытым кузовом «УАЗ», на бортах которого внушительно краснели кресты «скорой помощи», и самого надежного и опытного шофера, который, по словам секретаря райкома, просто вырос на здешних дорогах.

Однако сам шофер, человек далеко уже немолодой, сел за баранку без всякого энтузиазма. А когда мы стали выезжать из городка, начал даже склонять нас к объездному маршруту: дескать, хоть

и подлиннее будет, да зато надежно. А прямая дорога — кто когда по ней ездил...

Я вспыхнул:

— Суворов ездил! — И чтобы раз и навсегда покончить с этим, просто скомандовал: — Прямо!

Картина была знакомая-презнакомая: сперва шумная, стремительная река жизни — асфальтовое шоссе, соединяющее область со столицей, потом поворот на грунтовку — и жизнь сразу сузилась до размеров ручья.

Но тут еще все было, как говорится, «на порядке»: были жилые деревни, были люди, был скот, поля, трактора, грузовики пылили. И так продолжалось километров двадцать — двадцать пять, а потом последняя автобусная остановка — и прощай, жизнь, прощай, белый свет. Ухаб направо, ухаб налево, одна гнилая мостовина, другая, третья, потом грязь-болотина — кидай все что попало под колеса, а иначе загорай тут, пока не выручит какой-нибудь случайный трактор, а потом еще одна попытка — ольха и береза.

Поэты на все лады славословят и слюнявят песенное дерево, возведя его в поэтический символ России: ах, белая, ах, кудрявая... А мы эту белую да кудрявую кляли самыми последними словами. Разрослась, сдавила дорогу с обеих сторон и бац-бац по кузову, по стеклам. Как будто тебя вместе с машиной гонят сквозь березовый строй...

Час двадцать пять минут понадобилось нам, чтобы преодолеть перегон в три километра — вот какие скорости мы развили.

В заброшенной деревне — мертвая тишина среди бела дня, только вой и стон от разъяренных слепней и оводов, тучей набросившихся на нас, — мы напились из колодца холодной, но уже с привкусом подгнившего сруба воды, и двинулись дальше.

И опять те же муки российского бездорожья, опять пустые, задичавшие деревни, иные от ветхости уже развалившиеся, рассыпавшиеся, а иные — из матерого листвяка-кругляша — как крепости. И самое удивительное — все дома в таких крепостях без замков, без запоров: заходи и живи. И все, все как при хозяевах в избах, кое-где даже самовар с чашками на столе стоит. Так и кажется, что хозяева в какой-то великой спешке выскочили из дому и вот-вот вернуться назад.

— Ничего не понимаю, — сердился наш шофер, который, как потом оказалось, был коренной горожанин. — Всю жизнь слышу: крестьянин — собственник, крестьянин — жадюга. А тут что видим?

Но была, была одна радость и на нашем пути. Раз выезжаем из чащобы дремучего ольшаника (березовая порка к тому времени нам казалась уже лаской) и глазам не верим: золотая сказка.

Да, да, впереди холмик — каравай из чистейшего золота (как потом оказалось, наглухо сорняком, суренкой, зарос), а на том холмике-каравае деревенька в пять-шесть дворов, да такая веселая, такая ладная, что сразу решаем: жилая.

И точно, в деревеньке были люди — старик со старухой. Живые, натуральные. Сидят себе на крылечке рубленом в тени под навесиком и во все глаза как на какую-то невидаль, как на чертей смотрят на нас, вылезавших из машины. А мы и в самом деле походили на чертей — грязные, запотелые и угорелые: всю дорогу из-за слепней и оводов не открывали окон.

— Да откуда вы, родимые? — ласково, нараспев, совсем-совсем в духе старинной сказки заговорила старуха и начала подниматься. Наверняка затем, чтобы поставить самовар и собрать на стол.

Мы наотрез отказались. Во-первых, немного подкрепились в предыдущей деревне, а во-вторых, нам и некогда было. Солнце уже клонилось к лесу, а где оно, это Райозеро? Сколько еще до него?

— До Райозера-то недалеко, — сказал старик. — За Сосёнками. Верст пять отसेлева. Только вам ведь не попасть.

— Это почему же? Как не попасть? — петухом вскинул голову шофер. Он к этому времени тоже заразился нашей страстью.

— А потому что ничейная территория.

— Какая-какая?

— Ничейная. Ну, по-военному навроде как нейтральная полоса. Не нашего района, не соседнего. Ничья.

— Да ты, дедко, в уме ли? — напролом пошел шофер. — Что за территория, которая никому не принадлежит? Война, что ли, у вас тут?

— По карте-то она принадлежит. Да на ней-то никто не живет. Дороги нету.

— Даже такой дороги, какой ехали сюда?

— Ну сюда-то худо-бедно и трактора и грузовики ходят, а что-бы от нас к Райозеру ездили — не помню.

— А раньше, в старые времена? — Это уж мы с приятелем начали допытываться.

— Раньше-то как не ездили. И дорога была, и на каждой версте хутора стояли, — рассудительно добавила старуха.

— Ну раз раньше дорога была, — сказал шофер, — порядок. Давай, дед, залезай в карету, проводишь нас до лесу.

— Куда ему, — вздохнула старуха. — Без ног сидит. До ветру-то без меня не сходить. Разве что я сколько провожу.

— А где же это ты, дед, ноги-то потерял? — полюбопытствовал шофер.

— На почте, — ответила за мужа старуха. — Тринадцать годков по деревням почту носил, а каково по снегу-то на лыжах? Вот в снегах-то в этих он и оставил ноги. Да еще обходчиком сколько лет был. Должность такая в совхозе — старух по деревням проведывать: кака жива, кака умерла, кака при смерти. Ведь в иной деревне одна старушонка всю зиму маятся.

— И вы зимой одни в деревне?

— Одни, как не одни. Снегом да сугробами закладет по самую крышу, всю зиму, как Папанин на Северном полюсе, сидим. Осенью муки на тракторе завезут и до весны вдвоем кукуем.

Шофер наставительно сказал:

— Надо бросать эти единоличные-то замашки, вот что я тебе, бабка, скажу. Переехала бы на централку (есть у вас центральная-то усадьба тут?) — и жили бы себе припеваючи, с утра до ночи телек смотрели.

— Нет уж, — сказала старуха и вдруг всплакнула, — поздно нам на чужую-то сторону ехать. В своем дому помирать будем.

— Да и приказ вроде как есть, по радио говорили — чтобы поворот, значит, на старые места сделать.

Старуха, до сих пор такая тихая и благочестивая, тут вдруг вспыхнула — на большую мозоль наступил старик.

— Сиди! Говорить-то можно, язык без костей, а ты смотри, что в жизни-то деется. — Она кивнула на незасеянные вокруг, в желтой сурепке поля и пошла к нашей машине: дескать, раз надумали ехать дальше, так надо ехать, а не речи разговаривать. А то солнышко в ельник скатится — куда попали?

По щетинистой, выкошенной луговине, по которой когда-то проходил тракт (еще кое-где можно было угадать старую колею), мы выехали за деревню и нырнули в серый душный ольшаник.

— Тут спуск будет, — предупредила шофера старуха. Она сидела с ним спереди.

— Вижу, бабка.

Передние колеса машины на секунду повисли в воздухе, она вздыбилась, как норовистая лошадь перед препятствием, но все обошлось благополучно — сползли, съехали как на брюхе. А дальше стоп — место для подвига Сусанина или, как еще сказал наш шофер,

место для партизанской базы: ни взад, ни вперед. Желтая болотина с выгоревшей на солнце осокой, ольха, ельник со всех сторон. И тучи, серые тучи слепней и комарья.

Старуха было пустила слезу: дескать, давно ли еще они тут колхозное сено подымали, а теперь вот во что превратилась поляна, — но шофер круто оборвал ее:

— Ты не сказки нам сказывай, а говори лучше, как отсюда выбраться.

Посередке болота белыми костями лежал старый березовый настил, по которому когда-то ездили. Но сейчас он захрустел, захрупал от ветхости, едва мы на него ступили.

Может, попробовать болотину в других местах? Может, там она подтверже?

Мы пробовали, вдоль и поперек месили болото, пробовали гатить болото заново — не одну ель, не одну березу свалили. Все бесполезно — вперед не пройти.

А все-таки на другой день мы добрались до Райозера. И добрались не окружным путем, а той же самой дорогой, по которой ездил Суворов.

Правда, для этого нам пришлось пересечь с «УАЗа» на вездеход. 1980—1981.

Куст рукотворный

*Ивану Андреевичу Данилову,
народному учителю.*

От Пеши, где я обосновался тем летом, до Слуды всего шестьдесят километров, да и то рекой, а почтовым трактом, или горой, как больше говорят на Севере, и того не будет, а у меня такое ощущение было — на другую планету попал: везде, по всем деревням (а Слуда — это целый куст деревень) гремят топоры, визжат пилы, весело пахнет древесной стружкой. Строительство! Строят скотные дворы, складские помещения, жилые дома. И когда? В какое время? В самый разгар сенокосной страды. В ту пору, когда в деревне испокон веку прекращаются не только всякие работы, а, можно сказать, вымирает сама жизнь: все, и стар и мал, выезжают на пожню.

Поразил меня и зеленый наряд Слуды.

В Пеше в жаркий летний день сгоришь, покамест от одного конца до другого доберешься: ни одного кустика. А тут, в Слуде, тополя над головой. Кипят, шумят на ветру — не то стая птичья крыльями бьет, не то море волной играет.

Я не сомневался: виновник всему в Слуде директор совхоза Василий Степанович Латышев. Двадцать пять лет назад начал он как председатель самого захудалого в районе колхоза (вместе с доярками подвешивал на веревках коров-доходяг), а ныне весь район к нему учиться ездит — какая еще аттестация нужна?

И такого же мнения были люди, но только не сам Василий Степанович.

— Хорошо бы, хорошо бы въехать в местные святцы отцом новой Слуды, — сказал он с легкой усмешкой, — да нет, не получится. Не от меня пошла жить нынешняя Слуда.

— А от кого?

Василий Степанович хитровато прищурил свой серый немного раскосый глаз и вдруг гыпалаил:

— От куста!

— От куста?

— Вижу, вижу: сказки рассказывает Латышев. А может, и сказки. В Слуде не приходилось бывать раньше? Ну, твое счастье. Саха-

ра. Песчаный остров. Старики свинью своим внукам подложили — построились на песчаном холме, думали: вот мы сколько хорошей земли сэкономим, самого господа перехитрим. Тот ведь по этому вопросу с самого начала четкое указание дал: возле воды строиться. А тут один песок. Ничего у дома не вырастишь: ни репки, ни ягодки. В солнечный день с потрохами сторишь. А ежели ветер — опять ад форменный: с закрытыми глазами, на ощупь по деревне ходишь. Ну и ясно, пока был у нас прижим, кое-как и Слуда чадила. А потом вожжи маленько поослабили — все, как тараканы из холодной избы, поползли. Кто куда. Кто в город, кто в леспромхоз. И до того Слуда обезлюдела — корову подоить некому. А начальство требует: дай работу в колхозе на полный ход, потому как леспромхоз кормить надо. А леспромхоз — это кубики, валюта. Вот ведь какая тут диалектика природы... Первым делом, конечно, по кадровому вопросу ударили. После войны за семь лет одиннадцать председателей сменили. Раз даже первого секретаря райкома поставили. Это уж секретарь обкома один хватил. Приехал в Слуду порядки наводить. Сам. А там, в Слуде, незнамо что. Вот он и психанул. «А, говорит (это секретарю-то райкома), раз толкового председателя подобрать не можешь, сам в сани впрягайся!» Ну, результат тот же — через полгода и секретаря выпрягли, то есть прогнали. А сколько, ты бы знал, всякого добра в эту Слуду свалили! Техника, денежные ссуды — кому в первую очередь? Слуде. Шефская помощь и всякая дармовщина? Слуде. Налоги скостить, недоимки списать — с кого? Со Слуды. Ну все равно, все никто не хочет жить и работать в Слуде. И вот в это самое время, когда уж, можно сказать, саму деревню решили срывать с лица земли, в Слуде и грянула «Аврора»...

Василий Степанович откинул со лба черное, с густой проседью крыло волос, вяло махнул рукой.

— Какая там «Аврора»?.. Сноп хворостин, вот эдаких вот виц саженных. Старый учитель выстрелил. Я попервости, когда его увидел — идет, сгибается под этой ношей, — даже подумал: ну, допекло и старика. Решил, видно, перед тем как концы отдать, порку всем задать. Так сказать, на прощанье. Да, я в то время как председатель по Слуде в мыле беагу, бабенку какую-нибудь ищу, чтобы на скотный затолкать — второй день коровы не доены, — а старый учитель, Прокопий Алексеевич Потанин, с этим вот снопом хворостин тоже обход по Слуде делает: кустики-топольки возле домов уговаривает выращивать. Я от злости просто света белого не взвидел, просто ногами стоптал. А как? Подо мной земля рушится, у меня коров некому подоить, а тут о каких-то кустиках... Да выйди за деревню, там этих кустиков видимо-невидимо! Все поля завалило. А Прокопий Алексеевич мне и отвечает: «А напрасно, напрасно, Василий Степанович, вы против кустиков-то. Я, говорит, зеленых помощников вам хочу дать». И дал.

Василий Степанович порылся в письменном ящике, вытащил изрядно потрепанную, в клеенчатой обложке тетрадь.

— Вот тут вся история превращения нашей Сахары в зеленый сад. Смотри — список хозяйств деревни, у кого сколько кустов и когда посажены. А вот по годам да по числам — полив. За пятнадцать лет изо дня в день. Ничего учетик? И так до самой смерти, с ранней весны до поздней осени. Сперва доказал, что на наших песках тополя растут, а потом — самое главное — чтобы возле этих тополей рядки зеленые завелись да ягоды, да овощи заросли... Все-го было у нас — и смеха и горя. Иной бы: да иди ты к богу в рай со своими кустиками! Не до кустов мне. А потом как одумается, кто его просит, — и забегал. А как? Как старому учителю отказать, когда он и детей твоих учил, и тебя, и жену? Да Прокопий Алексеевич больно-то и не упрашивал. Не хочешь? Лень-матушка заела? А ну

дай мне, старику, ведро, сам схожу за водой. Вот так он на старости-то лет своих бывших учеников воспитывал.

Василий Степанович потряс тетрадкой и рассмеялся:

— А я, между прочим, тоже под учетом у Прокопия Алексеевича состоял. Есть в этой тетрадошке и фамилия директора совхоза. Теперь вот скоро на пенсию выходить, жена: давай поедем на родину,— а я так, пожалуй, тут, в Слуде, намерен остаться. Выходит, Прокопий-то Алексеевич и меня посадил на свой зеленый якорь.

Мы вышли из конторы уже на закате. В заметно посвежевшем воздухе было тихо — ни единой ветриночки. Но верхушки тополей, облитые розовым светом, волновались, и Василий Степанович, задрав кверху голову, сказал:

— Думаешь, это тополя рокочут? Прокопий Алексеевич наказывает мне дает. На завтра.

Помолчал и уже тихо, на полном серьезе:

— Вот так каждый вечер. Всю страду.

1978—1981.

Сан Саныч

1

Услужливые товарищи из областного управления культуры нам предложили сразу несколько туристских маршрутов. На выбор. Обжитых, хорошо обкатанных. А мне вдруг захотелось дикости. И в том, конечно, немало повинна была Франция, где я только что побывал.

Красивейшая, культурнейшая страна! Распахана, разделана и зарисована, как парк. И что скрывать, у меня попервости сердце пухло от зависти. А потом какой-то сдвиг внутри — и мне вдруг стало скучно. Где же тайны, где же извечные загадки земли? Где нехоженые тропы, где ни с чем не сравнимый дух первозданности?

И вот мы с приятелем котомки за плечи, батог в руки — и пошли-пошагали куда глаза глядят.

Ух, радости! Ух, счастье! Ночлег у костра на берегу речки или озера — с ушицей, пахнувшей дымком, с росяной свежестью, с восходами и закатами; парное молоко прямо из-под коровы; чистое, как небо, как леса, российское слово...

Но, увы, так было недолго, каких-нибудь дня три, пока мы держались в зоне жизни, то есть пока мы крутились возле асфальтового шоссе и расплзающихся от него проселочных усов, а потом дороги кончились, началась непролазная глушь, из которой то и дело выныривали заброшенные и задичалые деревни и деревушки.

Скоро наши котомки отошлали, от комарья не было пощады даже днем, а потом еще одна беда — заблудились. Это уж исключительно по моей вине: я, спронея разжигая костер, вместе с газетой спалил местную верстовку.

И вот бродим, часами бродим по замшелым ельникам да болотам, шастаем взад-вперед по бывшим дорогам-тележницам, сплошь заросшим матерой травой да дудкой, с завистью вглядываемся в синее небо, где то и дело в непроглядных глубинах вспыхивают серебряные крестики пассажирских лайнеров (Нечерноземье же! Сердце России!), а куда податься? Как выбраться к ближайшему жилью?

Нас выручил приглушенный рокот мотора, который мы услышали, раз выйдя на старую вырубку. Только что умирали от жары, от голода, только что из последних сил нахлестывали себя березовыми вениками (страсть в тот день сколько комара было), а тут рванули, как лоси, как олени.

Выбежали к ручью с поляной, а на той поляне ни мало ни много — танк.

Вскоре рассмотрели и людей. Двое. Сидят вразвал под развеистой черемухой и давят бутылку.

— Куда двигаем?

— А куда надо, туда и двигаем,— отрезал чернявый, с редкими зубами и хмуро, недружелюбно оглядел нас с головы до ног.

— Да нам, собственно, дела нет до вашего маршрута,— начал я примирительно.— Нам бы как до ближайшей лавки добраться — второй день на подножном корму.

— Витамины? — пьяненько подмигнул товарищ чернявого и, явно желая состричь, добавил: — Водка — первый витамин.

— Заткнись! — И чернявый, еще больше напустив на себя строгость, кивнул за черемуху: — Дойдете до Власина, а там отоваритесь.

— Да ведь до Власина-то им двадцать верст чапать! — пожалел нас мужичонка.

— А это уж не моя забота! Я их сюда не звал.— Чернявый тяжело поднялся (на добрый центнер был!) и пошагал к вездеходу, который мы попервости приняли за танк.

— Понимаете,— извиняющимся голосом, как бы в оправдание своего товарища заговорил мужичонка,— мы вас на свой объект пустить не можем. К нам посторонним вход строго запрещен.

— А что у вас за объект?

— У-у, секрет... Научная база...— Мужичонка повертел головой и как-то загадочно ткнул пальцем в небо.— Которые там... Понимаете?

Мы с приятелем невесело переглянулись: неужели нам и в самом деле придется «чапать» за двадцать километров во Власино?

— Послушай, друг, а ведь мы тоже научные работники. Так что ваша база для нас не закрыта...

— Не, не, нельзя... У нас строго насчет этого... Сан Саныч, наш начальник, такую жизель нам устроит...

— Как, как вы сказали? Сан Саныч? — Я как утопающий ухватился за соломинку.

— Сан Саныч... А чего?

— Так это же мой закадычный друг! — Тут уж я пошел напролом, тем более что у меня действительно когда-то был знакомый по имени Сан Саныч, а то, что он не имеет никакого отношения к начальнику здешней научной базы, плевать. Сейчас главное для нас — выбраться из этой проклятой глуши.

— Финоген! — вдруг торжествуя на весь лес закричал мужичонка.— Открывай карету! — У него все-таки было доброе сердце.— Мужики-то эти знаешь кто? Друзьяки самого Сан Саныча.

— Пой, пой, соловушка...

— Чего пой-то? У нашего Сан Саныча, сам знаешь, по всему свету друзья-приятели.

И дальше все уже разворачивалось как в сказке: чернявый из нашего злодея-недоброжелателя в один миг превратился в предупредительного слугу и сам предложил нам садиться в машину.

2

Я представлял себе научную базу чем-то вроде благоустроенного современного поселка за дощатым забором и непременно с охранной возле въездных ворот. А тут смотрю — деревня, да и деревня-то, судя по первым домам, так себе. Только лесок справа меня сразу же поразил — ровнехонькая елочка-жердевка в три ряда, эдакий живой зеленый тын метров на двадцать пять, а рядом с тыном белый щит с черными буквами, которые можно прочитать чуть ли не за полверсты: «Научная база НИИ-101. Вход посторонним строго воспрещен!!!».

Вот у этого елового леска чернявый и дал тормоза. Выскочил из машины, уставился, как пес, на лесок и заорал:

— Сан Саныч, принимай гостей!

— Каких гостей, Финоген? — спросили из-за леска. Голос был строгий, приказной. — Я никаких гостей не жду.

Затем оттуда как напоказ вынес себя высокий жердистый человек — босиком, в шортах, и я глазам своим не поверил: мой знакомый. Тот же в оскале золотой рот, те же невозмутимые голубенькие глазки с желтыми, цыплячьими ресничками, тот же крепкий костистый череп, словно выкованный из красной меди.

Сан Саныч тоже узнал меня и первый раскрыл объятия.

— Ну вот, — облегченно вздохнул чернявый и вдруг громко расхохотался, — друзьяки! А мы домай голову на перекрестке двух дорог...

— Была, была у нас закупорка-то в мозгах, Сан Саныч, — признался и его товарищ, виновато улыбаясь. — Приказ надо выполнять, и опять же видим — наука: открывай все семафоры...

Сан Саныч снисходительно, с пониманием покачал головой:

— Ах дурачки, дурачки! Надрались. Еловые гаишники нам нипочем. Ну ладно, ладно, идите. Протряситесь маленько. Ночью, может, сетешкой придется тряхнуть — надо же гостей свежей ушницей побаловать.

— Это у нас не заржавеет! Мы хоть все озеро протралим!

— Чапайте, чапайте. Да у тебя, Афиноген, мать вроде баню топала, повыбивайте из себя дурь-то молодой березой.

Мужики захохотали — по душе пришлось шутка, — но Сан Саныч не обращал на них уже ни малейшего внимания. Он подхватил под руки меня и моего приятеля и повел в дом.

С Сан Санычем меня свел случай. Лет десять назад выехали мы с одним товарищем в Подмосковье на подледный лов. Выехали налегке, в демисезонных пальтишках, в туфельках — нулевая температура была с утра, да у приятеля, только что приобщившегося к этому занятию, по правде сказать, и справки нужной еще не было, — а потом как с полудня завыл-завыл сиверко, да как повалила-повалила мокрая липуха — мы и заоченели, в один миг превратились в ледяные сосульки.

И вот кабы не Сан Саныч, наш сосед по лункам, нам бы пропадать. А Сан Саныч как живая баня на льду: грейся. Хоть полшубком с его плеча, хоть подогревом из фляжки.

Я сразу же привязался к Сан Санычу. Во-первых, видный специалист по заповедникам, а значит, и по вопросам природы, или выражаясь по-современному, по вопросам экологии, — есть о чем поговорить с человеком! А во-вторых, Сан Саныч был еще и охотник, а к охотникам я с малых лет неравнодушен.

Короче, по первой же пороше мы выехали с Сан Санычем на зайчиков, на его любимую охоту. Выехали целым семейным кланом: сын Сан Саныча с женой, дочь с мужем и он сам с молодой женой.

Добыча для меня, школяра в этом деле, оказалась баснословной: за каких-нибудь три часа команда Сан Саныча расколошматила семнадцать лопоухих!

Тушки их, уже заоченевшие, с красными пятнами замерзшей крови, белой поленницей выложили на черном еловом лапнике, уселись вокруг сами, и начался пир, пир, как торжественно выразился Сан Саныч, по обычаю наших далеких пращуров...

После этого Сан Саныч еще несколько раз приглашал меня на зайчиков, но я всякий раз под каким-либо предлогом уклонялся, и в конце концов мы потеряли друг друга из виду.

Сан Саныч за те десять лет, что мы не встречались, ничуть не изменился: ни единого седого волоса ни в рыжем курчавом венчике вокруг лысой головы, ни на шерстистой груди, хотя ему было за

семьдесят. И вообще, сухой и прямой, внешне спокойный и невозмутимый, весь с головы до ног прокаленный солнцем, он напоминал сейчас библейского пророка-пустынника, а вернее сказать, боевого индейского вождя — уж очень для святого крепки были его широкие тяжелые ручищи и большие, по-медвежьи растоптанные ступни.

— Труд, труд, мой, милый, — кивнул мне свысока Сан Саныч, как бы отвечая на мои мысли. Затем, подведя нас вплотную к елкам, сказал: — Весь этот еловый забор в три ряда вот этими рученьками сотворен. Каждая елушка в лесу выкопана да сюда перенесена. Север. Пришлось вот этой живой стеной от северных ветров загоразживаться.

Дом Сан Саныча, стоявший сразу за еловым леском, походил на сказку. Тут тебе и старина-матушка (двускатное рубленое крыльцо с навесом), тут тебе и все удобства и блага современной цивилизации: водопровод, ванна, облицованная белым кафелем, газ (конечно, привозной, в баллонах), теплый туалет.

И мы переходили из одной комнаты в другую и только качали головами (какие тут найдешь слова!), а когда вошли в кабинет хозяина (был тут и кабинет), у нас и вовсе дух захватило: три больших окна, почти без простенков, и во все три окна прет озеро. И даже не прет, а лениво изнывает за окнами, развалясь, как какой-то гигантский добродушный зверь с серебряной, сверкающей на солнце шкурой.

— Да откуда у вас все эти чудеса, Сан Саныч? Мы бродим тут, пустыня, думаем, лесная...

— Труд, труд, ребятушки, — опять назидательно сказал Сан Саныч. — Ох, если бы вы видели, что тут было! Ну, дом этот, — он сделал рукой полукружье, — одни стены, это ясно. Да тут ведь и души-то человеческой не единой не было. Я этих здешних аборигенов Фенка да Тютю где, думаете, закрючил? В райцентре, возле пивного ларька. А сколько нервов да крови стоило, чтобы уговорить их вернуться на круги своя... Ладно, — оборвал он себя, — сперва питание, а потом воспоминанье.

Мы прошли на кухню, просторную, светлую, с белым, некрашеным полом из широченных плах (старая постройка) и буквально всю заваленную цветами. Там нас уже поджидал, как выразился Сан Саныч, легкий перекус: холодное молоко, прямо с погреба, клубника, крупная, сочная, огурчики свежие, слегка sprыснутые водой и с такими аппетитными пупырышками, и рыба, нарезанная тонкими звеньями, — свежепросольный сиг.

Хозяйку — она за стол не села — я сперва принял было за родственницу Сан Саныча: такой она показалась мне молоденькой по сравнению с той, что я видел когда-то на охоте. Да и цвет волос был другой. Та, помнится, была черноволосая, с короткой мальчишеской стрижкой, а эта беленькая-беленькая и пушистая, как одуванчик. Перекрасилась? Прошла какую-то мудреную обработку у особо изощренных мастеров?

Я все ждал, что эту семейную загадку разъяснит сам Сан Саныч, с этой целью я даже недвусмысленно поглядывал то на девчонку, то на него, но Сан Саныч, делая вид, что всецело захвачен обязанностями хозяина, помалкивал.

3

После перекуса, который, прямо скажем, разросся в настоящий пир, мой приятель принялся за свои порванные кеды (еще вчера на сук напоролся), а мы с хозяином вышли на вольный воздух, в царство зелени и воды.

— Да сними ты колодки-то со своих бедных ноженек, — посоветовал мне Сан Саныч. — Разрядись ты от этого проклятущего элект-

ричества. Неужели тебе не надоело оно в городе? Восстанови хоть на часик свой союз с землей-матушкой.

Соблазн был велик. Сам Сан Саныч по-прежнему вышагивал босиком и всем своим видом показывал, как это хорошо.

И в конце концов я тоже снял туфли, хотя и не очень легко предаваться босоногим радостям с моей отвисшей клешней.

По отлогому угорышку, белому от ромашек, мы спустились к озеру и пошли сухим, песчаным бережком, и мелкая теплая волна то и дело ласкала наши ноги.

— Ничего здешние палестины? Нравятся?

Я в ответ только руками развел.

— Так за чем же дело? Вставай к нам на якорь.

— Что значит на якорь?

— Шалашом обзаводись.

— Тут, у вас?

— А что?

— Но ведь я, как говорится, другого прихода. Кстати, а что у вас за научная база? Кому она принадлежит?

Сан Саныч пожал плечами.

— Да как тебе сказать. Во всяком случае, для тебя она не закрыта. Ох советую! Не пожалеешь. Хочешь — отдыхай, хочешь — работай. А места-то какие! А климат-то! Сосна, лиственные породы. У нас сердечники здесь про сердце забывают. Да я сам, старый гриб, можно сказать, как заново тут родился...

— Вижу, вижу... — с намеком подмигнул я. — Заметил перемены в твоём хозяйстве.

— Ах, ты это про Ветку... — Сан Саныч вздохнул. — Ну что тебе сказать, друг милый, по этому вопросу? Грешен. Три раза был в законном браке, лимит отпущенный, как говорится, исчерпал сполна, а я все еще не отпихиваю от себя кубок жизни. Светка, которую ты знал, ничего девчонка была, хорошо разгоняла старику кровь. Ну, вопрос поставила ребром. Тридцать лет. Либо женись, вписывай в свою краснокожую паспортину, либо бьем горшки. С характером. Ну, я подумал-подумал: а надо ли мне на старости лет, как говорит моя дочь, марать свое автобио? Да и опять же этот интерес к камешкам, к презренному металлу. Раньше, бывало, шею бусами из ягод шиповника обвила — королева! А тут, смотрю, одна золотая цепочка, другая, колечки-перстеньки на пальчики подай, да с камешками... Да... Э нет, моя хорошая, сына и дочь обворовывать не намерен, помню свои отцовские обязанности. Вот так мы со Светланой Ивановной и помахали друг другу ручками. Ну а я вот этой козочкой-белянкой обзавелся... Много их нынче, стригунков-несмышленьшей, развелось. Из родительского гнезда выскочат — за рюмку, за папиросу, всего отведать хочется, а потом — и жить не хочу. Моя травилась. Из провинции приехала, в институт не прошла, денег нету, за художника зацепилась — не прижилась... Мне жалко их, глупышек. Да отогрейся ты возле меня, старика! Не съем. А крылья отрастишь — лети на здоровье куда вздумается. Между прочим, — сказал Сан Саныч назидательно, — я и тебе не советую пренебрегать биологической силой как фактором обновления... — И тут Сан Саныч со свойственной ему обстоятельностью начал развивать целое учение об этой самой биологической силе, то и дело уснащая свою речь научной, не очень понятной мне терминологией.

На мое счастье, неподалеку от нас из зарослей ивняка с большой корзиной белья на плече вышла старуха, и у Сан Саныча к ней оказалось дело.

— Ну что, Марфа, — закричал он ей с ходу, — сбил с себя дурь Фенко?

— С чего? — Подойдя к нам, старуха остановилась, поставила корзину на землю. — Еще с тем, кощем-то, бутылку опростали.

Сан Саныч неодобрительно покачал головой, и строгая повелительность появилась в его голосе:

— Скажи этим обормотам, чтобы часика через два у меня были наготове. Пускай хоть кишки из себя выворачивают. На озеро вылазку хочу сделать.

— Ладно, скажу, как добужусь. Фенко-то все головой за стол имался, может, и заснул. А я вот чего хотела спросить у тебя, Сан Саныч. Внучка пристала: «Баба, шанег спеки, баба, шанег хочу...» — дак можно, я банки две молока на сметану поставлю?

— А из каких шишов ты эти две-то банки выкроишь?

— Дак вот я об етом и хотела спросить. Может, кому можно сбавить?

— А кому?

— Кому-кому... Кому скажешь, тому и сбавлю.

— Нет уж, давай не будем ломать заведенный порядок. Внучка твоя и без шанег не умрет, а люди должны получать молоко. Внучка шанег захотела... А у генерала язва... А у Петра Прохоровича диет-питание... А Эдуард Эдуардович, тот вообще одну кашку ест... Да нас с тобой живьем съедят, ежели мы их без молока оставим!

Я решительно ничего не понимал. Почему Сан Саныч занимается распределением молока? Корова, что ли, у них со старухой общая?

— Да не общая,— начал объяснять Сан Саныч, когда мы отошли от старухи.— Корова Марфина. Она хозяйка. Да коров-то в деревне всего две, вот и приходится распределять молоко в централизованном порядке.— Сан Саныч горестно пожевал пестрыми от веснушек губами.— Увы, те перебои в снабжении людей молоком, о которых пишет наша пресса применительно к городам, имеют место и в нашей деревне. Население-то летом у нас какое? Одиннадцать домов. А сельскохозяйственная база? Две крестьянские семьи, две буренки, вот и хочешь не хочешь, а ставь регуляторы у подошников, вводи военный коммунизм.

— А хозяйева? Хозяйева коров не возражают?

— Э, милый! Да как им возражать-то? Зря, что ли, умные люди сказали: жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Да этот Афиноген да Тютя только благодаря нам в своей родной деревне и небо-то копят! А как? Можно, к примеру, тут без вездехода жить? Сам видел, дороги-то какие.

— А разве нельзя эти дороги поправить? Так, чтобы на грузовике хотя бы проехать можно было?

Сан Саныч посмотрел на меня как на малого ребенка.

— Да, мил человек, вся-то загвоздка в том, чтобы тут дорог не было.

Кровь бросилась мне в лицо. Я даже остановился. Россия криком кричит: дай дороги! А тут о чем забота? Да здравствует бездорожье?..

Когда я немного взял себя в руки, Сан Саныч с озабоченным видом заговорил:

— Понимаю, понимаю... Подъем Нечерноземья... Создание нового русского поля и тэ дэ и тэ пэ. Читаем, читаем газеты. Да если на то пошло, я и сам по этой части одно рацпредложение подбросил. Ай хорошее предложеньеце! Грозятся даже на премию выдвинуть. Вот так-то, милый друг. Не в долгу, не в долгу перед целиной номер два. Работаем. Вносим свой патриотический вклад. Ну а если по-деловому, без сантиментов... Стояла пустая, заброшенная деревня, а я со своими товарищами тут жизнь раскочегарил. Худо это? Во вред государству?

— Так у вас тут вовсе и... не научная база?

— Ах, любим мы всякую формалистику! Три доктора наук, два членкора, три столпа из трех министерств, учти — важных министерств, генерал — это тебе не научная база? Да один Эдуард Эдуар-

дович у нас целый институт. В прошлом году пятнадцать с половиной миллионов чистой прибыли дал. Один! А откуда эта прибыль взялась? А из здешних лесов, из здешней глуши. Здесь Эдуард Эдуардович разработал свой метод. Одно плохо.— Сан Саныч глубоко вздохнул.— Леспромхоз на той стороне объявился. Я прохлопал. На моей это дело совести.

— А чем помешает вам леспромхоз?

— Ну что ты! Сегодня вот тихо, выходной, а завтра что начнется? Дороги — это хорошо, кто спорит, да по дорогам народишко хлынет, все вытопчет, землю-то здешнюю на ногах унесет, а не то что там грибы, ягоды... Ну да мы еще поборемся. Гуляет где-то в верхах наша бумага за большими подписями. Бьем на заповедник. Чтобы заповедником объявить здешние места. А как? — Сан Саныч живо обернулся к озеру, неподдельный восторг появился на его лице.— Неужели дать сгубить всю эту красу? — И вдруг предложил: — Присоединяйся к нашему колхозу! Не пожалеешь, ой не пожалеешь! Дом есть, почти готовый, за месяц марафет наведем — вывози отсюда красоту, радуй читателя.

Я не сразу, но ответил шуткой:

— Боюсь, лесную промышленность не одолеем, много хлопот будет с отъездом.

— А ты не бойся! С божьей помощью да еще кое с чьей положим и лесную промышленность на лопатки. Есть в нашем стане богатыри, заставим с собой считаться. Ну а ежели не положим, уйдем в другие леса. На Руси-матушке их на наш век хватит. Техника? Техника для нас не проблема. Вездеходом разжились, разживемся и вертолетом. В Америке чуть ли не у каждого лавочника личный самолет, а мы хуже? Доколе будем Лазаря-то петь?

4

Мне не удалось побывать в деревне, где разместился «колхоз» Сан Саныча. Ибо в ту самую минуту, когда мы с ним подходили к горке, на которой стояла деревня, от дома Сан Саныча замахали белым платом.

— Это еще что за баловство? Кому я понадобился? — недовольно проворчал Сан Саныч, но вслед затем повернул к дому.

Белым платом махал мой приятель. Он встретил нас наизготовке: в зашнурованных кедах, в штурмовке, с рюкзаком за плечом.

Не глядя на меня, буркнул:

— Отчаливаю...

Я ничего не понимал. Какая вдруг муха укусила человека? С девчонкой Сан Саныча поцапался? А может, все проще? Может, самого Сан Саныча возненавидел?

От моего приятеля всего можно ждать. Шума не поднимет, все больше молчит, но уж что надумает — не сворогишь.

Меж тем Сан Саныч и раз и два легонько толкнул меня сзади: дескать, не удерживай. Пускай себе шастает. Нам от этого хуже не будет.

Но мог ли я бросить товарища? Мог ли позволить ему одному глядя на ночь шлепать бездорожьем, этими глухими лесами, где мы еще днем заблудились? А потом мне вдруг представилось, что мне предстоит целый вечер провести вдвоем с Сан Санычем, — и я пришел в ужас.

— Постой! — крикнул я и бросился в дом за своим рюкзаком.

Как Лукеша свою Маньку замуж выдала

Кончила техникум, работы близко от дома нету, услали в чужой район. Ну в чужой и в чужой. Не ты первая, не ты последняя. Нонь не старое время: самолет. Было бы желанье — на выходной домой можно.

Ну ладно, уехала у меня Марья. В отпуска приезжает, на выходные приезжает, а пошто она замуж-то не выходит? Три года как учење кончила, три года на стороне живет, а все одна.

Я думала-думала — надумала: дай-ко к ней съезжу погляжу, что у ей за жира. Пошто ни один парень не рад моей девке? Красоты большой нету, да и негаведна. Руки, ноги на месте и все остальное не хуже, чем у людей. Шуба — пятьсот пятьдесят рублей давано, сапожки теплые сто двадцать рублей, платок пуховой. И здоровьем не обижена: добрый конь.

Поехала. У коров взяла отпуск (всю жизнь скотницей роблю), отца с малыши на самообслуживание поставила.

Вот добралась до Манькиного поселка. Быстрехонько, за один день. Улицу нашла, дом нашла. А как в дом зайти? Все крыльцо снегом завалено, под саму крышу сугробы, только вот эдакая вот тропиночка протоптана. Как ручеек.

Увидела — дед из соседнего дома вышел.

— Уважаемый, — говорю, — живут, нет здесь девушки?

— Живут, — говорит. — У ихнего крыльца стоишь.

— А вход-то, — говорю, — к ним со двора, что ли?

— Пошто со двора? С этого крыльца.

Я больше слов не сорила. Разгорячилась, распалилась — одним махом на лестницу взлетела, на втором этаже живут, а там в избу да не то палку, не то веник схватила да давай-давай уютжить Маньку. Это вместо здорованья-то. Пять кобыл живут в общежитии: кто на койке лежит, кто курит, кто на гитаре брякает... Вот какая у них вольница!

— Мама, мама, не сходи с ума! — Это Манька-то мне.

Нет буду, буду сходить! Да вы откуда, говорю, понаехали? От каких матерей-родителей? Да неужели же, говорю, вас дома ничему не учили? Лежите, срамницы, крыльцо запало снегом, в дом не попасть. Все, все, говорю, за лопаты! До единой!

Выгнала. Даже одеться не дала. В одних платышках выскочили.

Живехонько разгребли. Не дорожки — улицы на весь мир побежали.

Умеют. Ведь они из деревни все. Это тут без материнского-то глаза обленились, волю забрали, а дома-то они чуть на ноги встали — лопата в руки...

Ну и все. И женихи нашлись. Я вечером-то того же дни из бани возвращаюсь, гоже и я лопатой орудовала, вся употела, — у них полно ребят. Негде сесть.

Вот так, говорю, и живите, чтобы к вам со всего света дороги вели, а я поеду. Меня коровы ждут, дома ждут.

Уехала.

И вот не знаю, прожила я, нет недели-то три дома, от Маньки письмо: мама, я замуж выхожу. А вскорости по ейным-то следочкам и другие побежали. И общежитие распалось. Да...

Ну дак уж, тут летом Манькины подруги в гости приезжали, было у нас смеху.

— Ты, ты, — говорят, — Кирилловна, нас замуж выдала. По твоим дорогам к нам женихи побежали.

А может, и по моим? Может, еще и теперь бы в девках сидели, кабы я порядка не навела?

1981.

Б. НОСИК

★

ЗАПАХ ПШАТА

Рассказ

Получив наряд вне очереди на суточное дневальство у ворот, Лешка поворчал, конечно, немного за спиной у старшины, но поворчал так, для проформы, потому что, если говорить честно, дневальство у заднего КПП, возле автопарка, ему нравилось. Во всяком случае, это было терпимо — куда легче, чем работа на кухне или даже чем дневальство у парадных ворот части, где все время ходят офицеры и не за то, так за это можно нарваться на неприятности. А здесь чего не жить: пропустишь машину, потравившь минут пять с шофером, сбегаешь по какому-нибудь поручению добродушного лейтенанта из автозвода — и сиди читай. Или смотри за ворота, на улочку тихого армянского городка: вон прошел ишак с поклажей, что-то ему говорит-говорит старик, своему ишаку, — интересно, понимает ишак или старик просто так бормочет, от одиночества; вон старуха развешивает тонкие портянки лаваша сушить на веревке — когда готов будет, непременно подойдет к воротам и угостит солдата (у самой ведь тоже кто-нибудь служит, в каждом многодетном армянском доме кто-нибудь служит; да и кругом солдаты, граница — вон сержанту Раде пришло письмо из дома, с Украины, так сеструха его вместо сокращения «Арм. ССР» так и написала полностью — Армейская ССР); вон ребятишки вылезли на плоскую крышу — зима еще не кончилась, а они босые, закаляются, и как они не боятся вниз сверзиться, совсем еще маленькие; а чуть подалее машины собираются у дома — наверно, будет свадьба, в это время на Четвертой улице чуть не каждый день свадьба, любят они жениться все же, армяне, за всю жизнь столько свадеб не видел, сколько здесь за пять месяцев. Длинное облако потянулось к двугорбой горе Арарат. Сапожник Левон вчера сказал, что американские шпионы под маркой археологии ищут на вершине горы пресловутый ковчег Ноя... Лешка смотрел на небо. Растрепанное облако все плыло в сторону границы, в сторону Арарата. Вот так, наверно, плыл ковчег, но вся долина тогда — и винзавод и медсанчасть, где Лешка провел с гриппом блаженные две недели, все было еще под водой, и даже голубь с веткой не предвещал их появления.

Подошел «старичок» — старослужащий, может, на полгода всего и старше Лешки, а все же «старичок», поскольку ждет демобилизации и все, буквально все на свете ему уже известно.

— Спим?

— Нет.

— Дремли, салага, дремли. Солдат спит, а служба идет... Главное дело — время свое расположить.

«Старичок» сильно окал, в комендантском взводе полным-полно владимирских, считается, почти что земляки, да что там до Москвы — два пролета по сто пятьдесят километров.

— Понедельник — день тяжелый, а ты вторника жди. Во втор-

ник — почта, гляди, получишь чего, опять же день мясной. В среду — баня, попаришься. А там конец недели, может, увольнения будут и опять же два кино, может, привезут чего-нибудь хорошее из колхозной жизни, хоть на девок поглядишь... А там лето перетерпи — и близко дембель. Летом на виноградник тебя свожу, бахак нам винограду даст, скажешь: «Ахпер! Хавах!» — он и даст, они народ добрый, а я сильно к винограду привык, не знаю, как дома отвыкать буду.

— Оставайся на сверхсрочную, — лениво сказал Лешка, не открывая глаз.

«Старичок» встал, постоял рядом, помолчал. Может, он при этом как-нибудь особенно глядел на Лешку, но Лешка глаза не открыл. Тогда «старичок» сказал укоризненно:

— Салага он и есть салага, что он понимает о службе?

И ушел, тяжело стуча сапогами. А Лешка взялся за книжку. В первые месяцы службы, когда казалось, что все на свете кончилось с призывом и ничего-ничегошеньки больше у него не будет, английский язык был тоже причиной его грусти. Лешка окончил одну из лучших в Москве спецшкол и срезался на вступительных в университет, и вот здесь он все позабудет, так что даже если и кончится когда-нибудь служба... Но вот «курс молодого бойца» подошел к концу и стало ясно, что время можно выкроить, хотя бы и в том же суточном наряде (лишь бы не кухня — ох и тяжело без привычки горы посуды перемыть!). Честно говоря, времени навалом... В общем, выяснилось, что нужны книжки, карманные желательно — покет-буки, — а за ними дело не стало. Когда первый Лешкин детектив пошел по рукам в казарме (все разглядывали обложку, разбирали буквы, и многие даже читали название), Лешкины акции в роте стремительно выросли. Ездовой Генка Ермаков пустил слух, что московский салага наизусть знает американский язык. А когда Лешке прислали первую французскую книжонку (какую-то ерунду из «черной серии»), тут уж стали поговаривать, что салага говорит на двенадцати языках. Тем более что Лешка к этому времени уже знал десяток армянских фраз, а в казарме часто выпрашивал к тому же Миколу, украинца из Дрогобыча, как будет по-польски то да это. Замечательный язык польский, то он уводит куда-то в славянскую древность («рука» будет «рэнка», а «сказал» — «жекл»), то вильнет вдруг в сторону французского или даже латыни: «криминал», «ревелиция», «эмп्रेसи». А что они делают с английским, поляки! Как пишется, так и произносится. «Битлы» у них «беатлесь», а какой-нибудь Кэйси — Казей, да еще склоняется — Казея.

Микола был старослужащий, к тому же шофер, и у него в городке завязались уже кое-какие деловые связи с местными жителями, чьи глинобитные дома стояли за стеной части. Однажды в субботу в тихий вечерний час, когда все офицеры, кроме дежурного, уже разошлись по домам, Микола увел Лешку за ворота — в самую первую Лешкину самоволку. Дом, куда они пошли, стоял в каких-нибудь ста метрах от ворот части, и все же это была самоволка — Лешка уже знал, что если его хватятся и если его не будет два часа... Так что он недосидел в гостях, смылся обратно через полтора часа, а все же это было здорово — полтора часа украденной свободы в армянском доме, за семейным столом. Хозяйка принесла из погреба кислое сухое вино, нарезала сладкий лук, подала лаваш, лобию. Лешка эту кислятину пить не стал, а Микола выпил, захмелел и стал хозяевам рассказывать, как салага знает наизусть английский и даже американский. Тогда маленькая хозяйская дочь Анжела вдруг принесла свой облитый чернилами учебник английского языка, и Лешка стал ее учить правильному произношению. Это был замечательный учебник — англо-армянский; против каждого английского слова было написано армянское слово странными красивыми армянскими буквами, похожими на гнутую проволоку. Таким образом, во время этого урока

Лешка не только узнал многие армянские слова вроде «хатц» или «гирк», но также познакомился с древним армянским алфавитом, в котором букв было больше, чем в английском, и даже больше, чем в русском. Хозяев очень сместило, как Лешка с Анжелой старательно произносят английские слова, все смеялись до упаду, и не смеялась только старшая Анжелина сестричка Ануш, которая внимательно следила за каждым словом и даже шевелила губами, но вслух произносить стеснялась, хотя она была уже, наверно, в шестом классе, не меньше.

Хозяйка заметила, что Лешке нравится лаваш, и она завернула ему с собой в дорогу целый сверток: нет, что ни говори, народ здесь добрый.

Машина загудела у ворот. Лешка побежал отпирать. Микола улыбался ему за рулем:

— Джень добры!

— Чего сигналишь? Сержанта Стаферова разбудишь, он с меня снимет стружку.

— Не бойсь, салага. Ниц не бендже...

Машина рванула, ушла, а Лешка все думал, запирая ворота: «бендже» — это «будет». Значит, когда русское «у», у поляков отку-да-то «и» появляется. Или «м». Отчего это? «Рука» — «рэнка». «Дуб» — «домб». «Дубровский» — «Домбровский».

Ануш прошла с девочками из школы — идут не оборачиваются, может, не видят. Большие уже девочки у нее в классе. Лешка хотел ее окликнуть, потом передумал. Может, она застесняется перед подругами, здесь вообще девочки стеснительные, все же не Москва. А маленькая Анжела не пугливая, идет — со всеми солдатами здоровается: «Барэф! Барэф! Баревдзес!» На прошлое Лешкино дневальство в тихий вечерний час мать привела ее с учебником к воротам, и они с Лешкой позанимались английским, интересно же — кому английский, кому армянский. А малышка способная. Это потому, что она уже с детства сразу два языка учит — армянский и русский, так что третий легче идет. Мать на нее весь урок смотрела как на чудо какое, а Микола на всякий случай на стреме стоял — мало кто пойдет...

Сержант проснулся, вышел из проходной, сказал:

— Иди в холодок, салага. Спать больше не хочется. Можешь читать про свою заграницу.

«Вот спасибо, а то я раньше не мог», — подумал Лешка, но сказал бодро:

— Слушаюсь, товарищ сержант!

Сержант Стаферов был пацан серьезный, с ним лучше не шутить. Генка Ермаков раз объяснял ему что-то про охоту на волка и назвал «дурочка нецалована» (Генка всех так зовет — «дурочка нецалована») — и сразу схлопотал наряд...

Лешка открыл детектив, дошел до первой непонятной фразы, зевнул, поглядел на небо. Странное чтение детектив, и книга и не книга. Вроде бы и слова, и описания, и события, и даже, говорят, язык бывает хороший, а все какое-то чужое, не трогает, все не про то, все не о тебе. Вот хорошая книга всегда о тебе, всегда имеет к тебе отношение, хотя ты не уходил в монастырь, и не пил кальвадос, и не был женат на Китти Щербацкой, а что-нибудь да есть о тебе, что-нибудь трогает, а тут все впустую: убили, искали, поймали...

Лешка поднял голову и обмер: по раскаленной, пустынной улице Ануш вела за руку Анжелу. Он сразу понял, они идут к нему, потому что Анжела махала ему свободной рукой, в которой у нее был учебник.

— Баревдзес! — крикнула Анжела.

Ануш ничего не сказала, остановилась молча — и вдруг протянула Лешке свою маленькую руку, словно бы свернутую в трубочку.

Сержант Стаферов вышел из будки, поглядел строго, но Анжелку не пронять было сержантской строгостью, и она крикнула ему, радостно сияя, как будто увидела близкого родственника или подружку:

— Баревдзес, сержант-джан!

— Джан, джан, не в том дело, что джан,— пробурчал сержант, краснея.— А в том дело, что не положено.

— Это мой учитель,— сказала Анжелка.— Мы с ним занимаемся. Разрешите положено, товарищ сержант?

Все молчали. Ануш потянула сестренку за руку, собираясь уйти, и тогда сержант вдруг поддал голос:

— Ладно. Учитесь. В порядке исключения. А я на шухере постою. На свою ответственность.

— Ой, шат шнуракалем, товарищ сержант! — сказала Анжелка.— А что такое шухер, Леша-джан?

— Шухер — это значит шухер,— сказал Лешка.— Давай твой учебник.

Они занимались с полчаса. Лешка узнал несколько новых армянских слов и показал Анжелке два долгих гласных. Слух у нее был замечательный. Краем глаза Лешка заметил, что губы у Ануш шевелятся, как в ту субботу. Ей, наверно, тоже хотелось повторять за Лешкой английские слова, но она стеснялась. Сержант подошел, послушал, сказал добродушно: «Ну ты даешь, салага!» — и вернулся на свой пост за будку.

Лешка дал девочкам посмотреть свой детектив, и Анжелка почти совсем правильно прочла название со всеми долгими гласными и так далее.

— «Убийство на рассвете»,— перевела вдруг Ануш, и Лешка удивился:

— Вы что, такие слова уже проходили?

— Конечно,— сказала Ануш.— Я же в десятом.— Она покраснела и добавила: — У меня рост маленький. Я в папу. Я на физкультуре последняя стою.

— А чего тебе рост? — сказал Лешка.— В солдаты, что ли, пойдешь?

— В солдаты теперь и маленьких берут,— сказал сержант, выходя из-за угла (он там все слушал, наверно).— Теперь главное, чтоб у война котелок варил.

— Мы пошли,— сказала Ануш и подала Лешке руку лодочкой.

Сержант подошел поближе и протянул Ануш свою грабку.

— Стесьтюн! Шнуракалютюн! — пропела Анжелка.

Она еще раза два оборачивалась и махала им рукой с учебником. Лешка и сержант смотрели вслед сестрам.

— Хорошая чудачка,— сказал сержант.— И пацанка смешная... Но вообще-то я тебя как молодого должен предупредить, что нужна бдительность. Видел такое кино — «Случай с ефрейтором Кочетковым»? Там тоже один вот так на посту варешку раззявил, чудачка ему, видишь, интересная попалась, трали-вали, она его и с бабушкой своей познакомила. А бабушка, понял, бабушка была агент разведки. Там так прямо и говорят в кино: «Это не бабушка. Это акула империализма». Отличное кино.

— Так ты что мне хочешь сказать...— начал Лешка.

— Я ничего не хочу сказать,— оборвал его сержант.— Если б я хотел сказать, я б тебе не позволил нарушение. Тем более сам бы не встал на шухере. А только ты должен знать, что бдительность — это самое острое оружие.

— Слушаюсь, товарищ сержант,— сказал Лешка, вовремя вспомнив, что сержант моложе его на целых полтора года.

— Тут еще до меня один донецкий служил шофером, слышал историю? — спросил сержант.

— Не слышал,— угрюмо сказал Лешка.

Прошел автозвездовский лейтенант с обеда. Лешка с сержантом встали по стойке и отдали ему честь — в шестой раз за сегодняшний день. Лейтенант тоже отдал им честь и пошел к себе в автозвезд.

— Так вот этот шофер донецкий, он с одной армяночкой познакомился, самая, говорят, красивая была армянка во всем городке — как русская. Ну, любовь, конечно, и все такое, а папаша ее узнал — и раз, к командиру части. Вот мировой мужик командир части! Это человек!

— Ты-то откуда знаешь? — сказал Лешка.— Ты же из школы только приехал.

— Как откуда? Старички говорят... Ну вот, командир части вызывает шофера и говорит: «Как ты так можешь, такой-сякой?» А тот говорит: «Любовь». Тогда командир и говорит: «Раз любовь, тем более — местное население и нарушение дисциплины налицо, ты должен жениться». А тот говорит: «Слушаюсь, товарищ полковник». Позвали отца, говорят: «Все в порядке, он женится». Ну тот, конечно, в обморок, потому что у него таких планов не было, он хотел, чтоб его, наоборот, на губу посадили, шофера, и тому подобное... Вот какая была история.

— А ты-то откуда знаешь? — спросил Лешка, но просто так спросил, для подначки, потому что ему тоже хотелось, чтоб такая история была у них в части на самом деле.

— Как откуда? Старички говорят.

— Мало чего говорят. Про меня вон говорят, что я двенадцать языков знаю...

— А ты сколько?

— Нисколько,— сказал Лешка.— Я еще один как следует не выучил.

Привычное чувство горечи вдруг захлестнуло его: все там теперь учатся, все в Москве, дома, ходят в дискотеку, в библиотеку, видят родных, когда хотят, болтают в курилке или пьют кофе, а он, Лешка, неизвестно где служит и когда это все... Пропали годы. А может, и жизнь из-за этого...

Только потом, через много-много лет, далеко за серединой своей земной жизни, Лешка вспомнит это сожаление о потерянных годах и улыбнется снисходительно: эти ли годы пропали, а может, те, когда он, вернувшись, достигал упущенное и на танцплощадке, и в библиотеке или в лингафонном кабинете, движимый тщетною мечтой постигнуть чужой язык, как свой собственный? Или, может, те, когда год за годом носился он по длинным коридорам редакции с пачкой информации в руке? Те, когда влюблялся?.. Или когда день за днем гулял с сыном по мусорным стройплощадкам окраины? Когда переводил толстый, никому на свете не нужный роман?.. Нет, нет, остановись — это все была твоя жизнь. И эти два года тоже.

— Эй, банак!

Лешка обернулся. Старик сторож, карауливший по ночам недостроенную баню, протягивал ему горсть урюка. Ишачок тянул его в сторону, а сторож, едва удерживая веревку, тянулся к Лешке. «Эх, я тоже ишак»,— подумал про себя Лешка и распахнул урюк по карманам.

— Шат шнуракалем, отец!

— Кушай. Кусный,— сказал старик.— Скоро приду свой пост, поговорить будем.

— Приходи, отец,— сказал Лешка, принимаясь за урюк.

В целом ему, конечно, в жизни не повезло и он был несчастный человек — это всякому ясно. Но если рассмотреть каждый момент в

отдельности, то все было еще не так плохо — и южный городок, и население, и капитан Губа из ОВС, и добродушный лейтенант из автотроты, и даже этот малолетка сержант, если его не заводить и если с него самого никто не снимет стружку...

Подъехала запыленная машина с погранпоста. Из кабины выпрыгнул, разминаясь, лейтенант Юра, подошел, похлопал Лешку по плечу.

— Как оно, ничего? Терпи. Скоро заберу к себе. У нас видел как? То-то...

Лешка был один раз в капонире у лейтенанта, разгружая уголь для их казармы. Пост был на самой турецкой границе, среди виноградников. Издали казалось, что он лежит уже на склоне Арарата. Народу там служило немного, и похоже было, что живут они не как отделение, а как одно семейство. Лейтенант Юра был совсем молоденький, очень тихий, даже робкий — трудно было даже себе представить, что он может на кого-нибудь голос повысить. В тот раз, после разгрузки, они с Лешкой заспорили насчет индийского кино, и, хотя Лешка грубил, а лейтенант нес черт знает какую ахинею про это кино, спор их закончился вполне мирно. «Может, ты где-то и прав», — сказал лейтенант. «Лучше говорить — в чем-то», — поправил Лешка. Лейтенант Юра посмотрел на него с любопытством и ничего не ответил. Лешка думал, что он обиделся, но однажды, встретив Лешку в части, возле плаца, лейтенант Юра отозвал его в сторону и сказал: «Я просил, чтоб тебя в наш капонир. Командир в принципе согласен, сказал подождать до присяги, так что еще потерпи». «Мне все равно», — сказал Лешка. «Все равно? — возмутился лейтенант. — Понимал бы ты что. У нас тишина, птицы, виноградники, река. Райские места у нас. Ты еще потом вспомнишь не раз в своем вонючем городе...»

Он и правда вспоминал потом. Все-все вспоминал, и этот разговор тоже. А тогда, во время разговора, он, кажется, ничего не испытал, кроме обиды за свой город, — это ж надо, так обозвать любимую его столицу, по которой он тоскует вечерами. Это потом, вернувшись в Москву, он затосковал по виноградникам Араратской долины, по реке, тишине и птичьему пению. Тосковал так, что однажды чуть не сбежал сюда из Москвы. А не сбежал, может, оттого, что пришла весть про Юру — лейтенанта в живых уже не было. Разбился на машине. Несчастный случай.

— Терпи. Уже скоро, — сказал лейтенант Юра и снова полез в кабину.

Протопали откуда-то из города музыканты. Здоровенный москвич Боря, тоже «старичок», остановился возле Лешки поговорить с земляей. Таджик-барабанщик ждал Борю у ворот, нетерпеливо приговаривая:

— Идем, сачок, идем, асидол мне дашь, пуговиц чистить надо.

Но Боря не торопился.

— Привыкаем? — спросил он у Лешки. — То-то. А я уже скоро в златоглавую. Представляю, как меня вечером увидят парни из музраковины и — кочумай. И танцы! Сто лет не танцевал. Ты ходил когда-нибудь в садик Б, москвич?

— Где это?

— Один выход на Карла Маркса, другой — на Басманную. Там вечерами...

Борина гимнастерка скрутилась жгутом у него на пузе, и Лешка попытался ее расправить.

— Э-э-э, оставь, — сказал барабанщик. — Человека менять трудно. Возьми девчонка, пятнадцать лет девочка, уже ничего делать нельзя, уже настоящий женщина... Эй, Боря, пошли, мне асидол давать будешь.

Оставшись один, Лешка стал думать о том, какая будет Ануш взрослая. Он не мог себе представить, что она будет другая. А какая она сейчас? Лешка совсем мало знал о ней, тем легче было придумать все, что ему нравилось.

Стемнело. Сержант приказал зажечь фонарь над воротами. Заморгали и вспыхнули лампы дневного света над плацем. Стало прохладней, однако все еще тянуло от кустов над канавой особым, никогда Лешкой не слышанным раньше ароматом цветов.

Сторож-армянин заступил на свое дежурство. Он обошел яму, оглядел остатки стройматериалов, потом присел рядом с Лешкой.

— Запах какой-то, — сказал Лешка.

— Пшат. Раньше времени зацвел. Потом ягода будет. Очень интересный ягода. Такой ягода нигде нет. Ягода будет. Весна будет. Потом виноград будет. Потом домой поедешь. Девушка будет. Любовь будет. Тебе много ждать можно. У тебя потом долго-долго будет. Сейчас мало-мало терпеть можно. Хорошо ждать... А мне совсем мало осталось, потом долго-долго другое будет. Может, ничего не будет. Так что и мне терпеть можно. Нечего ждать — тоже хорошо. Живу вот, смотрю. Внук растет. Дудук играет...

Дудук надрывался у соседей за каменной оградой.

— Свадьба, — сказал Лешка.

— Да, свадьба... Пойду. Чуть-чуть ходить буду, смотреть буду.

Лешка остался один. Услышав чьи-то неверные шаги, он встал. Нет уж, шалишь, никто к нему не подкрадется. Да и кому красться? А может, офицер крадется для проверки бдительности. Лешку не проведешь. «Старички» рассказывают — офицер подкрался к часовому-салаге, а часовой кричит: «Стой, стрелять буду!» Чуть не убил офицера. Да еще был награжден: десять суток без дороги — отпуск. Бывает же такое счастье.

Но никто к Лешке не подкрался. Проковылял пьяный сосед-сапожник. Разглядев Лешку, зашел: «Намак стащи...» «Стащи» — это «получил». Надо спросить Анжелку, что такое «намак». А может, спросить Ануш?

На улице появилась свадебная толпа. Впереди тощий парень нес огромную бутылку вина, накрытую стаканом. Свадьба остановилась перед Лешкой. Тощий налил вина в стакан, протянул Лешке. Лешка покачал головой.

Молодой парень в модной куртке, в брюках х/б и новых кирзовых сапогах вылез из толпы и отвел руку со стаканом.

— Ты что? — сказал он. — На службе пить нельзя. На службе это нельзя, то нельзя — трудное дело служба. Терпи, друг. Потом все забывается, думаешь — эх, хорошее время служба. Будь здоров, друг.

Свадьба двинулась дальше. Лешка обернулся, увидел в дверях караулки сержанта Стаферова.

— Друг... Тоже мне друг, — сказал сержант сердито. — У меня таких друзей за Араратом много.

Лешка понял, что сержанту хотелось выпить вина. Выпить нельзя, вот он и злится.

— Иди спать, москвич, — сказал сержант. — Я постою.

Огромная луна встала над городком, посеребрила склон двугорбого Арарата. Луна была видна через окно... Командир отечески похлопал Лешку по плечу, но сказал строго: «Раз такое нарушение дисциплины, ты должен на ней жениться, на этой Ануш». «Слушаюсь, товарищ командир!» — бодро сказал Лешка, окончательно засыпая. Но и во сне что-то его тревожило. Может быть, луна в окне караулки. Может, томительный запах пшата.

БОРИС ВАСИЛЬЕВ

★

ВЫ ЧЬЕ, СТАРИЧЬЕ?

Рассказ

1

Жизнь Касьяна Нефедовича Глушкова — естественно, в порядке исключения — развивалась не по спирали, а кольцеобразно, и старость аккуратно совпала с детством. Не по уму-разуму, а по странному присутствию беспомощной наивности, которая при почтенной седине выглядела вполне замшелю. Одним словом, каким бы заветным то слово ни было, человека не выразить. Однако если представить некое сито, ссыпать в это сито все особенности, черты и черточки характера да потрясти, то в сите оказалась бы наиболее крупная частица, и применительно к деду Глушкову частица эта определилась бы, пожалуй, так: созерцатель. Мы как-то утратили такое понятие в быстротекущей жизни нашей, а потому хотелось бы напомнить, что Владимир Даль в «Толковом словаре» определяет особенность подобных людей как способность обращать внутрь, в себя всю деятельность, противопоставляя им эпитеты «дельный», «деловой», «жизненный», «практический» и тому подобные. Касьян Нефедович был вполне жизненным, но отнюдь не деловым, а тем паче не практическим. Обладая зловещей способностью обращать какую бы то ни было деятельность внутрь самого себя, он не только не думал о том, над чем в данный момент трудятся его руки, но и не знал, куда несут его ноги. Сказать, что при этом он размышлял над чем-то, значило бы возводить на него напраслину: он решительно ни о чем не размышлял — он созерцал. Не разглядывал что-то конкретное, не слушал нечто одному ему ведомое, а всем существом своим воспринимал и увиденное, и услышанное, и ощущаемое. Он впитывал в себя мир целиком, не пытаясь анализировать данность или делать из нее какие-то выводы. Когда работал в колхозе, лошадь шла, куда ей заблагорассудится; когда низведен был на должность пастуха, скотина блукала по окрестностям; и даже в армии, в которую был призван в угрюмом сорок втором, не утратил способности впадать в непонятную протрацию при самых жесточайших бомбежках.

— Спишь, Глушков?

А он не спал и не собирался спать: он не мог иначе. Просто не мог, как иные до седых волос не могут удивиться стихам или рассмеяться во все горло. Но поскольку ни он сам, ни какие бы то ни было медицинские светила феномена Касьяна Глушкова объяснить не смогли, началась чехарда, и Глушков за полста трудовых лет сменил несметное количество профессий, должностей, служб и работ. Упоминать их все было немислимо, никакая трудовая книжка их не вмещала, справок Глушков отродясь нигде не брал, а если давали, то либо терял, либо сами эти справки куда-то девались совсем уж непостижимым образом. И кончилось тем, что по достижении им серьез-

ного возраста последнее его руководство с великим облегчением отправило деда на заслуженный отдых с пенсией, цифра которой полностью отражала всю его служебную деятельность, но в обратной пропорции. Однако Касьяна Нефедовича пропорция эта не смутила и потому, что к деньгам он относился с тем же созерцательным спокойствием, и потому, что был крайне нетребователен к благам житейским, и потому, наконец, что в то время еще имел супругу, а значит, был сыт, одет и обут.

Женщины вообще питали к Глушкову слабость. Они всячески привечали его, жалели и подкармливали без всяких задних мыслей, как жалели бы и привечали ребенка. Инстинктивно чувствуя белизну его души, они безошибочно угадывали в нем и отсутствие целеустремленности, а потому и не пылали страстью. И только его родная и единственная Евдокия Кондратьевна любила его целиком, каков он есть. Она никогда не корила его, не досаждала поучениями, все понимала, все принимала, одна волокла семейный воз и в конце концов надорвалась.

— К Зинке поезжай,— через силу сказала она. — Пропадешь.

А он глядел в ее одутловатое, синюшное лицо, покорно кивал, моргал выцветшими глазками и кулаком утирал слезы. Ему было больно, страшно и пусто, но даже сейчас, слушая последний шепот последнего любящего его человека, он — созерцал. Созерцал смерть во всем ее жутком облики, а не прощался с той, кого забирала она из его уютной, нелепой, всеми ветрами продутой жизни.

— Пропадешь...

Таким было прощальное слово Евдокии Кондратьевны, и Касьян Нефедович уловил не смысл его, а — место: последнее, как завет. И согласно завету написал Зинке бестолковое письмо. Писал он его на почте, куда пришел прямехонько с кладбища. Тыкал после каждой буквы ученической ручкой в чернильницу, шмыгал носом и очень боялся, что почтовые девушки, известные своей непреклонностью, обязательно выгонят его, не дав дописать, потому что на часах было уже без десяти шесть, дверь на запоре, а работники — за подсчетом выручки. Поэтому он, шесть раз написав, что «покойная маменька ваша Евдокия Кондратьевна перед смертью кланяться велела», так ни разу и не упомянул, что ему-то самому велено не просто написать Зинке, а перебираться к ней доживать свой затянувшийся век.

Правда, написал он так не только со сгеху, но и потому, что видел эту самую Зинку всего раз в жизни. Пять лет назад, когда его единственный сын Виктор привез ее на показ родителям. Привез вечером, увез утром — вот и все знакомство, и Касьян Нефедович никак не мог вспомнить ее лица. А сын Виктор через полгода после смотрин в непотребном виде попал под грузовик, и осталась одна ниточка между Зинкой и Касьяном Нефедовичем: Славик. Викторов сын и Касьянов внук.

Тут дверь хлопнула, и кто-то за его спиной встал. Дед испугался, что гнать начнут, еще ниже пригнулся и еще тише пером заскрипел. А уютный женский голос сказал:

— Царствие Дусе небесное. Может, ко мне переедешь? Дом большой, а нас трое всего: я, дочка да внучка. А где трое, там и четверо.

Оглянулся Глушков: Анна Семеновна позади, Нюра. Соседка и давняя знакомая: босиком вместе бегали. За дочкой, видно, зашла: дочка у нее на телеграфе работала.

— Вот Зинке пишу. Велела.

— Поезжай,— вздохнула Нюра. — А не уживешься, обо мне вспомни.

— Мать! — крикнули. — Ну чего он там? Закрываем!

Написал старик адрес, клей слезами размазал, опустил письмо в

ящик и пошел в опустевший дом, не зная еще, что через десять дней продаст он его на дрова и отправится за четыреста с лишком верст в город, где жили незнакомая Зинка и ни разу не виданный им внучок Славик.

Багаж был невелик: старый чемодан со стариковским нарядом и корзинка с гостинцами. Зинке Касьян Нефедович вез материи на платье да старушечью теплую шаль, которые обнаружил в сундуке под совсем уж никчемным тряпьем, а Славику — зеленого надувного крокодила почти что в натуральную величину. Поверх подарков лежали два десятка сваренных вкрутую яиц и три оципаных курицы — единственная стариковская живность, зарезанная недогнущей рукой вовремя похмелившегося бригадира. Вещи стояли под лавкой, поезд скрежетал и раскачивался, попутчики дремали, а Касьян Нефедович созерцал. Созерцал путешествие, купе жесткого вагона, темноту за окном и собственную жизнь, что катилась сейчас — он чувствовал это — по последнему этапу к последнему прибежищу.

2

...— Касьяшка! Касьяш, за гумнами большака расстреливают!

Рябой мужичонка в драной рубахе и холщовых подштаниках деловито копал могилу. Земля была сухой, неподатливой, а он рыл и рыл, оглаживая стенки и подбирая со дна осыпавшиеся комья. Ему было жарко и от солнца и от старательной этой работы, он взмок, и пот темными кругами полз по рубахе от подмышек к костлявому хребту. А перед ним стояли шестеро солдат, что оставили белые при старосте, сам староста, священник отец Поликарп, мужики, бабы да ребятишки — вся деревня, словом. И пекло солнце, и копал большак могилу, и было тихо. А потом большак высунулся из могилы — она по грудь ему была — и спросил:

— Может, хватит?

Молчали солдаты, староста, священник отец Поликарп, мужики, бабы и ребятишки. Вся деревня молчала, потому что никто не знал, хватит или не хватит и сколько вообще земли положено при расстрелянии. И кто должен это решать, тоже еще не знали.

Большак опять покопался, поскреб лопатой, а потом вылез. И сел на свежий бугорок.

— Сильно земля у вас крутая.

Молчала деревня. Большак вытер лицо подолом рубахи, вздохнул:

— Испить ба.

Враз трое молодух из толпы брызнули. Одна — к колодцу, две — по погребам. Пока первая бадьей гремела, две другие уж из погребов вынырнули и к большаку все три подошли одновременно: с водой, с молоком и с квасом.

— Спасибо, бабоньки, — сказал он и попил всего понемногу. — Вода у вас вкус имеет. Молочко отстоялося, холодненькое. А квасок-то, квасок — аж душа просветлела. Храни вас Христос, бабоньки.

И опять на землю сел, им же нарытую. Глядел на всех светло-голубыми глазами и виновато улыбался.

— От работы вот отрываю вас. Совестно.

— Обождите, — сказал тут отец Поликарп и шагнул вперед. — Может, никакой ты не большевик, а? Отвечай как на духу.

— Нет, батюшка, я есть большевик, хоть нигде и не записанный. Я слова товарища Ленина народу передаю и так считаю, что землю надо сызнова поделить. Поровну. По едокам, конечно.

— Агитация, — строго сказал староста. — Таких стрелять велено.

— Велено, значит, надо сполнять, — согласился большак. — Где встать-то мне?

— Да погоди ты! — закричал отец Поликарп. — Может, миру покаешься?

— Покайся! — загудели мужики. — А мы постегаем для порядку. Покайся, а? Сделай милость божескую, не вводи во грех.

— Спасибо, мужики, на добром слове, — улыбнулся большак и поклонился миру в пояс. — Только не могу я против совести. Надо бы все наделы по едокам обратно переделить. Поровну. Чтоб всем жизни по ровному ломтю отпущено было, чтоб у ребятишек животы с голодухи не пучило и чтоб бабы наши не старились бы к тридцати своим годкам.

Так сказал большак, и все бабы тихо заплакали, аккуратненько собирая слезы в концы головных платков.

— Агитировашь — значит, застрелить тебя придется, — вздохнул староста. — Вот морока! Может, самогоночки примешь для облегчения?

— Не могу, ты уж не серчай, — вежливо отказался большак. — У меня с ее голова по утрам болит.

— Так не будет же утра-то! — закричал тут староста. — Не будет, не будет!..

Помолчал большак. Потом улыбнулся, и глаза его светло-голубые тоже улыбнулись. С ним вместе.

— Будет, — сказал. — Обязательно даже будет. Это меня вы застрелите, а утро — нет. Не застрелишь утра-то, мужики вы мои милые. Хоть из тыщи ружей в него стреляй — не застрелишь...

...Может, так, а может, и не так убивали первого большевика в жизни Касьяна Глушкова. Он ведь и тогда не смотрел, а — созерцал и помнил не детали, а ощущения. И ощущений этих было два: большевик смерти не боялся, а Россия казнить не умела.

А поезд летел сквозь ночь и ветер с громом и скрипом, как летела когда-то сорвавшаяся с корней своих сама Россия на перегоне от станции Вчера до станции Завтра. И не было света ни за окном, ни в вагонах, и не было тепла ни там, ни тут, и уже не было прошлого, и еще не виделось будущее. И только вера в это будущее светила людям и согревала их.

3

— Двадцать два с полтиной — и вся пенсия? — тихо спросила Зинка.

Оказалась она узловатой и безулыбчивой: таких и хмельные мужики за три улицы обходят. Смотрела тускло и так, будто все кругом ее загода ненавидели, а говорила почти что без голоса. От этого безголосья Касьян Нефедович ежился пуще, чем от ухватов, по опыту зная, что за бабым тишком такой скрывается грохот, крик и несурязица, какие и штрафная рота не натворит.

— И вся пенсия? — спросила.

Дед Глушков готов был провалиться сквозь все недра земли. Он привык считать, что пенсия — это так, вроде подарка под конец жизни, а цену подарка не спрашивают. Но тут спросили, тихо спросили, и Касьян Нефедович сразу почувствовал себя виноватым и в пенсии, и в одиночестве, и в сиротстве, и в том, что до сей поры не улегся еще на погосте. И сказал:

— Колхозная она.

— Так и колхозникам увеличивали, читала я.

— Оно конечно, увеличивали. Только колхозу-то боле нету. Он теперь — ферма при совхозе. А совхоз — другого района. А район...

— Ладно, — отрезала. — На кефир хватит. Кефир, он старичкам полезный.

Обрадовался Глушков: кефир так кефир, только б не выгнала. Засуетился, чего-то про район рассказывать принялся, но Зинка сразу ушла к соседям, и пришлось вместо рассказа надувать Славику крокодила. Полкомнаты зверюга заняла.

— Вот и спи на нем,— сказала Зинка, отревевшись у соседей.

Пугала, правда. Время пришло, и тюфячок на пол постелила и подушку с одеялом дала. Свернулся дед в углу за столом, накрылся с головой и храпанул в свое удовольствие, пока Зинка ногой не ткнула.

— Выгоню. Захрапишь еще — сразу выгоню.

С той поры пришлось Касьяну Нефедовичу со страхом спать вместо храпа. Однако и тут приспособился: при первом звуке своим просыпаться выучился раньше Зинки и глушить звук подушкой. И все пошло гладко и все пошло мирно; под горку пошло вместе с последними годочками. До одного субботнего вечера и разговора с Зинкой и соседом Арнольдом Ермиловичем. Этот Арнольд Ермилович вместе с женой занимал меньшую комнату в их двухкомнатной квартире и ожидал прибавления в семействе. Он работал на ремонтном заводе, где и Зинка, но имел образование и стремление к справедливости.

— Подсобницей в магазин предлагают,— сказала Зинка.— Деньги зарабатую, квартиру кооперативную куплю — так и замуж возьмут.

Дед играл с крокодилом и Славиком, когда Зинка вошла с соседом. Сосед курил и пока молчал, а зачем пришел — было непонятно.

— Хорошее дело,— сказал Касьян Нефедович.

— Шестьсот рублей просят за оформление.

Глушков молчал, хотя уже что-то почувствовал. Неладное что-то.

— Без денег магазин не оформит, дураков теперь нету,— продолжала Зинка. — А мне замуж надо.

— Замуж — дело справедливое,— поддержал сосед. — Пока молада.

— Шестьсот рублей,— вздохнула Зинка. — Нельзя такое место упускать, я с него через год кооператив куплю.

Дед понимал, что жмут они на него, но не понимал зачем. Отродясь он таких денег и в глаза не видывал и считал после сотни сразу «много».

— Так где же? Нету же.

— Есть,— тихо не согласился Арнольд Ермилович и ногтем сбросил пепел с сигареты. — Есть у вас, товарищ Глушков, такие деньги.

— Так как? — растерялся Касьян Нефедович. — Так нету ведь.

— Есть,— повторил сосед. — Вам как фронтовику пенсия положена, а вы ее не оформляли. Вот оформите — и деньги выплатят по полной справедливости.

— Так по справедливости я и не должен,— забормотал дед, для убедительности прижимая к тощей груди сухонький кулачок. — По справедливости я же в обозе, я же и стрелять-то не стрелял, и в меня разве что бомбы да если из пушек. Это же тем положено, кто кровь свою отдавал, которые с врагом сражались, когда я пшеничный концентрат возил. Это же им...

— Все,— уронила Зинка. — Готовь бумаги, сама тебя в военкомат отведу. Там разберутся, что тебе положено.

Все было решено, и напрасно дед Глушков вякал несогласия. Зинка с соседом проверили все его бумажки, раздобыли чего недоставало, и Зинка лично отконвоировала Касьяна Нефедовича в военкомат. Шел он в него, как на казнь, потому что твердо был убежден, что не имеет права ни на какие деньги, и все в нем бунтовало. И он не знал, как от Зинки отвязаться и что вообще делать.

— На второй этаж вам, товарищ фронтовик,— сказал красивый дежурный лейтенант. — А вы тут обождите, гражданочка.

Дед поднялся на второй этаж, нашел мужской туалет и два часа

просидел на толчке. Потом спустился к терпеливой Зинке и, запинаясь, объявил, что ничего ему не положено. Зинка промолчала и пошла не оглядываясь, а дома устроила скандал с криком, слезами и одной разбитой чашкой. И старик не просто все перетерпел, а упрямо талдычил, что тем, кто пшено возил, нечего и зариться на государственные рубли, что никакие они не фронтовики, а участники и что участникам никаких благ не полагается. Он проговаривал это тихо, но отчетливо и очень упрямо, хотя ему было так страшно, что тошнило под ложечкой и ноги вот-вот могли, свободное дело, в коленях обломиться. Не Зинки он боялся, конечно, не криков ее, не разбитой чашки (она все равно треснутая была, чашка эта, и чай из нее выливался), а боялся услышать, чтоб «вон ступал, откуда приехал». Одиночества дед Глушков очень боялся и бесприютности грядущей, но страху наперекор свое бормотал — и победил. Поплакала Зинка, кричала, дармоедом пять раз обозвала да и махнула рукой и на него и на денежную должность при магазине, за которую просили немислимые шестьсот рублей.

Помаленьку все и образовалось... По утрам пил старик свой кефир, отводил Славика в садик и начинал хождения из одной очереди в другую. Тащил домой что выстоял, варил себе супчику или — если доставал, конечно, — творог ел с молоком, дремал немного и топал за Славиком. А там и Зинка с работы приходила, и ужинали они уже втроем. И все шло хорошо, и занятие было, и пенсии вроде хватало, и даже Зинка иногда улыбалась. И старик написал в деревню Анне Семеновне письмо, как все замечательно устроилось и что живет он со своей Зинкой душа в душу и очень рад, что в город перебрался. Все было хорошо, только сосед Арнольд Ермилович все чаще намекал, что не худо было бы Зинке выйти замуж и что для этого непременно надо ей построить собственную кооперативную квартиру. Конечно, свою он цель преследовал: жена прибавления ждала, а метраж не увеличивался и мог увеличиться только за счет присоединения Зинкиной комнаты. Так Арнольду Ермиловичу в жилуправлении намекнули (свой человек сидел, земляк), и так он действовал в соответствии с этим намеком.

— Завербовалась я, — объявила в конце концов Зинка. — На Крайний Север завербовалась: там полярные платят и еще я, может, судомойкой устроюсь или в магазин какой. И будет у меня квартира. Но пока одна я туда поеду, а вы тут со Славиком живите дружно.

Зануло сердце у Касьяна Нефедовича, в предчувствии зануло, да так, что ночь он не спал. А утром решил:

— Может, вместе поедем? Вместе оно...

— Чего? — спросила. — Молчи уж. Концентрат.

Через месяц и впрямь уехала, оставив деду денег, круп да картошки и расписание, когда Славика спать укладывать, когда мыть, когда в садик вести. Проплакала вечер, посидела перед дорогой, обцеловала сына — и канула.

Грешным делом, дед Глушков думал, что навсегда она канула. Что подбросила ему внучонка, а сама за новым мужем припустила в края, бабьем небогатые. Но — ошибся: через полмесяца письмо пришло. Зинка благополучно при заполярном магазине устроилась, но живет в общежитии, а потому и забрать их пока не может. Вот сдадут дом к майским праздникам...

Ах, как Касьян Нефедович этому письму обрадовался! Не забыла, значит, помнит, думает о них, а что пока нет возможности, так это не беда. Вот сдадут дом...

Только вместо майских радостей вышло огорчение. Приехал мужик с того дальнего Севера, привез немного денег и письмо. Отдал все деду и, пока тот к дочерку присматривался, сказал Славiku:

— Собирайся, пацан. На самолете с тобой полетим. К мамке.

— А я? — спросил Касьян Нефедович и обмер.

— А про тебя, дед, мне не сказано. Какое в письме разъяснение?

В письме разъяснение имелось: не сдали строители дом к майским и отложилось все до ноябрьских. Но насчет Славика Зинка в общежитии договорилась, а деду Глушкову предлагалось ждать. То ли вызова, то ли когда строители дом сдадут, то ли смерти собственной. И ждать в полном одиночестве, поскольку увез тот полярный мужик внучонка Славика прямо на следующий день.

4

Говорят, жизнь потому дорожает, что не относится она к предметам первой необходимости. Так оно, может, и есть, а только привыкаем мы к своей стариковской жизни, как к старому пиджаку: немодно, да уютно, тепло и расстаться жаль. А если бы не привычка — гори она синим пламенем, такая жизнь. Но Касьян Глушков так не думал и на соседнем пустыре обнаружил вскорости прекрасную почву для оптимизма.

Почва эта возникла на основе всенародной борьбы за всенародную трезвость, в связи с чем в городе позакрывали все точки, где человеку с нормальной зарплатой можно было бы хоть сидя, хоть стоя выпить свои боевые сто граммов. Тогда и начались поллитры на троих с приемом на воздухе и рукавом вместо закуски, и опустошенные бутылки лихо летели в пыльную траву пустыря. Вот их-то и приловчился выискивать обреченный на непонятное ожидание Касьян Нефедович.

Наиболее урожайными были два периода: послеобеденный и послерабочий. Послеобеденное время давало меньше водочных, но иногда подкидывало кефирно-молочные, редкие на запынцовском том пустыре, как матерые боровики. Вечерняя страда аккуратно поставляла винно-водочную тару, и дед ходил за нею с кошелкой, как по грибы. А потом сдавал в магазин по гривеннику с горлышка, поскольку продавщице тоже жить надо. Дед воспринимал это со свойственной созерцателям праздничной бездумностью, но иногда удивлялся, почему же он раньше-то никогда ничего не обнаруживал, кроме битой посуды? Тут было нечто мистическое, но дед Глушков твердо знал, что бога нет. И оказался прав абсолютно: причина в конце концов обрела материальную структуру и встретила деда такими словами:

— Так вот какой вредный гад колоски с моего поля скусывает!

На глыбе под строительный шумок слитого на пустыре асфальта, о которую несознательные били посуду, сидел кряжистый старикан об одной руке. Старикан курил папиросу и ругался скверными словами.

— Вот гады, до чего разложились! Поболеть не дадут: сразу скок на твою делянку, понял — нет? С кошелкой наладился, гад ползучий, паскуда недокулаченная, вредитель недострелянный!

С этими словами неизвестный старикан цапнул своей единственной, а потому особо длинной и особо цепкой рукой личную дедову кошелку и рванул к себе. Дед ее не отдал и молча тянул на себя, а старикан с руганью — на себя. Старикан был покрепче, мотал деда как хотел, но рука у него все же была только одна, а у деда две, и в сумме получался баланс. Ругательный старикан сообразил это, перехватил деда за грудки и начал его вертеть.

— Сейчас я тебе покажу, как на чужом гектаре воровать! — орал он, приправляя каждое слово перцем, который придется опустить. — Сейчас бить тебя буду, понял — нет?

Касьян Нефедович сперва испугался, но старикану бить было особо нечем. Единственной своей рукой он держал его за грудки, а

если бы отпустил, дед задал бы стрекача. Отпускать было нельзя, и вредный старикан то пытался боднуть Касьяна Нефедовича, то принимался лягаться, но дед Глушков реагировал на эти выпады, как профессиональный боксер наилегчайшего веса, и все попытки шли впустую. Попрыгав, старики утомились и сели рядом, тяжело отдуваясь.

— Ладно, ставь бутылку,— смилоствовался старикан. — Может, и тебе глоток дам.

По причине отсутствия в груди воздуха дед Глушков только потряс пальцем. Но потряс выразительно.

— Рублевкой отделаться хочешь?

Дед кивнул.

— Ну хрен с тобой,— неожиданно согласился законный владелец золотой жилы. — Я тебя опосля пристукну. А пока до плодывогодного доплату добровольно. Понял — нет?

За плодывогодным и познакомились, а познакомившись, разговорились, а разговорившись, расстались друзьями. И кто знает, как повернулась бы дедова судьбина, если б не эта встреча, не смертный бой за дивиденды и не братский пир после этого боя.

5

Завсегдатаи пустыря звали Павла Егоровича Сидоренко Багорычем. Кличка эта возникла отнюдь не из-за сходства единственной руки старикана Сидоренко со всамделишным багром: просто вечно куда-то поспешающий Сидоренко на вопрос, как его зовут, отвечал: «Пал Егорыч». Это «Палегорыч» естественно превратилось в «Палгорыч», а затем окончательно упростилось до Багорыча. В прозвище было много добродушного благорасположения к шумному деду Сидоренко, которого знали все, кроме застенчивого и нерасторопного Касьяна Нефедовича.

Павел Егорович Сидоренко встретил революцию босоногим парнишкой, как и Касьян Нефедович, но вынес из того обжигающего времени не удивление, а митинг. Он яростно и громогласно бичевал все, что, по его разумению, мешало мировой революции или могло бы когда-нибудь помешать. Исходя из этого, он воевал с попами и лавочниками, гнилыми интеллигентами и бывшими меньшевиками, с троцкистами и бухаринцами, перерожденцами и кулаками. Кипятился он не по природной злобности, а по природной кипучести и свойственному лично ему пониманию текущего момента. С возрастом немного притих, женился, сбежал от жены подальше, вступил там в колхоз и вскоре ударной работой прогремел на весь Союз. И в страду тридцать девятого, подавая снопы в молотилку, угодил левой рукой в самый ее зев.

Потеря руки тяжело ударила по Пал Егорычу, но запасы кипучести были еще достаточны и воспрял он быстро. Выучился управлять одной правой, по-прежнему числился в передовых и действительно работал на совесть. И все было бы славно, да подкатил сорок первый — и вскоре Сидоренко остался в колхозе единственным мужиком. Олицетворением силы, порядка, справедливости, смысла жизни, завтрашней сытости и завтрашней победы. Он стал символом, но для символа оказался слишком прозаичным и настырным. Это привело к тому, что хотя он и не до конца развалил колхоз, зато развалил не одну семью. Пока шла война, его беспутства кое-как терпели, но стоило вернуться двоим не окончательно искалеченным мужикам, как Сидоренко попросили с должности. Район утвердил нового председателя, вкатил Пал Егорычу строгача и назначил заведовать горюче-смазочными материалами в то самое горючее время, когда среди хозяйственников вдруг возникла мода работать по принципу «ты —

мне, я — тебе». И на этих горючих материалах и в том горючем времени Павел Егорович Сидоренко погорел окончательно и бесповоротно. Притишел, ничего уже больше не требовал и добровольно подался на пенсию по старой своей инвалидности.

Поначалу ему хватало этого установленного еще до войны пособия. Но вскоре старикан Сидоренко с удивлением обнаружил ножницы в собственном бюджете, поскольку расход рос сам собою, как чирей на шее. Пал Егорыч помудрил, то складывая, то вычитая, но жизнь стремительно взмывала в небеса, а пенсия по-прежнему оставалась на земле. Багорыч покрутился еще немного, а потом махнул рукой на самостоятельность и ринулся разыскивать давно потерянных родственников. Многих он перебрал и по расчету, и по несогласию, и по вздорности характера. С родным сыном люто переругался, объявил сгоряча, что едет в Сибирь, но вместо Сибири оказался у последней своей внучки Валентины. Устроился сторожем да и примолк, потому что Валентина имела характер, ценила независимость и любила своего с дымом, чадом и треском догоравшего деда. И он, почувствовав то, от чего уж отвык, привязался к своей Валентине, как никогда и ни к кому не привязывался. Как привязывается бездомная собака, после долгих мытарств обретшая конуру, миску супа и хозяина.

Так начался последний перегон его крикливой, куда более чужими, чем своими слезами омытой жизни. От старого остался в нем кураж на людях, бранчивость, бестолковая суматошность да тяга к выпивке. Валентине старался не докучать, помогал чем мог, ни пенсионных, ни сторожевых своих денег на бутылку не тратил. Завел на пустыре знакомства, носил в кармане стакан, научился разливать «по булькам», чем и зарабатывал себе на глоток. Похабничал, ерничал, суетился и окончательно утвердил за собою прозвище Багорыч. И катилась его жизнь как по рельсам, да сошлись эти рельсы с путем Касьяна Нефедовича Глушкова. Сошелся Шустряк с Созерцателем, и не только не загасили они друг друга, а сложились в новую силу, равную двум стариковским мощностям.

6

Старикан Пал Егорыч обладал двумя важнейшими житейскими преимуществами: работой и жилплощадью у родной внучки. Работа не так потрясла деда Глушкова, как персональная внучка, которой ругательный Сидоренко очень даже гордился.

— В меня! — орал он на пустыре, гулко тюкая кулаком в собственную грудь. — Плодовыгодное дощем — и покажу. Вся как есть и ндравом и характером.

— Может, потом лучше? — робко сомневался Касьян Нефедович, помяя неулыбчивую свою Зинку. — Винцом от нас это... Унюхает.

— Кто унюхает? Валька унюхает? — презрительно щурился Багорыч. — Сказано, в меня она. Вся в меня, понял — нет?

Тут старикан Сидоренко сильно бахвалился, потому что внучка его была, как говорится, ни в мать, ни в отца, а в проезжего молодца. Кроме решительного характера, природа наделила ее свойством с первого взгляда нравиться мужикам, однако не настолько, чтобы тут же предлагать руку. Несколько раз основательно споткнувшись об эту странную преграду, Валентина отрevelась и приняла данность философски. Упрятав надежду выйти замуж в дальние закрома души, никакими условностями себя более не связывала, решив брать от жизни то, что сумеет. Скандалы, которые временами сопровождали очередные Валькины похождения, были шумны и энергичны, и если судить по ним, то она и впрямь удалась в своего деда Сидорен-

ко. Но скандалы проходили, а Валентина ни на атом не теряла своей веселой и щедрой доброты.

Квартира у нее хоть и отдельная была, но однокомнатная, малогабаритная. Старикан Сидоренко спал здесь же на раскладушке — если не дежурил, конечно, — и ночевать с возлюбленным было уютно. А потому, втроем отужинав, Валентина заводила будильник с расчетом, чтобы через два часа зазвонил, и командовала:

— Гулять, дед! Время усек?

— Усек, — подтверждал дед, клал будильник в карман и сматывался.

Дед сторожил свой склад с восьми вечера до восьми утра раз в трое суток и уходил в ночные прогулки тогда, когда он, понятное дело, торчал дома. Но Валентина его расписание в голову не брала, сообразуясь с собственными желаниями. И коли уж пожелаала, то никауда желание свое не откладывала, а отправляла деда на улицу, снабдив будильником.

Не всегда, правда. В непогоду — в дождь там, мороз или в какую еще мерзость — жалела. Ставила будильник перед дедом на кухне и давала книгу:

— Читать будешь, покуда не зазвенит.

Книгу одну и ту же давала, «Автоматизация ликвидации отходов» называется. И старикан настолько Вальку свою любил, настолько радовался, что хорошо ей, что счастлива она хоть два часа этих, что осилил-таки книжку. Все теперь про ликвидацию знал. А случайного знаконца, с которым сперва подрался, а потом бутылку распил, Сидоренко не потому приглашал, что дед ему понравился, а потому, что очень уж похвастаться внучкой хотел. Похвастаться перед бобылем брошенным и тем самым возвыситься хотя бы над ним. Над маленьким, смиренным созерцателем Касьяном Нефедовичем Глушковым.

— Вся в меня внучка, понял — нет? Вот сам поглядишь.

Поглядеть деду Глушкову очень хотелось, но человеком он был застенчивым, а потому долго отказывался. Отказывался и боялся, что крикливый Сидоренко согласится и не покажет ему своей райской обители из отдельной квартиры, личной внучки и родственного согласия. Но Багорыч и сам горел нетерпеливым желанием продемонстрировать собственную жизнь, и они по-зряшному препирались на том пустыре. Потом поладили, купили в складчину еще одну бутылку плодово-ягодного для семейного ужина и пошли. И чем ближе подходили к дому, тем все меньше и тише бахвалился Пал Егорыч, а когда вышли на последнюю прямую, то и вовсе замолчал. Но дед Глушков созерцал собственные сомнения, а потому привычно не заметил сомнений нового приятеля.

А старикан Сидоренко примолк по той причине, что начал подсчитывать, когда же он в последний раз два часа гулял по улицам. Выходило, что давно, а это означало, что Валентина вполне могла сегодня испортить задуманную им демонстрацию уюта и согласия. И старикан Сидоренко впервые в жизни ругал про себя свою внучку и с каждым шагом мрачнел все больше.

А Касьян Нефедович ничего не замечал. Он радовался, что его в кои веки пригласили в дом, где есть женщина, а значит, есть уют, тепло, внимание — и ужин. Он так стосковался по настоящему ужину на своих кефирах, что от одного только представления его тоже обдавало жаром, а в животе урчало и сладко посасывало.

Вот с какими разными мыслями приближались они к дому, где жил Пал Егорыч с законной внучкой своей Валентиной. Один весь в жару плыл от мысли, что внученька на порог укажет, другой в таком же жару — от ужина, который могли приготовить только женские

руки. И потому Глушков улыбался, а Сидоренко мрачнел. Мрачнел, мрачнел, а возле самого подъезда брякнул:

— Доставай плодывогдное.

— Это зачем же? — удивился Касьян Нефедович: в его кошелке бутылка перекатывалась.

— А затем, что тут выпьем — и по домам. Отменяю знакомство.

Загрустил дед Глушков. Уж очень ему хотелось тепла семейного и ужина, женскими руками сготовленного и на стол поданного. Загрустил, но виду не показал. Достал бутылку, улыбнулся понимающе:

— Врешь, стало быть.

— Чего? — насторожился Багорыч.

— А того, что нету у тебя никакой внучки. Была бы — показал.

Похвастался бы.

— Ах нету? — взревел старикан от пронзительной этой обиды. — Нету, значит? Ах ты, ах... Держи бутылку. Держи, кому говорю! И за мной шагай. Третий этаж, квартира тридцать восемь...

7

— Славный старичок! — улыбнулась Валентина. — Ты чей будешь?

— Ничей, — хмуро пояснил Багорыч. — Бросили его.

— Бросили, значит, — вздохнула Валентина и лысину Касьяна Нефедовича погладила.

Дед Глушков чуть слезу удержал. Давно, ох как давно никто ему слова ласкового не говорил (сосед Арнольд Ермилович, к примеру, по утрам так здоровался: «Ну дед, ты не помер еще? Давай в ту степь отчаливай, нам жилплощадь нужна»), а уж о том, чтоб приласкал кто, так об этом и мечтать ему было заказано. А тут и слова добрые сказали, и по голове погладили, и накормили, и за столом кусочек помягче подкладывали. И потому он все время улыбался, чтобы не заплакать.

— Солнечный ты какой-то, — удивилась Валентина. — Давай я тебя дедуней буду звать, а своего законного — дедом.

— Давай, пожалуйста, — прошептал дедуня и рукавом прикрываясь, будто пот утирал.

А Валька ему картошку собственной вилкой растолкла, молока подлила, перемешала.

— Ешь, дедуня. Рубашки свои завтра принесешь, я постираю. Ты, дед, проследи, чтоб все исполнил.

— Бу сделано, внучка! — гаркнул Сидоренко и под столом дедуню Глушкова лягнул: а что, мол, я тебе говорил? у кого еще такая внучка найдется? А?.. Не слышу, граждане!

Вот с того вечера и заскребла деда Глушкова думка: как бы что хорошее Валечке сделать (про себя он ее уже иначе и не называл). Ничего придумать не мог и решил по рублю каждый месяц откладывать. Коли до этого он не загнул, так и теперь не пропадет, так ведь? А через год Валечке подарок сделает за целых двенадцать рублей.

Теперь уж редко кто помнит, что старичье — самый благодарный народ на свете. Погладь их мимоходом, слово ласковое скажи — и они, как псы, за тобою ходить будут, у порога от любви и нежности сдохнут. Забыли мы в суетливой ежедневности и о ласке, и о благодарности, и о самих стариках. У порога, говорите, от любви и нежности сдохнут? Так они же все равно сдох... Ну да, это самое, а отчего — вскрытие покажет. Вот так-то, уважаемый автор, думайте, что пишете. Какое нынче-то у нас тысячелетье на дворе?

Но, однако, продолжим эту правдивейшую из историй. Остановка нужна, чтобы было от чего шаги отсчитывать; до этого места Касьян

Нефедович Глушков брел один, а отсюда уже не в горьком одиночестве. Теперь у него появился верный друг — ругательный старикан Сидоренко — и Валечка. И если до этого жизнь его плелась кособоко, ногу за ногу цепляя, то теперь засемила бодрой стариковской рысцой.

Коль чем дорожишь, так то и бережешь, и дед Глушков берег те минуты, что мог провести в семье Багорыча. Пуще всего на свете, пуще кондрашки и лютой смерти в одиночестве боялся он теперь потерять Валькину ласку и сидоренковскую дружбу, а потому и не решился часто судьбу испытывать. Тем более что был он созерцателем, а значит, обладал прекрасной способностью упиваться воспоминаниями. И проведя вечер с Валечкой, поев из ее рук, ощутив тепло и заботу, шесть дней об этом со слезами вспоминал, часы считая, когда опять пойдет в гости. И вскоре как-то само собой получилось, что днем счастья для него стала среда. И Багорыч с этой средой согласился, и Валентина в этот вечер ужин на троих готовила.

Но тут начались некоторые неожиданности: что-то в том городе стряслось с молоком. То ли недодали, то ли недохранили, то ли не довезли. Мелочь, конечно, но деда Глушкова эта самая мелочь, прощу прощения, ударила под дых, поскольку напрямую была связана с творогом и кефиром.

— Сквозняк, — сказал Багорыч, великий дока по сельскохозяйственной части. — Раньше погода была, а теперь один климат. Понял — нет?

Столь глубоко в науку дед Глушков отродясь не заглядывал, но спросил все же насчет молока. Мол, климат климатом, а...

— Корма! — с невероятным презрением уточнил Багорыч.

Несмотря на всю тихость, Касьян Нефедович обладал неким шкворнем, который всю жизнь не давал ему согнуться. Шкворень этот срабатывал безотказно, когда кто-либо покушался на душу деда Глушкова, и тогда пришибленный Касьян Нефедович вдруг становился упрямым и несговорчивым и поделаться с ним уже ничего было нельзя. Хоть стреляй, хоть жги каленым железом, хоть живым в землю закапывай — Глушков все едино будет стоять на своем. В этом смысле он был полной противоположностью новому другу, которого жизнь выучила соглашаться именно тогда, когда этого согласия ожидало начальство, хотя во всех прочих случаях Багорыч был криклив, настырен и упрям.

Деды сидели на пустыре, греясь на робком солнышке. По календарю числилось лето, но погоды никакой не было, а был климат, как утверждал старикан Сидоренко.

— Сюда гляди, — сказал он и стал для наглядности рисовать на убитой, заплыванной почве. — Это Земля, понял — нет? А это чего?

— Небо? — сообразил Касьян Нефедович.

— Свод, — важно пояснил Пал Егорыч. — В церкви свод был, в любом строении, только называется крыша. А что будет, если крышу проколупать?

— Дождик, — беззубо улыбнулся дед Глушков.

— Сквозняк! — сердито поправил Сидоренко. — Сквозняк будет и все тепло утекёт к едрене фене. А что протекёт? Ну что протекёт?

— Вода?

— Холод протекет, понял? И все выдует. И будет как имеем.

Выложив эту гипотезу, Багорыч утомленно примолк, ожидая, когда она наконец-таки дойдет до хилого умишка приятеля. Приятель моргал заморщиенными глазками и ласково улыбался.

— Чего скалишься? — добродушно спросил старикан Сидоренко.

— А творог где?

— Какой творог?

— А которого нет?

— Так сквозняк! — заорал Багорыч. — Дырок много! Выдувает! Климат сплошной, а погоды нет! А коли нет погоды, то и не растет ни хрена, понял — нет?

— Понял, — вздохнул дед Глушков и закручинился. — Надо еще раньше вставать.

Касьян Нефедович и так поднимался рано, а теперь и вовсе выскакивал из дома ни свет ни заря. Опасаясь нарваться на соседа Арнольда Ермиловича (это который каждое утро удивлялся, что дед не помер еще), на кухню не совался, чаю не грел, а жевал хлеб с водой и спешил к магазину. Появлялся он там задолго до открытия, регулярно оказывался первым в очереди, а вот то, ради чего оказывался, получал далеко не всегда.

— Мне, стало быть...

— Обожди, дед, не до тебя, — объявляла продавщица. — Тут по заявкам. Катя, с тебя три семьдесят, держи. Тоня, это тебе и Марье Петровне. Ириша, принимай, тяжело...

Мимо деда плыли свертки и бутылки, пакеты и сумки. Касьян Нефедович обмирал, как мышь, боясь, что коли взропщет, то и вообще вон вылетит и никогда назад не влетит. И со смирением ждал, когда же кончатся в очереди родные и знакомые и знакомых и продавщица спросит совсем иным тоном: «Ну чего тебе? Да не мямли, некогда мне! Кефиру? Ну, дед, ты даешь, не видишь, что ли, не завезли кефиру? Пачку творогу дам, так уж и быть, жалко тебя, беззубого. Следующий!».

8

Каждый день околачиваясь у магазина, Касьян Нефедович так и не поинтересовался, как же зовут продавщицу, хотя с точки зрения полезности стоило поинтересоваться. Тогда бы по утрам приветствовал, шапку с головы скидывая: «Здрасьте уважаемая. С приветом к вам. А вы все цветете, все хорошеете покупателям на радость». Бормотал бы чушь собачью, а там, глядишь, на сто тридцать третий раз, может, и признала бы. Может, улыбнулась бы даже: «Что, дед, не помер еще? Ну молоток дедок! Держи кефир, грызи зефир». Не мог он ей слова сказать не потому, что лично ненавидел, а потому, что ненавидел унижение свое, так и не растеряв гордости.

Как звали новоявленную кормилицу, ближайший друг Сидоренко знал очень даже хорошо, потому как именно ей сбывал порожнюю посуду. Но Касьян Нефедович, во-первых, свою порожнюю сдавал в другую точку, а во-вторых, никому про свое трагическое безкефирное существование не говорил. Ну а в-третьих, время свидания у них было разное: Сидоренко появлялся в магазине, когда всякая торговля кефиром давно уж была окончена и начиналась бойкая продажа совсем иного напитка.

— В ей, проклятой, двадцать восемь бульков! — в ажиотаже кричал Багорыч, потрясая чужой поллитрой. — Хошь, не глядя разолью?

Кому кефир, кому эфир — дело, как говорится, хозяйское, но Касьян Нефедович на недостаточной своей диете начал слабеть, потому как натура его привыкла натурально загружаться чем-либо калорийным. То есть как раз тем, чего не было.

— Что-то ты, дедуня, совсем у меня с лица свалился, — озабоченно сказала Валентина в очередной дедев приход. — И в ручках косточки светятся. Ну признавайся, когда последний раз досыта ел?

— Я... Это...

Два слова горло выдавило, а на большее пороуху не хватило: заплакал дедуня. Грубо ревел, неэстетично, с завыванием каким-то и все норовил руку Валькину к небритой щеке прижать. Ослабел и в

отчаяние впал, решив, что пережил он век свой, и никому, решительно никому уже не нужен.

— Эка делов! — заорал дед Сидоренко, выяснив ситуацию. — Так то ж Лидка Павловна! У ей муж артист, а милиционер в полюбовниках. На мотоцикле с коляской. Да я ж ее... Да она ж мне...

— Вот и обеспечь, — строго сказала Валентина. — А про милиционера молчок, понял у меня? Не тревожь женщину.

— Не надо, — бормотал тем временем Касьян Нефедович. — Не надо мне ничего. Ничего уж не надо...

— Нет надо! — крикнула. — Ишь разбаловались. Я вас!..

Вопреки обыкновению Багорыч о Лидке Павловне сказал чистую правду. Был у нее непутевый муж — спившийся с круга аккордеонист, и доченька, зачатая в хмельном угаре. Лидка Павловна терпела мужнино пьянство и безделье, больного ребенка и зануду свекровь, да и позволила себе нечастые свидания с жизнерадостным милиционером Валерианом. «Валерианочка ты моя!» — смеялась сквозь слезы Лидка Павловна, лаская гостя в полутемной подсобке. Принимать эту валерианочку приходилось в стесненных условиях, поскольку к свекрови она привести милиционера не могла, а идти к нему в камеру предварительного заключения не решалась. Пряталась на полках надувной полуторный матрас, и милиционер Валериан на пороге любовных наслаждений надувал его, наливаясь краской не только от страсти. «Насос бы купила, — укорял он в перерывах между вдуваниями. — Никакого здоровья не хватит».

— Я к ей ключи имею, понял — нет?

Дед Сидоренко был вралем и бахвалом, и Касьян Нефедович делал все его обещания на тридцать три. И здесь разделил, но, к его удивлению, Лидка Павловна приняла сидоренковские разъяснения без всяких делений, с ходу накинувшись на безответного дедуню Глушкова:

— А что ж молчал, что Багорыча друг? На лбу у тебя не написано, а знать я не обязана. Чего тебе — кефир да творог? Делов-то!

Такая легкость звучала в этом, что Глушков поначалу не поверил. Усомнился. А на следующее утро получил все без всякой волокиты.

Вот так и настроилась прекрасная жизнь: и сытно, и сладко, и весело. Обычно при таком наборе человек быстро забывает, откуда все началось: всем известно, что Волга впадает в Каспийское море, но мало кто помнит, из какого родника вытекает она. Но Касьян Нефедович был так устроен, так за-про-грам-мирован (о господи, ну и язык пошел), что не мог об истоке не думать. А истоком тем, родничком с живой водой, к которому припадал он раз в неделю по средам, была Валентина. Валечка, на подарок которой он по рублю в месяц откладывал в коробку из-под мармелада, который купил когда-то внучонку Славику.

9

В естественном увлечении судьбой деда Глушкова повествование наше пошло прямо-таки карьером, и теперь настало время чуть его придержать. Не для интриги, а ради одной только правды, которая, как известно, есть цепь из причин и следствий.

Одна душа в деревне доселе помнила, что жил тут когда-то некий дед Глушков: соседка Анна Семеновна, Нюра. Раз в месяц писала она деду, что жива-здорова, что внучка жива-здорова, что дочка жива-здорова и что корова их тоже жива-здорова. И Касьян Нефедович аккуратно отвечал, поддерживая тоненькую ниточку связи с далекой своей родиной. И добрая старая женщина Анна Семеновна, Нюра молодости Глушкова, и оказалась причиной, породившей вскоре совершенно неожиданные следствия.

Шло время, и через положенный срок у соседа наконец-таки появился долгожданный ребеночек, которого практически мыслящий Арнольд Ермилович рассматривал как наиважнейший аргумент в борьбе за увеличение жилой площади. И коли уж он и прежде не очень-то жаловал деда Глушкова, то теперь окончательно залюбовел. Теперь он не только здоровался, удивляясь, что сосед его еще богу душу не отдал, но и прощался тем же манером. От таких приветствий дед бегал со всех своих стариковских ног, как только усекал на горизонте Арнольда Ермиловича. А куда бегать-то, когда на дворе вместо поэтических времен года сплошная осенняя мокрятина? К Багорычу, если он дежурил, к Валечке, если была среда, и на автовокзал во все остальные дни недели. Дед Сидоренко дежурил по охране казенного телефона в понедельник, но аккуратно в воскресенье молодой папа допек несчастного Касьяна Нефедовича до угольной черноты:

— Давай, дедок, собирайся, пока бабка твоя с архангелами не загуляла. Слышишь, как двадцать первый век за стеной орет? Уступи ему дорогу, прояви сознательность.

Тут дед и рванул из дома. Чувствовал, что единственная возможность на сегодняшний день душу в теле удержать, это бежать куда глаза глядят. А глаза дедуни Глушкова в моменты всех жизненных передрыг глядели теперь в квартиру номер тридцать восемь, что на третьем этаже. И он стариковским аллюром примчался к этой квартире и, не отдышавшись, сунул пальцем в кнопку звонка.

А дверь открыл неизвестный молодой мужик. Коротко стриженный, гладко бритый, с серыми глазами и без пиджака.

— Вот и еще один дед до пары,— сказал он.— Ты чего такой красный, отец? Гнались за тобою, что ли?

На все эти вопросы дед Глушков не мог издать ни звука, так как сильно упыхался. И пока пыхтел, за широкой спиной незнакомца возник озадаченный Багорыч.

— Кореш это мой,— пояснил он.— Сейчас на дежурство пойдём.

— Так... вроде... воскресенье,— еле выдохнул кореш.

— Сказал, значит, все,— сурово отрезал Сидоренко.— Понял — нет?

— Нет,— покивал Касьян Нефедович.— А где же...

Он имел в виду Валю, но имени ее не произнес, а потому ответа и не получил. Обождал, покуда старикан плащ напялит, и пошел следом.

— Привет, отцы,— сказал неизвестный мужик и закрыл за ними дверь.

Старики шли молча и так шустро, что притомившийся Глушков с трудом держал равнение. А старикан Сидоренко поспешал куда-то форсированным марш-броском, и это особо пугало затюканного Касьяна Нефедовича. Но что-то в насупленном лице Багорыча заставляло дедуню от вопросов воздерживаться.

— Сама за бутылкой побежала,— потрясенно изрек Сидоренко наконец.— Как этого увидала, так и закричала: «Андрюша!».

— Андрей?

— Андрюша, понял — нет? — строго поправил сильно обескураженный таинственным поведением внучки старик.— Ступай, говори, умойся, а я за бутылкой сбегаю. А мне велела колбасу достать, что к праздникам прятали.

— Стало быть, сегодня у нее праздник,— сообразил дедуня и подавил вздох.

— День мелиоратора сегодня, понял — нет? — не согласился упрямый Сидоренко.— И автоматизация ликвидации тут не подходит, потому как она по своей воле за бутылкой побежала.

— Какая ликвидация?

— И Андреем зовут,— не слушая, продолжал Багорыч: равновесие души его было поколеблено. — «Андрюша, закричала, Андрюша!» Ты, говорит, ванну прими, ты, говорит, с дороги весь. А я, говорит, за бутылкой, а ты, говорит, колбасу достань. А она — для праздножников.

На дворе было промозгло, накрапывал дождик, и старики сидели на автовокзале. Воняло прокисшим пивом, которого здесь никогда не было, бензином и людским скопищем, потому что в последний месяц количество рейсовых автобусов уменьшили вдвое, а количество пассажиров уменьшить забыли.

— Может, это, жених он? — тихо-тихо с полным сердечным замиранием спросил дедуня Глушков.

— Кто жених?

— Ну этот. Для которого за бутылкой побежала.

— Жених? — с невероятным презрением переспросил Багорыч.— Глупой ты, дед, понял — нет? Я б знал, понял — нет? Если б жених, я бы знал? Или не знал? Чего молчишь?

— Знал,— сказал кореш и, подумав, добавил: — Или не знал.

— А я его и не знаю,— задумчиво сказал Сидоренко, не обратив внимания на глушковскую интонацию. — Хотя лицо знакомое. Вроде знакомое... Или незнакомое?

Замолчали старики, закручинились, нутром своим натруженным уже предчувствуя, что встреча с этим знакомо-незнакомым лицом означает крутой поворот в их собственной судьбе.

10

Природа распорядилась, чтобы у каждой женщины был свой Адам, но люди постарались так все перепутать, что чаще всего этот Адам оказывается женатым отнюдь не на Еве, живет в ином столетии или прописан в общежитии с монастырским уставом. И каждый год добавляет путаницы, девушки без любви выходят замуж, молодые люди отдают руку первой же юбке, мелькнувшей на танцплощадке, и суды завалены заявлениями о разводах. После школьных опытов со свадьбами Адамы начинают всесоюзный розыск своих Ев, а Евы экспериментальным путем устанавливают своих Адамов. В этом нет ничего противоестественного, однако известно, как буйно расцветает нравственность, когда отцветает плоть, а посему эти мучительные для ищущих поиски давно заклеены как упадок нравов. А на деле нет никакого упадка, а есть непреложный закон природы: женщина способна любить только одного-единственного, ей предназначенного мужчину. Кому-то везет, а кто-то обречен в поисках своего единственного перебрать десятки чужих. Но отдаваясь этим чужим, женщина не растрчивает ни грана своей любви. Она ее изображает, бессознательно сберегая все неистовое пламя свое предначертанному свыше. И когда он приходит, становится неузнаваемой не только для сослуживцев.

— Что же ты не писал, стервец ты? — говорила Валька, и тело ее светилось в сумраке нежностью и любовью. — Паразит ты, ты кровь мою всю выпил, и никто мне теперь не нужен, кроме тебя.

— До чего же ты сладкая, Валька,— утомленно вздыхал Андрей. — Считаю, что все, нашел и искать никого не хочу больше.

— Врешь, поди? Врешь? — обмирая от нежности, шептала она.

— Честно, Валечка. Недаром к тебе прямо с вокзала пришел.

— Прийти-то пришел, а вещички в камере хранения оставить не позабыл.

— Да какие там вещи! Не с Европы же я возвращаюсь.

До сей поры Валька своими друзьями вертела как хотела, а здесь не то чтобы приказать — до сладкой дрожи ждала, что ей прикажут. А он ничего не приказывал, ласкал да целовал, а к ночи сказал:

— Любовь любовью, а съезжаться погодим. Устроюсь на работу, с жилплощадью выясню, а там видно будет.

В любых отношениях наступает предел, за которым люди по-разному понимают одно и то же. Андрей был женат (о чем, естественно, не говорил Вальке и что Валька, естественно, знала), разведен и помянул о жилплощади, надеясь получить в квартире бывшей супруги право на какие-нибудь квадратные метры. Но все, что касалось его прошлой жены, лежало для Валентины за пределом общего понимания; отсюда начиналось ее понимание, и это личное понимание толковало одно: в однокомнатной ее квартире Андрей не желает жить потому, что тогда их будет трое. Так она его поняла, поскольку знала, что с милым, конечно, рай и в шалаше, но надо же иметь этот отдельный шалаш.

Вот какие разные мотивы породил финал их любовного разговора. Андрей считал, что ясно растолковал причину, и готов был горячо и весело проводить с Валечкой хоть все вечера. А Валентина, готовая весело и горячо проводить с Андреем обязательно все вечера, занозила-таки свое доброе и влюбчивое сердечко довольно опасной занозой, решив, что любимый не переселяется к ней исключительно из-за третьего лишнего. То есть из-за деда Сидоренко. Багорыча.

Мужиком Андрей был компанейским, тут же нашел общий язык с Пал Егорычем и личный — с Касьяном Нефедовичем, и жизнь заструилась еще живее. Правда, поначалу, учуяв неладное, дедуня не явился в среду, проторчав полвечера на знакомой скамейке автовокзала. Полвечера потому, что его разыскал Валечкин дружок самолично. И сел рядом.

— Что, отец, меня, что ль, невзлюбил?

— Нет, — шепотом отвечивал дед, — что ты.

— А чего же к Вальке сегодня не явился? Всегда по средам как штык, понимаешь, а сегодня хильнул. Валька решила, что заболел, отца к тебе наладила, да он ни с чем и вернулся. А ты вон где.

— Да, — сказал Касьян Нефедович. — Тут я. Народ кругом.

— Народ, значит, любишь?

— Люблю.

— А мы разве не народ? И мы народ. Вот и пошли к нам.

И привел дедуню Глушкова. И все встало на свои места, только Валентина куда чаще деда своего теперь гулять отправляла. И дед клал в карман будильник, заряженный на три часа вместо двух.

А дожди лили уж совсем беспросветно, ветры рвали последние клочья тепла, и солнце поглядывало на землю испуганно, будто из-за угла, будто запрещено ему было поглядывать. Короче говоря, над всей землей, по словам Багорыча, бушевал климат и погоды не было ни в одном государстве. При таком положении и бессердечный хозяин пса на улицу выгнать не решился бы. Даже если на той улице и числилась среда.

— Ну вот что, — сказала старикам Валентина, предварительно долго препиравшаяся с Андреем. — Дед, доставай книгу.

— Книгу? — озадаченно переспросил Сидоренко, покосившись на дедуню Глушкова.

— Давай-давай! — прикрикнула внучка. — Оба рядышком садитесь, в книжку носом. И ты, дед, для дедуни вслух читай, пока не скажу.

— Не надо бы, Валя! — с досадой крикнул Андрей. — Я лучше завтра зайду.

— А я сегодня хочу! — отрезала хватившая три рюмки Валентина. — И стесняться тут нечего, тут — жизнь. Верно, дедуня?

— Верно,— покорно согласился ничего не понимавший Глушков.
 — Умница. — Валечка нежно чмокнула дедуню в розовую лысину. — Тогда садитесь как велела.

Деда уселись в кухне за стол спинами к комнате и лицами в окно. И Пал Егорыч деловито раскрыл книгу. Никчемный сверхплановый дождишко тоскливо тарахтел в стекло, отсчитывая мгновения, и мгновения эти тянулись для Касьяна Нефедовича, как погребальные дроги. Не был готов он к такому искусству, не собрал сил своих духовных, а потому и не оценил молодого счастья за старческими плечами. Даже монотонный, как пономарь, Багорыч заметил транс, в который впал кореш. Перестал бубнить, толкнул плечом:

— Жизнь это, понял — нет?

— Жизнь,— подтвердил Глушков, и две жалких слезинки дробно стукнулись о страницу.

Не одному Касьяну Нефедовичу неуютно было в тот вечер. Дед Сидоренко к этакому был привычен, а Валька, буйно празднуя взрывы собственной страсти, искренне полагала, что все вокруг должны радоваться ее счастью и что прятать тут абсолютно нечего. Но Андрей ощущал некоторое смущение, а потому пришел на кухню с початой бутылкой.

— За нашу Вальку, отцы. Хорошая она баба, и вы на нее не сердчайте.

— Внучка в меня вся, понял — нет? — ненатурально взбодрился Багорыч, ощутив в руке стакан. — Мировая она, понял — нет?

Он шумел и суетился, а дедуня молчал. И Андрей, поддакивая деду Сидоренко, чувствовал какую-то вину именно перед Касьяном Нефедовичем.

— Это точно, что мировая,— говорил он. — Остальные там придуриваются, изображают чего-то, а Валька наша ничего не изображает. Она вся — как есть, как в натуре.

— Правильно! — кричал Багорыч. — Она вся в меня, хоть знак качества ставь. Счастье тебе подвалило, парень, сильное счастье.

— Подвалило,— согласился Андрей, опять поглядев на деда Глушкова. — Знаешь, как в тюрьге посидишь, так это особо ценишь.

— В тюрьге? — Сидоренко похмурился, соображая. — Ты погоди-погоди, какая такая?

— Нормальная. Я, отцы, четыре года в общей колонии отбухал. Хищение государственного имущества. Каток для асфальта на спор с завода угнал.

Про это старики ничего не знали. Даже дедуня маленько очухался и поглядел на Андрея с испугом. Но и здесь промолчал.

— А-а...— протянул Пал Егорыч. — Страшно, поди?

— Да чего же там страшного? — усмехнулся парень. — Крыша над головой имеется, жратва три раза в день. Ну, баня, кино.

— Кино? — поразился Багорыч. — Преступникам — и кино?

— Нормально, как у людей. А в воспитательной части телевизор есть. Олимпиаду смотрели, за «Спартак» болеем.

— За «Спартак»?! — Багорыч вскочил, повертелся в тесной кухоньке и опять сел. — Нет, скажи, что врешь. Скажи, что врешь, а?

Вот в этом месте Глушков и подал впервые голос. Сказал с горечью:

— Молодым везде хорошо.

С этого вечера Касьян Нефедович стал задумчивым. Он всегда был тих и безответен, но теперь эти качества приобрели некий новый ракурс, будто дед сменил созерцание жизни на попытку ее ос-

мысления. Но то ли этот процесс был для него непривычен, то ли мыслей никаких не возникало, а только о результатах он не говорил никому. Просто смотрел задумчивыми телячьими глазами, молчал, и неизвестно было, скажет ли чего вообще. А у соседа в ответ на его: «Ну как, дед, насчет свиданьца со старухой?» — спросил вдруг:

— А коли б жилплощадь была, так еще бы ребеночка родили? Или побоялись бы?

Арнольд Ермилович поперхнулся, прокашлялся и признался:

— Двоих.

Спохватился, что по-человечески ответил, забормотал про архангелов, но дед уж и не слушал его.

— Счастливые, которые с детьми. Очень счастливые. — Вдохнул, надел шапку. — Двоих, значит, обещался. Это хорошо. — И пошел мимо онемевшего соседа на улицу.

Друга он нашел на пустыре, где было ветрено и сыро. Но Багорыч к тому времени принял семь полубульков в оплату за стакан и гордо не замечал продырявленного климата. Физиономия его горела несогласием, кепку он тискал в единственной руке и норовил встать на асфальтовую глыбу, но ноги с этим не соглашались.

— Воругам — кино, а заслуженному человеку... Нет, это надо у милиции справиться.

Милиция звалась Валерианом и должна была прибыть на мотоцикле по окончании торгового дня. Услышав рев мотора и накинув три часа, деды вышли на перехват. И вскоре действительно показался Валериан.

— Баб много, а я один! — с невероятным торжеством объявил он.

Старики не дали ему развить эту тему, тут же поведав о рассказе Андрея.

— Чудаки старики! — радостно засмеялся Валериан, легкий после чудных мгновений, как олимпийский мишка. — А гуманизм?

— Чего? — переглянулись приятели.

— Гуманизм! — Он важно поднял палец. — Пояснить?

— Пояснить, — попросил дедуня Глушков.

— Гуманизм — это что такое? Это поддержка слабого, — неторопливо и вразумительно, чтоб дошло до стариков, начал Валериан. — При царе, скажем, или при капитализме какой закон действует? Закон джунглей, понятно? А у нас какой? Закон гуманизма. Разницу улавливаете?

— А я слабый? — спросил Касьян Нефедович.

— Ты? — Милиционер внимательно осмотрел щуплого — и в чем только душа трепыхалась! — дедуню и сказал: — А это пока неизвестно.

— А когда известно? — допытывался Глушков. — Когда, это, с почетом понесут?

Милиционер огорченно вздохнул и с досадой покрутил круглой, как футбольный мяч, головой.

— Действие совершить надо, действие! Это ихний гуманизм бездейственный, а наш — действенный. Советский гуманизм в действии — читали в газетах? Ох и темные же вы деды!

Завел мотоцикл и уехал.

— Глупой! — заорал Багорыч, когда мотоциклетный грохот затих в дальних кварталах. — Наболтал и уехал. И не объяснил ведь!

— Объяснил, — тихо сказал дедуня Глушков, посмотрев на друга телячьими глазами. — Все он объяснил. Действие нужно, понял? Действие.

Действие зреет долго, и чем старше человек, тем медленнее оно зреет, путаясь в усталой душе, блукая в сумерках размышлений, то представляясь ясным, то вдруг ныряя в беспросветный туман прожи-

того. Тогда дед Сидоренко, громко помяная всех угодников, спешил за своими законными полубульками, и дедуня Глушков оставался один. Тоскливо бродил по улицам и переулкам в бессознательной надежде встретить Валечку, а если случалось это, без оглядки семенил прочь. И все было ладно, да как-то отнялись ноги у Касьяна Нефедовича. Забастовали и отказались унести его в закоулок.

— Ты чего тут, дедунь?

Дедуня молча пристроился сбоку, тщетно пытаюсь попасть в такт летящей женской походке. Валька что-то говорила, но он не слушал — глядел под ноги и семенил. А потом сказал:

— Истинную правду скажешь мне?

— А когда это я тебя обманывала?

— Теперь что соврать, что правду сказать — все одно, разницу утеряти. А ты вспомни, что есть разница, вспомни, а?

— Чудной ты какой-то, дедуня. Не захворал?

— Разница есть, Валечка, — шепотом сказал он. — Коли б я в бога верил, мне, может, много бы легче было, но безбожный я. Безбожный человек.

— Ничего я не поняла, — строго сказала Валентина, останавливаясь. — Что натворили? Говори сейчас же.

Дед Глушков помялся, посопел, пряча глаза. А потом глянул в упор, с духом собравшись, и спросил:

— За Андрея пошла бы?

— Ох, побежала бы!..

— А чего ж не бежишь? — Он подождал, но Валька только неуверенно улыбнулась. — Потому не бежишь, что дед твой Пал Егорыч вам мешает. Не спорь, не спорь, не надо, я ему ни полсловечка не скажу, а только давай сегодня всю истинную правду. Уморился я без нее. Уморился.

— Может, квартиру разменяем, — безнадежно вздохнула она. — Если Андрея к бывшей его жене пропишут.

— Да, — вздохнул и дедуня. — Умирали б мы вместо пенсии...

Грызла тоска стариков. Точила, как червь, неутомимо и невидимо; Багорыч с нею полубульками боролся, ерничеством да показной разудалостью, а Касьян Нефедович по улицам бегал. Кружил по поселку, по новым микрорайонам, расширял свои кольца, точно надеялся запутать, замотать тоску свою. И однажды вышел к почтамту. Шел дождь, и старик вошел в здание и сел у стола, где граждане писали письма. Посидел, подумал, а потом попросил вдруг лист бумаги, взял ручку и неуверенно, на каждой букве спотыкаясь, начал: «Добрый день вам, Анна Семеновна, дорогая Нюра...». Думал, что долго будет писать, что, может, совсем не напишет даже, но письмо написалось одним махом и почти без помарок. Вывел адрес, опустил в ящик и пошел искать Багорыча.

Багорыч на спор на троих не глядя разливал, на полубульку зарабатывая. Дед Глушков отобрал у него бутылку, сунул ее владельцу и повел приятеля в сторону. Приятель орал и вырывался, а дед сказал:

— С этим кончено, увожу я тебя отсюда. Как только подтверждение придет, что примут нас.

— Куда это? Где это? — обижался Багорыч. — Мешаешь все, вредный ты старик!

Через неделю пришел ответ. Длинный и многословный, а если пересказать, так шесть слов: милости просим, Касьян Нефедович и Павел Егорович.

— Ну вот, — вздохнул дед Глушков, прочитав Багорычу письмо. — Ждут нас там, значит, за нами дело.

— Хорошая женщина, — потрясенно признался Сидоренко. — Сколько лет?

Дедуня глянул укоризненно. Сидоренко засмутился и сталковырять грязь ботинком.

— Не порть обувь,— строго сказал Касьян Нефедович. — Жизнь наша меняется, и всякие глупости надо из нее выкинуть.

До сего дня, даже до сей минуты крикливый Сидоренко решал за деда Глушкова, куда тому идти и что делать. А тут Глушков командовал, и Багорыч послушно кивал, изредка уточняя: «Ясно. Понятно. Бу сделано». Не потому, конечно, что ехал в глушковские места, а потому, что эта очень простая и всем подходящая мысль родилась у Касьяна Нефедовича. Пал Егорыч признавал право первородства.

— Выпивать если придется, то по праздникам. Мужиков разливать по булькам не учи, они и без этого того. Пенсии все до копейки Нюре отдавать будем, и по дому все делать, и...

— По грибы ходить будем,— деловито вступил Багорыч.— И Вальке сушеных пришлем. А еще насчет работы. Непременно надо нам на работу устроиться, и тогда мы денег подкопим.

— Зачем это? — подозрительно осведомился дедуня.

— А Вальку с Андреем к себе пригласим! — воскликнул Сидоренко, чрезвычайно обрадованный этой идеей. — А когда ребеночка родит, так нянчить его станем.

— Правильно,— согласился Касьян Нефедович.— Теперь что делать. Первое: никому ни слова, а то не пустят. Второе: выпишусь я с жилплощади. Третье: ты с работы уволишься. Четвертое: билеты...

Три дня беготней были заняты до предела: выписывались — совещались, увольнялись — совещались, билеты покупали — опять совещания: с прожитым человек прощается один на один.

— Дед, побежала я! — жуя на ходу (по утрам она всегда опаздывала) прокричала Валентина.

Обычно Сидоренко ей из кухни отвечал, а тут вышел, прислонился к косяку и глядел молча.

— Ты что это, дед?

— Сказать вышел, что... — Багорыч дернул головой и отвернулся. — Чтоб осторожней шла, подморозило.

— Допрыгаю,— беспечно ответила внучка. — До вечера, дед!

И дверь хлопнула. Дед постоял, шагнул вдруг, ткнулся лицом в ее старое пальтишко и замер. Только плечи вздрагивали. Потом утер лицо и пошел собирать свои вещи. И первой в чемодан положил книжку «Автоматизация ликвидации отходов».

А Касьян Нефедович в то утро встал спозаранку и, взяв из заветной мармеладовой коробки сэкономленные пять рублей, побежал искать прощальный подарок. Да не сообразил: все магазины были еще закрыты,— и дедуня устремился к рынку. А на входе окликнули:

— Отец, купи цветы. Посмотри, какие цветы! Как в крематории, понимаешь.

Молодой черноусый протягивал Глушкову совершенно немислимый букет. Все на букет оглядывались, и даже огромная, как колесо, кепка продавца светилась от этого букета. Но дедуня отмахнулся и поспешил за чем-либо ценным. Проспешил десяток шагов, умерил аллюр и остановился. Потоптался, назад повернул и опять будто нечаянно мимо тех цветов протопал. И — опять. И — еще раз. И — остановился.

— А сколько?

— Как из уважения, для тебя только — два червонца.

— Двадцать рублей?!

Отчалил старик. Несуразную цену назвали, и оттого, что цена была несуразной, цветы понравились ему еще больше. Отошел, вы-

греб из кармана остатки пенсии, сложил с заветной пятеркой и вышло шестнадцать рублей. Зажал их в кулаке.

— А дешевле нельзя?

— Назови свою цену, уважаемый. Там посмотрим.

— Шестнадцать рублей у меня всего.

— Только из уважения. Только из личного уважения, понимаешь...

Дед Глушков нес старательно упакованный в газету букет двумя руками, как икону. Занудный червячок сосал его, что зря он деньги убухал, что завянет вся эта красота и ничего от подарка не останется. Но дед упрямо спорил, утверждая, что останется. Валечкина радость останется. Это слезы высыхают — и нет их, а радость никогда не пропадает. Так с червячком и цветами и вошел он в квартиру.

— Ты живой еще, дед? — удивился Арнольд Ермилович, он на работу собирался. — А как же старуха твоя с архангелами?

— Уезжаю я, — сказал ему Глушков. — Вы двух ребеночков обещали, а я вчера еще из квартиры выписался. Можете занимать, только вещи возьму.

— Касьян... — растерянно забормотал сосед, — Николаевич...

— Нефедович я, — грустно усмехнулся старик. — Только просьба к вам цветы эти за меня передать.

— Передам, — тихо сказал Арнольд Ермилович, взял букет и сел на стул, точно ноги у него ослабли.

Завозился Касьян Нефедович, забегался, и теперь приходилось поспешать. Вещи загодя были уложены, дед второпях выпил кефир, подхватил барахлишко свое и вышел в коридор. Хотел к соседям заглянуть попрощаться, но там громко плакала жена и что-то бубнил Арнольд Ермилович. Дед поклонился их дверям и побежал.

В целях конспирации решено было на вокзале встретиться. Багорыч мог быть уже там, и старик припустил прямо от подъезда. Да недалеко.

— Глушков! Дедушка!

Касьян Нефедович остановился: к нему почтальонша спешила.

— Телеграмма вам. Распишитесь.

«Анна Семеновна умерла. Хоронили вчера».

Старики сидели в зале ожидания. По лицу Касьяна Нефедовича все время текли слезы, и он не знал, что сделать, чтобы они не текли. Он словно съезжился, усох вдруг, маленьким совсем стал, и Багорыч легко обнимал его единственной своей рукой.

— Это ничего, ничего, это бывает. Смерть, у каждого есть, что уж тут. Жалко, конечно, Нюру, хорошая женщина, но ты держись, друг, вдвоем ведь, не пропадем. В Сибирь поедем на это... На БАМ. Там люди нужны.

— Никому мы не нужны, — прошептал дедуня. — Никому.

— Врешь! — сердито крикнул Багорыч: теперь он стал старшим и главным, но не ерепенился, как всегда, а говорил серьезно и увесисто, как отвечающий за двоих. — Бани, к примеру, есть у них? Я банщиком могу, а ты...

Компания молодая шла мимо. Шумная, с гитарой. Девчужка в потертых брюках остановилась вдруг, присела перед ними.

— Вы чье, старичье?

Ласково спросила, обеспокоенно. Но тут парни ей крикнули:

— Наташка, поезд уходит!

И она убежала.

— Ничье мы старичье, — тихо сказал Глушков и вздохнул. — Ничье.

— Неправда! — строго нахмурился Сидоренко. — Ты мой теперь, понял? Ты мой, а я — твой, и не пропадем. Мы с тобой еще...

— Вот они где! — крикнул знакомый голос. — Тут они, Валя! Нашлись, слава тебе...

Валька с лету упала рядом, чуть скамью не перевернув. Стукнула одного, стукнула второго — зло, больно — и заревела. Андрей стоял рядом, усмехался:

— Ну отцы, с вами не соскучишься.

— Окаянные! — закричала наконец-то Валька, да так, что весь зал ожидания вздрогнул. — Черти окаянные, мучители мои! Ну что выдумали, что? Марш домой, пока не простудились, возись тогда с вами! Дед, бери дедуню под руку, ослаб он совсем.

Старики покорно шли к дверям, сзади Андрей нес вещи. Валька шагала впереди, всхлипывая и бесцеремонно расталкивая встречных. А у самого выхода обернулась.

— Спасибо тебе, дедуня. Мне еще никто в жизни цветов не дарил, ты первый.

И засмеялась вдруг. Слезы текли по щекам, а она смеялась весело и звонко. И, глядя на нее, улыбались хмурые пассажиры. А Андрей, хохоча в голос, на часы посмотрел, замолчал и вещи на пол поставил.

— Захвати барахлишко, Валя, магазин закрывается. Надо же еще одну раскладушку купить...

Я думаю о сказках детства. О царевнах-лягушках и Иванах-царевичах, о счастливых чудовищах и несчастных красавицах, о добрых голодных мальчиках и обьевшихся пряниками злых купеческих дочках. В них всегда торжествовала справедливость, порок был наказан и все в конце вздыхали с облегчением.

Пусть дети всегда вздыхают с облегчением, но жизнь страшнее любой сказки. Не умирала Анна Семеновна, Нюра далекой юности Касьяна Глушкова. Жива она и здорова, просто дочь ее на телеграфе работает. Вспомнили?



ВЛАДИМИР КАРПОВ

★

ПОЛКОВОДЕЦ

Документальная повесть

НЕСКОЛЬКО ВСТУПИТЕЛЬНЫХ СЛОВ

Берусь за перо с тем же радостным волнением, какое испытывал в юности, глядя на человека, о котором хочу написать.

Радостным? Не только. Есть теперь в этом волнении полынный привкус. Эта полынь не только с полей сражения, через которые он прошел. Эта полынь наша общая — его, моя, ваша. Война, да и вообще жизнь, не проходит без горечи.

Людей, которые хорошо, лично знали его, уже почти не осталось. Поколение фронтовиков Великой Отечественной уходит... Холодно на душе не оттого, что мы уходим: закон природы не изменить. Обидно, что об этом человеке люди не будут знать всего, что надо им знать.

Поэтому я и решил написать о нем книгу.

В «сороковые роковые» вопрос «делать жизнь с кого?» еще не ставился в нашей печати так широко, как сегодня, однако суть его воспринималась молодежью не менее глубоко и серьезно, чем в нынешние дни. Ярких личностей, прекрасных образцов для подражания было предостаточно и в те времена.

Моим кумиром был он. Не из книжки. Не с киноленты. Живой, кого я каждый день видел, и в то же время кажущийся недостижимым. Он был рядом, ходил, говорил, действовал. Говорил и со мной, не подозревая, кем для меня является.

И вот прожита его, да и моя жизнь.

Мне уже шестьдесят. Все главные события позади.

Я счастлив, что жизнь свела меня с ним. Судьба моя сложилась бы иначе, менее интересно, хотя, возможно, и не так трудно, если бы я не встретился с этим человеком. Он постоянно был в моей душе, хотя многие годы реально находился где-то далеко. Я не был его другом, но не был для него и сторонним человеком. Он тепло относился ко мне все двадцать лет знакомства — с 1938 по 1958-й, последний год его жизни. Говорю об этом так смело потому, что причины этой доброжелательности крылись не в моих личных качествах, а в его чуткости, отзывчивости, в его прекрасной доброй душе. Нет, он не был ангелом во плоти. Бывал крутым, порой беспощадным. Знал вспышки ослепляющего, но справедливого гнева. Благодарю судьбу, что я ни разу не был повинен в такой вспышке.

Кто же он? Иван Ефимович Петров.

Я увидел его впервые в 1938 году и тут же полюбил навсегда и бесповоротно. Он ходил в военной форме, носил ромб на петлицах гимнастерки, что в те годы соответствовало званию комбрига. Загорелый, перетянут широким командирским ремнем с крупной медной

звездой на пряжке, через правое плечо португеза, до блеска начищенные сапоги. Очень неожиданное пенсне на переносице! За долгие годы службы в армии я не видел ни одного командира, носившего пенсне. Очки носили многие, а военных в пенсне — не встречал.

Комбриг Петров был начальником Ташкентского военного пехотного училища имени В. И. Ленина, которое размещалось в здании бывшего кадетского корпуса недалеко от реки Салар, там, где начиналась Паркентская улица (кстати, теперь эта улица носит имя генерала Петрова). Ближайшей к училищу была 61-я средняя школа, в которой я учился, и в ней же учились дети многих командиров, работавших в училище. Среди этих ребят был Юра Петров, сын комбрига. Юра и привел меня однажды к себе домой, где я увидел его отца Ивана Ефимовича и мать Зою Павловну.

Юра был единственным сыном Петровых. Это был очень веселый и общительный мальчик. Худой и подвижный, он был заводилой многих озорных проделок одноклассников, но никогда не скатывался до хулиганства. Учился он легко, с друзьями был открыт, простодушен. Теперь Юры нет в живых. Будучи уже подполковником, он трагически погиб в 1949 году.

Много лет пролетело с той школьной поры, в больших исторических событиях довелось нам участвовать. Иван Ефимович Петров стал генералом армии, видным советским полководцем. Он командовал фронтами, удостоен звания Героя Советского Союза, многих высоких правительственных наград.

Бывали в его военной службе высокие взлеты и неожиданные падения. Какая-то роковая несправедливость шла по пятам этого хорошего человека долгие годы. Непонятных загадок в жизни Петрова было немало. Вот и на них надо поискать ответы.

На книжных полках стоят воспоминания замечательных советских полководцев — Г. К. Жукова, А. М. Василевского, К. Г. Рокоссовского, И. Х. Баграмяна и многих других. Иван Ефимович был их соратником, все они отзываются о нем очень тепло. Л. И. Брежнев в своей книге «Малая земля» тоже говорит о Петрове с уважением, а вручая городу-герою Новороссийску орден Ленина и медаль «Золотая Звезда» 7 сентября 1974 года, Леонид Ильич сказал:

«...Новороссийск и Керчь вместе с Москвой, Ленинградом, Волгоградом, Севастополем, Одессой, Киевом, Минском и Брестской крепостью входят в замечательную семью городов-героев. Они составляют нашу гордость и славу...

Самоотверженно, героически сражались войска Северо-Кавказского фронта под командованием генерал-полковника Ивана Ефимовича Петрова».

Хочу обратить внимание на то, что при защите четырех из десяти городов-героев — Одессы, Севастополя, Керчи и Новороссийска — одним из руководителей боевых действий наших войск был генерал И. Е. Петров. Блестящая аттестация для полководца! Вот и об этом его искусстве я в меру моих сил и понимания попытаюсь написать. Не для того, чтобы похвастаться, а желая получить доверие читателей, скажу: мера моего понимания в делах военных немалая — прошел всю войну, окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе и Высшие академические курсы Генерального штаба, много лет работал в Генштабе, командовал частями Советской Армии. Конечно, я не переоцениваю своих возможностей и не беру на себя смелость единолично судить о достоинствах и недостатках И. Е. Петрова как военачальника и об операциях, проведенных им в годы войны. Для таких ответственных суждений я использую документы, книги и рассказы крупных военных деятелей, современников Петрова, его начальников или равных по служебному положению и уровню оперативно-стратегической подготовки и мышления.

Иван Ефимович не успел написать мемуары. Он умер в 1958 году после длительной и тяжелой болезни. В последние годы жизни он писал воспоминания, но рукописей его мне не удалось обнаружить. Жена его Зоя Павловна тоже умерла, не оставив никаких архивов.

Идут годы. Имя Ивана Ефимовича иногда появляется при упоминании советских полководцев по каким-либо торжественным случаям. А иногда и не попадает в такие «обоймы». А что будет дальше? Мы-то, кто знал его при жизни, помним его. А будут ли вспоминать те, кто придет после нас? И очень важно — как вспоминать?

Эта книга — не биография Петрова и не мои мемуары, это — дань уважения человеку, которого я любил и который всю жизнь был мне примером, не зная об этом. Мне хочется пройти вместе с Петровым через многие этапы Великой Отечественной войны и ответить для самого себя, для его друзей, а может быть, и для истории, на вопросы, возникавшие вокруг тех сложностей, недоговоренностей и, наоборот, наговоров, которые так отягчали жизнь Ивана Ефимовича Петрова.

Я собирал материалы для этой книги больше десяти лет, вспомнил, еще раз обдумал все свои встречи и беседы с Иваном Ефимовичем, прочитал не один десяток книг, в которых упоминается его имя, разыскал многих его друзей — боевых соратников в годы войны и сослуживцев в мирное время, записал их рассказы. Я стремился как можно чаще давать слово в книге этим очевидцам и собеседникам. И еще мне хотелось все рассказанное подкрепить документами.

В общем это мозаика, сложенная мной из уже известных фактов, неизвестных эпизодов, документов и того, что называется личными наблюдениями и впечатлениями.

В книге будет много цитат, но я пользуюсь ими не как принято в научных трудах, для меня цитаты — такое же изобразительное средство, как в мозаике цветные плитки. Это не мое изобретение, его хорошо объяснил писатель Валентин Катаев. Вот его слова: «Вероятно, читатель с неудовольствием заметил, что я злоупотребляю цитатами. Но дело в том, что я считаю хорошую литературу такой же составной частью окружающего меня мира, как леса, горы, моря, облака, звезды, реки, города, восходы, закаты, исторические события, страсти и так далее, то есть тем материалом, который писатель употребляет для построения своих произведений».

Мозаика эта — я надеюсь — поможет воссоздать личность Петрова, а также наметить хотя бы контуры времени, эпохи, тех важнейших событий, которые из прапорщика царской армии сформировали (а порой — мешали формированию) советского полководца, видного военного деятеля, горячего патриота, беззаветно служившего Родине.

Перед вами жизнь человека, свершившего много славных дел, но допускавшего и ошибки, попадавшего в поле зрения и власти людей благородных — и подлых, страдавшего от общенародных бед — и тех, что послала ему судьба персонально, пережившего радость наших общих побед — и одержанных им лично. Он любил жизнь и людей, и его любили тоже. Но, кроме обычной любви, которую дарит жизнь каждому из нас, его еще любили многие тысячи солдат и офицеров, сыны всех республик нашей страны и особенно среднеазиатских, где личность Петрова по сей день легендарна.

Ничто человеческое ему не было чуждо, но обладал он еще и такими качествами, которые отпущены не многим.

А я, как говорит латинское изречение, «Feci, quod potui, faciant meliora potentes» — «Сделал, что мог, и пусть, кто может, сделает лучше».

В СРАЖЕНИИ ЗА ОДЕССУ

Июль 1941 года

Я познакомлю вас с Петровым в первые дни войны. Все, что было в его жизни до этого, вы узнаете из коротких отступлений в прошлое, которые я буду делать по мере надобности.

Хочу в самом же начале обратить внимание читателей на то, что во все периоды боевой деятельности и мирной жизни Ивана Ефимовича Петрова его окружали очень многие достойные люди, происходили важные события, полные не меньшего драматизма, чем те, в которых участвовал Иван Ефимович. Я порой опускаю очень напряженные схватки на соседних участках обороны или не описываю подвиги теперь широко известных героев. Поступаю так не потому, что мне об этом неведомо, и не потому, что намереваюсь заслонить Петровым других. Нет и нет! Постоянное присутствие Петрова на первом плане объясняется только тем, что книга эта — о нем, в поле моего зрения — события, в которых участвовал он. Я не пишу о всей героической эпопее обороны Одессы, Севастополя, Кавказа, задача моя гораздо скромнее и уже, а именно — воссоздать те эпизоды больших сражений, в которых участвовал и проявлял себя как личность генерал Петров.

Итак, ранним июльским утром пассажирский поезд приближался к Одессе. Светило солнце, навстречу поезду в голубом небе летели легкие белые облака. И совсем некстати для этого теплого солнечного утра гремел впереди какой-то непонятный гром. Бывает, конечно, грибной дождь, который идет и при солнышке, но это слышались не раскаты летней грозы — впереди бомбили Одессу. Поезд приближался к станции медленно, будто крадучись: железнодорожные пути могли быть разрушены.

Пассажиры, высовываясь из окон, заглядывали вперед. Когда стали видны поднимающиеся к небу шлейфы черного дыма и слышен гул самолетов, поезд остановился; самолетам, бомбившим город, ничего не стоило сделать вираж и сбросить свой смертоносный груз и на поезд.

В этом поезде среди других пассажиров ехал генерал-майор Иван Ефимович Петров. Некоторое время назад, еще до начала войны, его вызвали в Москву из Среднеазиатского военного округа, и он получил назначение в Одесский военный округ.

Петров носил на гимнастерке редкие для тех дней три ордена Красного Знамени — один общесоюзный, два других — Туркменской и Узбекской республик и медаль «20 лет РККА». В дни назначения в Одессу исполнилось ему сорок пять лет. Был он худощавый, среднего роста, загорелый, мягкие, чуть рыжеватые волосы расчесаны на пробор, португези через оба плеча, на кавалерийский манер, и при такой типичной командирской внешности — какой-то не строгий, а очень добрый, докторский взор из-за стеклышек пенсне.

...Бомбежка утихла. Поезд медленно подошел к платформе вокзала. На перроне не было ни души. Еще дымилось несколько пробоин в здании вокзала, валялись обломки стен, кирпича, штукатурки, битое стекло. Никто не вышел навстречу поезду. Пассажиры быстро выбрались из вагонов, опасаясь, что бомбардировщики могут вернуться и продолжить бомбежку. Нагруженные чемоданами и узлами, они торопливо расходились по улицам города.

Генерал Петров в сопровождении двух военных, с которыми он познакомился в дороге, остановился на перроне и стал оглядывать повреждения, причиненные зданию.

— Где же дежурный? Где обслуживающий персонал вокзала? — спросил он, обращаясь к своим спутникам. — Не может быть, чтобы все они погибли.

Разыскали дежурного. Он был растерян, красную фуражку почему-то держал в руке, на расспросы генерала отвечал невпопад. Петров попросил найти начальника вокзала и, когда тот пришел, сказал ему:

— Бомбежка кончилась, жизнь продолжается. Именно в такое напряженное время должен работать телеграф, должно работать справочное бюро, надо объявить по радио людям, меняется ли расписание отправления и прибытия поездов, сказать, что делать, успокоить их. В общем, ваш персонал именно в таких трудных и сложных обстоятельствах должен быть на месте, а не разбегаться.

Это был не начальственный разнос, а простой человеческий разговор. Иван Ефимович, сам никогда не терявшийся в сложной обстановке, как бы делился своей выдержкой, своей способностью думать и действовать спокойно.

Петров оставался еще некоторое время на перроне и только убедившись, что работники вокзала начали выполнять его советы и все теперь сделают и без него, вышел в город.

Жители высыпали на улицу. Отовсюду слышался громкий говор — обсуждали бомбежку. Одесситы вообще народ энергичный, подвижный, они возбужденно говорили о происшедшем, бурно жестикулируя, рассказывали о том, кто что видел, с радостью сообщали, как несколько фашистских бомбардировщиков задымились, загорелись и упали где-то на окраине Одессы. Оказалось, что разрушений причинено не так уж много. Особенно сильно бомбили вокзал и железнодорожные пути.

Воспоминания. Годы 1939—1940

Начиная с сентября 1939 года я видел Петрова почти ежедневно, так как учился в Ташкентском военном пехотном училище имени В. И. Ленина, начальником которого был он, комдив, а после введения генеральских званий — генерал-майор Петров.

Ивана Ефимовича мы видели начиная с утренней зарядки. Нет, он не участвовал в ней и не приходил понаблюдать, как мы ее делаем, этим занимались физрук училища и дежурные командиры. Генерал Петров к тому времени, когда мы покидали теплые постели и выбегали на стадион, уже возвращался с конной верховой прогулки. Жена его, Зоя Павловна, заканчивала к возвращению мужа уборку, мыла ступени небольшого крылечка в особняке, который стоял в тени деревьев у самой проходной в училище. Она была болезненно чистоплотна, порой даже изнуряла этой своей чистоплотностью не только домочадцев, но и всех, кто приходил в дом. Школьником, забегая иногда с Юрой в дом по каким-то нашим мальчишеским делам, я тут же попадал под строгий взгляд Зои Павловны. Так она встречала всех, кто приходил, причем смотрела она не в лицо человека, а на его ноги, на следы, которые он мог оставить на сверкающих чистотой крашенных досках пола.

Иван Ефимович относился к мальчишкам по-доброму, школе нашей всячески помогал. Однажды, когда мы подросли и были в девятом классе (я уже боксом занимался), Иван Ефимович похлопал меня по спине и сказал:

— Крепкий ты, Володя, парень, из тебя может хороший командир получиться. Не думал об этом? А ты подумай.

Я не только думал — мечтал стать курсантом. Тогда очень многие юноши стремились в училища, была не то что мода, а всеобщий порыв влюбленности в военные профессии. Мечтой мальчишек было стать лейтенантом — артиллеристом, танкистом, а особенно летчиком: эти небожители были тогда популярны не меньше, чем в наши дни космонавты.

Военные в те годы пользовались огромным уважением, может

быть, народ предчувствовал то лихолетье, в котором людям в военной форме предстояло выполнить труднейшую миссию по защите Родины.

Вспоминается эпизод, вроде бы пустяковый, но теперь, через много лет, я понимаю, что в нем отражалась именно любовь и уважение народа к армии. Я ехал в трамвае. И вдруг суматоха в вагоне — поймали воришку и подняли шум! Кричали, что залез в карман. Трамвай мчался, парнишке не выпрыгнуть, не убежать. Распалившиеся дядьки уже поднимали кулаки. Парень кричал, что он не вор, что произошла ошибка! Но его не слушали и, держа в крепких руках, мотали из стороны в сторону. Вдруг он увидел меня: «Дяденьки, вот спросите военного, военный врать не будет!» И все затихли, устремив на меня взгляды, ожидая, что я скажу. Я был рядовой, курсант, всего несколько месяцев как надел военную форму. Впервые в жизни мне предстояло вершить суд, которого с доверием ожидали окружающие. И я, ощущая значительность и право, которыми наделяет меня форма, уверенно сказал: «Отпустите его, он не вор. Не станет вор так переживать, смотрите, он уже весь в слезах. Да к тому же при нем нет и украденного, вы же обыскали его». Парня отпустили. Он потом еще целый квартал шел за мной, благодарил и уверял, что я не ошибся. Я тогда по молодости не придавал значения случившемуся, а теперь вот думаю — как велики были авторитет и уважение к человеку в военной форме. Я сам был не намного старше того парнишки, но люди послушали меня, никто не возражал. Слова: «Военный врать не будет!» — не вызывали ни у кого сомнений.

Петров был начальником училища с января 1933 года до июля 1940 года. Его любили курсанты и командиры, он пользовался широкой известностью и уважением у народов республик Средней Азии: фамилию «Петров» знали в самых далеких горных или степных кишлаках Туркестана. Эта слава сложилась еще в годы боев, когда он не только ликвидировал всем ненавистных, измучивших грабежами басмачей, но и оказывал всяческую поддержку местным жителям, помогая наладить разоренную войной жизнь. Это запомнилось надолго.

Одесса, июль 1941 года

В штабе генерал Петров доложил о прибытии командующему Приморской армией генерал-лейтенанту Никандру Евлампиевичу Чибисову. Командарм, широкий в груди, начинающий полнеть, с черными густыми усами, закрученными вверх, занятый делами частей, ведущими бой на границе, долго не задерживал Петрова, коротко сказал:

— Здесь, в Одессе, формируется кавалерийская дивизия. Принимайте командование и заканчивайте ее формирование. Прошу вас как можно быстрее укомплектовать полки людьми, оружием и конским составом. Очень скоро вы понадобитесь в боях. С обстановкой ознакомьтесь в оперативном отделе. Да она сейчас вам в деталях пока и не нужна.

Еще в поезде Иван Ефимович много думал о первых неудачных боях на западной границе. Он, как и другие военачальники, был убежденным сторонником нашей доктрины, которая предусматривала, что Красная Армия будет вести активные действия, что она проучит агрессора боями на его территории, что ни одного вершка своей земли не уступит и достигнет победы малой кровью. И вот происшедшее теперь на фронте было полной противоположностью этому. Как-то все это не укладывалось в голове, не верилось, что доктрина, в духе которой и сам он воспитывался, и подчиненных своих учил, вдруг оказалась несостоятельной.

Петров понимал, что гитлеровцы располагают отмобилизованной армией, создали ударные группировки, что на первых порах у нас могут быть и отходы под ударами превосходящих, сосредоточивших-

ся на отдельных направлениях войск противника. Могут быть и глубокие вклинения его на нашу территорию. Но уже пора бить под основание этих клиньев, отрезать их, окружать и уничтожать вторгшегося врага. Однако, судя по сводкам, которые передавались по радио и публиковались в газетах, этот период еще не наступил. Конечно же, необходимо некоторое время на то, чтобы отоблагодетельзовать армию, подготовить и выдвинуть к фронту части. И Петров ждал, что вот-вот произойдет перелом. Но вести, которые доходили до него от друзей и сослуживцев, а не только из информационных сводок, очень настораживали.

Начальник оперативного отдела генерал-майор В. Ф. Воробьев, уставший и измотанный, все же старался быть приветливым, попытался даже улыбнуться. Он коротко рассказал про обстановку на фронте:

— Пока, слава богу, удерживаем позиции на государственной границе. В некоторых местах даже переходили в контратаки, но небольшие, местного значения.

— Ну, хоть у вас дела неплохи,— вздохнув, сказал Петров.— А то ведь там, севернее, очень и очень неважно.

— Не хочу вас оторчать и выглядеть пессимистом, но долго мы на границе не продержимся: у противника большое превосходство и наши части понесли уже значительные потери. Мне кажется, предстоит неприятности и у нас. Мы бы удержали линию границы, но войска Южного фронта, которые севернее нас, постепенно отходят. И наш правый фланг, таким образом, уже обтекают войска противника...

Вот с такой ориентировкой, понимая, что дивизия, которую ему поручено формировать, может понадобится в ближайшие дни, Петров приступил к работе. Дивизия комплектовалась призывниками из Одессы и Одесской области. Они были разных возрастов: парни, которым только пришло время служить, стояли в строю рядом с пожилыми мужчинами, много лет уже числившимися в запасе.

Пришли даже ветераны. Некоторые из них надели буденовки, сохраненные с гражданской войны.

Под стать бывалым конникам и сам командир дивизии, генерал Петров; по старой кавалерийской традиции он ходил с ремнями через оба плеча, подтянутый, стройный, гибкий, каким и полагается быть кавалеристу.

Вот что писал в одной из статей Иван Ефимович Петров о людях, которые прибывали тогда на формирование дивизии:

«Некоторые считали, что одесситы — это особенный народ, легко поддающийся панике. В действительности это мнение оказалось ошибочным. Слов нет, в Одессе, вероятно, больше, чем в каком-либо другом городе Советского Союза, было нетрудового элемента, немало людей неопределенных, а порой и весьма сомнительных профессий. Вот эти-то группки населения и создавали впечатление об Одессе как об «особенном» городе. На самом деле нетрудовой элемент Одессы по отношению ко всему населению составлял весьма небольшой процент. Как только положение Одессы осложнилось, вся эта «накиль» смылась, а основная, здоровая масса трудящихся, проявляя величайший патриотизм и любовь к родному городу, проделала огромную работу по оказанию помощи войскам в укреплении его обороны».

Петров подбирал таких командиров частей, которые знали старые кавалерийские традиции и могли поддержать их. Командиром 5-го кавалерийского полка, который комплектовался в Котовских казармах, был назначен капитан Федор Сергеевич Блинов. Звание «капитан» для командира полка, конечно, было маловато. Но Иван Ефимович учитывал большой опыт Блинова; тот водил в атаки эскадрон еще на врангелевском фронте. Блинов позже в боях не раз подтвердил правильность выбора Петрова.

При выступлении из Одессы, когда полк был сформирован, на

первом же марше Федор Сергеевич порадовал еще и таким поступком. Полк шел маршем по Одессе, наполнив улицу клацанием подков. Прохожие махали красноармейцам, старушки крестили бойцов, а те, кто помоложе, кричали: «Бейте фашистских гадов!» Вот в этот момент, проходя мимо дома, где жил когда-то Пушкин, Блинов отдал команду: «Смирно! Равнение на дом Пушкина!» Конечно же, подобная почесть не предусматривалась ни уставом, ни какими-либо распоряжениями, но старый буденновец этой командой подчеркнул патриотизм и гуманизм Красной Армии, которая ведет сейчас борьбу с фашистами.

Полк вышел из Одессы и направился в Лузановку, в которой и расположился. Здесь, под прикрытием деревьев, можно было спрятать коней, замаскировать артиллерию и обозы полка.

Кавалеристы с первых дней полюбили комдива Петрова. Он был не только опытный боевой командир, но — самое главное для них — бывалый конник, «лошадник», знающий все тонкости кавалерийского дела.

Наверное, во всех армиях мира существуют кроме официальных личных дел на каждого офицера и генерала еще и своеобразные устные, «фольклорные» досье. Приезжает командир или начальник к новому месту службы, официальная папка с аттестациями и характеристиками еще идет где-то по почте, а в гарнизоне уже знают, кто приехал, что это за человек, каковы его повадки, особенности, недостатки. Разумеется, такие вести приходят об офицере немолодом, который уже встречался с кем-то из попавших в эти места раньше его. Вот так и идет слава — дурная или хорошая, это кто чего заслужил, но идет она впереди офицера.

До назначения в Одессу Иван Ефимович прослужил в армии немало лет, занимал много разных должностей. Но поскольку служи и пересуды, пусть даже офицерские, содержат сведения не очень надежные в смысле достоверности, познакомимся с его биографией из более точных — документальных источников.

...Формируя полки своей дивизии Петров находился в городе. Однажды ранним вечером, выбрав свободный час, он отправился в порт. Давно его тянуло сюда, к морю, к кораблям, постоянно ощущал он их близость, но дела не отпускали. И вот вырвался.

Он сошел на причал к плещущим волнам. Запах смолы, моря, канатов и рыбы опьянил его, даже голова закружилась. Закрыв глаза, постоял так минуту, еще не понимая, почему чувствует себя счастливым. Понял это, когда в сознании его родилась такая же яркая, как эта вот окружающая явь, другая картина. Там тоже пахло тогда смолой, рыбой, канатами...

Воспоминания. Годы 1896—1924

Трубчевск — небольшой городок на реке Десне. На шумной пристани Ваня проводил немало времени с ребятами. Отсюда уплывали пароходы и баржи вниз по реке, в большие города: Киев, Одессу и вверх, к северу. Пароходы везли пеньку, канаты, веревки. На пристани пахло смолой и дегтем, всегда было шумно, сновал разный люд — от богатых купцов до воров и бродяг. Уплывающие пароходы сильными гудками звали в далекие края, рождали мечты о путешествиях...

В городке тогда было около семи тысяч жителей, основное их занятие — работа на пенькотрепальнях, канатных и маслобойных фабричках. Их в Трубчевске было восемьдесят четыре, а если разделить занятых на них семьсот рабочих, то получится в среднем не более десяти человек на фабричку. Вот таков был промышленный размах Трубчевска тех дней. Конопля, которую выращивали крестья-

не губернии, была главным сырьем. Трубчевская пенька считалась лучшей в России. Конопляное семя шло на маслобойни. И еще Трубчевск окружали леса, в городе было налажено производство саней, телег, колес, деревянной посуды и утвари, дегтя и смолы. А на Десне строили лодки и баржи.

Вот в этом Трубчевске — тогда Орловской губернии, теперь Брянской области — 30 сентября 1896 года родился Иван. Отец его, Ефим Петров, был сапожник-кустарь, мать, Евдокия Онуфриевна, — домохозяйка, в семье кроме Ивана еще росли дети: две сестры и брат. Нетрудно представить бедность семьи, в которой всего один работник.

Отец умер в 1906 году, когда Ивану исполнилось десять лет.

Мать, неграмотная, занятая поденной работой, постоянно обремененная заботами об еде и одежде для детей, не могла дать им каких-либо знаний. Человеком, оказавшим большое влияние на Ивана, была старшая сестра Татьяна. Она была учительницей, понимала значение образования и сама могла научить многому.

Я много лет был знаком с Татьяной Ефимовной, она работала в библиотеке окружного Дома офицеров в Ташкенте, часто бывала в нашей семье. Пришлось мне провести печальный обряд похорон Татьяны Ефимовны в 1966 году. В то время Ивана Ефимовича уже не было в живых. Татьяна Ефимовна жила одиноко. Умерла она в больнице. В комнате, куда мы вошли после ее кончины за одеждой для похорон, стояла армейская кровать, тумбочка, простой платяной шкаф и несколько стульев.

Скромная в быту, Татьяна Ефимовна была богатой натурой в интеллектуальном отношении. Она была учительницей по призванию. Очень начитанная, она не только много знала, но и умела как-то особенно просто и доходчиво все объяснить и растолковать. Причем получалось это так, будто не она тебе объясняет, а сам ты доходишь до сути того, о чем идет разговор. Я знаю об этом потому, что каждый раз, выбирая в библиотеке книги, получал добрые советы Татьяны Ефимовны, нередко переходившие в долгие, серьезные беседы.

Иван Ефимович во многом был похож на свою первую в жизни наставницу. Доброта к людям, справедливость, оптимизм в любых, самых трудных обстоятельствах, постоянное стремление к расширению знаний, честность и прямота, смелость и умение отвечать за свои поступки, преданность в дружбе, постоянная готовность прийти на помощь человеку в трудных для него обстоятельствах — все эти качества я наблюдал в брате и сестре Петровых на протяжении многих лет.

Иван Ефимович сам не раз говорил, что Татьяна Ефимовна была ему не только сестрой, но и второй матерью. Она и наставляла его и заботилась о том, чтобы Иван получил хорошее образование. По ее настоянию он поступил в мужскую прогимназию, а в 1913 году — в Карачаевскую учительскую семинарию, где учился на земскую стипендию (10 рублей 72 копейки!), которая, как известно, давалась беднейшим из бедных.

Карачаев недалеко от Трубчевска, в какой-нибудь сотне верст, между Орлом и Брянском, но это уже был город с населением около двадцати тысяч жителей. Здесь проходила железная дорога. Кроме пенькопрядильных фабрик были еще и кирпичные и водочные заводы, две больницы на пятьдесят коек, комитет Общества Красного Креста и вольное пожарное общество. В общем, по нашим современным понятиям, не ахти какой очаг культуры, но для молодого человека, только вступающего в жизнь, город по сравнению с Трубчевском был все же на ступень выше.

В 1914 году началась первая империалистическая война. Иван, зная о причинах войны только из газет и разговоров, конечно же, был готов «постоять за отечество». Он не имел в то время понятия о существовании другой, революционной правды, поэтому принимал

на веру официальные слова. Да и нетрудно представить, что переживал молодой парень, истомившийся от однообразия провинциальной жизни, читая в царском манифесте о начале войны строки об «исторических заветах России», о «братских чувствах русского народа к славянам», о «чести, достоинстве, целостности России и положении ее среди Великих держав», о «грозном часе испытаний»...

Разумеется, можно предположить, что далеко не все порядки в стране нравились Петрову и он желал бы видеть в родной России многие перемены к лучшему. Наверное, так и было, это подсказывает и его социальное положение, однако это лишь предположение. Взгляды и убеждения человека проявляются в делах, а мы не располагаем данными о том, что Иван Петров искал сближения с революционными кругами. Нет, он, как и полагалось «верному сыну отечества» тех дней, хотел пойти на фронт. Однако в 1914 году он еще не достиг призывного возраста, а в 1916 году, когда этот возраст наступил, Ивану дали отсрочку для окончания учительской семинарии, потому что по существовавшей тогда системе подготовки офицеров учителя шли на краткосрочный курс юнкерских училищ. Война длилась уже два года, фронт пожирал не только солдат, но и офицеров.

Осенью 1916 года Карачаевская семинария выпустила своих питомцев досрочно и тут же разослала их в военные училища. Петров попал в Московское Александровское юнкерское училище в январе 1917 года.

Этот период очень важен в формировании не только нравственных, но и политических основ личности Петрова, поэтому попытаюсь коротко осветить те факты, которые несомненно оказали на него влияние.

Петров приехал в Москву накануне Февральской революции. Не успел он осмотреться, понять смысл происходящих событий, как в Петрограде было сформировано Временное правительство. Царь отрекся от престола. Поступали различные распоряжения от Временного правительства, но фактической власти у него не было.

В Москве 1 марта рабочие отряды и революционные части гарнизона заняли почту, телеграф, телефон, государственный банк, полицейские участки, Кремль, арсенал, освободили политических заключенных. Москва оказалась в руках восставших рабочих и солдат.

В Александровском юнкерском училище командование придерживалось распоряжений официальной власти, то есть Временного правительства. Но была уже и другая, революционная власть. Важным документом ее, на основе которого началась перестройка порядков в армейской среде, был приказ № 1, он был издан для Петроградского округа, но им руководствовались всюду, где он стал известен. Этот приказ имел, конечно же, большое значение и для Ивана Ефимовича Петрова, на долгие годы вступавшего на военную стезю. Приведу его целиком, потому что из него хорошо видна и обстановка, в которую попал молодой юнкер, и круг проблем, которые встали перед ним лично.

«ПРИКАЗ № 1

1 марта 1917 года.

По гарнизону Петроградского округа. Всем солдатам гвардии, армии, артиллерии и флота для немедленного и точного исполнения, а рабочим Петрограда для сведения.

Совет рабочих и солдатских депутатов постановил:

1. Во всех ротах, батальонах, полках, парках, багарах, эскадронах и отдельных службах разного рода военных управлений и на судах военного флота немедленно выбрать комитет из выборных представителей от нижних чинов вышеуказанных воинских частей.

2. Во всех воинских частях, которые еще не выбрали своих представителей в Совет рабочих и солдатских депутатов, избрать по одному представителю от рот, которым и явиться с письменными удостоверениями в здание Государственной думы к 10 часам утра 2 сего марта.

3. Во всех своих политических выступлениях воинская часть подчиняется Совету рабочих и солдатских депутатов и своим комитетам.

4. Приказы Военной комиссии Государственной думы следует исполнять только в тех случаях, когда они не противоречат приказам и постановлениям Совета рабочих и солдатских депутатов.

5. Всякого рода оружие, как-то: винтовки, пулеметы, бронированные автомобили и прочее, должно находиться в распоряжении и под контролем ротных и батальонных комитетов и ни в коем случае не выдаваться офицерам, даже по их требованиям.

6. В строю и при отправлении служебных обязанностей солдаты должны соблюдать строжайшую воинскую дисциплину, но вне службы и строя, в своей политической, общегражданской и частной жизни солдаты ни в чем не могут быть умалены в тех правах, коими пользуются все граждане. В частности, вставание во фронт и обязательное отдавание чести вне службы отменяются.

7. Равным образом отменяется титулование офицеров: ваше превосходительство, благородие и т. п. и заменяется обращением: «господин генерал», «господин полковник» и т. д.

Грубое отношение с солдатами всяких воинских чинов и, в частности, обращение к ним на «ты» воспрещается, и о всяком нарушении сего, равно как и о всех недоразумениях между офицерами и солдатами последние обязаны доводить до сведения ротных комитетов.

Настоящий приказ прочесть во всех ротах, батальонах, полках, экипажах, батареях и прочих строевых и нестроевых командах.

Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов».

В Москве Петров пробыл всего пять месяцев. 1 июня 1917 года он был выпущен из училища прапорщиком и назначен в 156-й пехотный запасный полк в город Астрахань.

Служба на новом месте началась у Петрова неудачно. Видно, после московских полугодичных пайков молодой прапорщик обрадовался обилию овощей и фруктов на астраханском базаре, за что и поплатился в том же июне, заболев дизентерией. Он проболел полтора месяца и настолько исхудал и обессилел, что ему дали для поправки здоровья отпуск на два месяца.

Петров поехал в Трубчевск, отдохнул в родном доме, рассказал матери и сестрам о своих мытарствах. По возвращении в Астрахань он все же был уволен из армии по состоянию здоровья и опять вернулся домой.

Совершилась Октябрьская революция. Страна бурлила, все шло в движение, не всегда прямолинейное. Людям, не имевшим установившихся политических взглядов, четкого представления о совершающихся событиях, трудно было определить, куда податься, к кому примкнуть? Все партии вроде бы ратовали за хорошую жизнь, за благополучие и процветание отечества. А кто прав, чей путь борьбы по-настоящему справедлив? Это понять в вихре событий было не так-то просто.

Одним из тех, кто решал для себя этот сложный вопрос, был Иван Петров. «Имея общее представление о политической жизни страны, многое не понимал и, в частности, в период Октябрьского переворота, вернее в период заключения мира с немцами, я был против мира,— писал позднее Иван Ефимович в автобиографии.— Но нигде никогда ни в какие организации, враждебные Советской власти, не вступал и никакого общения с таковыми не имел».

Когда в конце марта 1918 года, в результате срыва переговоров в Брест-Литовске, кайзеровские войска перешли в наступление и фронт стал приближаться к Трубчевску, Петрову было ясно только одно — надо защищать Родину. Он решил немедленно вернуться в свой полк в Астрахань, где по его предположению, должны были формироваться части для отпора врагу.

По дороге в Астрахань Петров встретил в Сызрани сослуживцев по полку. Теперь эти его товарищи служили в Красной Армии. Они

рассказали ему о делах в тылу и на фронте, о тех изменениях, которые произошли в их личных убеждениях. Взвесив все, Петров тоже решил добровольно вступить в Красную Армию и вместе с друзьями отправился в Самару.

Именно здесь, в рядах Красной Армии, в общении с народом, поднявшимся на защиту Советов, в беседах с друзьями, лучше него разобравшихся в том, что происходит в мире, бывший прапорщик Петров вдруг обнаружил, что дело преобразования России, которое вершат большевики, настолько ему близко и настолько желанно, что является и его личным стремлением, он думал о таких преобразованиях, мечтал о них и просто раньше не мог так четко и ясно сформулировать свои мысли. Сделав это открытие, Петров, в первый же месяц службы в Красной Армии вступает в партию большевиков. В мае того же 1918 года он уже как убежденный коммунист подавлял в Самаре восстание анархистов. Затем в составе 1-го самарского Коммунистического отряда дрался с мятежниками-чехами под Сызранью, Самарой, Мелекесом, Симбирском.

Так прапорщик царской армии нашел свое настоящее призвание, став командиром Красной Армии.

После подавления чехословацкого мятежа в 1919 году Петров воевал с уральскими белоказаками. Белоказак был хорошо, а вот сам попал в плен к молодой казачке — Зое Павловне Ефтифеевой. Полюбил ее, женился. Тут целый роман можно было бы написать, потому что у молодой жены отец и два брата служили у белых. И, может быть, новый их родственник не раз сшибался с ними в сабельных атаках.

В 1920 году Петров воевал с белополяками на Западном фронте. А в мае 1922 года 11-я кавалерийская дивизия, в которой он служил, была переброшена в Туркестан для борьбы с басмачеством. Здесь в 1924 году родился у Петровых сын Юрий, мой будущий школьный товарищ.

Одесса, июль 1941 года

Итак, Петров в Одессе формирует полки своей новой кавалерийской дивизии.

По служебным делам ему часто приходилось бывать в штабе армии. Здесь в те дни Иван Ефимович познакомился с человеком, который надолго вошел в его жизнь близким другом. Это был полковник Николай Иванович Крылов, он работал тогда заместителем начальника оперативного управления Приморской армии. Вот что писал Крылов, уже став маршалом, в своих воспоминаниях «Не померкнет никогда» о первой встрече с Петровым:

«Генерал Петров ходил в кавалерийской португее и в пенсне, которое иногда, в минуты волнения, вздрагивало от произвольных движений головы — следствие, как я узнал потом, давнишней контузии. В его облике, своеобразном и запоминающемся, в манере держаться сочетались черты прирожденного военного и интеллигента, что, впрочем, было характерно не только для внешности Петрова.

А вообще Иван Ефимович принадлежал к людям, сразу располагающим к себе, внушающим не просто уважение, но и чувство симпатии, приязни».

Иван Ефимович и сам мог буквально с нескольких фраз понять, оценить человека, разглядеть одаренность или ограниченность собеседника, его честность или же скрытность, прочные знания в военном деле или же стремление «свою образованность показать».

Крылов, крепкий, коренастый, с крупными чертами типично русского лица, располагающий к себе простотой обращения и готовностью помочь, понравился Петрову с первой же беседы. Вдумчивый, широко эрудированный в военных вопросах, объективно оценивающий создающуюся обстановку на данном участке фронта и в стране в целом, Крылов в этой беседе говорил и держался непринужденно.

Однако непринужденность его проявлялась только в свободной манере суждения. Как профессиональный военный он, конечно же, не позволял никакой фамильярности в разговоре с Петровым — не потому, что мало его знал, а просто потому, что подобное отношение даже к близко знакомым людям ему было несвойственно. Крылов был простым человеком в самом высоком значении этого слова, но не простачком.

Однажды вечером, когда в штабе было затишье, они поговорили подробнее обычного.

Иван Ефимович попросил рассказать, как начались боевые действия здесь, на юге, и в силу каких причин они тут сложились более или менее удачно.

Николай Иванович сказал следующее:

— Причиной, на мой взгляд, является то, что перед нападением фашистов мы успели здесь кое-что сделать. Особенно мне хочется подчеркнуть в этом отношении настойчивость начальника штаба Одесского военного округа генерал-майора Захарова. Матвей Васильевич оценивал обстановку правильнее, чем другие, поэтому в последние предвоенные дни делал все, чтобы встретить фашистов в полной боевой готовности. Он лично докладывал в Генеральный штаб о том, что в непосредственной близости от государственной границы появляются все новые и новые части. Шестого июня тысяча девятьсот сорок первого года Захаров говорил с начальником Генерального штаба и убедил его в том, что необходимо срочно перебросить Сорок восьмой стрелковый корпус, которым командовал Родион Яковлевич Малиновский, поближе к границе.

В двадцатых числах июня намечалась полевая поездка штаба округа со средствами связи. Опять-таки, чувствуя, что обстановка уж очень накалилась, Захаров стал убеждать командующего округом генерала Черевиченко, чтобы он не отрывал штаб от войск и отменил эту полевую поездку. Черевиченко, человек дисциплинированный, не хотел нарушать ранее утвержденный план наркома обороны и колебался.

Генерал Захаров понимал: тут уже нельзя заботиться о добрых взаимоотношениях, и официально заявил командующему, что просит доложить наркому его соображения. Черевиченко доложил, и маршал Тимошенко ответил, что он согласен с мнением начальника штаба округа.

Получив поддержку со стороны наркома обороны и поняв, что у него такая же настороженность, Захаров предложил командующему округом, в порядке проверки плана мобилизационной готовности, поднять армейское управление и развернуть его в Тирасполе. Теперь, после разговора с Тимошенко, командующий уже не возражал, а поддержал предложение Захарова.

Буквально накануне нападения гитлеровцев армейское управление прибыло в Тирасполь, успело развернуться там и подготовиться к работе. Захаров взял на себя большую ответственность еще за одно дело. Вы ведь знаете, Иван Ефимович, как перед войной нас всех строго предупреждали: не поддаваться на провокации, не давать никаких поводов противнику думать, что мы готовимся к боевым действиям. И вот в этой обстановке Матвей Васильевич не побоялся и отдал распоряжение штабам и войскам подняться по боевой тревоге, выйти из населенных пунктов и занять районы, предусмотренные мобилизационным планом.

Во время первого массированного налета гитлеровской авиации казармы, в которых обычно располагались эти части, были полностью разгромлены, и, будь в них наши дивизии, они понесли бы огромные потери. А дивизии оказались на границе! Они уверенно и организованно отразили нападение врага...

Петров слушал Крылова и думал: действия Захарова очень пра-

вильны, почему же так нелепо складывается порой судьба таких вот умных, деловых командиров? Началась война, и меры, принятые Захаровым, оправдали его перед высшими инстанциями. А если бы война не началась? Захаров мог сильно полатиться!

Для читателей, не осведомленных в делах военных, хочу сообщить — речь здесь идет о том самом Матвее Васильевиче Захарове, который в годы войны стал одним из выдающихся военачальников, а после войны, будучи Маршалом Советского Союза, возглавлял с 1960 по 1971 год мозг нашей армии — Генеральный штаб. Несомненно, это одна из высших и почетных должностей, на которую назначается наиболее достойный, талантливый и образованный генерал или маршал своего времени. Но есть еще одна должность в Вооруженных Силах, о назначении на нее не пишут в газетах и вообще стремятся много не говорить об этой тонкой и деликатной службе, руководство которой доверяют военачальникам, обладающим не только сильным, смелым умом, но еще и таким качеством, которое стоит даже выше понятия «очень умный, находчивый, смелый». Я имею в виду Главное разведывательное управление. Так вот, Матвей Васильевич Захаров некоторое время возглавлял эту сложную службу. Мне довелось работать в этом управлении в послевоенные годы, не раз встречаться с Захаровым и быть свидетелем его мудрости. То неофициальное, «фольклорное» досье на офицеров и генералов, о котором я говорил выше, у Захарова, наверное, одно из самых доброжелательных: он пользовался у сослуживцев и во всей армии очень большим уважением.

Вернемся к разговору между Крыловым и Петровым. Крылов продолжил свой рассказ:

— Захаров приказал установить связь с пограничными частями и осуществить вывод войск тоже в соответствии с имевшимся планом прикрытия границы.— Полковник усмехнулся, вспомнив любопытный эпизод.— Произошел у генерала Захарова очень напряженный разговор с командующим военно-воздушными силами округа генералом Мичугиным. Захаров приказал ему рассредоточить самолеты на полевых аэродромах, убрав их с основных. Командующий ВВС понимал, конечно, что это очень серьезное распоряжение, и несколько недоверчиво отнесся к приказанию начальника штаба. Подумав, он даже сказал: «Прошу письменного распоряжения на такую серьезную передислокацию».

Матвей Васильевич тоже задумался. Непросто, конечно, было ему тогда принять на себя такую большую ответственность за такое решение, как полная передислокация всех военно-воздушных сил округа. И все же он написал письменный приказ и вручил его командующему ВВС.

Генерал Мичугин выполнил это приказание. Самолеты перелетели на полевые аэродромы. И вот, пожалуйста, результат! Авиация Одесского военного округа не понесла больших потерь от внезапной бомбежки фашистов! Бомбовым ударам подверглись основные аэродромы, те, которые были засечены гитлеровцами прежде. И бомбы, таким образом, были сброшены на пустые аэродромы. Всего три самолета пострадало от этой первой внезапной бомбардировки! А наша авиация встретила эти налеты организованно. И в первый же день было сбито двадцать самолетов врага.

Наши части не только удержали государственную границу, но и сами предпринимали активные действия. Двадцать пятого июня бронекатера Дунайской флотилии совместно с бойцами Двести восьмидесят седьмого полка Пятьдесят первой Перекопской дивизии высадились на мыс Сату-Ноу и с помощью роты пограничников разгромили там более батальона противника и захватили много пленных и артиллерию, которая обстреливала Измаил. На следующий день, двадцать шестого июня, пограничники и подразделения Пятьдесят пер-

всей Перекопской дивизии, тоже с помощью бронекатеров флотилии, высадились на правый берег Дуная и захватили населенный пункт Килия-Веке.— Крылов повернул стул к карте, висевшей на стене, и показал, где находится этот румынский городок, а потом, продолжая рассказ, уже по привычке указывал на карте места, о которых вел речь.

— В общем, до конца июня мы удерживали семьдесят шесть километров границы от устья Дуная сюда на север. Но там, севернее, бои развивались менее благоприятно. Некоторое время наши части и там тоже удерживали границу, но потом гитлеровцы, сосредоточив большие силы на узком участке фронта, вклинились в стыке между Четырнадцатым и Тридцать пятым стрелковыми корпусами. Вот здесь они переправились, захватили плацдарм на восточном берегу Прута и стали его расширять. Вскоре уже переправили сюда больше трех дивизий.

Так что самая большая опасность, на мой взгляд, сейчас там. Если мы успеем ликвидировать этот плацдарм и не дадим возможности противнику расширять свое наступление дальше, то удержим границу. Если нет, то это вклинение чревато большими неприятностями. Ну, еще, конечно, очень жалко, что забрали от нас генерала Захарова. Пришел приказ, и он уехал на север, его назначили начальником штаба Северо-Западного направления. Главкомандующий там Климент Ефремович Ворошилов. И не только Матвей Васильевич, говорят, а и командующий нашей армией генерал-лейтенант Чибисов тоже скоро должен уехать и придет новый. Я понимаю, это вынужденные перемещения, но все-таки в ходе боев менять несколько руководящих генералов, мне кажется, не очень-то полезно для дела...

В этой беседе Крылов привел образное сравнение, которое можно считать символическим выражением принципа организации активной обороны:

— Представим, что некий Геркулес заслонил собой стену, которую ему поручено защищать. Заслонил — и стоит. А его обступили, бросают в него камни. Чем это кончится, если Геркулес будет только прикрывать стену, не атакая на врагов сам? Очевидно, тем, что рано или поздно какой-то камень угодит ему в лоб... Не таково ли в общих чертах наше положение под Одессой? Пассивность в обороне всегда бесперспективна, а в наших условиях — просто гибельна.

— Про Геркулеса это вы очень верно, — задумчиво произнес Иван Ефимович. — Уподобляться ему нам никак нельзя. (Позднее, в дни боев не только за Одессу, но и за Севастополь Петров не раз напоминал Крылову это сравнение.)

В конце беседы Иван Ефимович расспросил Крылова о его прежней службе.

— Я получил назначение в Одесский округ не так давно, служил раньше на Дальнем Востоке, потом в Северо-Кавказском военном округе. — Лицо Николая Ивановича стало грустным. — Только приехала семья — двадцатого июня они приехали: жена, двое сыновей и дочка, — на вторую же ночь меня уже вызвали по тревоге. Я видел их в последний раз, когда погружались в машину с другими детьми и женами командиров. Их увезли куда-то на восток. Я с ними на ходу попрощался и сейчас пока не знаю, где они находятся.

Вскоре после этого разговора, 31 июля, в Одессу приехал новый командующий Приморской армией генерал-лейтенант Георгий Павлович Софронов. Принимая войска от Чибисова, Софронов знакомился с частями, с дислокацией, обстановкой. Он объезжал расположение войск и в один из дней встретился с генералом Петровым. Было в их судьбе общее: ведь Софронов тоже вышел из прапорщиков первой мировой войны. Да и в дальнейшем их путь был в чем-то похожим. Может быть, поэтому, закончив дела и оставшись поужинать

у Ивана Ефимовича, Софронов доверительно рассказал Петрову о так внезапно состоявшемся назначении сюда, на юг.

— Я был заместителем командующего войсками Северо-Западного фронта. И вдруг неожиданный вызов к начальнику Генерального штаба генералу армии Георгию Константиновичу Жукову. Ну, прибыл я, и Жуков сразу, без околичностей, сказал о моем назначении командующим Отдельной Приморской армией. Я рассказал ему, что места эти для меня не новые. В первую мировую я служил здесь прапорщиком Суджанского полка, на румынском фронте. А в дни Февральской революции здесь же был избран членом полкового комитета — в большевистскую партию я вступил еще в тысяча девятьсот двенадцатом году. В восемнадцатом году я возглавлял Болградский отряд революционных солдат, который помог восставшим одесским рабочим разгромить гайдамаков и установить Советскую власть в Одессе. Жуков сказал, что это безусловно поможет мне в работе. В общем, вопрос о моем назначении сюда был решен, видимо, заранее. Георгий Константинович коротко ввел меня в обстановку, сказал, что Приморская группа в составе трех стрелковых дивизий выделена из Девятой армии, что в нее войдет пять-шесть дивизий. Как сложатся события, предсказать трудно, но следует готовиться к обороне Одессы в окружении. И если это случится, надо будет, взаимодействуя с Черноморским флотом, приковать к себе в тылу врага как можно больше сил противника. А когда создадутся для Красной Армии возможности для перехода в контрнаступление, Приморская армия отсюда, из тыла, может успешно содействовать этому наступлению, используя свое фланговое положение по отношению к противнику.

Ну, потом я прибыл в штаб главкома Юго-Западного направления Семена Михайловича Буденного. Представился. Да он меня знал еще и раньше. Маршал сказал: «Поскорей принимайтесь за Приморскую армию. Я думаю, что вам даже не следует к командующему фронтом Тюленеву ездить. Езжайте прямо в Одессу». И вот я здесь. К сожалению, обнаружил, что состав Приморской армии совсем не тот, о котором говорил Жуков. Как вы знаете, Иван Ефимович, у нас здесь остались Двадцать пятая Чапаевская дивизия, Девяносто пятая стрелковая дивизия, а Пятьдесят первую вчера штаб фронта забрал в свой резерв. Ну, вот теперь еще сформируем вашу кавалерийскую дивизию. Я на нее возлагаю большие надежды по прикрытию правого фланга. Немцы уже вбили солидный клин между нашей армией и правифланговыми частями. Чем этот прорыв прикрывать? Теперь нам надо удержать противника хотя бы на Днестре. Но чем держать? Войск очень мало. И командующий фронтом в ближайшее время ничего не обещает. Надо, не откладывая, готовить оборонительные рубежи непосредственно для защиты Одессы. Пока части будут сдерживать противника на Днестре и в оборонительных боях, можно успеть доделать эти рубежи. Мне Чибисов говорил, что они в основном уже намечены, работы идут, но надо как можно быстрее завершить их оборудование. На всякий случай сообщаю вам, Иван Ефимович, что мой запасной командный пункт армии будет в Чебанке, под Одессой.

Софронов уехал от Петрова не отдохнувший, заботы и трудности одолевали его днем и ночью.

О наших неудачах в летние и осенние месяцы 1941 года написано немало.

Иван Ефимович имел свое мнение по поводу первых сражений нашей армии. Это мнение мне стало известно не в пересказе, а от него самого. Вот как это было.

Воспоминания. Год 1945

В июле 1945 года генерал армии Петров был назначен командующим Туркестанским военным округом. У других военачальников этот

округ и эти края не вызывали радости при назначении — жара, отдаленность, безводные пустыни, горы, только Каракумы и Памир чего стоят! А Иван Ефимович воспринял назначение в ТуркВО с радостью, это были места его молодости, он знал здесь каждую тропку, знал и уважал многих людей. Здесь жили постоянно его мать, сестра, жена, сын, много близких друзей.

В конце сентября Петров прибыл в Ташкент и поселился в небольшом особняке на улице Пушкина. В этом доме по традиции жили все командующие.

В эти дни я приехал в отпуск к своим родителям. В 1945 году я был слушателем Военной академии имени М. В. Фрунзе и вот приехал на отдых. Узнав о том, что Петров в Ташкенте, я решил его навестить. Пришел к его дому и остановился в нерешительности. Присет ли он меня? Помнит ли? Прошла такая война, он теперь генерал армии, командующий округом, а я всего лишь капитан.

Но все же я подошел к солдату, который охранял дом и стоял во дворе за калиткой. Спросил:

— Дома ли командующий?

— Здесь.

— А ты не мог бы ему доложить, что бывший его курсант, капитан Карпов просит принять.

Солдат с уважением поглядел на мою Золотую Звезду, видимо, она и стала решающим аргументом.

— Попробую. Хоть и не мое это дело. Я — пост.

Мне не хотелось подводить солдата, действительно ему влетит. И я спросил:

— А может быть, я сам пройду?

— Нет, пустить вас я не могу, товарищ капитан. А вот там на крыльечке есть кнопочка, вы позвоните.

Я поднялся на крыльцо и нажал белую кнопку. За дверью послышались шаги. Открывается тяжелая створка двери, и передо мной стоит сам Иван Ефимович — в брюках на выпуск, в тапочках и в пижамной куртке. Он внимательно смотрит на меня, улыбается, и я с радостью чувствую — узнал! А Иван Ефимович все улыбается и разглядывает меня. Наконец начинает говорить, как бы фиксируя то, что видит:

— Капитан. Герой. Вся грудь в орденах. И главное — жив! Молодец! Ну, Володя, дай я тебя поцелую.

Здесь же, на крыльце, Иван Ефимович целует меня трижды, по-русски. Мельком я вижу расплывающееся в улыбке лицо солдата охраны. Иван Ефимович взмахнул рукой в сторону открытой двери и пригласил:

— Входи. Ты даже не подозреваешь, как ты вовремя пришел!

Входим в дом. Он еще необжитой. Мебель не расставлена. Связки книг не развязаны. Ящики нагромождены в углу горкой. В просторной столовой длинный стол. На столе нет ни скатерти, ни посуды, стоит одна огромная круглая коробка с тортом. Иван Ефимович поясняет:

— Я только приехал, Зоя Павловна и Юра еще в Москве. Я здесь один. И вот, понимаешь, совпадение: у меня сегодня день рождения, мне стукнуло сорок девять! Никто не знает об этом. А какой-то один чудака вспомнил и вот этот торт прислал. Недавно принесли. Ты сладкое любишь? Сейчас мы с ним разделаемся. Есть у меня и горькое. Будем праздновать мой день рождения. Очень ты кстати появился. Нестеренко!

Из соседней комнаты прибежал сержант.

— Ну-ка посмотри там наши запасы. Неси на стол бутылки и закуску, какая есть.

Я был словно во сне. Иван Ефимович говорил со мной не только как со старым приятелем, но и как с равным. А я, понимая, что ни

тем, ни другим не являюсь, думал: не в тягость ли я ему в такой день? Наверное, придут гости. Какие-то генералы. Не может быть, чтобы они день рождения командующего прохлопали!

Но Иван Ефимович радушно улыбался и по-хозяйски распоряжался, накрывая стол:

— Снимай китель. Повесь на стул. Жарко.

Вошел сержант, в руках его целая гроздь бутылок:

— Товарищ генерал, не разбираю я, шо тут хороше, а шо плохе. Не по-нашему на них написано.

— Ладно, ставь сюда, разберемся!

Когда сели за стол, я поздравил Ивана Ефимовича с днем рождения, пожелал ему, как полагается, здоровья и успехов в работе. Поговорили о делах житейских, а потом он сказал:

— Ты правильно сделал, что пошел учиться в академию. Я Юре тоже советую — надо обязательно обобщить, осмыслить опыт войны, подвести под него теоретическую базу. Тогда вам, как офицерам, цены не будет! Многие командиры моего поколения по сути дела были практики. Гражданская война — наша главная школа. Всевозможные курсы усовершенствования да учеба в частях — вот наши академии. Не многим посчастливилось получить фундаментальное образование. А в будущем без него нельзя. Все совершенствуется — люди, оружие, военное искусство. В будущей войне времени на раскачку, на исправление ошибок не будет. Исход ее решится сразу, в первых же сражениях. Отойти к Волге и вновь вернуться к границе уже не получится.

Иван Ефимович задумался, потом сказал:

— Да и в этой войне можно было не допустить такого глубокого вторжения в нашу страну. Стратегию молниеносной войны, сосредоточение больших сил на узких участках, глубокое вклинивание, в основном вдоль дорог, — все это гитлеровцы показали в боях с Польшей и Францией. Это все видели и знали. Вот и надо было готовить армию к таким боям. Учить отрезать эти клинья! Не отступать между дорогами, по которым мчались танковые и механизированные части фашистов, а бить их с фланга. Отсекать от тылов. А у нас целые армии тянулись назад, пытались создать новый сплошной фронт, забегая впереди немцев. Почему? Потому, что не знали тактику врага. Вернее, знали, но не воспользовались этим. А надо было учить наших командиров и войска на опыте боев в Европе, и они тогда, не боясь окружения, спокойно лишали бы горючего ушедшие вперед части противника. Наступательный порыв выдохся бы!

Кроме этого надо было создать глубоко эшелонированную оборону. Вывести войска в поле. Окопаться, подготовить инженерные заграждения, минные поля. Вот на Курской дуге создали прекрасную глубокую оборону, и гитлеровцы сломали об нее зубы, а мы погнали их в шею! Да и наш одесский и севастопольский опыт показал — против хорошей обороны гитлеровцы ничего не могли сделать, даже имея превосходство в силах. Будь у нас боеприпасы и нормальное снабжение, не видать бы фашистам ни Севастополя, ни Одессы. Фашистов дальше Днепра можно было не пустить. Упустили эту возможность.

Победа в войне готовится в мирное время. В конечном счете мы победили. В тысяча девятьсот сорок первом году я даже в нашей доктрине засомневался! Помнишь, как ее сформулировал Сталин? Мы чужой земли не хотим, но и своей земли ни вершка не отдадим никому. И еще — воевать, если придется, будем сразу на территории противника, добьемся победы малой кровью, и нам помогут братья по классу, в тылу врага. В сорок первом при отступлении все это казалось несостоявшимся. Но правильность доктрины проверяется ходом всей войны и окончательным результатом. И вот, если посмотреть с этих позиций, что ж — мы завершили бои на территории про-

тивника, пол-Европы прошли; братья не классу, прогрессивные силы и все, кто ненавидел фашизм, нам тоже помогли; ни вершка своей земли мы не уступили. Вот только насчет «сразу» и насчет «малой кровью» не сбылось: война шла долго и на нашей территории, и крови и жертв было много. Слишком много! В общем, как это ни горько, как это ни неприятно, а ради того, чтобы подобные беды не повторились, надо признавать свои ошибки и делать из них соответствующие выводы.

Сегодня об уроках войны написано много, они подробно анализируются в академиях, при изучении тактики и оперативного искусства. Но надо учесть — Петров говорил об этом одним из первых, сразу после окончания войны. Это его мнение не всем нравилось, потому что недостатки и упущения, ставшие причиной наших неудач в 1941 году, были на совести людей, занимавших тогда высокие посты.

В тот вечер говорили мы и о многом другом. Часов в девять генерал вызвал машину и поехал со мной навестить моих родителей. Он посидел с моими отцом и матерью, попил чаю, хотел послать водителя за остатками торта, но мама сама напекла очень много ради моего приезда и Ивану Ефимовичу, как «одинокому», без семьи, завернула в узелок разных пампушек. Вот тут я еще раз поразился памяти Ивана Ефимовича. Благодаря маму за печеное, он вдруг сказал:

— Доброе у вас сердце, Лидия Логиновна, мне вот как «одинокому» пирогами спешите помочь. А я знаю, моя мать рассказывала, как во время войны вы не забывали ее и тоже помогли старушке. Спасибо вам!

Вот и такое он, оказывается, знал и помнил. А дело было так. Я приехал после ранения в короткий, десятидневный отпуск, во время которого навестил мать Ивана Ефимовича. Она жила на территории военного училища в светлой чистой комнате с небольшой верандой. Когда я расспросил, как она живет, Евдокия Онуфриевна сказала:

— Все хорошо, мне помогают, обеды дают из курсантской столовой. — Потом, помолчав, добавила: — Стара я. Пища бойцов груба для меня. Кашки хочется. А сварить не из чего.

Возвратясь домой, я рассказал об этом своей матери. Времена были тяжелые, все получали продукты по карточкам. И вот мать принесла какие-то белые полотняные мешочки. Это оказался ее НЗ — неприкосновенный запас. Мать развязала мешочки, отсыпала по половине — с килограмм риса, столько же манки — и сказала: «Отнеси Евдокии Онуфриевне, будет возможность, я ей еще дам».

Вот об этом, оказывается, знал и помнил Иван Ефимович. И еще одну фразу его матери вспоминаю, даже не фразу, а заветное желание. Она ее и другим, конечно же, говорила:

— Я до конца войны не помру. Победы дождусь. На Ваню погляжу обязательно. А потом уже можно и в путь собираться. Очень мне хочется, чтобы Ваня похоронил меня с духовым оркестром. И чтоб отпевали. Я ведь верующая.

Все сбылось, как она хотела.

Евдокию Онуфриевну хоронили с оркестром. Было много венков. Иван Ефимович через весь город шел за гробом матери пешком. На ташкентском кладбище, недалеко от церкви, теперь две могилы: матери Петрова и рядом его сына — Юры. Он трагически погиб в 1949 году в Анхабаде, но не во время землетрясения, а как офицер, прибывший туда на помощь. Об этом я расскажу подробнее, когда дойду до последних лет.

Одесса, июль 1941 года

А теперь вернемся в жаркий пыльный июль 1941 года, к войскам, которые на юге нашей страны все еще бились на государственной границе. Конечно же, здесь было не главное направление гитлеров-

цев, и их техники было меньше, и войска румынские не проявляли особого рвения. Но все же они имели превосходство во всем и могли бы наступать успешно, если бы не столкнулись с теми мерами, которые были предприняты командованием Одесского военного округа.

Опасения командарма Софронова оправдались. Плацдарм за Днестром в районе Дубоссар противнику удалось расширить. В глубину наших войск на восток прорывались крупные силы противника. В это же время с севера из района Бердичева сюда, на юг, в направлении Умань, Первомайск, Вознесенск, ударила 1-я танковая группа фон Клейста. Таким образом уже не было никаких реальных возможностей удержать линию фронта на Днестре.

25-я Чапаевская и 95-я Молдавская стрелковые дивизии, чтобы не остаться в окружении, отходили с прочно занимаемого ими переднего края на Днестре, который при иной ситуации они могли бы еще долго держать. Они отходили теперь на рубеж обороны, непосредственно защищавший Одессу. А на Днестре демонтировались пулеметы и другое вооружение Тираспольского укрепрайона, оно пошло на усиление частей и на создание подвижных резервов армии.

Разрыв с правым соседом, 9-й армией, все увеличивался. Командующий Приморской армией Софронов вынужден был, не дожидаясь завершения формирования всей дивизии, послать на правый фланг кавалерийские полки дивизии Петрова, чтобы установить связь с оторвавшимся соседом и разыскать части 30-й дивизии, которая согласно последним указаниям передавалась Приморской армии. Полки кавдивизии и сам генерал Петров метались по огромным степным просторам в поисках частей соседа справа, но всюду происходили неожиданные, короткие стычки с противником. К сожалению, нет ни записей, ни воспоминаний об этих скоротечных боях. Однако можно составить представление о действиях генерала Петрова в те дни, опираясь на документы более раннего периода службы Ивана Ефимовича, потому что он несомненно использовал свой прежний боевой опыт, к тому же эти документы в какой-то мере осветят нам мало известный период его службы в годы гражданской войны и борьбы с басмачеством.

Документы и воспоминания. Годы 1923—1940

«ИЗ АТТЕСТАЦИИ

НА ПЕТРОВА ИВАНА ЕФИМОВИЧА, ВОЕННОГО КОМИССАРА
63-го КАВАЛЕРИЙСКОГО ПОЛКА 11 КАВ. ДИВИЗИИ. 1923 год.

Работник с большой инициативой. Дисциплинированный. Обладает большим административным, политическим, хозяйственным опытом.

Руководитель и организатор превосходный. Знает хорошо кавалерийское дело. К подчиненным отношение товарищеское. К партийным обязанностям относится добросовестно.

Здоров, вынослив в походах. Должности соответствует.

Бриг. командир 11 Качалов
Военком 11 кав. Див. Каплан»

«ИЗ АТТЕСТАЦИИ

на командира 2-го Туркменского кавалерийского полка Туркменской бригады
ПЕТРОВА Ивана Ефимовича. 1929 год.

Тов. Петров работал под моим руководством с августа 1928 по март 1929 года. Теоретическая и военная подготовка в масштабе кавполка достаточна. Тов. Петров справляется с тактической подготовкой начсостава своего полка. В оперативной обстановке разбирается быстро. Имеет большой опыт как бывший комиссар кавполка.

Характера мягкого. Дисциплинирован. Тактичен. Хороший командир и общественник. Морально устойчив. Войсковое хозяйство и штабную работу знает удовлетворительно.

Должности командира полка соответствует.

Командир и комиссар
кав. бригады Мелькумов

Заключение старших командиров и начальников:

В операциях против басмачей показал себя с самой лучшей стороны. Заслуживает внеочередного выдвижения на должность командира отдельной бригады.

Командующий войсками
САВО

— Дыбенко

Вр. член РВС

— Жильцов»

«ИЗ АТТЕСТАЦИИ

на командира I Туркменской горно-стрелковой дивизии Петрова Ивана Ефимовича.
1932 год.

Тов. Петров энергичный, волевой, инициативный. Справился с боевой подготовкой в истекшем учебном году, тактическая и стрелковая подготовка оцениваются хорошо.

Много работает над самоусовершенствованием. Хорошо знает своеобразные условия Средней Азии, владеет местными языками.

Должности командира-военкома дивизии вполне соответствует.

Следует использовать в качестве начальника-военкома Объединенной Средне-Азиатской школы, где в условиях ее многонациональности тов. Петров со своим опытом работы в Средней Азии и знанием местных языков и обычаев будет чрезвычайно полезен.

Командующий войсками САВО

Дыбенко

Член РВС

Баузер»

Все эти годы Петров участвовал в боях с басмачами. В 1932 году стал начальником Объединенной Среднеазиатской Краснознаменной военной школы, которая в 1937 году была переименована в Ташкентское Краснознаменное военное училище имени В. И. Ленина. Училище принимало участие в боях по ликвидации басмаческих банд вплоть до 1934 года, о чем свидетельствуют мраморные мемориальные доски, по сей день прикрепленные к стенам в клубе училища.

Одна треть довоенной службы Петрова — восемь лет — прошла в стенах этого училища. Иван Ефимович не только готовил здесь кадры советских командиров, но и сам совершенствовался и как военный, и как личность (ему было 36 лет в год назначения начальником школы). Он всячески укреплял богатейшие традиции этого славного училища и сам глубоко проникался ими. Вот несколько штрихов, чтобы читатель представил себе, каковы были эти традиции.

М. В. Фрунзе сказал о курсантах этого училища так:

«Приятно и радостно сознавать, что Красная Армия имеет в своих рядах такие воинские части, какой является Туркестанская школа военных инструкторов имени В. И. Ленина. Это хорошо организованный, сколоченный, высокодисциплинированный, прекрасно обученный, героический, боевой коллектив. Приходится только удивляться тому, когда они успели достигнуть таких высоких результатов боевой выучки, дисциплины и храбрости... Без преувеличения можно сказать, что эта школа в сравнительной оценке стоит неизмеримо выше десятка кадровых юнкерских училищ царской армии...»

Член РВС Туркфронта В. В. Куйбышев часто выступал перед курсантами с докладами и лекциями о текущей политике, международном положении, национальной политике Советской власти. Курганские отряды участвовали в ликвидации банд Мадамин-бека, Курширмата, Ибрагим-бека, войск эмира Бухарского и многих других. В итоговом приказе М. В. Фрунзе о ликвидации банд на Ферганском фронте про курсантов сказано: «Школа блестяще выполнила задачу». Ташкентское училище сыграло выдающуюся роль в защите и упрочении Советской власти в Средней Азии. Победы, одержанные курсантами на Актюбинском, Закаспийском, Семиреченском, Ферганском, Бухарском фронтах, — золотые страницы истории училища.

Много курсантов погибло в боях, многие были зверски замучены басмачами. Имена героев боев свято чтут в училище.

Вот такое высокое наследство и ответственность за него принял Петров вместе с должностью начальника и комиссара училища.

Много славных дел совершили курсанты и преподаватели училища под руководством Петрова. Приведу только одну выписку из статьи командующего Среднеазиатским военным округом П. Е. Дыбенко, опубликованной в августе 1933 года в окружной «Красной звезде». Он ставит училище в пример всем:

«Ленинская школа держит высоко свои боевые знамена!.. Мы не сомневались, что и на осенней проверке по всем видам боевой и политической подготовки не сдаст своя позиция начсостав и курсанты Краснознаменной ленинской школы, как ведущая часть округа...»

В акте инспекторского смотра боевой подготовки школы отмечено: политическое обеспечение учебного процесса в школе поставлено образцово, боевая выучка оценивается отлично, стрельбы всех видов проведены на отлично. Кто долго служил в армии, знает: такие оценки на инспекторских проверках заслужить трудно, да и пишутся они в актах очень редко.

Мне посчастливилось быть свидетелем очень важного события в жизни всей Советской Армии и, несомненно, в службе Ивана Ефимовича Петрова. В 1939 году Указом Президиума Верховного Совета СССР был введен новый порядок принятия военной присяги. Она отныне принималась всем личным составом Вооруженных Сил одновременно — 23 февраля, в День Красной Армии и Военно-Морского Флота. Каждый военнослужащий не только произносил присягу, но и ставил свою подпись под ее текстом.

В тот день утром курсанты училища были построены на стадионе перед фасадом здания. Иван Ефимович, худощавый, подтянутый, с неизменным пенсне, с двумя орденами и медалью на груди, на петлицах один ромб — он был еще комбриг. Рядом с ним полковой комиссар Фейгин, небольшого роста, коренастый. Петров взволнован, но старается этого не показать. Он произносит короткую речь, первым подходит к столу, накрытому красной скатертью, и принимает присягу. Голос его звучит громко и четко, именно так и даются клятвы. Расписывается и, высоко подняв голову, смотрит на своих питомцев. Вторым дает присягу комиссар Фейгин.

Когда все курсанты произнесли заветные слова и поставили свои подписи, Петров сказал:

— Мы дали присягу своему народу. Мы пронесем эту присягу через всю нашу жизнь как самое дорогое, как самое сокровенное, как самое ценное из всего, что у нас есть. Мы сохраним ее в нашем сердце до самого последнего часа, дня, минуты, секунды, не отступая от нее ни на шаг. И если потребует от нас наша любимая Родина умереть за счастье ее на поле боя, то, умирая, пускай каждый из нас при последнем вздохе произнесет слова: «Я честно выполнил свой долг».

Курсанты отвечают на слова Петрова дружным «ура!». Мы любили его безгранично и преданно. Позови он нас в любую минуту в бой — мы пошли бы за ним, как говорится, в огонь и в воду. Строгий, знающий военное дело до тонкости, он был в то же время потцовски добр к курсантам, любил нас, мы это всегда ощущали. Он говорил с нами всегда откровенно, шутил, иронизировал, но никогда не опускался до панибратства, был требователен, зная, что это нужно для нашей же пользы. Я был свидетелем многих поступков Петрова, подтверждающих выказанное, однако, опасаясь допустить большой крен в сторону собственных мемуаров, расскажу лишь о последнем дне пребывания Петрова в училище.

Я стоял в строю, когда Иван Ефимович, как обычно, начищенный, наглаженный, попрощался с нами в июле 1940 года. Его назначили на

должность командира дивизии. Незадолго перед этим были введены генеральские звания. Петров сменил два ромба (он был перед аттестацией комдивом) на генеральские алые петлицы с двумя золотыми звездами. Впервые я видел Ивана Ефимовича каким-то неофициальным. Он смотрел на нас добрыми глазами и не начинал говорить, видимо, опасаясь, чтобы голос его не пресекся. Было так тихо, словно вокруг не было ни души. Петров взял себя в руки, сказал нам несколько сердечных напутственных слов и закончил речь так:

— За восемь лет пребывания в училище я сроднился с вами, как со своей семьей. Мне жаль с вами расставаться. Дорогие друзья! Помните, что вы — ленинцы! Где бы вы ни были и что бы вы ни делали, всегда и всюду помните об этом и не роняйте это высокое звание. До свидания, друзья!

Растроганные до глубины души, мы готовы были проводить генерала до дома, но дисциплина не позволяла этого, мы стояли в строю. Мне, да и однокашникам моим прощание показалось печальным. Таким оно и было. Не знали мы тогда, какими тяжкими были три последних года для Петрова, какие несправедливые наветы ему пришлось перенести, не знали, что он мог даже погибнуть. Он и при прощании не сделал и малейшего намека о причинах перевода на другую работу. О том, что тогда происходило в жизни Петрова, рассказ впереди, а сейчас мы возвращаемся в Одессу, к которой со всех сторон подступали огромные силы противника, тесня ее защитников к морю.

Одесса, август 1941 года

5 августа поступил приказ от командующего Юго-Западным направлением маршала Буденного — собственно это был приказ Ставки Верховного Командования, который Буденный продублировал: «Одессу не сдавать и оборонять до последней возможности, привлекая к делу Черноморский флот». Этот день и принято считать началом героической обороны Одессы.

Теперь фронт представлял собой большую, длиной в 80 километров, дугу, которая упиралась своими основаниями в берег моря. На правом фланге эта дуга отодвинута была от Одессы примерно на 30 километров, а на левом фланге и в центре — на 40. Вот на эту дугу командующий и командиры частей стягивали все, что уцелело в предыдущих боях. Подразделения не просто отходили, а вели упорные бои с частями противника, рвущимися к городу.

Над созданием оборонительных позиций в пределах этой дуги одновременно много и хорошо потрудились девять инженерных и тринадцать строительных батальонов, а также десятки тысяч жителей города. Этими работами руководил оказавшийся здесь в командировке один из опытейших военных инженеров того времени Герой Советского Союза генерал-майор Аркадий Федорович Хренов, начальник инженерных войск Южного фронта. Аркадий Федорович подружился с Петровым в дни героической обороны Одессы, а потом и Севастополя, после войны несколько лет работал с ним в Министерстве обороны СССР. Ныне Хренов — генерал-полковник-инженер, живет в Москве. Я не раз бывал в его скромной квартире на проспекте Вернадского, где он рассказал мне много интересного об Иване Ефимовиче. Аркадий Федорович небольшого роста, подвижный от природы, в молодости, видимо, белокурый, теперь совсем белый. Человек широко образованный, начитанный, он обладает большим опытом, который глубоко осмыслил. В своих мемуарах «Мосты к победе» Хренов, на мой взгляд, впервые в нашей военной литературе так широко и с большим знанием специфики дела описал роль инженерных войск в операциях Великой Отечественной войны. Много страниц в этих воспоминаниях посвящено инженерному обеспечению обороны Одессы и Севастополя.

Кавалерийские полки дивизии Петрова, продолжая выполнять за-

дачу по установлению контакта с правым соседом, выдвинулись далеко вперед, некоторые из них оказались в тылу врага. Они вынуждены были пробиваться через обошедшие их румынские и гитлеровские части, чтобы выйти к своим. В эти дни Петров, рискуя жизнью, метался по степи на старенькой машине, отыскивая подразделения и части своей дивизии, ставя им задачи для выхода на новый рубеж обороны.

В начальный период войны радиосвязь применялась очень ограниченно. Ну, а телефонной в таких подвижных боях, конечно же, не было. Поэтому Петров вынужден был при помощи офицеров штаба и сам лично собирать части дивизии. В этих своих поездках Петров не раз натыкался на вражеские отряды, бывали случаи, когда Иван Ефимович мог погибнуть. Опыт маневренных боев с басмачами очень пригодился ему в эти дни.

Наконец Петров собрал почти все части, только про 5-й кавалерийский полк под командованием капитана Блинова, того самого, который подал когда-то команду: «Равнение на дом Пушкина!», не было известно, где он находится. Петров сам отправился на поиски полка. В районе поселка Свердлово он вдруг обнаружил этот полк. Причем увидел его в очень любопытном положении. Полк был построен, и перед его фронтом стояло несколько пленных вражеских танкистов. Командир полка Блинов что-то очень горячо говорил, обращаясь к своим бойцам.

Для того чтобы было понятно происходящее, нужно коротко сказать о том, что предшествовало этому построению. Прорываясь из тыла противника, Блинов построил полк следующим образом: впереди сабельные эскадроны, посередине штаб и части спецподразделений, а сзади прикрытие — пулеметные тачанки. Вот в таком построении они пробивались к своим. Пытаясь их перехватить и уничтожить, фашисты выслали танки. Но кавалеристы, пустив в ход свою батарею, повредили несколько танков и пробились через заслон. Из подбитых танков конники извлекли пленных. И вот, когда уже было ясно, что кавалерийский полк прорвался, Блинов построил его и, желая воодушевить своих бойцов, приказал вывести пленных — это были немцы, а не румыны. Перед строем Блинов сказал:

— Глядите, хлопцы, на этих фашистских сморчков, глядите хорошенько. Нам ли таких не одолеть? Каждый из вас, кто встретится в бою с фашистами, встретится вот с такими плюгавыми трусами. Вы смотрите, как они дрожат, смотрите на них — вот такие они вояки!

В эту минуту генерал Петров и подошел к командиру полка. Блинов доложил ему о прибытии полка. Иван Ефимович обнял его и расцеловал перед строем. Затем генерал поблагодарил конников за мужество, за смелость, за прекрасно проведенные бои.

В конце августа кавалерийская дивизия находилась во втором эшелоне. Конники замаскировали своих коней в зарослях кукурузы. Здесь же находился и Петров. Он сидел в тени кустарника, изучая карту. Рядом, загнанный в кукурузу, стоял разогретый на солнце пыльный «пикап-эмка», своеобразный гибрид легковой и грузовой автомашины, выпущенный Горьковским автозаводом вместе с казавшейся тогда очень комфортабельной «М-1». С другой стороны кустов пролегла тропинка, по которой шел командир 7-го кавалерийского полка майор Ф. П. Лукашук с каким-то незнакомым коренастым капитаном. Их разговор невольно подслушал Иван Ефимович.

— Бросай ты пехоту, переходи к нам, — говорил Лукашук, — командив у нас замечательный человек, генерал Петров, слышал?

— О Петрове слышал, а для конницы я устарел, много лет уже не садился на коня.

Петров, понимая неловкость своего положения, решил обнаружить себя и спросил из-за кустов:

— Кого это вы, Лукашук, агитируете?

Командиры удивленно переглянулись.

— Да вот встретил старого однополчанина, еще в гражданскую служили. Деникина, Петлюру, белополяков били вместе,— ответил Лукашук.

— Заворачивайте сюда,— позвал Петров.

Командиры, раздвигая кустарники, подошли к генералу.

Незнакомец представился: капитан Ковтун.

— Вы кавалерист? Где служили? Когда? Кто командовал дивизией, полком? — стал расспрашивать Петров.

— Был начальником штаба полка, перед увольнением исполнял обязанности командира Седьмого червоно-казацкого полка.

— Почему уволились?

— Хотел учиться, институт закончить.

— Удалось?

— С большим трудом.

— Какая же у вас специальность?

— Очень далекая от дел военных — лесовод.

— Где, кем работали?

Ковтун улыбнулся:

— Много сменил должностей: был секретарем райкома партии, директором МТС. Руководил лесными, а потом рыбными хозяйствами на Украине и на Дальнем Востоке. Перед войной опять призвали. В боях с первого дня. Сейчас разведротой дивизии команду.

— Коммунист?

— С тысяча девятьсот двадцатого года.

Майор Лукашук спросил:

— Товарищ генерал, у меня нет начальника штаба, вот бы Ковтуна и забрать.

— А вы пойдете? — спросил Петров.

В это время начался обстрел, разговор остался незаконченным.

Позднее Ковтун прошел рядом с Петровым все бои за Одессу, Севастополь и на Северном Кавказе, поэтому я так подробно знакомлю с его биографией. К тому же его жизненный путь характерен для командиров, пришедших из запаса. В большинстве своем они были опытные воины и крепкие, надежные в политическом отношении люди.

В 1981 году я разыскал Андрея Игнатьевича Ковтуна. Сейчас ему восемьдесят первый год, он генерал-майор запаса, живет в Симферополе, автор нескольких мемуарных книг. Его «Севастопольские дневники» — рассказ об обороне Севастополя — в 1963 году были опубликованы в «Новом мире».

Рассказы очевидцев, их воспоминания о каком-либо эпизоде, где Иван Ефимович участвовал, а вспоминающий это видел сам, были для меня самым ценным материалом из всех собираемых для книги, я искал их, не жалея времени и сил. Воспоминания Андрея Игнатьевича были именно такой дорогой находкой¹.

В тот день, когда Ковтун познакомился с Петровым, они встретились еще один раз. Андрей Игнатьевич так рассказывал об этом:

— В этот день я искал штаб Тридцать первого полка, где, как мне стало известно, были недавно взятые пленные, а мне, как разведчику, постоянно нужны были новые, последние сведения о противнике. И вот я выехал в то место, где должен быть штаб, но увидел цепь залегших красноармейцев. Полагая, что это второй эшелон, я вышел из машины. Бежит ко мне лейтенант, кричит:

— Куда вы! Впереди противник!

Действительно, вижу далеко впереди лежит еще одна цепь, но

¹ Здесь и в некоторых других местах автор не ставит в кавычки текст, опубликованный в воспоминаниях собеседников, так как в личных беседах те же эпизоды были рассказаны другими словами, а порой и редактировались самими рассказчиками или автором.

это уже, оказывается, враг. Не успел я подумать, почему же по нашей машине не стреляют, как застрочили пулеметы. Мы помчались в кукурузное поле. И здесь я увидел «пикап» Петрова. На подножке его стоит генерал, держится за закрытую дверцу с опущенным стеклом и направляется туда, откуда мы только что удрали от обстрела. Я выскочил из машины, замахал рукой, остановил:

— А, это вы! В чем дело? — спросил Петров.

Я объяснил.

— Ну и дела! — Петров покачал головой. — По нашим сведениям, вражеских войск здесь не должно быть.

Мы отъехали в глубь кукурузного поля. Петров послал кавалеристов разобраться, что происходит впереди.

— Второй раз за день встретились, значит, надо закончить наш разговор. Давайте-ка перекусим, пока есть время.

Ординарец, пожилой солдат с орденом Красного Знамени на груди, тут же на «пикапе» быстро организовал «стол».

— Иван Ефимович, готово!

Меня несколько удивило такое обращение к генералу. Петров заметил это и сказал:

— Пусть это вас не смущает, с Емельяновичем мы знакомы еще с гражданской войны, и орден боевой он еще в те годы получил.

Когда мы наскоро поели, Петров спросил:

— Ну как, есть желание вернуться в кавалерию?

— Надо подумать, — уклончиво ответил я.

— Надумаете, скажите, устрою перевод.

Все, кто был знаком с Петровым, отмечают его удивительную память на людей. Если бы после этого разговора он с Ковтуном встретился лет через двадцать, обязательно вспомнил бы его и все подробности его биографии. Беседы Петрова никогда не были праздными. У него в голове был своеобразный «отдел кадров», он сразу и безошибочно определял деловые качества командиров и находил им служебные места, которым они наиболее соответствовали и где могли принести наибольшую пользу для общего дела. Кстати, так произошло вскоре и с Ковтуном. Несмотря на то, что он был всего капитан-«резервист», не кадровый, Петров назначил его командиром полка, но об этом позднее.

Организуя защиту Одессы, командующий Приморской армией генерал-лейтенант Софронов разделил оборону города на три сектора. В основу обороны каждого сектора была поставлена дивизия.

Восточный сектор возглавил бывший комендант Тираспольского укрепленного района комбриг С. Ф. Монахов. В этом секторе даже не было дивизии, его обороняли разные части, некоторые недавно сформированные, недостаточно обученные: 1-й полк морской пехоты, сводный полк НКВД и 54-й Разинский полк Чапаевской дивизии, который в ходе боев оказался на этом направлении. Против этих разрозненных, но героически сражавшихся частей наступали 15-я и 13-я пехотные румынские дивизии, 72-я немецкая пехотная дивизия, румынская кавалерийская бригада, моторизованная бригада, много артиллерии и танков.

Западным сектором командовал командир 95-й стрелковой дивизии генерал-майор В. Ф. Воробьев. На этот сектор наступали один румынский армейский корпус и еще две румынские пехотные дивизии с танками.

В Южном секторе оборонялись 25-я Чапаевская дивизия (без одного полка) под командованием полковника А. С. Захарченко и сводный пулеметный батальон.

Кавалерийская дивизия генерала Петрова, понесшая большие потери в боях, была выведена в резерв командующего армией.

Разделение обороны на самостоятельные секторы было, пожалуй, наиболее целесообразно в создавшейся обстановке и при тех

особенностях местности, на которой предстояло обороняться. Восемидесятикилометровая дуга обороны была на флангах прикрыта лиманами, глубоко врезанными в сушу: на западе — Днестровским, на востоке — Тилигульским. Внутри этой дуги было еще несколько лиманов, тоже пролегающих от моря к переднему краю, — Куяльницкий, Хаджибейский, Аджалыкский, Сухой. Они не только разрезали весь Одесский оборонительный район на секторы, но, главное, препятствовали маневру внутри района. Разделение на секторы позволяло войскам более самостоятельно выдерживать и отражать натиск врага, давало возможность быстро маневрировать внутри сектора, обеспечивало более устойчивое управление.

У защитников Одессы совсем не было танков и очень мало авиации. Но зато на защиту города переключилась вся береговая артиллерия и мощная артиллерия кораблей, которые находились в Одесском порту.

Еще во время боев на подступах к Одессе горожане уходили на пополнение частей Красной Армии, а когда враг подступил к городу совсем близко, на фронт ушло 12 тысяч коммунистов и 73 тысячи комсомольцев — так начиналась боевая биография города-героя, отрезанного от всей страны врагами и морем.

15 августа командующий Закавказским фронтом генерал армии И. В. Тюленев прислал первую благодарность героическим защитникам Одессы за то, что они остановили врага.

20 августа поступила директива Ставки о создании Одесского оборонительного района, с подчинением его Черноморскому флоту. Командующим оборонительным районом был назначен командир военно-морской базы контр-адмирал Гавриил Васильевич Жуков. Таким образом, Приморская армия переходила под начало моряков, хотя оставалась основной и главной силой сухопутной обороны.

Моряки и сухопутчики — после некоторых тренировок на первом этапе — нашли в себе мужество понять необходимость свершившегося и сосредоточить свои силы на главном: на защите Одессы. В дальнейшем работа их протекала дружно и слаженно. Иначе и не могло быть, руководители обороны Одессы были опытные военачальники, коммунисты, патриоты. Генералу Петрову в дальнейшем пришлось много дней руководить боями вместе с контр-адмиралом Жуковым, чья биография тоже характерна для военачальника Советской Армии.

Восемнадцатилетним юношей Жуков добровольцем ушел в Красную Армию, в годы гражданской войны в составе матросских отрядов он воевал против белогвардейцев и иностранных интервентов под Астраханью. В 1919 году Гавриил Васильевич вступил в партию большевиков, в том же году за смелость и самоотверженность в боях был награжден орденом Красного Знамени. После гражданской войны Жуков окончил Ленинградское военно-морское училище, служил на Балтике и на Черном море. Участвовал в боях с фашистами в Испании. С 1940 года командовал Одесской военно-морской базой. В дни боев за Одессу Жуков показал себя строгим, требовательным и авторитетным командиром. По отношению к генералу Петрову Гавриил Васильевич однажды в очень трудный и критический момент поступил не только в высшей степени благородно, но и с большим риском для своей личной карьеры, в чем читатель убедится в дальнейшем.

Создание Одесского оборонительного района совпало с очень трудными для защитников города днями. Утром 20 августа противник ввел в бой до шести пехотных, одну кавалерийскую дивизию, одну бронеполк и прорвал фронт на участке Кагарлык — Беляевка. Враг ворвался в Беляевку. А это означало, что 300-тысячное население Одессы остается без воды, потому что в Беляевке были головные сооружения одесского водопровода.

Именно в эти дни пагубно отразились на боевых действиях трения между командованием моряков и сухопутчиков. По директиве Ставки предписывалось: «...Контр-адмиралу Жукову подчинить все части и учреждения бывшей Приморской армии...» Жуков понял этот пункт как расформирование штаба Приморской армии и сам стал, минуя этот штаб, командовать дивизиями. Он дал приказ 25-й Чапаевской дивизии, находящейся в Южном секторе, отойти на новый рубеж.

Отход ее в Южном секторе вынудил отступить в Западном секторе и 95-ю дивизию, потому что она могла быть обойдена с фланга и отрезана. Командующий Западным сектором генерал-майор Воробьев и его подчиненные положили очень много усилий на оборудование рубежа обороны, который занимала дивизия и который она могла бы удерживать еще долгое время, если бы не события в Южном секторе.

Отход 25-й дивизии прошел неорганизованно, командование потеряло управление частями. Обстановка усложнялась с каждым часом, предстояли еще более тяжелые бои. В тех условиях нельзя было рассчитывать на то, что командир дивизии поправит свои ошибки, наберется опыта, надо было действовать немедленно и решительно. Поэтому Военный совет в ту же ночь назначил командиром 25-й Чапаевской дивизии генерал-майора Петрова, а комиссаром ее — бригадного комиссара А. С. Степанова. Для того чтобы генерал Петров мог остановиться противника в Южном секторе, кавалерийская дивизия оставалась временно в его подчинении. Ему же был отдан 90-й полк 95-й стрелковой дивизии.

Генерал Петров вступил в командование 25-й Чапаевской стрелковой дивизией очень своеобразно. Это не было желанием удивить кого-то своей оригинальностью. Просто Иван Ефимович был опытный боевой командир со своими сложившимися взглядами на ведение боя и на руководство им. 21 августа рано утром в первый же день своего командования он прибыл с адъютантом на передний край 287-го стрелкового полка, которым командовал майор С. И. Султан-Галиев, и стал прямо здесь знакомиться с положением дел и прежде всего с командирами подразделений. У него было такое правило: он должен знать всех командиров, с кем ему предстояло служить, — от командиров взводов и выше. Поэтому он пришел сразу же на передний край. К тому же он понимал, что появление командира дивизии на переднем крае в такой трудный и, прямо скажем, критический момент, когда противник продолжает наступление, подбодрит красноармейцев и командиров, укрепит их стойкость, и он не ошибся.

Как раз на рассвете началась новая атака противника. Петров, чувствуя накал боя и напряжение сил обороняющихся, не остался на командном пункте 287-го полка, а перешел на батальонный КП. Здесь, в непосредственной близости к врагу, он увидел: наступающие шли и тянули с собой пушки, они останавливались, вели огонь по нашим пулеметам, поддерживали пехоту и опять продвигались вперед. Ходить в атаку с пушками — это, конечно, дело рискованное, но противник, видимо, рассчитывал показать этим, что он полностью уверен в успехе и непременно овладеет лежащим впереди рубежом.

Петров, конечно же, понял этот психологический трюк и крикнул комбату:

— Надо проучить их за это нахальство. Надо контратаковать и отбить у них пушки. Поднимайте бойцов в контратаку!

Командир батальона, командиры рот повели батальон в контратаку. Противник не выдержал, не принял штыкового боя, стал отходить. А наши бойцы захватили пять орудий и запасы снарядов, которые за ними везли. Продвижение противника таким образом было остановлено!

Не опрометчиво ли поступил генерал Петров, уйдя на передовую через несколько часов после назначения на должность командира

дивизии? Что это — бравада? Желание показать новым подчиненным свою храбрость? Пренебрежение к традиционным формальностям по приему и сдаче командования соединением?

Ни то, ни другое, ни третье. Петров исходил из главного — необходимости остановить врага, стабилизировать линию фронта на участке дивизии. Что ему делать в тылах? Принимать, подписывать бумаги? Знакомиться с частями? Но у него в подчинении всего два стрелковых полка, оба они на переднем крае, третий — в восточном секторе. Резервов нет. Оперативно подчиненная ему кавалерийская дивизия хорошо известна, он только что был ее командиром. Что еще? Конечно же, есть масса дел, которыми надо руководить командиру дивизии, но ими могут заняться заместители, начальник штаба, те, кто был здесь до него и лучше его знает все тонкости. Главное сейчас — остановить врага! И значит, надо прежде всего знать этого врага, где он, сколько у него сил, куда они направлены. Надо знать, чем можно остановить напор противника, какими силами располагает он сам, Петров. А все его силы впереди, значит, надо поскорее туда! Какие люди командуют полками, батальонами, ротами? Уж он-то знает, как много зависит от командира! Командир вдумчивый, смелый, подразделение в надежных руках — значит, и воевать оно будет надежно. Командир нерешительный, неуверенный — не жди от его подразделения ничего хорошего!

Нет, знал Иван Ефимович, что надо делать! Коротко поговорил с начальником штаба и с комиссаром дивизии: больше и не нужно говорить в такой обстановке. И вот:

— Командующий артиллерией, прошу со мной!

И — вперед.

Артиллерия была единственной силой, которой генерал мог тогда влиять на исход боя. Танков нет. Никаких других поддерживающих сил и средств нет. Именно поэтому:

— Начарт, за мной!

И по дороге на передовую Иван Ефимович, верный себе, успел коротко поговорить с начартом. Подполковник Фрол Фалькович Гроссман перед началом войны был преподавателем в военном училище, но он не хотел оставаться в тылу, добился назначения в действующую армию и заменил выбывшего из строя начарта Чапаевской дивизии. К моменту назначения Петрова командиром Гроссман был уже опытный фронтной артиллерист.

И вот Петров уже в расположении 287-го стрелкового полка. Руководит боем и добивается первого успеха!

По этому поводу маршал Крылов, он тогда был уже начальником оперативного отдела Приморской армии, пишет:

«Существуют разные мнения насчет того, следует или не следует командиру соединения в боевой обстановке отлучаться от своего КП, оставляя там кого-то другого, чтобы лично побывать в частях. Но в этом, очевидно, не может быть общих правил. Василий Фролович Воробьев находился на КП почти безотлучно, и это не означало, что он плохо командует дивизией. Петров же — тут сказывались, вероятно, как склад характера, так и специфика прошлой его службы — испытывал потребность видеть своими глазами, как идет дело в полках, в батальонах. В Чапаевской дивизии он скоро знал в лицо и по имени-отчеству каждого командира роты.

Мне кажется, для Ивана Ефимовича всегда было необходимо, думая о каком-то участке фронта, представлять конкретных людей, с которыми он уже встречался и о которых имеет определенное суждение. В близком знании подчиненных он черпал собственную уверенность, когда принимал решение, ставил боевую задачу».

В течение нескольких дней Петрову удалось остановить наступление противника в Южном секторе и закрепиться на новом оборонительном рубеже. Причем этого успеха он добился не только оборонительными действиями, но активностью, постоянно контратакуя наступающего противника. Это было его принципом — напомику о

«тактике Геркулеса», о которой шла речь в разговоре Петрова с Крыловым. Иногда подразделения, контратакуя противника, закреплялись на новых рубежах и переходили к круговой обороне, находясь в окружении противника. Удерживая эти позиции, они тем самым дробили боевой порядок наступающих, лишали его возможности продвигаться по всей ширине фронта и дезорганизовывали наступление. Умело использовал Петров и своих конников, которые ему подчинялись сейчас. Он ставил им задачи: ночью под покровом темноты выдвигаться в кукурузных зарослях и лихими наскоками отбивать назначенные пункты, занятые противником. Один из полков в решительной контратаке окружил батальон 14-й пехотной дивизии противника и уничтожил его. Два других батальона противника отошли с потерями. 31-й Пугачевский полк контратакой опрокинул противника и ворвался в Францфельд. Командующий армией по телефону поздравил генерала Петрова с успехом.

Воспользовавшись похвалой командарма, Петров попросил:

— А не вернете ли в дивизию Разинский полк?

Этот полк, как втянулся в бои, так и остался в Восточном секторе. Ну, а командиру дивизии, конечно, хотелось собрать всю дивизию вместе. Просьба о возвращении полка была обоснованна и своевременна, положение в Южном секторе оставалось все еще напряженным. Однако и в Восточном секторе было не лучше. Поэтому Софронов не обещал вернуть полк.

— Ну, тогда, может быть, морячков подбросите? Я слышал, у вас сейчас их прибавилось.

Но и морячков командующий не мог дать на полное восстановление сил дивизии Петрова, дал всего 400 человек, потому что к этому времени очень обострились бои в Западном секторе. На этот раз уже генерал Воробьев попал в трудное положение, и моряки ушли в основном на пополнение его частей.

Дивизии, оборонявшие Одессу, несли большие потери. В части, отрезанные от всей страны и главных сил Красной Армии, пополнение поступать регулярно, конечно же, не могло. Иногда собирали отряды добровольцев-морячков с кораблей. Но в большинстве своем пополнение поступало из Одессы. В дни обороны города добровольцами шли в части и совсем молодые комсомольцы, и люди непризывного возраста, и те, кто по состоянию здоровья не был взят при мобилизации. Но это были люди стойкие, надежные. Они защищали свой город до последнего. Вот один только пример.

Это произошло в Разинском полку дивизии генерала Петрова. Воспроизвожу происшедшее по рассказу очевидца, политрука роты Якова Васьковского. Очередная атака свежих сил врага была упорной и мощной. Атакующие подошли к нашим окопам уже близко, все отбивали наседающих огнем, молчал только пулемет на левом фланге.

— Почему молчит пулемет на левом фланге? — гневно прокричал в телефонную трубку комбат Сергиенко. — Немедленно проверьте, в чем дело?

Командир роты лейтенант Гринцов побежал на свой левый фланг. Пулеметный расчет там был новый, только прибыл, Гринцов даже не успел с ними побеседовать перед боем.

Прибежав к пулемету, лейтенант увидел — расчет жив, пулеметчик стоит, склоняясь к прицелу.

— Почему не стреляете?

— Далеко еще. Пусть поближе подойдут, — ответил спокойно пулеметчик.

— Они тебя гранатами забросают! Стреляй! — Лейтенант хотел уже оттолкнуть упряма, но пулеметчик застрочил. Солдаты противника падали, срезанные точным огнем.

— Молодчина! — неволью похвалил Гринцов. — Смотри, сколько уложил! Орденом тебе полагается!

Пулеметчик наконец оглянулся, и лейтенант увидел, что это девушка, подстриженная под мальчика. Ее глаза весело щурились.

— Орден — это хорошо, товарищ командир. Только я пришла сюда не за орденом. За спиной — моя Одесса!

Пришел после боя и комбат Сергиенко познакомиться с отважной пулеметчицей. Звали ее Нина Онилова.

— Вы прямо как Чапаевская Анка в фильме! Но все-таки запомните: так близко подпускать врагов нельзя. Может случиться задержка в пулемете или гранату добросят, и окажутся фашисты у нас в окопах.

— Слушаюсь, товарищ капитан!

До генерала Петрова дошли слухи об отважной пулеметчице. Вскоре принесли ходатайство о представлении ее к награде. Генерал почему-то на этот раз не подписал бумагу, приказал вызвать Онилову.

Она пришла в телогрейке, испачканном землей обмундировании, да и на лице у нее, хоть и видно, что умывалась, остались следы ружейного масла и копоти. Небольшого роста, смущенная и немногословная, она стояла перед генералом.

— Расскажите, как вы били фашистов,— попросил Петров.

— Была, как все.

— Нет, не как все, вы их поближе подпускали,— намекает генерал. Онилова опускает глаза, вроде бы виновата:

— Чтоб наверняка их, гадов. Чтоб патроны зря не тратить.

Генерал засмеялся.

— Молодец! Смелая вы, девушка! Присваиваю вам звание старшего сержанта.

Онилова даже по стойке смирно не стала; удивленно и растерянно смотрела на генерала. Петров подошел к ней пожать руку. А она и руки не подала, а потом протянула как-то по-девичьи, не по-военному.

Петров отпустил Нину и сказал присутствовавшему при разговоре Ковтуну:

— Замечательная девушка. Не к ордену Красной Звезды, как просят в ходатайстве, а к Красному Знамени ее представить! Совсем девочка — и такая смелая! Я приказал ее вызвать, потому что подумал, грешным делом, не приятельница ли она кому-нибудь из начальников. А она — настоящий боец! И к тому же очень скромная.

Онилова еще много раз проявляла завидную храбрость в боях, слава о ней шла по всей обороне. Нина была одесситкой, воспитывалась в детском доме, потом работала на трикотажной фабрике, вместе с другими девушками пошла добровольцем на фронт. Очень гордилась, что попала в Чапаевскую дивизию.

С первых часов руководства обороной Южного сектора генерал Петров оказался в одном из самых горячих мест битвы за Одессу. Напряженность схватки здесь не спадала, а, наоборот, все усиливалась.

В дивизии Петрова были потери, но больше всего его озаботило ранение командира 287-го полка Султан-Галиева. Этот полк в прославленной Чапаевской дивизии был новый, не имел, как остальные, почетного наименования и давних традиций. Он был передан в дивизию в бою на Днестре, взамен 263-го полка имени Фрунзе, оказавшегося в круговерти боя в боевых порядках другой дивизии, ушедшей с 9-й армией. Получив сообщение о том, что полк в такой напряженной обстановке остался без командира, Петров должен был немедленно найти достойную замену.

Командира всегда не просто заменить, тем более при таких потерях среди командного состава, да при том, что все здесь сошлись недавно и командирские качества многих были известны не очень хорошо. Вот тут и вступил в действие «отдел кадров» в голове Ивана Ефимовича, его способность быстро понимать, оценивать людей, находить

в них достоинства и недостатки, видеть иногда то, что человек сам в себе еще не рассмотрел.

Ситуация не позволяла говорить долго, давая напутствия и советы, нужен был человек, который быстро все поймет и начнет действовать немедленно. Предварительные разговоры и подсказали Петрову, что таким человеком может быть Ковтун.

Я попросил недавно Ковтуна поподробнее рассказать, как состоялось его назначение, и вот передо мной письмо Ковтуна из Симферополя:

«Я был начальником разведки дивизии. Вскоре после прибытия к нам командиром, Петров вызвал меня и приказал: немедленно отправляйтесь в 287-й полк, мне кажется, они не точно заняли рубеж, на котором приказано закрепиться,— Петров показал на карте,— они должны быть тут у хутора Красный Переселенец. Лично пройдите вдоль переднего края,— генерал усмехнулся,— как тогда, помните, когда в кукурузу удирали от обстрела? Когда все уточните, доложите мне по телефону.

Я тут же выехал в полк, по прибытии туда доложил майору Султан-Галиеву и батальонному комиссару Балашову о полученном от генерала Петрова задании. Я попросил их дать мне проводника, но они решили пойти со мной сами.

Вначале все шло хорошо, мы вышли на фланг и убедились, что батальон здесь правильно занимает рубеж. Но командир батальона доложил, что у него нет связи с соседом слева, там нет никого. Мы пошли вдоль левого фланга и убедились, что здесь действительно нет наших подразделений. Султан-Галиев — человек горячий — заволновался и сказал: «Сейчас мы их найдем, они где-то здесь!» Но не прошли мы нескольких сот шагов, как увидели, что в этот разрыв уже выходит подразделение противника. Хорошо, что у нас был ручной пулемет, мы сразу открыли огонь. Вскоре на звук стрельбы пришли те, кто должен был занимать этот рубеж, они просто ошиблись при ориентировании.

В общем, мы не допустили вклинения в оборону полка.

Когда вернулись в штаб полка, я по телефону доложил Петрову о том, что здесь произошло. Генерал возмутился, сделал соответствующее внушение Султан-Галиеву, а мне приказал оставаться в полку его представителем.

Конец дня и ночь прошли спокойно: утром противник перешел в наступление, как раз на том стыке, где мы вчера побывали. Султан-Галиев и Балашов отправились на это опасное направление сами, чтобы организовать там отражение атаки. Не прошло и часа, как Султан-Галиев был тяжело ранен. Петров, узнав об этом, приказал мне по телефону:

— Принимайте полк, раньше вам уже приходилось командовать полком.

Генерал явно напоминал мой рассказ, при первом знакомстве с ним, о том, что я временно командовал полком еще до войны.

Наступление противника мы тогда отбили, но это было нелегко сделать».

Петров редко ошибался в людях, не был исключением и Ковтун.

Вот тому подтверждение. Мой очередной собеседник, полковник запаса Иван Павлович Безгинов, в те дни капитан, офицер оперативного отдела Приморской армии, был в штабе 287-го полка и видел, как Ковтун вступал в командование.

— Встретили его несколько настороженно,— рассказал Иван Павлович,— все же капитан, немолодой. А Султан-Галиева все очень любили. Но когда Ковтун сводил людей в контратаку, отбивая противника от командного пункта полка, а потом, увидев, что командир одного батальона погиб, побывал с этим батальоном в рукопашной, Ковтуна сразу зауважали и, словно стоворившись, стали называть не по званию, а «товарищ командир полка». Капитанов-то в полку много!

Маршал Крылов в своих воспоминаниях приводит одно донесение из полка Ковтуна, всего три строчки: «287-й стрелковый полк до наступления темноты отбивал ожесточенные атаки противника. К исходу дня в полку осталось 740 штыков. Подразделения полка прочно удерживают занимаемые рубежи». Крылов, комментируя эти скупые строки донесения пишет, что 287-й полк «...совершил подвиг... 740 штыков — это всего лишь батальон, если рассматривать голые цифры

Однако полк остается полком, если он и в таком составе удерживает свои позиции».

Сам Ковтун об этом бое в первые дни своего командования рассказывает:

— Сколько было в тот злополучный день атак, уж и не знаю — сбились со счета... Петров позвонил из соседнего полка, откуда видел наш правый фланг. Сказал: «Я вами доволен. Держитесь, вся дивизия держится крепко». Как же я после этого не удержу рубеж? Я же понимаю: «вся дивизия» — это всего-навсего второй наш полк, мой сосед. Потери у меня в полку все росли, к концу дня ранило комиссара полка Балашова. Его перевязали, и он остался на НП рядом со мной, весь в бинтах, в крови, едва на ногах стоит. Я говорю: «Надо вам в санчасть, в госпиталь». А он отвечает: «Сейчас не имею права». И стал звонить по телефону в батальоны, указания давать, а главное, затем, чтобы знали — жив комиссар! Очень я ему был благодарен за это. В такие критические минуты слово комиссара много весит и много значит! С наступлением темноты подсчитал я потери и ужаснулся — не только потерям, а тому, как же я завтра рубеж держать буду? Обошел траншеи, поговорил с народом, вижу, чуть на ногах стоят. Спрашиваю, а как завтра? Отвечают: так до завтра покурим, поедим, похрапим маленько — силы опять наберемся. Вот я и написал то донесение и доложил, что рубеж удержим.

Общая обстановка осенью 1941 года

Чтобы были понятны причины этих кровопролитных боев, необходимо посмотреть на обстановку несколько шире, чем могли видеть тогда непосредственные защитники Одессы. В военном деле часто, а вернее, почти всегда бывает так: участники боев и сражений неполно и неточно знают все обстоятельства и факты, влияющие на течение и исход боя. Полная картина раскрывается только после завершения сражения или войны в целом. Ее воссоздают исследователи, историки или сами военачальники уже в мемуарах. А в пылу боев неизвестно порой три четверти того, что надо бы знать командиру, чтобы принять всесторонне обоснованное решение. Не так-то просто получить своевременно точную и полную информацию о своих войсках, не говоря уже о противнике, который прилагает все усилия, чтобы не только скрыть сведения о себе, но и ввести в заблуждение, подсунуть дезинформацию о своих силах, намерениях, сроках и направлениях ударов. Не были в этом отношении исключением и части Приморской армии.

К 20 августа, дню назначения Петрова командиром Южного сектора, было в самом разгаре смоленское сражение. Уже целый месяц длилась героическая оборона Ленинграда. Москва отражала воздушные налеты фашистов. Защитники Одессы это знали, но им было неизвестно, что гитлеровцы считали свою победу неизбежной. В те дни начальник генерального штаба германских сухопутных войск генерал Гальдер писал:

«Задача разгрома главных сил русской сухопутной армии перед Западной Двиной и Днепром выполнена. Поэтому не будет преувеличением, если я скажу, что кампания против России была выиграна в течение 14 дней».

Вот так, быстро и просто, вычеркнул нашу страну из истории — и не Геббельс в пропагандистском запале, а один из высших руководителей гитлеровских вооруженных сил, оперирующий конкретными цифрами и фактами. И он был не одинок. Гитлер тоже заявил еще 4 июля 1941 года:

«Я все время стараюсь поставить себя в положение противника. Практически он войну уже проиграл. Хорошо, что мы разгромили танковые и военно-воздушные силы русских в самом начале. Русские не смогут их больше восстановить».

О том, как они просчитались и какой получили отпор, теперь хорошо известно всему миру.

Для того чтобы осуществить свои планы, гитлеровцам надо было снабжать дивизии всем необходимым. И вот тут-то очень мешала Одесса, не позволяющая хозяйничать захватчикам на южном побережье и на Черном море. А Черное море — это прекрасные транспортные коммуникации для снабжения всего левого фланга германского фронта и, в частности, для осуществления планов продвижения на Кавказ.

В румынских портах уже стояли груженные боеприпасами и другим необходимым снаряжением для гитлеровской армии суда, готовые отплыть в Одессу. Об этом Гальдер писал 15 августа:

«Войскам, действующим в районе Днестра и у Киева, требуется в среднем 30 эшелонов в день... В первую очередь необходимо как можно скорее доставить для 11-й и 17-й армий в Одессу и Херсон 15 тысяч тонн боеприпасов, 15 тысяч тонн продовольствия, 7 тысяч тонн горючего. Эти грузы должны быть доставлены в течение 10 дней после захвата Одессы».

Вот так: все спланировано, подсчитано, готово, только одного не хватает — не могут взять Одессу!

В начале августа против Одессы была брошена вся 4-я румынская армия, а через несколько дней здесь уже наступали 10 румынских дивизий, в том числе одна танковая и еще три кавалерийские бригады, а также части 72-й немецкой пехотной дивизии. 300-тысячная армия при поддержке большого количества танков и более ста самолетов рвались к городу.

И все это против трех дивизий Приморской армии (плюс отдельные отряды моряков), понесших большие потери еще при отходе от государственной границы!

По военной теории наступающий должен иметь тройное превосходство в силах. Под Одессой противник имел гораздо большее, на некоторых участках даже десятикратное. Вот документ, свидетельствующий о признании противником неспособности взять Одессу, несмотря на свое превосходство, — это приказ Антонеску по 4-й армии, обнаруженный у убитого под Одессой офицера.

«Многие командиры сообщают мне, что наша пехота не поднимается и не следует за командирами, как именно случилось в 11-й дивизии... Считаю виновными командиров, если они не уничтожили на месте мерзавцев, позорящих свой народ, свои звания и свою фамилию.

Также считаю тяжело виновными всех командиров крупных и мелких подразделений, которые отсылают в тыл раненных в руки и пальцы ног. За редким исключением такие раненые — самострелы, а их нужно уничтожать на месте.

Требую от всех моральной стойкости и энергии... Вы боитесь танков. Целые наши полки, как например, 15-й пехотный, бежали по 4—5 километров назад только от появления 3—4 танков противника... Позор такой армии, которая в четверо, в пятеро (разрядка моя. — В.К.) превосходит противника по численности, превосходит его вооружением... и вместе с тем сдерживалась на одном месте небольшими... советскими частями».

Одесса, август 1941 года

Танки, о которых упоминает Антонеску, были не настоящие, а местного одесского производства. Их делали из обычных тракторов — обивали доски листовым железом и придавали тракторам внешнюю форму танков. Они оказывали на противника больше, пожалуй, психологическое воздействие и не могли сделать того, что делали реальные танки в бою. Одеситы не забывали о шутках даже в трудные дни. Они называли свое создание «танк типа НИ», что значило при расшифровке «На испуг». И эти танки, действительно, участвуя в контратаках наших войск, своим грохотом, ревом моторов, лязгом железных плит и пластин действовали на противника устрашающе.

В одном из боев три таких самодельных танка пошли навстречу наступающей вражеской пехоте, ведя огонь из установленных на тракторах пулеметов. Пехота залегла, но вражеская артиллерия стала бить по этим танкам. Вот тут уже самодельным машинам стало худо. Одна из них была подбита и остановилась. Если бы не выручила наша пехота, экипаж мог бы попасть в плен. «Броня» танка была искорежена вмятинами от пуль и осколков, огромная пробоина зияла в борту.

Бойцы-пехотинцы качали головой и, улыбаясь, говорили отчаянному экипажу:

— Как же вы отважились на таком драндулете идти в атаку?

Лейтенант-одессит остался верен чувству юмора и в эти критические минуты. Он ответил:

— Ах, товарищи дорогие! Это же чудесная боевая машина! В другом танке снаряд внутри разорвется и тарараму там наделает, боже ж ты мой! А этот фургон он так интеллигентно пронзает насквозь, что даже взрыватель не срабатывает. Меня может убить только прямым попаданием. А по теории вероятности фашисту для этого надо израсходовать больше половины своих боеприпасов, на два же таких танка у него и снарядов не хватит!

Румынское командование, гоня в бой свои войска, пыталось играть и на чувствах своих солдат, бессовестно обманывая их при этом. Однажды начальник разведки принес Петрову листовку, которая была взята у пленных румын. Читал Петров этот листок и, иронически улыбаясь, комментировал:

— Всегда, во все времена, полководцы знали цену моральному фактору. Укрепляли, повышали боевой дух разными средствами и способами. Одни использовали религию, другие искали путь к сердцу солдата через желудок, третьи обещали хорошую добычу. Надо признать, каждый раз это давало некоторый подъем духа. Правда, ненадолго. Кроме, пожалуй, религиозных мотивов. Религия была самым мощным оружием в деле укрепления моральных сил. Но самое сильное средство поднятия боевого духа воинов — не вера в бога, не шовинизм, не нажива, а сознание справедливости войны, которую они ведут. Вот вам румынская листовка. Составлена она опытной рукой, сначала дана верная картина положения на фронте. Это, чтобы вызвать доверие солдат. А что потом? Пустая тарабарщина, обман, пошленькая игра на честолюбии. Вот слушайте, — сказал он тем, кто был на НП, и стал читать: «Солдаты! Противник слабее нас. Он ослаблен непрерывной, длящейся вот уже два месяца войной и разбит на всем фронте от Прута до Днестра. Сделайте последнее усилие, чтобы закончить борьбу, не отступайте перед яростными контратаками противника. Он не в состоянии победить потому, что слабее нас. Наступайте! За два дня вы овладеете самым большим портом на Черном море. Это будет наивысшая слава для вас и для страны. Весь мир смотрит на вас, чтобы увидеть вас в Одессе. Будьте на высоте вашей судьбы!»

— На двадцать третье августа на Соборной площади, как они ее по-старому называют, назначен парад войск в честь взятия Одессы и молебен в Успенском соборе, — сказал начальник разведки.

— Ах, прохвосты! — Петров нервно дернул головой, будто боднул в сторону противника, стекла его пенсне холодно блеснули. — Мы вам устроим парад!

Злобствуя из-за упорства защитников Одессы и из-за малодушия своих войск, Антонеску и его генералы шли на крайние средства. Не учитывая происшедших за последние годы изменений в оружии и в тактике, румынские командиры прибегали к так называемой «психической атаке».

23 августа Петрову доложил по телефону командир 31-го полка о начале какой-то необычайной атаки. Петров, выйдя тут же на

наблюдательный пункт, увидел, что со стороны противника по полю движутся развернутыми строями четкие войсковые квадраты. Прямо как в фильме «Чапаев»! Офицеры шагали с шашками наголо, а солдаты с винтовками наперевес. Позади строя, сверкая начищенными трубами, шел и играл оркестр. Звучал четкий марш, и колонны, чекая шаг, как на параде, приближались к нашим позициям.

Все это было очень неожиданно и выглядело как-то несерьезно.

— Ну, это не от хорошей жизни,— сказал генерал Петров.— Они потеряли надежду одолеть нас в обычном бою и поэтому бросаются на такую крайность. Неужели они не понимают, что в наши дни, при современном оружии, психическая атака равноценна самоубийству?

Генерал молча смотрел на приближающегося противника и невольно любовался своеобразной красотой движущихся под четкие звуки марша войск. Был солнечный день. Роты шли по полям ровно. Сверкали начищенные сапоги офицеров и обнаженные сабли в их руках. Было тихо. Никто не стрелял. Только звучала музыка. Все замерло, пораженные этим неожиданным парадом смерти.

— Красиво идут! — произнес Иван Ефимович точно те слова, которые сказал когда-то Чапаев при виде таких же колонн каппелевцев.— Но глупо! Ах, как глупо! Даже жалко их, хоть это и враги. Ну, что же, не мы вас сюда звали! Командующий артиллерией, открыть огонь! Разогнать и уничтожить эту глупую нашивабренную банду!

Ударил артиллерия. Было странно и жутко видеть, как рвутся снаряды, вскидываются черные конусы земли, огня и пламени вблизи колонн, а потом и прямо в гуще шагающих. Сломались ряды, наступающие затоптались на месте. Еще несколько прямых попаданий, и солдаты стали разбегаться. Замолк оркестр, его тоже накрыли взрывы. Офицеры махали клинками, кричали, звали вперед, но в это время ударили еще и пулеметы, защелкали выстрелы винтовок. Сраженные падали то тут, то там. Наконец уцелевшие повернули и общей массой, из которой пули выхватывали все новых и новых убитых, кинулись бежать назад. Немногие из них добежали до своих окопов. Долго еще над полем были слышны крики и стоны раненых. Помогать им было некому. Те, кто был проучен нашим огнем в этой психической атаке, возвращаться на поле боя не решались. Да и уцелело их немного. Только ночью румыны стали уносить раненых. Наши слышали, что в поле идет эта работа, но огня не открыли.

Петров был доволен — отбито еще одно наступление, но все же с некоторой грустью размышлял: «Почему так неразумно вели в бой в современной войне румынские командиры свои войска?» Вскоре на этот вопрос дал ответ приказ, обнаруженный у пленного офицера. Вот что в нем было написано:

«Господин генерал Антонеску приказывает: командиров, части которых не наступают со всей решительностью, снимать с постов, предавать суду, а также лишать права на пенсию. Солдат, не идущих в атаку с должным порывом или оставляющих оборонительные линии, лишать земли и пособий на период войны. Солдат, теряющих оружие, расстреливать на месте. Если соединение отступает без оснований, начальник обязан установить сзади пулеметы и беспощадно расстреливать бегущих. Всякая слабость, колебание и пассивность в руководстве операциями будут караться беспощадно. Этот приказ немедленно сообщить всем частям, находящимся под вашим командованием».

Иван Ефимович вспоминал, как еще совсем недавно, в Ташкенте, он читал лекции заочникам академии и, опираясь на исторические примеры, излагал им ленинскую мысль о том, что исход современной войны, как никогда прежде, определяется не простой численностью участвующих в ней людей, а отношением широких народных масс к целям и задачам войны, отношением к своему политическому и военному руководству. Он преподносил это как теорию, в которую сам верил, но верил так же, как верят в сложные формулы. И вот теперь,

в первые месяцы войны, здесь, в боях за Одессу, он видел не формулу, а самую живую действительность, из которой вытекает эта формула.

Численность румынской армии превосходила наши силы в пять раз. Румынские воины в прошлом, защищая свое отечество, не раз показывали высокую стойкость и мужество, а здесь они были пассивны. Шли в бой по принуждению, явно не желая погибать ради чуждых им целей войны. Политическое и военное руководство румынской армии не было объединено с солдатскими массами единой идеей, общей устремленностью к победе. Румынские генералы или выслуживались перед немецкими хозяевами, или боялись их, а румынский солдат вообще толком не знал, за что он идет на смерть. Обещанные земли и какие-то призрачные блага на новых завоеванных землях ему все равно не достанутся, да и на кой черт они нужны ему, эти земли, если за них надо отдать жизнь!

Я не раз бывал в Румынии после войны, собирал материалы для этой книги, разыскивал документы и, что мне казалось особенно важным, беседовал с людьми, теми самыми солдатами и офицерами, которые участвовали в боях под Одессой. Здесь я приведу некоторые сведения, помогающие понять обстановку тех дней, о которых идет речь.

Антонеску был опытный военачальник и знал, что солдатам армии, кроме оружия, необходимы еще и моральные стимулы, которые объединяли бы их усилия, повышали активность и вели к достижению поставленных целей. Какие стимулы мог предложить Антонеску как глава правительства?

Антонеску назвал эту войну «святой войной», а пропагандистский аппарат вдалбливал солдатам в головы, что эта война святая потому, что она ведется против большевиков-безбожников, которые не только сами не верят в бога, но и притесняют всех верующих. В румынской армии широко распространялись брошюры и буклеты с фотографиями, показывающими, как русские сбрасывают кресты и колокола с церквей, как в церквях устраиваются различные склады, как на демонстрациях 1 Мая и в другие праздники насмеваются над попами, одеваясь в их одежды и делая живые карикатуры. Румынского солдата, таким образом, звали в бой «за веру», «за дело, угодное богу». В Румынии в те годы народ был темный, религиозный, и вся эта идеологическая обработка, конечно же, имела определенное воздействие. Но, как видим, не очень сильное, во всяком случае не такое, как хотелось бы Антонеску; румынский солдат не проявлял желаемой активности в бою. А хозяева Антонеску требовали, нажимали на него, действовали не только «кнутом», но и «пряником». Так, в августе 1941 года в Бердичеве в штабе командующего группой армии «Юг» Гитлер наговорил Антонеску очень много приятных слов, называл его «освободителем Бессарабии» и, отмечая его военные заслуги, наградил и тут же вручил высшую награду рейха — рыцарский крест.

Как же после этого «рыцарю» докладывать о бесконечных неудачах наступления на Одессу! Антонеску рвал и метал из-за того, что солдаты идут в бой неохотно, всячески уваливают, симулируют болезни, самострелы выводят себя из строя. Вот и погнал мстительный диктатор своих солдат на убой — колоннами! Не хотите воевать, так я вам покажу! В колонне все друг у друга и у офицеров на виду, тут шагу не сделаешь ни вправо, ни влево, не отстанешь и за куст не спрячешься, только вперед — под пули и снаряды противника! Эта психологическая мера и месть за строптивость имели и воспитательное значение — в бой колоннами были посланы несколько батальонов, «отличившихся» своей особой инертностью, а всей армии как бы показывалось — и с вами будет то же, если не пойдете в наступление!

В Румынии, уже в 1981 году, я беседовал с несколькими участниками боев под Одессой. Стефан Петреску, пожилой, седой, полный и добродушный человек, приветливо улыбается, смотрит на меня доверчивыми и немного виноватыми глазами:

— Мы оказались на стороне фашистской Германии по какой-то исторической роковой ошибке. Мы ведь были на положении оккупированных Гитлером стран — Польши, Чехословакии и других. На нашей земле была большая, недружественная, а фактически оккупационная немецкая армия. Нас все время держали за горло! Из нас прежде всего качали нефть. По-настоящему мы должны были бы сражаться с гитлеровцами. Пусть бы они нас оккупировали, как другие страны Европы, но мы смотрели бы честно людям в глаза. Мы бы устроили партизанское движение, и горючее не шло бы непрерывным потоком на заправку танков и самолетов Гитлера. Гитлер обманул и нас и — главное — наше государство.

— Но оккупация, партизанская борьба — это страдания и жертвы, — напомнил я.

— Другие народы шли на это! — горячо сказал Стефан, — и нам бы пойти, но быть честными. А что получилось? Вот послушайте, что пишет наш румынский писатель Тудор Аргеци. — Мой собеседник снял книгу с полки, нашел нужную страницу и стал читать: «У французов были маки, у русских — партизаны. Известно, чем занимались во время оккупации сербы, греки, норвежцы, бельгийцы, голландцы, поляки... Наберемся смелости и в этот час обратимся мыслью к горькой правде и своей совести. Вполне естественно, это неудобно. Но мы все в разной степени являемся сообщниками всех преступных актов, подлежащих суду. В то время, когда наши друзья, братья и товарищи гибли в тюрьмах, бродили по белому свету, не будем лицемерить — мы ели жирно, запивали смачно, хохотали громко, развлекались в переполненных пивных, ресторанах и на балах»...

Тудор Аргеци был большой и честный писатель, он был правдив, нарисовал неприглядную картину позорного поведения определенных кругов. Но Аргеци не знал, что в это время в Румынии существовали другие, прогрессивные силы, и в первую очередь коммунисты, что они боролись. Свидетельство тому — подлинный документ тех дней, короткий и выразительный. Это листовка, напечатанная на машинке, она распространялась в румынских войсках.

«Генералы, офицеры и солдаты! Не выполняйте приказы предателя Антонеску — это приказы нашего палача Гитлера! Отказывайтесь идти в бой! Возвращайтесь в страну, чтобы защитить ее вместе со всеми патриотами от опустошающих орд гитлеровцев.

Создавайте во всех частях комитеты и тайные группы солдат и офицеров-патриотов. Готовьтесь к великой освободительной борьбе!»

Патриотические силы в тылу и на фронте, как видим, действовали, хоть их было слишком мало. Коммунистическая партия была еще очень слабой. Но тем не менее высшее командование армии внимательно следило за работой коммунистов и принимало свои меры. Я привез из Румынии копию документа, не только подтверждающего это, но и показывающего обстановку в армии, которая действовала под Одессой. Это письмо по времени написано позднее и адресовано 3-му корпусу, но, видно, лишь оно попало в руки коммунистов. Нет сомнения, что аналогичные письма получали все соединения румынской армии в самое разное время. Ныне этот документ экспонируется в Национальном историческом музее в Бухаресте.

«Секретно.

Главный Генеральный штаб, 2 июня 1944 г.

2-е отделение Отдела контрразведки

3-му корпусу армии

Генеральный штаб располагает информацией, что Коммунистическая партия дала указание своим агентам максимумо усилить пропаганду, как среди гражданского населения, так и в армии. Одно из средств, используемых агентами-коммунистами, — контактирование с войсками, которые находятся в увольнении, отпуске, командировке и т. д. ...У них пытаются ослабить веру в победу и в искренность немецко-румынской

дружбы. Они рекомендуют создавать в частях «антинемецкие группы» и «группы борьбы за мир» под руководством коммунистов, которые есть в каждой части.

Предписываю — поручить вашим надежным войнам, имеющим доверие у коммунистов, вести свою пропагандистскую работу для ослабления влияния коммунистов.

За нач. главного штаба
генерал И. Архип»

Завершая рассказ об обстановке в стане противника в период борьбы за Одессу, хочу, однако, подчеркнуть, что приведенные выше запоздалые сожаления моих румынских собеседников по поводу участия в войне против Советского Союза не снимают ответственности с румынской армии за все совершенные ею преступления. Армия Антонеску была верным союзником фашистской Германии, совершила вместе с ней вероломное нападение на нашу страну. Румынские войска вели себя на захваченных территориях, как настоящие оккупанты — грабили советские города и села, убивали мирных жителей. Румынская военщина тех лет наравне с гитлеровцами в полной мере несет ответственность за все совершенные злодеяния. Нелегко мне писать, а румынским товарищам неприятно вспоминать об этом сегодня. Но что было, то было. Во время поездок по Румынии я искренне радовался переменам, которые произошли в стране после прихода к власти коммунистической партии и от души желал Румынии дальнейшего процветания на социалистическом пути.

Воспоминания. Послевоенные годы

Вернемся к знаменитой психической атаке. На следующий день, 24 августа, наступление противника продолжалось уже без таких эффектов. Бои шли тяжелые. Именно в этот день у Ивана Ефимовича произошла любопытная встреча с человеком, хорошо известным всем читателям. Прежде чем описать эту встречу, мне кажется необходимым сделать небольшое отступление.

О своем намерении написать книгу о генерале Петрове я рассказывал в семидесятых годах очень разным по положению и характерам людям — маршалу Гречко и писателю Константину Симонову.

Маршал Гречко читал мои книги о современной Советской Армии, он не раз отмечал их письменно и устно и награждал меня именным офицерским кортиком. Однажды он спросил, над чем я работаю, и, услышав, что пишу книгу о Петрове, горячо поддержал мое намерение. Он вспомнил и рассказал о своих встречах с Петровым в годы войны, во время битвы за Кавказ, где Гречко командовал армией и был подчиненным Ивана Ефимовича.

— Его очень часто и несправедливо обижали, и об этом надо обязательно рассказать, — советовал маршал. — Другого после опалы забыли бы или он сам опустил бы руки, обиделся и зачах, а Петров был настолько талантливый военачальник и одаренный человек, что его обязательно вспоминали после очередной опалы и, как правило, назначали с повышением. А сам он ни разу не сломался и отдавал свои силы делу защиты Родины каждый раз все с новой энергией. Прекрасный был человек! Чем вам помочь в работе?

Я попросил министра обороны дать возможность ознакомиться с личным делом генерала армии Петрова. Маршал Гречко тут же велел своему генералу для особых поручений генерал-лейтенанту В. А. Сидорову запросить дело в канцелярию министра обороны. Кстати, генерал-лейтенант Сидоров, мой старый сослуживец по Генеральному штабу (тогда мы с ним были еще капитанами), в пятидесятых годах служил офицером для поручений у генерала Петрова, когда тот был начальником Главного управления боевой подготовкой Советской Армии. Сидоров был очень близок к Петрову и тоже многое рассказал мне о последних годах работы и жизни Ивана Ефимовича.

Через несколько дней мне позвонил генерал Сидоров и сообщил, что личное дело Петрова у него.

В апартаментах министра мне отвели комнату, где я тщательно изучил все документы и сделал необходимые выписки. Эта помощь маршала Гречко была неоценима для меня. Благодаря ей я получил достоверные даты, факты и документы о жизни и службе Ивана Ефимовича, имел возможность прочитать автобиографию, написанную рукой Петрова, приказы и решения, снимающие кривотолки и слухи, ходившие по поводу некоторых очень крутых поворотов в судьбе Ивана Ефимовича.

...Я не могу назвать себя близким другом Константина Михайловича Симонова, хотя получал от него письма и книги с дарственными надписями, когда служил еще в далеких гарнизонах. Он относился ко мне доброжелательно и при всех встречах на различных совещаниях, литературных вечерах или в домах общих друзей. Случилось так, что мы дружили в последние годы с Александрой Леонидовной — матерью Константина Михайловича. Вот в ее квартире я часто встречал Симонова и однажды рассказал о намерении написать о Петрове.

Константин Михайлович не только одобрил мое намерение, но и всячески хотел мне помочь в написании книги. Он рассказал о том, что не раз встречался с Петровым в годы войны, что у него есть стенографические записи бесед с Иваном Ефимовичем, и предлагал мне использовать эти материалы в работе. Многие позже было опубликовано в его дневниках и воспоминаниях. Симонов не раз спрашивал меня при встречах, как идет работа и не нужна ли еще какая-нибудь помощь. Константин Михайлович высоко ценил и уважал Петрова, он один из первых запечатлел черты его психологического портрета. Заметки и суждения такого зоркого, наблюдательного и талантливого писателя, каким был Симонов, конечно же, помогут воссоздать образ Петрова более полно.

Приведу одну из записей Симонова — о его знакомстве с Петровым, которое произошло на следующий день после описанного отражения психической атаки.

«Моя первая короткая встреча с Петровым произошла 24 августа 1941 года на подступах к осажденной Одессе в селе Дальник, где размещался командный пункт 25-й Чапаевской стрелковой дивизии, в командование которой незадолго перед этим вступил Петров.

Петров приехал с передовой. Одна рука у него после ранения плохо действовала и была в перчатке. В другой руке он держал хлыстик. Он был одет в солдатскую бумажную легкую гимнастерку с неаккуратно пришитыми, прямо на ворот, зелеными полевыми генеральскими звездочками и в запыленную зеленую фуражку. Это был высокий рыжеватый человек с умным усталым лицом и резкими, быстрыми движениями.

Он выслушал нас, постукивая хлыстиком по сапогу.

— Не могу говорить с вами.

— Почему, товарищ генерал?

— Не могу. Должен для пользы дела поспать.

— А через сколько же вы сможете с нами поговорить?

— Через сорок минут.

Такое начало не обещало ничего хорошего, и мы приготовились сидеть и ждать по крайней мере три часа, пока генерал выспится.

Петров ушел в свою мазанку, а мы стали ждать. Ровно через сорок минут нас позвал адъютант Петрова. Петров уже сидел за столом одетый, видимо, готовый куда-то ехать. Там же с ним за столом сидел бригадный комиссар, которого Петров представил нам как комиссара дивизии. В самом же начале разговора Петров сказал, что он может уделить нам двадцать минут, так как потом должен ехать в полк. Я объяснил ему, что меня интересует история организации Одесской кавалерийской дивизии ветеранов и бои, в которых он с ней участвовал.

Петров быстро, четко, почти не упоминая о себе, но в пределах отведенного вре-

мени давая краткие характеристики своим подчиненным, рассказал нам все, что считал нужным, об этой сформированной им дивизии, потом встал и спросил, есть ли вопросы. Мы сказали, что нет. Он пожал нам руки и уехал...

Далее Симонов продолжает:

«Ивана Ефимовича Петрова я знал потом на протяжении многих лет и знал, как мне кажется, хорошо, хотя, быть может, и недостаточно всесторонне.

Петров был человеком во многих отношениях незаурядным. Огромный военный опыт и профессиональные знания сочетались у него с большой общей культурой, широчайшей начитанностью и преданной любовью к искусству, прежде всего к живописи. Среди его близких друзей были превосходные и не слишком обласканные в те годы официальным признанием живописцы. Относясь с долей застенчивой иронии к собственным дилетантским занятиям живописью, Петров обладал при этом своеобразным и точным вкусом.

Петров был по характеру человеком решительным, а в критические минуты умел быть жестким. Однако при всей своей, если можно так выразиться, абсолютной военности, он понимал, что в строгой военной субординации присутствует известная вынужденность для человеческого достоинства, и не жаловал тех, кого приводила в раж именно эта субординационная сторона военной службы. Он любил умных и дисциплинированных и не любил вытарщенных от рвения и давал тем и другим чувствовать это.

В его поведении и внешности были некоторые странности или, вернее, непривычности. Он имел обыкновение подписывать приказы своим полным именем: «Иван Петров» или «Ив. Петров», любил ездить по передовой на «пикапе» или на полуторке, причем для лучшего обзора частенько стоя при этом на подножке.

Конгузия, полученная им еще в гражданскую войну, заставляла его, когда он волновался и особенно когда сердился, вдруг быстро и часто кивать головой так, словно он подтверждал слова собеседника, хотя обычно в такие минуты все бывало как раз наоборот.

Петров мог вспылить и, уж если это случалось, бывал резок до бешенства. Но к его чести надо добавить, что эти вспышки были в нем не начальнической, а человеческой чертой. Он был способен вспылить, разговаривая не только с подчиненными, но и с начальством.

Однако гораздо чаще, а вернее почти всегда, он умел оставаться спокойным перед лицом обстоятельств.

О его личном мужестве не уставали повторять все, кто с ним служил, особенно в Одессе, в Севастополе, и на Кавказе, там, где для проявления этого мужества было особенно много поводов. Храбрость его была какая-то мешковатая, неторопливая, такая, какую особенно ценил Толстой. Да и вообще в повадке Петрова было что-то от старого боевого кавказского офицера, каким мы его представляем себе по русской литературе XIX века.

Такой сорт храбрости обычно создается долгой и постоянной привычкой к опасностям; именно так оно и было с Петровым».

Одесса, конец августа 1941 года

На следующий день, после того, как у Петрова побывал Константин Симонов, 25 августа, противник, бросив в бой больше десяти дивизий, перешел в наступление на всех трех секторах. Это было еще одно решительное наступление для прорыва к городу. С большим трудом наши дивизии удерживали позиции своих секторов: в предшествовавших боях части понесли очень большие потери. В этот день начали рваться первые артиллерийские снаряды в одесском порту — раньше одесский порт был достигаем только для бомбардировок противника. В этот же день, 25 августа, из Ставки пришла телеграмма начальника Генерального штаба маршала Б. М. Шапошникова. Члены Военного совета Одесского оборонительного района спешно выехали в сектор для того, чтобы довести до частей содержание телеграммы. К Петрову в Южный сектор приехал адмирал И. И. Азаров. Знакомя генерала Петрова с содержанием телеграммы, он сказал:

— Маршал Шапошников отмечает, что в период с шестнадцатого по двадцать пятое августа в Западном секторе Одесского оборонительного района наши части отошли на пятнадцать—двадцать километров к востоку от линии, которая рассматривалась Верховным Главнокомандованием как основной рубеж обороны. А вот совсем недавно, вчера и сегодня, и части Восточного сектора тоже отошли на четыре—восемь километров. Сужение пространства оборонительного района очень беспокоит Ставку, и она предупреждает вас о возможности тяжелых последствий. Эти последствия уже наступили. Сегодня противник обстреливал одесский порт артиллерийским огнем. Пока его обстреливают со стороны Восточного сектора, но, если, Иван Ефимович, ваши части отойдут еще хотя бы немного, то город будет обстреливаться и отсюда, с вашей, южной стороны. Ведь весь город целиком находится в вашем Южном секторе. Ставка требует большей устойчивости в обороне, требует сделать все возможное, чтобы не допустить прорыва противника к городу. Мы попытаемся помочь вам — дополнительно мобилизуем всех, кто может носить оружие, и придем на пополнение ваших частей. Вот, в Девяносто пятой дивизии у вашего соседа организовали сбор трофейного оружия и оружия своих погибших бойцов на поле боя. Этим оружием они вооружают тех, кто приходит на пополнение частей. Советую и вам, Иван Ефимович, организовать такие же группы сбора оружия в вашей дивизии. Город тоже поможет всем, чем только можно. Там начали изготавливать ручные гранаты. Придумали запал для бутылки с горючей смесью, теперь уже не надо зажигать их вручную перед тем, как бросить в танк. На судостроительном заводе организовано производство самодельных танков.

Адмирал Азаров помолчал, понимая, как трудно генералу Петрову, потом добавил:

— В городе очень тяжелое положение, Иван Ефимович. Но рабочие просили передать, что они сделают все, только, пожалуйста, остановите и отгоните врага. Рабочие сейчас получают продукты по карточкам, и даже вода выдается по норме. После того как были захвачены головные сооружения водопровода в Беляевке, сделано пятьдесят восемь новых колодцев. Но разве для такого города хватит воды этих колодцев?

Петров ответил адмиралу спокойно, как-то даже неофициально:

— Вы знаете, что мы делаем все возможное и даже невозможное. Конечно, чапаевцы отдадут все силы, чтобы выполнить указания Ставки и Военного совета Одесского оборонительного района. А в доказательство того, что силы еще есть, скажу, что даже сейчас бойцы и офицеры не теряют оптимизма и чувства юмора. У нас здесь родилась поговорка: «Все трудное мы делаем немедленно, а невозможное — немножко позже». И вот еще — бойцы написали письмо Гитлеру, подражая письму запорожцев турецкому султану. Может быть, вам интересно будет, почитайте на досуге.

И Петров вручил Азарову два письма. Они были размножены на машинке, видимо, в штабе. Одно называлось «Генералу без армии Антонеску», другое — «Людоеду Адольфу Гитлеру».

Илья Ильич быстро прочитал второе.

«Мы, правнуки и внуки славных и воинственных запорожцев земли Украинской, которая теперь входит в Великий Советский Союз, решил тебе, проклятый палач, письмо это написать, как писали когда-то наши предки и деды, которые громили врагов Украины.

Ты, подлый иуда и гад, напал на нашу Краину и хочешь забрать у нас фабрики и заводы, земли, леса и воды и привести сюда баронов, капиталистов — таких, как ты, бандитов и разбойников-фашистов.

Этому никогда не бывать! Мы сумеем за себя постоять... Не выдай тебе нашей пшеницы и сала... Не разбудишь ты ни одного воза провизии, хотя уже и потерял

лучшие дивизии, не построишь ты на нашей земле ни одну виллу, мы выделим для каждого из вас по два метра на могилу. И как не доведется свинье на небо смотреть, так тебе в нашем огороде не рыть, хотя у тебя морда свиньяча и свинская удача...

На этом мы кончаем и одного тебе желаем, чтобы у тебя, пса, застряла во рту польская колбаса, чтобы ты со своими муссолинами подавился греческими маслинами, а в остальном, чертовы гады, не миновать вам всем наших пуль и снарядов...

Эти письма ходили по рукам в городе, и многие не только подписывали их, но и вносили свои острые дополнения.

После 25 августа особенно тяжелое положение создалось в Восточном секторе комбрига Монахова. Противник, получив возможность обстреливать Одессу артиллерией, бросал все новые и новые силы, стремясь пробиться к городу кратчайшим путем именно отсюда, с востока. С нашей стороны бой поддерживала артиллерия всех кораблей, находившихся в это время в Одесской бухте. Открыли огонь даже тяжелые батареи Южного сектора. Они стреляли через весь город по наступающему с востока противнику. А там уже нависла угроза захвата орудий 21-й береговой батареи. Она играла важную роль в поддержке боя до этого, а теперь к ней уже вплотную подступили цепи противника. Надо было решать, что делать — подрывать орудия и все сооружения на батарее или продолжать помогать войскам огнем?

Батарея стреляла до последнего. Но нельзя было и упустить момент для уничтожения батареи, она не должна попасть в руки врага исправной. Ивану Ефимовичу Петрову был известен подвиг этой батареи, а мне совсем недавно, в декабре 1980 года, подробно рассказал об этом героическом эпизоде контр-адмирал К. И. Дервянко, бывший в те дни начальником штаба военно-морской базы.

— Я с этой батареей поддерживал постоянную связь. Однажды, когда противник был уже рядом с ними, я разговаривал по телефону с телефонистом. Вдруг слышу в трубке треск, шум и гвалт. Я подумал, что все кончено, наверное, фашисты ворвались на КП батареи! Кричу, зову телефониста, но тот не отвечает. Прошло некоторое время — и вдруг телефонист ответил! Он сказал буквально следующее, на всю жизнь запомнилась мне эта фраза: «Извините, отлучился в рукопашную...» Вот так и сказал. Я передал приказание взорвать батарею. Сказал, что за личным составом высланы катера, чтобы они отходили к берегу. Но катера через некоторое время вернулись пустые. Оказывается, артиллеристы гранатами отбили ворвавшихся врагов и все же удержали свою батарею. Они никак не решались уничтожить свои любимые орудия. Позже моряки все же были вынуждены взорвать батарею, но на катера так и не сели, остались в сухопутных подразделениях, в полку Осипова, били противника на земле. К сожалению, командир этой батареи капитан Кузнецов, представленный за тот бой к ордену Красного Знамени, не дождал до вручения награды. Он вскоре погиб там в бою...

Все же в Восточном секторе противник продолжал продвигаться вперед. Захватив новые, более удобные позиции, он уже начал обстреливать корабли, стоящие в одесской бухте, произошло несколько прямых попаданий.

26 августа под вечер генерал Петров из докладов командиров по телефону, а потом и личным наблюдением с НП установил, что готовится наступление на его сектор. Сил для отпора врагу в дивизии было мало, особенно чувствовалось отсутствие резервов. Поэтому Иван Ефимович думал, как бы сорвать или ослабить это очередное наступление противника еще до начала атаки. Одно из эффективных средств — довольно сильная артиллерия, в том числе артиллерия береговой обороны и корабельная. Но в ночное время вести огонь по невидимым целям, конечно, дело не очень надежное. Авиация ночными бомбардировками тоже большого урона противнику не нане-

сет, к тому же ее и мало, авиации. А с рассветом все эти средства будут направлены на поддержку войск Восточного сектора, где оказалось наиболее трудное положение. Как же быть? Чем ослабить удар противника? И вот, несмотря на, казалось бы, безвыходное положение, генерал Петров нашел для этого способ. Он использовал специфику полков кавалерийской дивизии, которые в это время уже действовали без коней, в пешем строю и носили только название — кавалерийские. Но Петров, учитывая кавалерийский характер бойцов, их умение действовать быстро, налетом, совершать рейды в тыл, воспользовался этим качеством. И в ночь на 27 августа, в тот момент, когда противник уже готовился выйти на исходные позиции для наступления, конники пошли в контратаку. Они, как и предполагал Петров, действовали быстро и решительно, нанесли большие потери одному из полков 14-й дивизии противника, захватили много орудий и других трофеев. Но самое главное — сорвали наступление, которое намечалось на утро!

Через день противник все же перешел в наступление и, как выяснилось уже в ходе атак, а также из документов и показаний пленных, здесь кроме 14-й дивизии были введены еще две свежих: 8-я пехотная, а немного погодя еще и 21-я пехотная дивизии. Ввод таких сил, конечно, свидетельствовал о том, что противник ставит решительные цели. Это подтвердили и пленные, они показали, что Антонеску потребовал выйти к Сухому лиману, чтобы, установив здесь артиллерию, обстреливать Одессу и тылы Южного сектора с запада, то есть взять Одессу в огненные клещи.

Главный удар врага пришелся по 287-му полку, которым командовал капитан Ковтун. Генерал Петров был уверен в этом командире и поэтому, ожидая удара и на соседнем участке, сам находился на наблюдательном пункте правофлангового полка. Иван Ефимович видел, как 287-й полк отражает одну за другой атаки противника. С капитаном Ковтуном генерал все время держал связь по телефону.

В конце дня, когда у полка, казалось, уже не было никаких сил сдерживать врага и когда стало окончательно ясно, что именно здесь противник наносит главный удар, Петров приехал на участок 287-го полка. В такие критические минуты некоторые командиры подбадривают подчиненных громким, уверенным голосом, может быть, даже крепким словом, а иногда и угрозой. Иван Ефимович отличался от таких командиров, он поддерживал людей своим спокойствием, уважением, желанием помочь. Он подбадривал одобрением действий. Он укреплял их веру в свои силы, вселял убеждение, что они совершают невозможное, что они замечательные герои.

Полк выстоял и в тот день. Но, проверяя с наступлением ночи состояние подразделений, Петров удивился, как же они смогли это сделать — так мало осталось там бойцов. Он убедился, что в случае возобновления наступления держать позиции будет уже просто некому. Петров приказал вывести полк на отдых, хотя бы на короткий, пусть на день-два, но вывести его, доукомплектовать, кем можно. На смену приказал поставить сюда кавалеристов. Генерал действовал быстро — на машинах, которые привезли смену, тут же отправил полк Ковтуна в тыл.

Правда, 287-му полку пришлось отдыхать недолго — всего сутки, но все-таки уже через сутки, получив пополнение из маршевых батальонов и из одесских добровольцев, полк восстановил силы и опять был боеспособным. Через сутки он уже снова был на передовой. Вот таким образом из подразделений, казалось бы, окончательно уже вышедших из строя, генерал Петров за короткое время создавал себе новые резервы.

В трудную минуту на командный пункт Петрова в поселке Дальник прибыл командарм Софронов. Генерал Петров доложил ему обстановку, показал с наблюдательного пункта участки, о которых

он говорил, и, думая, что и командарму, как и самому Петрову, интереснее было бы все это увидеть поближе и поговорить с людьми, тут же предложил:

— Здесь недалеко, напрямую — полк Мухамедьярсова, мы можем проскочить на моей эмке вот по ложине, а там совсем небольшой кусочек через поле.

До командарма уже доходили рассказы о том, как Петров, пренебрегая ради экономии времени более дальним и безопасным путем, проезжал на своей машине через простреливаемые участки. Он вставал на подножку машины с противоположной от обстрела стороны и, присев там и держась за дверцу, проскакивал опасные места. Вспомнив это, Софронов сердито сказал:

— Вы мне предлагаете присесть так же, как вы, на подножку и мчаться под пулеметами противника? Иван Ефимович, вы знаете, я не из трусливых, но я сам не поеду и вам запрещаю так рисковать! Неужели вы не понимаете, в каком напряженном состоянии в отношении командных кадров мы сейчас находимся? У вашего соседа Воробьева уже почти всех командиров полка выбило. Что же будет с вашей дивизией, если вот из-за такого гусарства, из-за нежелания объехать кружным путем я потеряю командира дивизии? Еще раз повторяю: запрещаю вам такие выходки!

Петров опустил глаза, голова его несколько раз дернулась, сверкнуло пенсне. Он вроде бы даже обиделся:

— Да что я, товарищ командующий, для показа своей храбрости, что ли? Время не позволяет. Действовать надо быстро. Вот и приходится...

— Все равно запрещаю. Вы командир дивизии и должны это понимать.

После отъезда командующего способ передвижения генерала Петрова не изменился. Но это было не упрямство и, конечно же, не недисциплинированность. Петрову здесь, впереди, в горячке боя, когда судьбу решают иногда минуты, было виднее, куда и как надо спешить на помощь. В конце концов он, как опытный командир, имел право поступать так, как считал нужным.

Находясь в передовых подразделениях, Петров не только воодушевлял подчиненных своим присутствием и спокойствием, он постоянно наблюдал за действиями противника, следил за изменениями в обстановке и, опираясь на свой несомненно более богатый, чем у командиров полков и батальонов, опыт, учил последних умению управлять боем, учил тут же, на месте, на конкретных боевых делах.

Изучив манеру наступления противника, Петров советовал командирам батальонов:

— У них все удивительно шаблонно. Первая атака обычно с утра. А как она начинается? Сначала перед артподготовкой несколько пристрелочных выстрелов. Вот как только услышите эти выстрелы, нужно отводить людей по ходам сообщения во вторую траншею. В первой надо оставить наблюдателей, отдельных пулеметчиков. Да им тоже надо укрыться получше. Наблюдать периодически, ведь сразу же на голову атакующие не свалятся! Когда же начинается артподготовка, тут все должны укрыться в траншее. А как только она закончится, нужно быстро вывести людей в первую траншею: и потерь будет меньше и атаку вам будет отражать легче.

Применяя этот быстрый маневр в траншеях, командиры подразделений спасали свои роты и батальоны от больших потерь. Советы командира дивизии помогали и сохранять жизнь бойцов, и успешнее отражать атаки.

Высокая культура генерала Петрова как военачальника проявлялась и в кажущихся на первый взгляд малозначительными фактах. Он рисковал своей жизнью лишь тогда, когда не было иного выхода. И в пекле боя он был не всегда, а только в критические часы. Пони-

мая, что для управления боем необходимо не только его присутствие, но и его свежая голова, Петров заботился о своем физическом состоянии. Он умел и отдыхать, набираться сил. Однажды в очень напряженный день к нему приехал на командный пункт ставший уже начальником штаба Приморской армии полковник Крылов. Ожидая увидеть Петрова измученным, издерганным, осунувшимся и почерневшим от непрерывных боев, Крылов очень удивился, когда к нему навстречу вышел генерал — свежий, гладко выбритый и даже румяный, как после хорошего душа. Заметив недоумение в глазах полковника, Петров улыбаясь, сказал:

— Успел освежиться. Приспособился, знаете, принимать ванну в железном корыте. Валялось тут от прежних хозяев простое стиральное корыто, ну вот, как позволяет минута, я освежаюсь. Очень помогает, скажу вам, очень!

Понимая, что начальник штаба армии приехал к нему не для праздных разговоров, Петров тут же подвел Крылова к карте и стал докладывать:

— Захватив Ленинталь, противник глубоко вклинился между нашим Тридцать первым и Двести восемьдесят седьмым стрелковыми полками. Меня беспокоит это очень опасное вклинивание! Я пытался восстановить положение и сомкнуть фланги полков на прежних позициях, но это пока не удается. Вклинившийся противник успел закрепиться. Он использовал наши и отрыл новые окопы полного профиля. У него много минометов и сильный автоматический огонь. Пехоты в этом клине не меньше двух полков, и силы противника здесь все время наращиваются. В случае его прорыва к Сухому лиману мой левый фланг, там, где полк Мухамедьярова, окажется отрезанным. Этот клин чреват очень, очень неприятными последствиями! Я это вижу. Пробовал сделать все, что можно, но даже ночные атаки, которые прежде приносили успех, здесь ничего не дают.

Крылов понимал, что Чапаевская дивизия находится в очень трудном положении. В словах Петрова ему послышался намек на то, чтобы ему вернули 3-й полк Чапаевской дивизии, но там, в Восточном секторе, обстановка была не легче.

— Полк вам, Иван Ефимович, мы сейчас вернуть никак не сможем.

— Я сб этом и не прошу. Я понимаю.

— Я думаю, мы вам поможем пополнением из маршевых батальонов, ну, и еще из одесситов. Город всегда находит возможность поддержать нас и продолжает присылать людей для пополнения. Только у них нет оружия. Сможете ли вы их вооружить здесь, на месте?

— Конечно. Вы же помните недавнее указание Шапошникова и совет вашего штаба собирать оружие. Мы это практикуем, и у нас есть чем вооружить. Так что, пожалуйста, давайте людей, а оружие у нас найдется. Много и трофейного оружия, им тоже можно пользоваться. Научим стрелять из трофейных румынских винтовок, и будут солдаты бить противника его же оружием. Вот чего мы не можем сами делать, так это боеприпасы и особенно снаряды для артиллерии. Как у вас там, какие прогнозы, не будет ли опять перебоев со снабжением снарядами? А то ведь состояние бывает очень плачевное, когда видишь атакующих, есть пушки, а стрелять нечем.

— Снабжение боеприпасами теперь наладилось. Корабли подвозят их регулярно. Но и вы расходуйте экономно. Делайте упор на батареи береговой артиллерии, у них большой запас снарядов, есть чем поддержать.

Петров попросил позвать начарта. Тут же вошел подполковник Гроссман, коренастый и плотный, с живым, энергичным лицом, быстрыми глазами. Он будто стоял за дверью. Да это могло быть и так, потому что генерал Петров почти с ним не разлучался. Они всюду

были вместе: артиллерия была та сила, которой командир дивизии мог немедленно реагировать на ход боя и на все его неожиданности.

— Фрол Фалькович, что мы дадим Мухамедьярову сверх двух дивизионов пушечного полка?

— Его будет поддерживать еще дивизион береговой артиллерии капитана Яблонского, товарищ генерал.

— Согласен. Только помните, этот дивизион каждую минуту может нам самим понадобиться.

Артиллерийский подвижной дивизион Яблонского был очень своеобразным формированием. Он тоже считался береговой артиллерией. На его вооружении были 76- и 122-миллиметровые орудия на тракторной тяге. Вот эта надежная, тракторная, а не лошадиная тяга позволяла дивизиону быстро маневрировать. И он приносил очень большую пользу в динамичных боях тех дней. Ну, а в руках Петрова, столь инициативного командира, такой дивизион был необыкновенно важным средством для осуществления его замыслов.

— Вообще, если бы не артиллерия, мы бы, пожалуй, не удержали своих позиций,— сказал Петров.— Молодцы артиллеристы. И богдановский полк, и береговые батареи, и вот капитан Яблонский, непосредственно с нами участвующий в отражении атак, очень хорошо нам помогают.

С крейсера «Червона Украина» высадились семьсот двадцать краснофлотцев-добровольцев, они немедленно были брошены в бой. Поступило сообщение, что из Новороссийска морем высланы на кораблях пять тысяч бойцов маршевого пополнения. Но успеет ли это пополнение? Положение критическое. Враг уже в нескольких километрах от Пересыпи, до передовой можно доехать трамваем. Шло пополнение из пяти тысяч, а 29 августа только ранеными выбыли из строя тысяча двести защитников Одессы.

Маршевые батальоны успели. Они прибыли утром 30 августа. Их ждали с нетерпением, особенно в Восточном секторе. Но хоть там было и очень трудно, нельзя было отдать все пополнение только туда — во всех секторах было тяжело, да и в дальнейшем везде следовало ожидать нового сильного напора. Поэтому пополнение было роздано и в 95-ю, и в кавалерийскую, и в Чапаевскую дивизии. Оно прибыло очень вовремя, судьбу Одессы решали, можно сказать, часы. Бойцы пополнения оказались хорошо обученными и подготовленными. Кроме всего это были люди с Большой земли. Их прибытие вселяло уверенность, что Одесса не оторвана, не забыта, что она связана со всей Родиной.

Организационная раздробленность в руководстве подразделениями и частями, находящимися в Восточном секторе, плохо сказывалась на ведении боя. Поэтому командование Одесского оборонительного района решило все части объединить, создав новую дивизию и пополнив ее только что прибывшими войсками. Встал вопрос и о назначении командира дивизии. Комбриг Монахов, возглавлявший до этого сектор, руководил боем неплохо. Но был в распоряжении командования более опытный человек, полковник Г. М. Коченов. Он в Одессе исполнял обязанности начальника гарнизона. Как и при назначении Ивана Ефимовича Петрова, Коченова вызвали ночью к командарму Софронову, разговор, как и с Петровым, был очень короткий.

— Сможете командовать дивизией в Восточном секторе? — спросил без обиняков Софронов.

— Пока там не дивизия, а некоторые наметки...

— Командовать нормальной дивизией всякий сумеет,— пошутил член Военного совета Воронин.— Ты вот покомандуй такой, какая есть.— И, перестав улыбаться, Воронин уже серьезно добавил:— Нужно создать нечто похожее на укрепрайон. Ну, не по сооруже-

ям, а такой полевой укрепленный район по стойкости, чтобы не допустить противника к городу. Уже совсем близко до Пересыпи.

Так появился у генерала Петрова новый сосед справа — дивизия, в которую вошли 26-й пограничный полк, 1-й морской полк и 54-й Разинский из состава Чапаевской дивизии. Надежды Петрова вернуть Разинский полк в свою дивизию и тем самым усилить ее теперь уже совсем откладывались на неопределенное время. Но Иван Ефимович в такой обстановке даже и не заикался о возвращении полка в состав дивизии. Он понимал, как сейчас было трудно в Восточном секторе.

Противник, неся большие потери, тем не менее все настойчивее стремился взять Одессу. Он не только наращивал силы, но искал новые формы боя. В начале сентября, стараясь избежать прицельного обстрела нашей артиллерией, противник тоже стал применять ночные атаки. И добился этими атаками некоторых успехов. Он приблизился к городу еще на несколько километров. Дивизия Петрова пыталась с помощью соседей контратаковать вклинившегося врага. Но подразделения были уже совсем малочисленны, и контратаки успеха не имели.

Создалась реальная угроза городу. И отворотить ее было нечем. Сил у защитников Одессы не оставалось. О тяжелом положении командование Одесского оборонительного района доложило в Ставку и Военному совету фронта.

Сентябрь 1941 года

На рассвете 7 сентября в Одессу на лидере «Харьков» в сопровождении эсминца «Дзержинский» прибыл командующий Черноморским флотом вице-адмирал Ф. С. Октябрьский. Как только «Харьков» приблизился к порту, батареи противника тут же открыли по нему огонь. Предвидя это, командование Одесского оборонительного района выслало торпедные катера, которые поставили дымовую завесу и помогли «Харькову» подойти к причалу. На палубе лидера лежали ящики с боеприпасами и оружием. Пройдя между ними, вице-адмирал Октябрьский поздоровался с встретившим его контр-адмиралом Жуковым и сказал:

— Да, жарким салютом встречаете. Ну, как дела?

— Как видите, — сдержанно ответил Жуков.

В тот же день состоялось заседание Военного совета Одесского оборонительного района, на котором было тщательно обсуждено и взвешено все, что можно предпринять для удержания Одессы. Адмирал Октябрьский рассказал о тяжелой обстановке на юге, о том, что гитлеровцам удалось форсировать Днепр в районе Берислава и Каховки, направить удар на Перекопский перешеек. На повестку дня встала судьба Крыма. В этой обстановке значение Одессы очень велико. Она оттягивала на себя большое количество войск противника и закрывала для него побережье Черного моря. Ведя здесь бои, Приморская армия защищала не только Одессу, но и весь Крым и весь юг страны.

Ночью командующий флотом Ф. С. Октябрьский и вице-адмирал Г. И. Левченко ушли из Одессы на лидере «Харьков». Они увидели обстановку своими глазами и обещали всяческую поддержку Одесскому оборонительному району. А положение в секторах все ухудшалось, и не было уже сил сдерживать напор противника. Командование ООР вынуждено было дать еще одну телеграмму в Ставку:

«Батареи противника интенсивно обстреливают Одессу. За последние 10 дней ООР имел только ранеными, размещенными в госпиталях, 12 тысяч... Местные людские ресурсы истощены. Прибывшие маршевые батальоны пополняют только убыль. Имеем большие потери людей, особенно в командном составе. В связи с этим снижается боеспособность. Имеем потери в боевой технике. Имеющимися силами ООР не в состоянии

отбросить противника от Одессы. Для решения этой задачи — отгеснить врага и держать город и порт вне артиллерийского обстрела — срочно нужна хорошо вооруженная дивизия».

Эта телеграмма полностью отражает и состояние дивизии генерала Петрова. 12 сентября противник, наступая в направлении Ленинталя, пытался расширить прорыв и выйти в район Сухого лимана. В батальонах стрелковых полков Чапаевской дивизии осталось по 50 человек. Все, кто был до этого в тылу, вышли в первые траншеи, в том числе и штабы частей. Генерал Петров, установив на «пикап» два пулемета, то и дело сам вынужден был кидаться на участки намечающегося прорыва. Положение уже казалось безвыходным.

На исходе 13 сентября Петров доложил командарму о том, что его левофланговый 31-й полк под угрозой окружения. Командарм долго молчал и потом спросил:

— Что вы предлагаете?

— Надо чем-то поступиться. Прошу вашего разрешения отвести левый фланг на рубеж Сухого лимана. Сократится ширина фронта, и я его смогу еще некоторое время удерживать. Будет более эффективным огонь не, только поддерживающей меня артиллерии, но и береговых батарей.

Софронов, не возражая, а как бы размышляя вслух, сказал:

— Но это значит, что противник будет постоянно держать под огнем город и с южной стороны. Это значит, что днем корабли не смогут входить в одесский порт, потому что он будет и в сфере наблюдения, и в сфере досягаемости артиллерии противника. И вообще враг окажется еще ближе к городу...

Но все же генерал Софронов согласился с предложением Ивана Ефимовича, и 14 сентября, сокращая фронт и извлекая из этого еще какую-то возможность удерживать врага, Петров отвел левый фланг на рубеж Сухого лимана.

На следующий день из Москвы поступила телеграмма, которая имела очень большое значение для защитников Одессы. В ней говорилось:

«Передайте просьбу Ставки Верховного командования бойцам и командирам, защищающим Одессу, продержаться 6—7 дней, в течение которых они получают подмогу в виде авиации и вооруженного пополнения. И. Сталин».

Иван Ефимович и комиссар дивизии бригадный комиссар А. С. Степанов довели содержание этой телеграммы до всех командиров и бойцов. Они обращали их внимание, что Ставка высоко оценивает стойкость защитников города и, понимая, что у них уже нет сил сдерживать натиск во много раз превосходящего врага, не приказывает, а просит! Просит защитников города сделать невозможное — продержаться еще хотя бы неделю. Помощь идет, Ставка обещала, значит, эта помощь будет!

Именно эта форма — просьба, а не приказ — оказала на людей огромное воздействие. Она прибавила сил. Людям хотелось оправдать веру Верховного Главнокомандования. И они совершили невозможное. Они выстояли эту неделю на тех же рубежах и удержали врага, как просила Ставка!

Верховное Командование выполнило свое обещание. Была выделена свежая, полностью укомплектованная, хорошо подготовленная 157-я стрелковая дивизия, которая, погрузившись на корабли в Новороссийске, была переброшена в Одессу.

После тщательной подготовки и разработки наступательной операции 22 сентября утром 157-я стрелковая дивизия нанесла удар в Восточном секторе с целью вернуть оставленные ранее позиции в районе сел Дофиновка и Александровка и лишить противника возможности обстреливать город и порт со стороны Большого Аджалык-

ского лимана. Правее наступала 421-я стрелковая дивизия, она должна была содействовать и развивать успех 157-й дивизии.

В 3.00, за несколько часов до контрудара, 157-я дивизия и части Южного сектора генерала Петрова перешли в контратаку между Дальником и Сухим лиманом. Тем самым они стремились отвлечь внимание противника, сковать здесь, в Южном секторе, его части, а может быть, привлечь и его резервы, что и удалось, как показали последующие бои в Западном секторе.

3-й морской полк высадился десантом в районе Григорьевки и по тылам противника шел в направлении Александровки и Чебановки навстречу наступающим. Действиями в тылу этот морской полк очень помог частям, наступавшим с фронта. К концу дня 157-я и 421-я дивизии выполнили задачи, потеснив противника больше чем на десять километров.

Выполняя обещание о помощи осажденной Одессе, Верховное Главнокомандование прислало не только дивизию и маршевые роты. 23 сентября из Новороссийска пришел транспорт «Чапаев». Он доставил в Одессу новое секретное оружие, о котором раньше здесь никто ничего не знал и не слышал. Было принято решение пробу нового оружия на юге произвести в секторе генерала Петрова. «Катюши», как их уже тогда называли, были скрытно выдвинуты на огневую позицию и тщательно охранялись. Посмотреть, как будет действовать новое оружие, на НП генерала Петрова прибыли члены Военного совета ООР во главе с контр-адмиралом Жуковым.

Все приготовления были проделаны ночью. На рассвете части противника пошли в наступление. Петров выждал, пока стали четко видны цели, и сказал командующему артиллерией армии полковнику Рыжи:

— Наверное, пора, Николай Кирьякович.

Рыжи тут же скомандовал:

— Гвардейцы, огонь!

В тылу наших войск послышалось какое-то шипение, повизгивание, шарканье, взвились клубы дыма, из этого дыма вылетели огненные ракеты и понеслись в сторону атакующих. Ракеты точно накрыли противника и стали рваться с ослепительными огненными вспышками с сильным грохотом. Когда дым рассеялся, вдали были видны только некоторые уцелевшие солдаты, убегающие из нейтральной зоны.

Так, в сентябре 1941 года на участке дивизии генерала Петрова было применено на юге реактивное оружие, которое впервые «заговорило» в июле под Оршей и которому суждено было породить новую эру в военной теории и практике.

24 сентября 1941 года Совинформбюро сообщило:

«В результате успешно проведенной операции наших войск под Одессой румыны понесли серьезные потери людьми и вооружением. Общие потери румын убитыми, ранеными и пленными составляют не менее 5—6 тысяч солдат и офицеров, из них убитыми — 2 тысячи человек. По неполным данным, наши части захватили 33 орудия разных калибров, из них несколько тяжелых дальнбойных, 6 танков, 2 тысячи винтовок, 110 пулеметов, 30 минометов, 130 автоматов, 4 тысячи снарядов, 15 тысяч мин, большое количество ящиков с винтовками и гранатами».

Это был действительно большой успех, большая победа по масштабам боев здесь, на юге.

Командарм Софронов сказал, что теперь силами войск генерала Петрова и той же 157-й дивизии, которая будет переброшена в его сектор, будет нанесен еще один контрудар. Этот удар должен получиться еще сильнее, потому что прибыли ранее отставшие 422-й гаубичный артиллерийский полк 157-й дивизии и ее же 141-й разведбатальон, в котором было 15 настоящих танков. Кроме того, на пополнение Приморской армии поступило 36 маршевых рот.

Генерал Петров со своим штабом, со своими верными помощниками день и ночь готовил этот контрудар, до мелочей отработывая взаимодействия частей и подразделений, чтобы быть уверенным в успешности общих действий, чтобы этот удар получился как можно более мощным и нанес противнику решающее поражение в Южном секторе. Генерал Петров предвидел еще и эффект от нового оружия — дивизион «катюш» должен был помогать ему в период артподготовки.

Все приготовления были закончены, войска находились в полной готовности для нанесения удара, который был назначен на 2 октября. Но 1 октября в Одессу прибыл из Севастополя зам. наркома Военно-Морского Флота вице-адмирал Гордей Иванович Левченко. Он привез информацию о событиях на других фронтах и приказ Ставки, который переворачивал всю жизнь защитников Одессы, как говорится, вверх дном.

Октябрь 1941 года

Чтобы читателю была понятна эта сложная и крутая перемена, лучше всего привести здесь рассказ самого Гордея Ивановича Левченко.

В дни, когда писалась эта глава, я не раз звонил по телефону Гордею Ивановичу — хотелось мне услышать от него какие-то дополнительные детали, подробности происшедшего. Но Гордей Иванович, к сожалению, был очень болен и не мог со мной побеседовать. Сейчас его уже нет в живых. Поэтому привожу здесь документ, который он привез в Одессу, и разговор на заседании Военного совета ООР 1 октября 1941 года, описанный адмиралом И. Азаровым в его книге «Осажденная Одесса».

Из директивы Ставки Верховного Главнокомандования об эвакуации Одессы:

«...В связи с угрозой потери Крымского полуострова, представляющего главную базу Черноморского флота, и ввиду того, что в настоящее время армии не в состоянии одновременно оборонять Крымский полуостров и Одесский оборонительный район, Ставка Верховного Главнокомандования решила эвакуировать ООР и за счет его войск усилить оборону Крымского полуострова.

Ставка приказывает:

1. Храбро, честно выполнившим свою задачу бойцам и командирам ООР в кратчайший срок эвакуироваться из Одесского района на Крымский полуостров.
2. Командующему 51-й Отдельной армией бросить все силы армии для удержания Сиваша, Арабатской стрелки, Чонгарского перешейка, южного берега и ишуньских позиций до прибытия войск из ООР.
3. Командующему Черноморским флотом приступить к переброске из Одессы войск, материальной части и имущества в порты Крыма: Севастополь, Ялту и Феодосию, используя по своему усмотрению и другие удобные пункты высадки.
4. Командующему ЧФ и командующему ООР составить план вывода войск из боя, их прикрытия при переброске, при этом особенное внимание обратить на упорное удержание обоих флангов обороны до окончания эвакуации.
5. Командующему ООР все не могущее быть эвакуированным: вооружение, имущество и заводы, связь и радицы — обязательно уничтожить, выделив ответственных за это лиц.
6. По высадке в Крыму войсковые части ООР подчинить командующему 51-й армией...»

Читавший директиву контр-адмирал Жуков после довольно значительной паузы обратился к присутствующим:

— Я думаю, обсуждать и обмениваться мнениями будем после выступления Гордея Ивановича.

Вице-адмирал Левченко был краток:

— Части Пятьдесят первой армии под натиском противника отошли на рубеж села Ишунь, — сказал он. — По существу, там нет надеж-

ных оборонительных сооружений, и угроза захвата Крыма противником становится реальной. С потерей Крыма мы можем потерять и Одессу, так как питать Одессу с Кавказа, если враг захватит крымские аэродромы, будет почти невозможно. Военный совет флота доложил о сложившейся обстановке в Ставку Верховного Главнокомандования и внес свои предложения. Пока борьба за Крым идет на Перекопе, есть возможность организованно вывести войска из Одессы и усилить ими оборону Крыма. Как доложил Военный совет флота в Ставку, потеря Одессы, если Крым нам удастся удержать, меньшее зло. Предложение Военного совета флота об эвакуации Одессы и переброске войск в Крым Ставкой Верховного Главнокомандования принято. Теперь наша задача — решить, как наилучшим образом выполнить директиву Ставки.

— А не слишком ли торопятся товарищи с нашей эвакуацией? — тихо спросил Жуков.

— Но, видимо, с потерей Крыма утрачивается смысл удерживать Одессу, — возразил Воронин.

— Угроза потери Крыма не есть еще сама потеря, — сказал Колыбанов, секретарь Одесского обкома партии и член Военного совета. — Над Одессой не раз нависала угроза захвата, а ведь держимся... Может быть, удержим и Крым?.. Мы ведь убедили всех, что Одессу не сдадим, что Одесса есть, была и будет советской. И вдруг — самим уходить... Дела-то наши здесь пошли на улучшение... Тут надо все взвесить... Может быть, и в самом деле эвакуация решена поспешно?

Да, обидно было уходить из Одессы в канун подготовленного наступления, сильными, выстоявшими, обогащенными опытом. Уходить из города, за который пролито столько крови. Одесса жила мыслью, что вот-вот наша армия погонит врага. И вдруг надо покинуть ее самим... С этим трудно было примириться.

Вице-адмирал Азаров спросил Гордея Ивановича:

— Вы были в Крыму последние дни. Неужели там настолько безнадёжная обстановка? Неужели потеря Крыма неотвратима?

— Да, обстановка в Крыму тяжелая. Я был на Перекопе, был в районе Ишуня. И должен прямо сказать: с теми силами, которые есть в Крыму, надежды удержаться на ишуньских позициях нет. А потеря Крыма повлечет за собой и потерю Одессы. Морские коммуникации будут под постоянными ударами авиации противника. Он незамедлительно посадит свою авиацию на аэродромы Крыма. Вся трагедия в том, что там нет сил, которые могли бы сдержать противника. Пятьдесят первая армия не в состоянии... Для того чтобы вы яснее поняли обстановку, могу вам сообщить следующее: Военный совет флота доложил в Ставку, что положение пятьдесят первой армии очень тяжелое, войска уже отходят к Ишуня, где нет надежных оборонительных сооружений. Усилить войска можно только за счет Одессы. По-моему, решение Ставки единственно правильное.

Разработку плана вывода войск из секторов и постепенной эвакуации из Одессы решили возложить на генерал-лейтенанта Софронова, ежесуточный план эвакуации утверждать Военным советом; начать эвакуацию 1 октября.

Командующий Приморской армией решил все-таки нанести подготовленный контрудар в секторе Петрова. Но теперь этот удар имел уже другой смысл. Если раньше предполагалось отогнать противника на юге подальше от Одессы, чтобы лишить его возможности обстреливать порт и город, то теперь этот удар должен был прикрыть эвакуацию войск из Одессы. Он должен был дезориентировать противника и дать возможность вывести некоторые части для погрузки на корабли.

Но и сил, конечно, в этом контрударе уже участвовало меньше. 157-ю дивизию Томилова как самую боеспособную решено было эвакуировать первой, чтобы она побыстрее могла помогать там, в Крыму.

Из нее оставляли генералу Петрову только один 384-й полк под командованием полковника Б. А. Соцкого.

Командарм отдавал приказ об этом рискованном наступлении Ивану Ефимовичу на своем командном пункте. Этот день был для всех очень тяжелым. Такой неожиданный поворот событий! Никак еще не укладывалась в сознании мысль о необходимости оставить Одессу, которую так упорно защищали и могли бы еще защищать долго. Предстоящий контрудар тоже был делом очень и очень непростым: войска могли увязнуть в боях и не оторваться для эвакуации, противник мог помешать этому отрыву, ведь его силы превосходили наши во много раз.

Когда Иван Ефимович приехал на командный пункт армии, тут произошло еще одно трагическое событие. Георгий Павлович Софронюк получил телеграмму, в которой сообщалось, что под Москвой погиб его старший сын. Георгий Павлович держался мужественно. Он даже обещал к утру, к началу наступления, быть на КП у Ивана Ефимовича. Однако выполнить это обещание генералу Софронюку не удалось. Слишком велики оказались беды, свалившиеся на него в этот день. Ночью командарму стало плохо, последовали один за другим сердечные приступы, и все это завершилось инфарктом.

Утром 2 октября после двадцатиминутной артподготовки и опять сокрушительного залпа «катюш» Чапаевская дивизия с полком из 157-й дивизии перешла в наступление. Оно развивалось успешно. Очень лихо действовали в этом наступлении танкисты. Старший лейтенант Юдин, командовавший батальоном самодельных танков на бронированных тракторах, вырвался далеко вперед и гнал отступающего противника до тех пор, пока совсем не оторвался от пехоты. Конечно же, на таких «танках» было опасно далеко отходить от прикрывающих их стрелковых подразделений. Чтобы не попасть в беду, Юдин вынужден был вернуться к своим частям. Но он пришел не пустой. Разогнав расчеты орудий и подавив пехоту, танкисты взяли на буксир двадцать четыре орудия различных калибров и приволокли их в качестве трофея в расположение своих войск.

Иван Ефимович и радовался и сокрушался:

— Эх, если бы не ослабили наш удар, мы бы отогнали их от Одессы километров на тридцать. Жаль, что в последний момент пришлось уйти многим из тех, кто должен был участвовать в этом контрударе. Ну, ничего, мы и так хорошо их проучили!

После выполнения ближайшей задачи, когда образовались разрывы между частями — кое-кто отстал, кое-кто вырвался вперед, — генерал Петров приостановил наступление и стал наводить порядок для дальнейшего продвижения. Но силы были очень неравные. Надо не забывать, что 25-я дивизия наступала на противника, имеющего большое численное превосходство. Опомившись после первого ошеломляющего удара, противник оказал упорное сопротивление, а позже перешел к активным действиям.

Но чапаевцы прочно удерживали достигнутые рубежи и ни на шаг не отступили.

Назначен командармом

Ввиду тяжелой болезни генерал-лейтенанта Софронюка Военный совет принял решение о назначении командующим Приморской армией генерал-майора Петрова. 5 октября он приступил к исполнению этой новой ответственной должности.

Личность, способности полководца в деле ведения операции и достижения победы играют огромную роль. Именно с этих дней начинается деятельность Петрова, которая уже относится к категории полководческой.

Став командующим Приморской армией, Петров получал не только ее войска и более широкие оперативные масштабы руководства, он

обретал и более крупные силы противника и более высокого «оппонента» в лице их командующего.

В нашей литературе немало книг, написанных самими полководцами или о их деятельности. К сожалению, о военачальниках противника мы писали мало, а если они и попадали в поле зрения, вернее описания, то чаще всего изображались в пренебрежительном и даже карикатурном свете. Мне кажется это неправильным, серьезный разговор о войне требует соответствующего серьезного и объективного отношения к противнику и его генералитету.

В районе Одессы действовала 4-я румынская армия. Ее командующий Петре Димитреску не всегда самостоятельно планировал и руководил боевыми операциями. Эти функции осуществлял генерал Антонеску, поскольку одесское направление в 1941 году было для румынской армии главным. Что же представляет из себя Антонеску с военной точки зрения? Он был, конечно же, не тот легковесный, почти опереточный генерал, каким его описывали газеты военного времени. В драке, как известно, соперники могут и накричать друг на друга, и наговорить грубостей и оскорблений. Драка есть драка. Но исторический анализ требует объективности, спокойной оценки людей и их действий.

Йон Антонеску родился в 1882 году, следовательно, во время боев под Одессой было ему 59 лет. Антонеску был типичным военным, крепкий, подтянутый, с внешностью внушительной — выше среднего роста, виски седые, твердый взгляд. Конечно же, он обладал волевым характером и определенной гибкостью ума, что и привело его на вершину власти в государстве. Неспросита короли — и старый и молодой — не только слушались, но и побаивались его.

Йон Антонеску был выходцем из семьи, несколько поколений которой носили военную форму. В 1902 году он поступил в кавалерийское училище и в июле 1904 года был выпущен младшим лейтенантом. В 1907 году участвовал в карательных экспедициях против восставших крестьян в Молдавии. Каратели сожгли много сел и расстреляли более одиннадцати тысяч крестьян. Направленность его деятельности, как видим, определилась рано.

К началу первой империалистической войны Антонеску был капитаном, служил в штабе румынской армии. В 1919 году участвовал в военной интервенции против Венгерской Советской республики. Четыре года был начальником военного училища. Написал несколько трудов о стратегии и тактике на опыте первой мировой войны. Назначался военным аташе в разные страны. В 1933 году был начальником генерального штаба. В 1937 году в правительстве О. Гога стал министром национальной обороны. Антонеску был близок к профашистской организации «Железная гвардия» и не скрывал этого. Когда судили одного из главарей румынских фашистов Кодряну и судья спросил Антонеску, который был свидетелем: «Может ли быть Кодряну предателем?», Антонеску подошел к Кодряну и, пожав ему руку, сказал: «Я бы никогда не пожал руку предателю!» Этот эффектный жест, это демонстративное «благородство» показывают, насколько Антонеску был уверен в своем положении. Король Михайл был молод, и Антонеску, обладая реальной силой в стране — армией, государственным аппаратом, фактически оттеснил короля на второй план и вершил все дела самостоятельно. Указы, составленные им, король послушно подписывал. Так, в сентябре 1940 года Михайл подписал указ, которым отменялась конституция, распускался парламент, а «господин генерал Йон Антонеску уполномочен руководить государством».

Конечно же, этому предшествовала сложная борьба различных партий и сил как внутри Румынии, так и за ее пределами. Этот указ подводил итог и, по сути дела, узаконил военно-фашистскую диктатуру. В новое правительство вошел и фюрер румынских фашистов — «железных легионеров» — Хория Сима. Между Антонеску, Симой и

Гитлером были далеко не простые отношения. Гитлер, как и в других странах Европы, используя свою «пятую колонну», приводил к власти местных фашистов. Так же он намеревался поступить и в Румынии, главарь «железных легионеров» Сима был верным и надежным сообщником гитлеровцев. Письмо, написанное 5 декабря 1940 года Гиммлером, начиналось словами: «Глубокоуважаемый товарищ Хориа Сима!..» Дальше шел деловой разговор, не оставляющий никаких сомнений насчет того, кому служит Сима.

Передо мной фотография тех лет. Как много может сказать даже одно мгновение, запечатленное на снимке! Вот хотя бы это.

Антонеску и Сима стоят рядом. Они одеты в форму штурмовиков — коричневые рубашки без знаков различия, армейские широкие ремни с портупеей. Сима небольшого роста, со впалой грудью, черные волосы гладко зачесаны назад, он очень похож на Геббельса. Антонеску временно сменил свой пышный генеральский мундир на коричневую форму — чего не сделаешь, когда идет борьба за власть! За этими двумя лидерами высятся огромные, выше их на две головы, фигуры гитлеровских генералов. Не придумаешь более наглядной иллюстрации к политической ситуации в стране! Антонеску отвернулся от Симы, смотрит вбок. И в этой позе тоже большой смысл. Дело в том, что Антонеску, блокируясь с легионерами, вовсе не собирался уступать им власть! Он готов был сам взять на себя роль фюрера. Это понял Гитлер. Ему прежде всего нужна была румынская нефть, без которой замерли бы его танковые и авиационные армады. Гитлеру некогда было ждать, пока один из этих лидеров сожрет другого. К тому же борьба главарей вызовет столкновение партий, стоящих за ними, в стране начнутся беспорядки, а у Гитлера к войне все готово. Поняв намерения Антонеску, ощущая его силу, как деятеля, за которым идет армия, да и просто видя в нем волевою личность, не привыкшую с кем-либо делить власть, Гитлер пожертвовал, а по сути дела предал своего единомышленника Симу и стал сотрудничать с Антонеску. «Благородный» генерал Антонеску упрятал Симу в тюрьму, подавил тех легионеров, которые не хотели ему подчиниться, и сам фактически стал фюрером в стране и верным прислужником Гитлера.

23 ноября 1940 года Румыния официально присоединилась к Берлинскому пакту о военном союзе, или, как тогда его называли, «ось Берлин—Рим—Токио». На территории Румынии началась подготовка плацдарма к нападению на Советский Союз — строились аэродромы, переоборудовались порты, прокладывались вторые колеи железных дорог. Гитлер посвятил Антонеску в план «Барбаросса». Вот передо мной еще фотография — Гитлер и Антонеску склонились над картой, и фюрер вдохновенно излагает ему свои стратегические планы. Антонеску 22 июня 1941 года без колебаний произнес роковые слова: «Приказываю перейти Прут!» Этот приказ был опубликован во всех газетах, а восход солнца в то утро было велено встретить колокольным звоном и молебном в честь грядущей победы.

Вот такой генерал противостоял теперь Петрову.

План эвакуации

В Приморской армии назначение генерала Петрова командармом было воспринято, как вспоминает Крылов, так:

«Отношения с новым командующим сразу установились простые и ясные. К Ивану Ефимовичу я давно уже испытывал не просто уважение, но и глубокую симпатию. И радовался, ощущая дружеское расположение с его стороны. Это отнюдь не мешало ему быть чрезвычайно требовательным. Чуждый всякого дипломатничания, прямой и естественный во всем, Петров умел говорить правду-матку в глаза и старшим и младшим. Можно было и с ним быть совершенно откровенным.

Подвижному по натуре Ивану Ефимовичу не сиделось на КП, и он находил возможность почти каждый день вырваться то в одну, то в другую дивизию. Впрочем,

не только в характере Петрова было дело. После того как мы вывели из боя часть сил, обстановка на одесских рубежах снова становилась более напряженной, чреватой всякими осложнениями, и командарм считал необходимым лично бывать на переднем крае».

6 октября поздно вечером контр-адмирал Жуков собрал командиров и комиссаров дивизий и отдельных частей и сообщил им о порядке эвакуации.

По поводу плана эвакуации было много споров не только в период его разработки и утверждения, но и позднее, уже после войны, — в литературе и в разговорах.

Дело в том, что существовало два плана — тот, который успел до болезни разработать Софронов, и тот, который осуществил Петров. Споры сводились не только к тому, какой вариант лучше, но и кто автор блестяще осуществленного плана эвакуации.

Как говорят военные — правильно то решение, которое приводит к победе. Оба плана эвакуации были правильные — каждый в своей обстановке, при существовавшей на тот момент обеспеченности морским транспортом, что было очень важно в этом деле. Генералу Софронову предоставлялись корабли для последовательной перевозки дивизии, и он так и предлагал, загружая по 5—6 транспортов в ночь, постепенно вывезти войска из Одессы.

...Любопытные сюрпризы преподносит жизнь. Один из них ждал меня, когда рукопись этой книги послали для ознакомления в Институт военной истории Министерства обороны СССР. Рукопись попала на стол старшего научного сотрудника, кандидата исторических наук Ванцетти Георгиевича Софронова — сына командующего Приморской армией генерала Георгия Павловича Софронова!

Ему, как знатоку событий, происходивших в Одессе и Севастополе, было поручено отрецензировать мою рукопись. Он не только выполнил это поручение, но и помог мне материалами — познакомил с опубликованными и неопубликованными воспоминаниями своего отца. Воспользовавшись его любезностью, я приведу здесь рассказ самого генерала Софронова о том, как он разрабатывал план эвакуации, в чем была его суть и отличие от плана генерала Петрова.

«— Сейчас подсчитаем наши транспортные ресурсы, — сказал Жуков и начал составлять список транспортов, которые можно использовать для эвакуации войск. В составлении этого списка ему помогал и Азаров.

Несколько раз они читали и дополняли список, и потом Жуков передал его мне.

— Вот, Георгий Павлович, тебе список посуды, и ты набросай план эвакуации.

Получив отправные данные, я ушел в свой кабинет и уселся за составление плана эвакуации, а вернее за отработку порядка отхода войск на последующие тыловые рубежи и вывода дивизий из боя для их эвакуации.

Сейчас четыре дивизии армии занимают фронт 65 км. Оставить на этом фронте две дивизии нельзя, надо фронт сокращать, а это можно сделать только путем отхода на другой более короткий рубеж, конкретно на вторую линию главного рубежа обороны: Крыжановка, Усатово, Татарка, Сухой лиман. Фронт этого рубежа составляет 40 км, из которых 15 км проходит по лиманам. Такой рубеж две стрелковые дивизии оборонять в течение короткого срока могут, хотя в этом случае этим дивизиям придется отбиваться от противника, превосходящего их состав в десять раз.

Мною за это время было продумано несколько вариантов, прежде чем окончательно принять какое-то решение: ведь этот вопрос для меня был новый, с этим вопросом я не был знаком даже и в теории.

С отводом двух дивизий на последующие рубежи — с тем, чтобы одну из них эвакуировать — у меня дело не клеилось. Как я ни прикладывал — требуемого решения у меня не получалось. По моим наметкам выходило, что эвакуировать целиком одну дивизию из двух было нельзя. Можно было эвакуировать несколько полков, но из разных дивизий. Никаких сложных перегруппировок противник нам произвести не позволит.

Против моего предложения об отводе армии на вторую линию главного рубежа обороны и вывода двух дивизий из боя у Жукова возражений не было.

...Я предложил за город не драться. За дни боев противник превратит город в развалины. Ведь по городу будут вести огонь несколько сот орудий и минометов. Город будет все это время облит огнем. Можно ожидать, что из 300 тысяч оставшихся в городе жителей десятки тысяч будут убиты и ранены или завалены камнем разрушенных домов...

— Надо отвести две наши последние дивизии со второй линии главного рубежа обороны сразу в порт на корабли, а для того, чтобы мы могли разместить на предоставленные нам транспорты бойцов, отказаться от эвакуации лошадей, части автомашин и даже части артиллерии. Это будет для нас дешевле, чем разрушение города и потери местного населения. Как говорится, перед смертью не надышишься, оставим ли мы Одессу тремя днями раньше или тремя днями позднее, значения не имеет, раз мы уже решили ее оставлять.

— Георгий Павлович, я согласен с твоим предложением. Надеюсь, что нам не придется и уничтожать машины, а тем более артиллерию. Будем добиваться у Октябрьского увеличения нам транспортных средств.

Больше мне над планом эвакуации не пришлось думать. Я доработался до инфаркта и 5-го октября был эвакуирован в Севастополь».

Генерал Петров опасался, как бы в такой ответственный период решение об эвакуации не повлияло на снижение стойкости войск. Могли возникнуть суждения: раз приходится отсюда уходить, то зачем держать до последнего какой-то рубеж роте или батальону? К тому же 9 октября противник опять перешел в общее наступление. Из показаний первых же пленных выяснилось, что появились новые части и что перед наступающими была поставлена решительная задача: овладеть окраиной города. Смогут ли в таких условиях наши ослабленные передовые части удержать линию фронта? Или противник, смяв первый эшелон, нагонит и уничтожит тех, кто готовится к погрузке в тылу?

В создавшейся обстановке первоначальный план последовательной эвакуации частей уже не подходил. Надо было искать какой-то другой выход. Генерал Петров и его штаб выдвигают новый план эвакуации, предлагая одновременно, одним броском, вывести и погрузить на корабли все войска. Этот план, конечно, был очень сложен и рискован, требовал большой организованности. Надо очень искусно ввести противника в заблуждение, чтобы он не догадался и не обнаружил одновременного ухода, иначе все может кончиться катастрофой.

Предложение об изменении плана эвакуации встретило возражение со стороны командующего Одесским оборонительным районом контр-адмирала Жукова. Он был за то, чтобы придерживаться прежнего решения, принятого еще Софроновым, тем более что ранее намеченный план эвакуации был утвержден и вышестоящим командованием.

Иван Ефимович доказывал, что новый план выдвигается потому, что так складывается обстановка, что обстоятельства требуют изменить ранее принятый план действия. Решение об эвакуации не может долго оставаться в секрете. И то, что подразделения и части будут грузиться поочередно, тоже будет замечено противником. И тогда в один из дней, решительным наступлением, противник, конечно же, опрокинет подразделения, которые на переднем крае будут прикрывать эвакуацию. Надо не забывать — они малочисленны, а у противника под Одессой около 20 дивизий. Части прикрытия могут не сдержать такого сильного врага, и тогда противник ворвется в город и порт, и все, кто не успел эвакуироваться, станут его жертвой. Вот поэтому, опираясь на изменение в обстановке, Петров и настаивал на изменении плана эвакуации.

Разумеется, не один Петров правильно оценивал создавшуюся обстановку. Необходимость внести изменения в план эвакуации видели

и многие другие. Но как командующий армией принимал это решение, осуществляя его и нес полную ответственность за возможные последствия в случае провала, конечно же, генерал Петров.

Вот что пишет в своих воспоминаниях бывший член Военного совета ООР генерал-майор Ф. Н. Воронин:

«Петрову пришлось прежде всего решать вопрос о том, как организовать вывод войск из боя и эвакуацию армии. К тому времени у работников оперативного отдела штаба уже возникала мысль: нельзя ли отвести войска с рубежа обороны не последовательно, как предлагалось до сих пор, а все сразу? И. Е. Петров одобрил эту идею,— я его в этом поддержал».

Маршал Крылов об этом пишет следующее:

«Что касается И. Е. Петрова, то командарм был с самого начала в курсе разработки этого плана и горячо его поддерживал, считая, что необходимо предельно сократить сроки эвакуации, дабы противник не воспользовался постепенным ослаблением нашей армии для решительной атаки и прорыва фронта. Возможность одновременного отвода войск Иван Ефимович обсуждал почти со всеми командирами дивизий, которые отнеслись к этому положительно. Мы стали ориентироваться на завершение эвакуационной операции в ночь на 16 октября».

Вот что пишет по поводу нового плана эвакуации сам Иван Ефимович:

«Получение приказа Ставки об эвакуации внесло ясность в обстановку и поставило перед войсками отчетливую, конкретную задачу — организовать эвакуацию так, чтобы не было никаких потерь ни в людях, ни в материальной части».

Торопливость и связанная с ней нервозность проведения эвакуации, а тем более при таком плане, какой был намечен,— выводить гарнизон частями,— грозили серьезными потерями и материальной части и личного состава. Поэтому командование Приморской армии, проанализировав создавшуюся обстановку, предложило эвакуацию войск отложить на 10 дней. За это время последовательно и планомерно вывезти всех раненых, госпитали, все тылы, материальные ценности, излишнюю артиллерию, транспорт, а оставшиеся войска, освобожденные от тяжелой материальной части, эвакуировать сразу, в одну ночь, внезапно оторвавшись от противника».

При таком варианте многое зависело от того, хватит ли транспорта и кораблей, чтобы сразу в одну ночь погрузить личный состав сухопутных войск, моряков и персонал обслуживающий порт.

В конце концов удалось убедить командование Одесского оборонительного района. Но когда этот план был доложен командующему Черноморским флотом вице-адмиралу Октябрьскому, он резко возражал. Октябрьский настаивал на выполнении ранее утвержденного плана.

Генерал Петров понимал: командующий и члены Военного совета флота просто не решаются докладывать в Ставку о целесообразности одновременной эвакуации только потому, что прошло всего двое суток после того, как они доложили в Ставку совсем другие сроки и порядок постепенной эвакуации. То, что изменилась обстановка, и это главная причина возникновения нового плана эвакуации, они сами не полностью осознают. Но все же Петров надеялся — разум возьмет верх. Ведь вопрос стоит о жизни тысяч людей, которые нужны, кстати, как можно быстрее для защиты Крыма, а новый план эвакуации именно этому и способствует.

К утверждению нового плана эвакуации Одессы имел отношение уже знакомый читателям генерал-майор Хренов. Вот что недавно рассказал мне по этому поводу Аркадий Федорович:

— Утром десятого октября меня пригласил к себе контр-адмирал Жуков. Он сказал: «По радио трудно изложить все доказательства реальности нового плана эвакуации. Военный совет просит вас, Аркадий Федорович, отправиться в Севастополь и лично все доложить вице-адмиралу Октябрьскому».

Я прикинул, рассказывает Хренов, какие еще дела по инженерному обеспечению предстояло сделать, и, будучи уверен, что с ними справится начальник инженерных войск Приморской армии Г. П. Кедринский, спросил: «Когда надо выезжать?» «Сегодня ночью». В ту же ночь я «ушел», как говорят моряки, на морском охотнике в Севастополь. На следующее утро я уже был на флагманском командном пункте у Октябрьского. Он внимательно выслушал все доводы в пользу пересмотра плана эвакуации, но принимать решение не спешил, слишком дорогая цена была бы за ошибку и поспешность. Да и перестроить уже разработанные планы и графики движения, загрузки и разгрузки многочисленных транспортов, я полагаю, было не просто. «Обсудите все эти предложения с начальником штаба флота», — сказал Филипп Сергеевич. Я тут же отправился к И. Д. Елисееву, при этом разговоре присутствовал член Военного совета флота Н. М. Кулаков. Приведенные мною расчеты и доказательства в штабе были приняты с пониманием, несмотря на то, что именно им, штабникам, это задаст очень много работы. После разговора мы все вместе опять пошли к Октябрьскому. Он нас выслушал и сказал Кулакову: «Отправляйтесь-ка вы, Николай Михайлович, в Одессу, ознакомьтесь с обстановкой на месте и доложите Военному совету, тогда и примем окончательное решение. А штабу, чтоб не упустить время, начать, не откладывая, проработку нового варианта, независимо от того, состоится он или нет».

— На этом моя миссия кончилась, — завершил свой рассказ Хренов.

Дивизионный комиссар Кулаков на следующий день был уже в Одессе. За два-три часа он сумел побеседовать со множеством людей и выяснить все детали одесской обстановки. Надо сказать, что Кулаков, решительный, волевой и в то же время жизнерадостный человек, пользовался среди защитников Одессы и особенно среди моряков большой популярностью, его все знали и уважали. Говорили с ним откровенно, и поэтому за короткое время у Кулакова сложилось уже совсем иное суждение, чем то, с которым он прибыл в Одессу. С ним беседовали и генерал Петров и контр-адмирал Жуков. Кулаков окончательно убедился в их правоте и дал телеграмму командующему Черноморским флотом вице-адмиралу Ф. С. Октябрьскому. Причем, написав эту телеграмму, он тут же показал ее и Петрову и Жукову. Через некоторое время пришла радиограмма от вице-адмирала Октябрьского — он дал согласие на отвод войск одним эшелоном с посадкой на суда в ночь на 16 октября.

Наконец все окончательно встало, как говорится, на свои места и Петров подписал боевой приказ штаба Приморской армии № 0034, к которому прилагался план эвакуации, распределения маршрутов движения, очередность и места погрузки для соединений и частей. План этот доводился до исполнителей не полностью, а только в той части, которая касалась каждого из них, — все еще была надежда сохранить в тайне хотя бы день окончательного отвода войск и этим ввести в заблуждение противника.

В разработке плана распределения и погрузки частей на суда участвовал начальник штаба военно-морской базы Деревянко. Я беседовал с ним, и он рассказал мне такой эпизод.

— Я составил план погрузки и приехал к генералу Петрову на передовую, чтобы утвердить его. Иван Ефимович очень внимательно ознакомился с планом и спросил:

— А на какие суда грузится кавдивизия?

— С первым эшелоном ее погрузить невозможно, не хватает кораблей, но я надеюсь — до начала погрузки подойдут еще корабли.

И вот тут я видел первый и единственный раз, как Петров мгновенно приходит в ярость. Он вскочил, пенсне буквально сорвалось

с его переносицы и, если бы он его ловко не подхватил, разбилось бы вдребезги. Генерал гневно закричал:

— Ну и уплывайте с вашими кораблями к чертовой матери! Я с этими людьми воевал, а теперь брошу их здесь? Если есть угроза оставить хотя бы один полк, я никуда не поплыву с вами, я остаюсь! Или всех погрузите и увезете, или мы все здесь останемся!

Конечно, моряки нашли возможность погрузить кавалеристов на боевые корабли и увезли всех, но эта вспышка показывает не только огромную эмоциональность Петрова, но и его благородство, верность своим боевым друзьям, готовность разделить с ними до конца любые испытания.

Еще до ухода из Одессы генерал Петров думал о восстановлении боеспособности частей на крымской земле. Иван Ефимович понимал — даже при очень хорошо организованной эвакуации вывезти все необходимое не удастся. Возможны потери имущества и оружия при отходе, погрузке и в море от бомбежки врага. Поэтому Петров вызвал к себе начальника тыла армии, интенданта I ранга А. П. Ермилова и подробно обсудил с ним вопросы снабжения и укомплектования частей на новом месте — в Севастополе.

Петров как военачальник всегда высоко ценил фактор времени. Вот и в этом случае, заботясь уже о предстоящих боях, он отправил начальника тыла в Севастополь за неделю до начала эвакуации и этим, как позднее показали события, выиграл немало времени, особенно драгоценного в тех условиях.

Даже погода будто бы предчувствовала грустное расставание защитников Одессы с городом. После солнечной осени с шелестящими под ногами листьями, которые в этом году опали не сами, а были сбиты многочисленными разрывами снарядов и бомб, после голубого неба и легких белых облаков весь небосвод заволокло серыми тяжелыми тучами, резко похолодало. Дул пронзительный ветер, жители на улицах города почти не появлялись.

Петров объезжал все дивизии. Он поговорил с командирами соединений, еще раз проанализировал с каждым предстоящий отход, уточнил путь на картах, рассчитывал движение во времени. Генерал провел короткие совещания командиров полков и офицеров штабов, которые не все еще знали о конкретных сроках отхода и маршрутах, теперь настало время уже довести это и до них. Рассказав о порядке отхода, определив маршруты, места посадки на суда, Иван Ефимович неизменно эти совещания заканчивал словами:

— Храните все это в глубокой тайне, товарищи. Ничто не должно выдать подготовки к эвакуации. Ведите себя так, чтобы и ваши бойцы считали, будто мы готовимся к новому наступлению, а сами продумайте каждую деталь того, что потребуется сделать, когда настанет день и час отхода.

Одесса готовилась продолжать борьбу с фашистами и после эвакуации войск. Создавались партизанские отряды, группы разведчиков, закладывались склады оружия и боеприпасов. Инженеры армии под руководством генерала Хренова и полковника Кедринского подготовили несколько «сюрпризов», которые будут ждать завоевателей после их вступления в город. Это были одни из первых управляемых мин, установленных в ходе Великой Отечественной войны. Генерал Петров имел к этой операции самое прямое отношение. В январе 1981 года я навещал генерал-полковника-инженера Хренова и специально расспросил об этом любопытном и сложном для осуществления эпизоде боев за Одессу.

— Самый крупный взрыв был подготовлен в здании на улице Марзалиевской, где по нашим предположениям мог разместиться штаб оккупантов, — рассказал Аркадий Федорович.

Эффект взрыва на Марзалиевской всецело зависел от удачно выбранного момента. **Ведь важно было не просто разрушить фашистский**

штаб, а нанести наиболее чувствительный урон неприятельской командной верхушке. Для этого в оккупированном городе необходим был верный глаз — человек, могущий достоверно узнать, когда в штабе состоится какое-либо крупное сборище большого начальства, и своевременно сообщить об этом нам на Большую землю. Такой человек уже находился в Одессе и ждал своего часа.

Однажды меня разыскали в порту и передали, что Иван Ефимович хочет незамедлительно повидаться со мной. Я тут же поехал на КП.

— Хорошо, что вас быстро нашли, Аркадий Федорович, — встретил меня командующий. — Есть очень важное дело. Сейчас поедем в Нерубайское. — Заметив мое удивление, он добавил: — Подробности в машине.

Тут же мы двинулись в путь к старому селу, раскинувшемуся в степи, в двенадцати километрах от города. По преданию, здесь когда-то селились старики запорожцы, которым тяжела стала сабля и не под силу становилось рубить врагов. Отсюда и название — Нерубайское.

— Предстоит нам встреча с одним человеком, — произнес Иван Ефимович, едва мы отъехали от КП. — Фамилия его Бадаев. Она вам что-нибудь говорит?

— Достаточно много. Он знакомил меня с катакомбами.

— Ну и прекрасно. Обсудим с ним ряд вопросов...

Еще в августе я доложил в Москву, что у нас нет планов катакомб и что местные руководители не могут найти человека, который свободно ориентировался бы в этом большом подземном городе. А мне для инженерного обеспечения обороны данные о катакомбах нужны были позарез. На доклад мой отреагировали быстро: через несколько дней ко мне зашел молодой человек в гражданской одежде и отрекомендовался Владимиром Александровичем Бадаевым, капитаном госбезопасности. Позже, когда был опубликован Указ о посмертном присвоении ему звания Героя Советского Союза, я узнал, что его настоящая фамилия — Молодцов. Он прилетел из Москвы вместе с двумя бывшими одесситами, знавшими подземный город как свои пять пальцев.

Вчетвером мы излазили катакомбы вдоль и поперек, после чего я вычертил их подробный план. На прощание Бадаев намекнул, что если у меня возникнут вопросы, связанные с использованием имеющегося в моем распоряжении дивизионного оружия, то я должен буду связаться с ним. Из этого нетрудно было заключить: в случае нашего ухода из Одессы он останется здесь для подпольной работы.

Петров, приняв командование армией, получил, как я представляю, и документы, из которых явствовало, что к делам будущего подполья и технического обеспечения диверсий во вражеском тылу имеем отношение мы, Бадаев и Хренов. Видимо, потому он и пригласил меня на эту встречу.

Вскоре мы подъехали к селу. Смеркалось. Небо обжигало зарево пожаров. Над головой пролетали снаряды и мины, посвистывали шальные осколки — всего в нескольких километрах отсюда пролегал оборонительный рубеж. Но весь этот антураж был настолько привычен, что мы попросту не замечали его.

Петров приказал шоферу остановить машину.

— Ну что, прогуляемся, Аркадий Федорович? Вечер-то какой — грех не пройтись.

Не прошли мы и полусотни метров, как из темноты возникла человеческая фигура. Я сразу узнал Бадаева. Одет он был в гимнастерку, ладно облегающую широкую грудь, шаровары были заправлены в сапоги. Мы поздоровались, обменявшись крепким рукопожатием, и тут же приступили к деловому разговору. Петров передал капитану код; уговорились, как будет налажена радиосвязь. Я рассказал, где будут производиться взрывы для прикрытия отхода наших войск. Посоветовал, как снабдить подпольщиков минами.

— И что самое важное для нас,— сказал я ему,— это узнать день и час, когда в штабе на Маразлиевской состоится какое-нибудь большое совещание с участием генералитета. Сообщение об этом нам надо получить хотя бы за полсуток до начала...

— Весь наш разговор,— закончил свой рассказ Хренов,— занял с полчаса. Бадаев исчез так же внезапно, как и появился,— словно растворился во мраке...

Забегая вперед скажу: 22 октября уже под Севастополем генералы Петров и Хренов получили радиogramму Бадаева, в ней говорилось о предстоящем совещании в доме с заложеным радиотелефугасом. Во время, когда проходило это совещание, по команде генерала Хренова был послан кодированный радиосигнал, на который было настроено приемное устройство в подвале на Маразлиевской. Взрыв был мощный; по донесениям наших разведчиков, под обломками погибло до пятидесяти генералов и офицеров оккупационных войск.

Во время одной из моих поездок в Румынию в 1981 году я познакомился с бывшим румынским военным летчиком Георгием Команом. Ему уже семьдесят лет, но он по сей день сохранил спортивную форму — худощавый, подвижный. Сейчас он работает инженером в организации, тесно сотрудничающей с нами. Он не раз бывал в командировках в нашей стране. Так вот, рассказывая мне о боях под Одессой и о том, что происходило в городе после ухода нашей армии, Коман вдруг воскликнул:

— А какой сюрприз ваши устроили нашему незадачливому командованию! Ведь оно, даже не проверив подвалы, поспешило занять лучший дом под свой штаб. Вот и поплатилось! Шарахнуло так, что весь город вздрогнул.

— Вы о каком взрыве говорите?

— О том, который подготовили ваши инженеры на улице...— как ее... сейчас вспомню... кажется Маразлиевская. Там стоял большой, красивый дом, и ваши правильно рассчитали, что именно здесь разместится штаб, и заложили мины замедленного действия.

— Вы видели этот взрыв?

— Если бы видел, не разговаривал бы теперь с вами. Я слышал, как он грохнул. А когда прибежал к штабу, на его месте была только огромная воронка да обломки стен вокруг. Взрыв произошел во время совещания, погибло несколько десятков высших чинов нашей армии.

Одесса, 15 октября 1941 года

К 15 октября в Одессу пришли транспорты «Чапаев», «Калинин», «Восток», «Абхазия», «Армения», «Украина» и другие. В порту имитировалась разгрузка якобы прибывших в Одессу свежих пополнений. Колонны крытых брезентом автомобилей изображали перевозку подкреплений в тылы соединений, находящихся на передовой. Работали радиостанции несуществующих новых, прибывших частей.

С утра генерал Петров обошел все причалы и проверил готовность порта к приему отходящих войск. Командиры дивизий и полков прошли каждый по своему маршруту и просмотрили пути движения к местам погрузки. После этого были проведены по этим же маршрутам и командиры подразделений. Отход частей должен был совершиться очень быстро, поэтому недопустимы были никакие задержки. Для того чтобы ночью не сбиться с намеченного пути отхода, генерал Петров приказал перед наступлением темноты посыпать маршруты толченой известью. И напомнил, чтобы каждый командир сделал какие-то определенные знаки на своем маршруте.

В этот день с утра, как только началась артиллерийская перестрелка, наши войска провели мощный огневой налет — сначала по переднему краю, а потом по глубине обороны противника. Налет был настолько мощный, что батареи врага на некоторое время приумолк-

ли. Затем в течение дня методически велся обстрел по батареям противника и по его переднему краю. Методический обстрел чередовался с короткими налетами, чтобы не дать фашистам высунуться в этот день из окопов, все время держать их в напряжении.

В 16 часов Военный совет ООР перешел на борт стоящего в гавани крейсера «Червона Украина». Петров прибыл на набережную, где был подготовлен КП для него и для оперативной группы штаба. Отсюда он должен был руководить отходом и погрузкой. В каждом штабе дивизии дежурили представители штаба армии, которые поддерживали постоянную связь с начальником штаба армии Крыловым.

И все же противник, несмотря на наш активный артиллерийский обстрел, что-то подозревал. В момент отхода частей на участке 31-го полка 25-й дивизии и на участке 161-го полка 95-й дивизии противник неожиданно перешел в наступление. Командиры частей немедленно приостановили отход, отразили эту попытку наступления и, только нанеся потери противнику и убедившись, что наступление прекратилось, продолжили отход с передовой. Авиация противника бомбила скопление транспорта в порту, но, к счастью, неудачно. Только одна бомба попала на теплоход «Грузия», который выполнял роль санитарного судна. На «Грузии» начался пожар, но его потушили и перенесли на другие корабли две тысячи раненых. «Грузию» потом отбуксировали в Севастополь.

С наступлением темноты части стали прибывать в гавань. Иван Ефимович смотрел на бойцов, которые так долго и упорно отстаивали Одессу, глаза генерала были грустные. Сердце командующего наполняли любовь и уважение к этим людям. Уважение — и беспокойство! Нервы его были напряжены, потому что, если бы в эту минуту противник перешел своими огромными силами в наступление и застал бы части вытянутыми в колонны на марше, произошло бы непоправимое бедствие. Но противник, видимо, все же не знал точного часа отхода и не переходил в наступление. А может быть, не раз уже битый даже малочисленными частями Приморской армии, считал, что замеченное им в конце концов передвижение и сведения, поступившие об отходе, это какая-то ловушка со стороны советских войск.

Главные силы дивизий отошли спокойно; около полуночи снялись и отошли арьергардные батальоны. Петров постоянно проверял положение на передовой по телефону, разговаривал с командирами и с представителями штаба армии. Обменивались короткими, вроде ничего не значащими фразами: «У вас в порядке?», «Все нормально».

С начала отхода арьергардных батальонов усилили огонь артиллерия и особенно береговые батареи, которым надо было выпустить по противнику все до последнего снаряда, а потом уничтожить орудия. Помогали огнем и боевые корабли, стоявшие поблизости. Около двух часов ночи стали грузиться на корабли и транспорты арьергардные части. Траншеи на переднем крае не остались пустыми, их заняли разведчики и подготовленные городским комитетом партии и райкома партизанские отряды. Они вели пулеметный и ружейный огонь, демонстрируя, будто траншеи заняты войсками. В эти часы по поручению секретаря горкома партии Н. П. Гуревича по ночному опустевшему городу проехали на машинах секретарь Ильичевского райкома И. Н. Никифоров и секретарь Жовтневого райкома Б. А. Пену. Они расклеивали на улицах города воззвания к жителям Одессы. Были в этих листовках такие слова:

«Не навсегда и ненадолго оставляем мы нашу родную Одессу. Жалкие убийцы фашистские дикари будут выброшены вон из нашего города. Мы скоро вернемся, товарища!»

Вот что пишет Иван Ефимович Петров о последних часах обороны Одессы:

«15 октября, после заката солнца, в сумерках, основная масса войск бесшумно снялась с позиций и, быстро построившись в колонны, двинулась в порт. А через полтора-два часа прикрывающие части, поддерживая на линии фронта редкий ружейный, пулеметный и минометный огонь, также снялись и пошла в порт на погрузку. На линии фронта остались только группы разведчиков, продолжавшие имитировать огонь и жизнь войск в окопах. Но и те после полуночи на специально для этой цели оставленных машинах снялись и прибыли в порт.

В ночь на 16 октября оживление в Одесском порту было необычайное. Со всех прилегающих улиц и переулков потоками стекались войска, направляясь к своим кораблям, стоявшим у пирса. Хотя и требовалось соблюдать полную тишину, однако войск оказалось так много на сравнительно ограниченном пространстве одесского порта, что уберечься от суеты, шума и гомона массы людей было невозможно. Личный состав одесской военно-морской базы на погрузке проявил величайшую организованность. Не обошлось, правда, и без курьезов. Был случай, когда два ротозея при погрузке свалились с пирса в воду, но их быстро вытащили моряки. Отдельные отставшие солдаты, нарушая общий порядок, блуждали на пристани, разыскивая свои части, и так далее. Но все это не помешало своевременно и полностью закончить погрузку».

Погрузка приближалась к концу, когда над портом появились немецкие самолеты. Сначала было два разведчика, они сбросили несколько бомб. Загорелось здание пакгауза. Возникли пожары еще в двух-трех местах. Зарево ярко освещало всю зону порта. Налетела группа в шесть — восемь самолетов, бомбила порт, но потери были незначительные.

К 4 часам утра были погружены и ушли из гавани больше сорока судов. На рейде стояли боевые корабли во главе с крейсером «Красный Кавказ», прикрывавшие эвакуацию. В случае необходимости боевые корабли могли поддержать эвакуируемые войска огнем своей артиллерии.

На морском охотнике, который был выделен для оперативной группы штаба армии, отошли от причала командарм Петров, член Военного совета армии Кузнецов, начальник штаба армии Крылов. С ними был и контр-адмирал Д. И. Кулешов — командир одесской военно-морской базы. Кулешов предложил обойти всю гавань и осмотреть ее. Может быть, адмирал, как моряк, хотел выполнить старую морскую традицию: капитан ведь уходит с корабля последним. Генерал Петров согласился, и катер медленно пошел вдоль берега. Грустно было смотреть на взорванные причалы, здания, остатки техники, на одиноко бродивших лошадей, которым не хватило места на кораблях, на пожары, догоравшие в порту.

Только убедившись, что на берегу не осталось никого из защитников Одессы, катер пошел к выходу из бухты и догнал ушедшие вперед боевые корабли и транспорты.

Петров стоял на палубе возле рубки, когда на отходящие корабли налетела авиация противника. «Ю-87» стал пикировать и на катер, на котором находился Петров. Самолет противника зашел на бомбежку точно и низко, было даже видно, как отделилась от его корпуса черная бомба и неотвратимо неслась к цели. Однако командир ловким маневром в последний момент вывел катер из-под удара. Бомба упала неподалеку, обдав палубу водой. Самолет еще несколько раз заходил и пикировал на катер, но командир так же удачно уклонялся от бомбового удара. Весь день шли корабли в сторону крымского берега. Несколько раз авиация противника налетала на них, но потерь больших причинить не смогла. Корабли умело защищались зенитным огнем.

На крымской земле Ивана Ефимовича встретил контр-адмирал Жуков. Георгий Васильевич поздравил командующего с удачным переходом и выполнением задачи. Петров коротко рассказал ему о том, что происходило в море.

— Атаковали на переходе многих, но потопили только один транс-

порт, тот, что опоздал и шел порожняком. Команду с него спасли. Сейчас уже последние суда подходят к Севастополю. Можно считать, что Приморская армия тут. Крыму теперь станет легче!

О том, что происходило в оставленной Одессе, у Ивана Ефимовича Петрова есть такая запись:

«Разведчики, оставленные из числа моряков, солдат и офицеров в городе для того, чтобы наблюдать за движением противника, прибыв в Севастополь, докладывали: в течение ночи на 16 октября противник никаких активных попыток перейти линию фронта не делал, хотя для него уже было совершенно ясно, что Одесса эвакуировалась.

Часов в 8 утра 16 октября отдельные группы разведчиков противника робко и нерешительно перешли бывшую линию фронта и только к часу дня вышли на окраины Одессы. Румынская армия в течение дня 16 октября продолжала оставаться в своем расположении, опасаясь войти в Одессу, и только 17-го, через сутки после эвакуации наших войск, передовые части румын вступили в город».

В Бухаресте ликовали. Антонеску «за взятие крепости Одесса» было присвоено звание маршала. Читатель, знающий подробности этого сражения, без труда может поправить эту формулировку — не «за взятие», а «за вступление в город Одессу после ухода из нее Приморской армии». Вот так время вносит свои справедливые коррективы в пышные празднества по поводу «победы», подробности которой, конечно же, были скрыты от румынского народа.

О событиях 16 октября фельдмаршал Манштейн в своих воспоминаниях «Утерянные победы» писал:

«16 октября русские эвакуировали безуспешно осаждавшуюся 4-й румынской армией крепость Одессу и перебросили защищавшую ее армию по морю в Крым. И хотя наша авиация сообщила, что потоплены советские суда общим тоннажем 32 тысячи тонн, все же большинство транспортов из Одессы добралось до Севастополя и портов на западном берегу Крыма. Первые из дивизий этой армии вскоре после начала нашего наступления появились на фронте».

Как видим, фельдмаршал сильно преувеличил цифру наших потерь во время морского перехода, но подтвердил факт безуспешной осады города целой армией, а также то, что Приморская армия через несколько дней дала о себе знать уже в боях за Крым.

Бывший нарком Военно-Морского Флота СССР Н. Г. Кузнецов в книге «Курсом к победе», высоко оценивая заслуги моряков, сухопутчиков и жителей города в обороне Одессы, так пишет о личной заслуге И. Е. Петрова:

«Позднее мне приходилось беседовать с адмиралами Г. В. Жуковым, Д. И. Кулешовым и другими военачальниками, причастными к этой сложной операции. Успешную эвакуацию войск они связывают с именем генерала И. Е. Петрова».

Итак, сражение за Одессу завершилось победой Советской Армии и Флота. Я подчеркиваю, в сражении за Одессу была одержана именно победа.

Что такое победа?

Как это ни странно, определения слова «победа» нет в завершенной в 1980 году «Военной энциклопедии». Но вот в толковом словаре под редакцией профессора Д. Н. Ушакова, изданном в 1935—1940 годах, сказано: «Победа — боевой успех, поражение войск противника в бою, сражении».

Если исходить из этого определения, то боевой успех в сражении за Одессу был на стороне Приморской армии. Какую задачу ставили перед собой наступающие войска врага? Уничтожить армию, защищающую Одессу, и овладеть городом. И как видим, важнейшая часть ее, определяющая успех сражения — уничтожение или пленение противостоящего противника, не была выполнена! Приморская армия в полном составе с знаменами, оружием и техникой ушла, не принужденная к тому противником. Овладение городом произошло не в результате

боев, не благодаря умелым действиям наступающих, а потому, что они обнаружили перед собой пустой город! Но если город пустой и не с кем в нем воевать, некого побеждать — какая же это победа?

Иная картина складывается при оценке действий советских войск. Армия сохранена, город оставлен по приказу старшего командования. Приказ этот блестяще выполнен — армия ушла без потерь. Как все это назвать? Подходит ли к этим действиям определение словаря: «Победа — боевой успех, поражение войск противника»? На мой взгляд, именно это произошло в те дни под Одессой.

Но город все же в руках врага? Да. Однако как тут не вспомнить эпирского царя Пирра, который, одолев в сражении римлян, потерял при этом так много воинов, что воскликнул: «Еще одна такая победа, и я останусь без войск!»

Наступающие войска потеряли в результате безуспешных попыток овладеть городом 160 тысяч солдат и офицеров. Приморская армия тоже понесла немалые потери в ходе боев, но все же вывезла на кораблях в период эвакуации все части и их вооружение.

Наполеону под Бородином не удалось уничтожить русскую армию, она отошла по решению Кутузова. Войска талантливого и опытного французского полководца понесли такие огромные потери и были так потрясены стойкостью и героизмом русской армии, что, несмотря на отвод русских полков с поля боя, история засчитала победу в этом сражении за Кутузовым и русской армией. Для Наполеона это была пиррова победа. Нечто похожее произошло и в сражении за Одессу, разумеется в меньших масштабах, не с таким большим влиянием на исход всей войны. Умелое руководство сначала генерала Софронова, затем генерала Петрова определило победный исход в этом сражении.

Генерал может быть талантливым, блестяще знать военную историю и теорию, но не быть полководцем, — такой военный скорее ученый или военный деятель. Полководец — это военачальник, обладающий творческим мышлением, способностью предвидеть развитие событий, волей и решительностью, высокими организаторскими способностями и другими качествами, которые позволяют с наибольшей эффективностью использовать имеющиеся силы и средства для достижения победы. При этом полководец не накладывает свои знания как шаблоны, по которым раскраивает поле боя и размещенные на нем войска. Настоящий полководец, вдохновляемый талантом и любовью к своей Родине, народу и армии, создает, изобретает такие формы действия своих войск, такие маневры, которые в конкретных условиях приводят к победе над врагом.

Петров прибыл в Одессу не очень известным в этих местах командиром, за короткое время — два месяца — он был дважды назначен с повышением и завершил одесскую эпопею старшим здесь сухопутным военачальником.

На его плечи легло руководство сухопутными войсками на участке, изолированном от всей страны и общего советско-германского фронта. Всего за двенадцать дней, с 5 по 16 октября, он осуществил неожиданную для противника и очень выгодную для своих войск форму маневра: постепенный вывоз техники, вооружения, материальных ценностей и затем внезапный отход всех сил армии и приведение ее в новый район боевых действий. При этом ему надо было совершить четыре сложнейших действия: оторваться незаметно от противника и собрать войска с большого пространства в одно место — в порт; произвести быструю погрузку многотысячной массы войск на большое количество кораблей и совершить морской переход под бомбежкой противника; выгрузиться в короткий срок в разных местах, но собрать все части воедино; и, наконец, совершить форсированный марш через весь Крым к Перекопу.

Петров подготовил, организовал и блестяще осуществил эту операцию, преодолев при этом не только сопротивление превосходящего

противника, но и отрицательное отношение к задуманному маневру своего вышестоящего командования, что, кстати сказать, тоже было нелегко и непросто.

История знает подобные удачи и у других полководцев, но это бывало на суше, где была свобода маневра, пространство для выхода из боя и отхода. А в тылу защитников Одессы было море.

В эти дни было вывезено из Одессы 15 тысяч гражданского населения, 500 орудий, 1158 автомобилей, 163 трактора, 3500 лошадей, 25 тысяч тонн оборудования одесских заводов, 20 тысяч тонн боеприпасов и, наконец, 80 тысяч бойцов. Это, как видим, был спокойный, хорошо организованный планомерный отход. Причем блестящую по исполнению операцию на суше не менее великолепно завершили моряки Черноморского флота, которые разместили на свои корабли Приморскую армию и доставили ее без потерь, боеспособной, на крымскую землю. Эта двуединая операция являет собой замечательный, классический пример взаимодействия армии и флота. Классический потому, что план был осуществлен при подавляющем численном превосходстве противника по всем видам вооружения и в дни, когда стратегическая инициатива и активность были в его руках.

К этому времени в ходе второй мировой войны уже были аналогичные сражения. Но как не бывает абсолютно похожих битв, так не бывает и одинаковых последствий. В дюнкеркской операции 1940 года потерпевшие поражение в предшествовавших боях на территории Франции английские, французские и бельгийские войска общей численностью в сорок три дивизии осуществляли эвакуацию своих войск в Англию в течение десяти дней, с 26 мая по 4 июня. Отступающие союзные войска были зажаты с двух сторон двумя немецкими группировками при абсолютном превосходстве гитлеровцев в танках и самолетах. В эвакуации войск принимали участие 693 английских корабля и судна военно-морского флота и 250 французских, войска грузились с необорудованных берегов с помощью катеров и шлюпок. Немецкая авиация бомбила их, налетая армадами, численностью до 300 бомбардировщиков и 500 истребителей. В результате этой эвакуации было вывезено 338 тысяч человек. 40 тысяч французов попали в плен, англичане потеряли 68 тысяч человек. Кроме того, союзники оставили в Дюнкерке все свои танки, артиллерию и снаряжение — одних машин 63 тысячи. В ходе операции было потоплено 224 английских и 60 французских кораблей и судов. Как видим, состоялось настоящее одностороннее побоище. При наличии таких больших сухопутных и морских сил союзников можно было организовать стойкую оборону и, постепенно сужая фронт, вывезти войска и технику. Или же можно было нанести контрудар, привести в замешательство противника и в одну ночь вывезти все войска: большое количество войск и кораблей позволяло это осуществить. Короче, возможности были, тем более что гитлеровцы по каким-то до сих пор не объясненным историками причинам сделали в своем наступлении паузу в три дня — с 24 по 27 мая. Однако союзные войска и их командование к тому времени были настолько деморализованы, что десятидневная дюнкеркская трагедия скорее похожа на бегство, чем на организованный отход.

Немецкие стратеги так пишут об итогах этой операции:

«Взятие немцами Дюнкерка расценивалось тогда немецкой общественностью как большая победа. На самом же деле это была неудача, так как англичане сохранили свои силы...» Эти силы «(пусть даже без материальной части) смогли эвакуироваться в Англию и создать там основу для развертывания английских вооруженных сил»².

Вот так — союзниками потеряно около 300 кораблей, оставлено 100 тысяч пленных и вооружение, и все же это считают успешной

² «Мировая война». М. «Иностранная литература». 1957, стр. 46.

эвакуацией! Какими же лаврами увенчать командующего, штаб Приморской армии, командиров соединений и частей, военно-морских флотоводцев, осуществивших блестящую операцию при эвакуации армии из Одессы, не оставивших врагу ни одного пленного, ни одной винтовки и почти не имевших потерь на море!

В трудные дни 1941 года, когда на других участках фронта один за другим оставались города, нисколько не умаляя роль защитников тех городов, все же подчеркнем: Одесса, отрезанная от всей страны войсками противника и морем, держалась 73 дня.

В течение труднейших дней первых месяцев войны, когда противнику не хватило сил для решительного натиска на Москву и Ленинград, Приморская армия приковала к себе 17 дивизий и 7 бригад противника, имея в своем составе всего четыре дивизии, понесшие большие потери. Это немалый вклад в общую нашу победу.

Героическая двухмесячная оборона Одессы (с 5 августа по 16 октября 1941 года), происходившая вслед за легендарной защитой Брестской крепости (с 22 июня до двадцатых чисел июля 1941 года), показала неисчерпаемые запасы стойкости и мужества армии и народа, она золотыми письменами вписана в историю Великой Отечественной войны.

Одессе, первому городу Советского Союза, было присвоено звание города-героя с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Свет этой звезды озаряет и деятельность Ивана Ефимовича Петрова, который вместе с другими защитниками Одессы — рядовыми и генералами, матросами и адмиралами, жителями города и его руководителями — сделал все, что было в человеческих силах для выполнения своего воинского долга.

(Окончание следует)

РОБЕРТ ПЕНН УОРРЕН

★

ПОТОП*

Роман

Глава восьмая

В саду над рекой Мэгги Фидлер наклонилась, как и вчера, чтобы подать ему кофе, но сегодня — он это заметил — не стала спрашивать, сколько кусков сахара ему положить. Он отпил глоток и сказал:

— Жаль, что миссис Фидлер не смогла сойти к нам вечером.

Он заметил, что, прежде чем ответить, Мэгги Фидлер кинула быстрый взгляд на дом. Ни в одном из верхних окон не было света.

— Да, жалко, — сказала она. И пояснила: — Ей бы хорошо иметь хоть какой-то интерес в жизни.

— У нее есть этот интерес, — глядя в чашку, сказал Бред, ни к кому не обращаясь.

Яша Джонс заметил, как она перевела взгляд на брата и посмотрела ему прямо в глаза с выражением, которого он не смог разгадать, а брат не заметил.

Потом она спокойно сказала:

— Верно, Бред, этот интерес у нее есть, но, по-моему, ей нужен другой, дополнительный.

— Прости, — сказал Бред, — прости, что я об этом заговорил.

Но она уже снова отвернулась к Яше Джонсу и невозмутимо продолжала:

— Она смотрит телевизор. Но этого недостаточно. Я даже не знаю, многое ли до нее доходит. Она никогда об этом не говорит. Разве что тот или иной актер или актриса кого-то ей напомнят, но всегда тех, кто давным-давно умер, о ком я никогда и не слышала. — Она отпила кофе. — Видите ли, мама Фидлер приехала сюда, когда вышла замуж за доктора Фидлера. Из Нового Орлеана. Семья у них была богатая. Я видела старые фотографии — молодая дама на площади Святого Марка — это в Венеции, да?

— Да, — сказал Яша Джонс, — в Венеции.

— Там, во всяком случае, были голуби. И в Египте. На верблюде. Молодая дама, закутанная в вуаль, на верблюде, а позади — пирамида. Иногда она и сама рассматривает снимки. Молча, с удивлением. А как-то раз, всего один раз она...

Мэгги запнулась.

— Что? — не сразу спросил Яша Джонс.

— Это был снимок какого-то парка в Берлине. Там никого не было, только парк. Но она оживилась и на минуту стала почти молоденькой. Сказала, что видела там кайзера на лошади и он ей даже поклонился. На миг мне вдруг почувнилось, что время сместилось, — такой она выглядела молодой, раскраснелась, глаза блестят.

Мэгги поглядела вдаль, на реку. Там, куда не доставал лунный свет, вода казалась чернее обычного. Она снова повернулась к нему лицом.

— Бедная старушка. Жалко ее. После всего, что в жизни бывает — хоро-

* Продолжение. Начало см. «Новый мир» № 4 с. г.

шего и дурного, — плакать хочется, когда думаешь, что ты можешь вот так загореться оттого, что старый идлот и убийца кайзер с его дурацкими усищами и высохшей рукой поклонился тебе в парке, когда ты была молоденькой!

— Если это было, — сказал Бред.

— Надеюсь, что было.

— Но я заметил, — усмехнулся Бред, — что все южные дамы с известным общественным положением, достатком, а также и притязаниями рассказывают подобные истории. Иногда они отчетливо помнят, как их в колыбели целовал Роберт Ли. Иногда вспоминают, как их тискал после обеда на лестнице старикашка Джефферсон Дэвис. Время не помеха в царстве воображения. Но надо признать, что история матушки Фидлер не нарушает временного правдоподобия. Лет ей для этого достаточно. И у нас есть снимок. Мы видели дыру, из которой выскочил дьявол. Значит...

— Ох, пусть ее! — воскликнула Мэгги. — Пусть этот старый дурак кайзер ей кланяется. Бред, замолчи, не то я, честное слово, заплачу!

Она встряхнула головой. Глаза ее при лунном свете подозрительно блестели.

— Скажи ему, скажи мистеру Джонсу, что я никогда не плачу! — потребовала она с неестественным резковатым смешком.

— И скажу, — кивнул Бред. — Сестра у меня крутенька. Никогда не хнычет.

— Не пойму, что сегодня со мной делается. Просто невыносимо, если у матушки Фидлер отнимут даже эту дурацкую историю. У каждого должно быть хоть что-то.

Она вдруг вытянула руку и положила ее брату на колено.

Яша Джонс поглядел на руку. Она была ясно видна при лунном свете — хорошая некрупная рука с тонкими пальцами, вполне изящная, достаточно сильная для любой работы и достаточно мягкая для того, что положено делать женщине. Он попытался вспомнить, какая она на ощупь, когда они накануне здоровались.

Но вспомнить не мог.

— Ладно, ладно, — говорил брат, — оставим старушке этот маленький грешок. А знаешь почему?

— Нет.

— Потому что ты мне нравишься. — Он похлопал ее по руке и встал, чтобы достать с кирпичной стены пустые, забытые всеми рюмки. — Забудь. А что, если нам выпить немножко старого французского виски?

Когда разливали коньяк, Яша Джонс повернулся и посмотрел на женщину. Она пристально глядела за реку, на растялававшиеся там белесые от луны земли. Что она сказала?

Она сказала: У каждого хоть что-то должно быть. Интересно, что есть у нее.

Следя за тем, как она глядит туда, на земли, которые, казалось, белесо плывут с лунным светом на запад, он вдруг поймал себя на том, что мысленно задает другой вопрос: А что было у меня?

Он ответил себе, что у него было почти все, что можно иметь. Он вкусил от всяческих благ и познал их истинную цену. Он видел, как люди совершают достойные дела, и обнаружил, что способен их оценить по заслугам. Он много работал и благодаря этому получил представление о том, как устроен мир. Он подвергался опасностям и признавался себе, что ему страшно, но пережил как опасности, так и страх. Он обладал тем, что не без иронии называет славой, или тем, что считается славой в этом ограниченном временем мире. Он знал — и чувствовал, что вынуждает себя это признать, словно тут было что-то постыдное или преступное, — он знал, что такое любовь.

И пока они втроем сидели в молчании, он сообразил, что задал себе вопрос и ответил на него в прошедшем времени. Тогда не торопясь он задал себе другой вопрос. Он спросил себя, что у него есть теперь.

И минуту спустя ответил себе: Р а д о с т ь.

Глядя на запад поверх омытой луной земли, он радовался, что, хоть и позд-

но, он натолкнулся на это место и его судьбу, а это место и его судьба подскажут ему, несмотря, нет, благодаря его непричастности и к этому месту и к его грядущей судьбе идеальный образ его незамутненной и трудной радости.

Ему только хотелось, чтобы ладони перестали потеть.

Он подумал: Ф и д л е р с б о р о...

— Фидлерсборо,— произнесла она.— Думаю, что вы...

— Что? — спросил он, вздрогнув, и повернулся к ней.

— Фидлерсборо...— повторила она.— Думаю, что вы хорошенько в него окунулись сегодня. Баптистская церковь, Ривер-стрит и...

— Что? — спросил он.

— ...и потом то, что когда-то напечатал на машинке Бред.— Она повернулась к брату.— Днем я ворвалась к мистеру Джонсу, хотела напоить его лимонадом, а он возлежал в египетском калате, как фараон на картинке из Ветхого завета, и там...

— В японском,— поправил Яша Джонс,— халат японский.

Она пропустила его слова мимо ушей.

— ...и на живот его так, что бедняге и вздохнуть было нельзя, навалилась твоя малограмотная писанина. Ну да, весь Фидлерсборо в большой папке давил на живот мистера Джонса, как будто он переел жаркого. Да, всё так и лежало — все свидетельские показания...

— Свидетельские показания? — переспросил Яша Джонс.

— Да,— сказал Бред,— определение подходящее. Можно сказать, что на основе этих свидетельских показаний Фидлерсборо будет осужден за самый факт своего существования. Когда сгущающаяся пелена забвения накроет баптистскую церковь, бильярдную и кафе «Вовек не пожалеешь», мои маленькие досье представят улики для обвинительного приговора. И Сайрус с Матильдой Хайбридж будут вечно сжимать друг друга в супружеских объятиях на золотой осенней листве, скандализируя Фидлерсборо; серебряный шар мисс Пратфилд будет вечно сиять в ее чудовищном саду среди побегов заячьей капусты; Леонтина Парти, для которой полночь светлее дня, вечно будет уверенно бродить по бессмертной Ривер-стрит, а...

— Тс-с-с,— оборвала его Мэгги.— В этой семье слишком много болтают. Если мы помолчим, мистер Джонс скажет то, что, по-моему, он мысленно приготовился сказать.

— Может, у меня и правда была в зародыше какая-то мысль,— засмеялся Яша Джонс,— но, ей-богу, она еще не созрела.

— Ладно,— сказала Мэгги.— Я задам вам вопрос. Почему вы выбрали именно Фидлерсборо?

— Повезло.

— Повезло?

— Надо всегда полагаться на везение,— сказал он и вспомнил то утро несколько месяцев назад — завтрак в Биверли-хиллз, только что разбитое бледно-золотое яйцо в рюмке, легкий парок из этой горячей золотой сердцевины, похожей на смятый цветок; утреннее калифорнийское солнце на блестящем крахмале скатерти, мерцающее серебро,— минуту, когда он прочел заметку в газете о том, что маленький городок в Теннесси, основанный первопроходцами, будет затоплен для постройки огромной плотины. Он вспомнил эту минуту, свое возбуждение, легкий перебой в сердце, беглое ощущение растерянности — все это, казалось бы, настолько не имело отношения к убогой заметке, что он сразу подумал, не изжога ли это. Нет, тут же подумал он, это, наверно, закупорка сосуда, надо сходить к доктору, и мысленно произнес «да, закупорка» с каким-то странным, лукавым удовольствием, с облегчением и надеждой.

Но потом понял, что, как ни крути, всему причиной маленькая заметка.

Что-то в этой заметке заговорило с ним на его тайном языке. Язык этот он слышал так редко, что усвоил в нем только азы, но знал, что это единственный язык, на котором он постигает истину. В тот миг он не был уверен, что именно было произнесено. Но знал — что-то сказано было.

Она смотрела на него вопросительно. Луна позволяла видеть ее лицо. Он понял, что она ждет внятного ответа на этот немой вопрос.

— Я прочел заметку в газете,— сказал он.

Она продолжала на него смотреть.

— О Фидлерсборо,— пояснил он.

Он помолчал. Потом продолжал:

— И вот, видите, я здесь.— И смущенно хохотнул.— В Фидлерсборо.

Она все еще на него смотрела.

— Долгий путь,— сказал он,— от газетной заметки в Калифорнии... это было за завтраком... до Фидлерсборо и до этого прелестного сада при лунном свете. Хотите знать почему?

— Да.

— У меня было видение,— сказал он.— Я не стыжусь этого слова. Иначе не объяснишь, что тогда произошло. Заметка породила во мне странное ощущение — как будто в воздухе что-то возникло, пронизанное солнечным светом. Солнце в Калифорнии ведь такое яркое... И вот...

Он откинулся на стуле. Вытянул вперед мускулистые руки с длинными пальцами, словно что-то от себя отталкивая.

— И что?

— И все,— сказал он.— Наверно, я здесь, чтобы вновь обрести это видение. Нет, я его не потерял. Но оно приходит и уходит. Как тот туман за рекой, над равниной при лунном свете. Надеюсь, я здесь его подкреплю. Да именно — подкреплю.

Он посмотрел на свои руки. Медленно сжал их при лунном свете, потом разжал. Он чувствовал себя таким же беззащитным, как днем, когда стоял перед ней босой на неровных досках старого пола.

— Звучит высокопарно, правда?

Она не сразу ответила, что-то обдумывая. Он ждал, что она скажет, вдруг почувствовав внезапное беспокойство.

— Нет,— возразила она.— Это не звучит высокопарно.

— Вещи надо подкреплять реальными приметами,— наклонился он к ней.— Но если целиком положиться на факты, тогда настоящее... ладно, повторю, это громкое слово — видение, может...— Он запнулся. Но потом договорил: — Исчезнуть.

Он резко поднялся на ноги.

— Послушайте,— сказал он.— Много лет назад я прочел книгу о Фидлерсборо.

— Это вы о моей книжице? — спросил Бред.

— Да.

— Она была вся основана на реальных фактах,— заявил Бред. Рука его потянулась к бутылке, но повисла в воздухе. Она снова легла к нему на колено, нехотя, как животное, притянутое на поводке.

— Да,— сказал, обращаясь к нему, Яша Джонс.— Но видение там было. Оно светилось свивозь факты. А теперь, Бред...

Бредуэлл Толливер отметил: Он в первые так меня назвал.

Бред поборол вспыхнувшее в нем раздражение. Он понимал, что возникло оно оттого, что сперва он почувствовал удовольствие: раздражало его то, как он обрадовался. Нет, ему просто хотелось, чтобы Яша Джонс оставил эту книгу в покое.

— ...вот за это мы зацепимся,— говорил тот, снова обращаясь к Мэгги.— Что же такого было в этих рассказах, что много лет назад увлекло столь далекого от всего этого человека, как бывший физик и потерявший родину грузин — ведь он никогда даже не слышал о Фидлерсборо,— и заставило его...

— Грузин? — удивилась Мэгги.

— Да, грузин из России. Видите ли, мой отец уехал оттуда в тысячу девятьсот семнадцатом вместе с матерью и со мной. Правда, я был слишком мал, чтобы это запомнить. Потом, короткое время спустя, уже в Лондоне, он продавал права на нефтеносные участки. И официально переименовал фамилию на Джонс, потому что почитал англичан. А у меня было три гувернера. Как я их ненавидел!

— А я думал, что вы еврей,— сказал Бред.

— Я и сам иногда так думаю. Но у нас, грузин, тоже славная история.

— А я думала, что вы египтянин,— сказала Мэгги.— В этом парадном халате я вас приняла за египетского фараона.

— Вот уж нет, — засмеялся он. — Я даже не мумия.

Она тоже засмеялась, но еще до того, как она засмеялась, с Яшей Джонсом произошло что-то очень странное. Еще тогда, когда он отшучивался, стоя перед ними, он вдруг вообразил, да нет, даже не вообразил, а увидел, как он лежит на большой кровати с балдахином, на той кровати, где вот этот крепко сбитый большоголовый человек пытался овладеть в темноте высокой, тонкой, не знавшей покоя девушкой, которая к тому же была членом коммунистической партии. Но себя он видел не в темноте, а при свете дня, вот как сегодня под вечер, — он лежит укутанный в кирпично-черный халат и глядит в окно через реку на дальние поля, а на плече у него почему-то спокойно лежит голова Мэгги Толливер; на ней синее клетчатое ситцевое платье, ноги по-детски подтянуты к животу, потому что лежит она на боку, чуть от него отодвинувшись, и колени чуть видны, ноги босые — хоть он их и не видит, но знает, что они босые; сандалии небрежно скинуты на пол. Воображение подсказывает ему, что одна старая сандалия перевернулась. И это кажется ему ужасно трогательным и важным.

Но уже в тот миг, когда он все это вообразил, он по привычке, заставлявшей его проверять даже процесс своего воображения, спросил себя, почему у него с такой отчетливостью возникла эта картина.

Он молча сел.

Да, сказал он себе, прошло уже почти восемь месяцев. А ему чуть больше сорока, сказал он себе. После такого периода воздержания это естественно, сказал он себе. Это просто сигнал, что период подходит к концу — время бегства, если это было бегством от тех удовольствий, которые так легко доступны Яше Джонсу, потому что он — Яша Джонс: от податливой невинности, многоопытности; автобиографии, шепотом рассказанной в полутьме, влажных губ, приподнятого бедра, слегка отодвинутого бедра, точно рассчитанной уклончивости и даже искреннего объятия.

Он подумал: что же, долго он здесь не пробудет, недели три, от силы немного больше. Он с облегчением подумал, как сядет в самолет, сойдет в Лос-Анджелесе, увидит ожидающего шофера, задумается, что делать дальше, на миг почувствует молодое возбуждение перед неожиданным и непредсказуемым. Но бог ты мой, что-то закричало в нем, разве не все в жизни предсказуемо?

Он обнаружил, что ладони у него вспотели.

Он украдкой взглянул на женщину. Она была такой, какая есть. Почти одного возраста с ним. Совершенно ничем не примечательная. Она сидела освещенная луной, и ее обреченное на медленный, хотя пока еще незаметный распад тело было благопристойно облачено в простое коричневое платье с бледно-желтой, старательно заштопанной шалью на прямых плечах. Да, она была тем, что есть. И Фидлерсборо было тем, что есть.

Он сидел и спрашивал себя, когда он умрет.

Он сидел и вспоминал ту ночь, когда мсье Дюваль — тот, что был Яшей Джонсом из американской разведки, — услышал, как киль зашуршал по береговой гальке в Ландах, к югу от Бордо. И едва шуршание прекратилось, как Яша Джонс сказал себе, что он, Анри Дюваль, уже мертвец. Он надеялся, что процесс умирания будет не слишком тяжелым.

И вот теперь, при свете луны в Фидлерсборо, он сидел в саду и вспоминал, как несколько лет спустя, в Калифорнии, он совсем забыл о мсье Дювале и о той ночи, когда киль шуршал по береговой гальке. Он забыл это, мечтая о счастье. А потом в глухоте удара и вспыхе пламени счастья не стало.

Все, что ему осталось, была радость, а вернее, то трудное и суровое — ибо это было все, что ему удалось сохранить, — что он звал радостью.

Он услышал, как Бред заерзал на стуле.

— А знаешь, сестра, — говорил Бред, — помнится мне, что когда-то брат Поттер...

— Потс, — поправила она.

— ...брат Потс не был одноруким.

— Не был. Рак кости. Началось с пальца, и его отрезали. В третий раз отхватили руку выше. Я слыхала, что ему недолго осталось жить. Но он, говорят, решил держаться, пока не отслужит прощальный молебен.

— А ты знаешь, почему он хочет его отслужить? — спросил Бред.

— Нет.

— Как же — чтобы все знали, что жизнь, которую они прожили, была, как он выражается, благодатью.

Сначала она никак не отозвалась на его слова. Потом повернулась к ним обоим.

— Надеюсь, он продержится, — сказала она. — До молебна. — И помолчал: — Да, тут тоже кто кого перегонит, как у мамы Фидлер; бег наперегонки с топтом.

— Да, кстати, о маме Фидлер — погляди-ка назад, — сказал Бред.

В одном из верхних окон загорелся свет. Мэгги поднялась.

— Извините, — сказала она и торопливо пошла по дорожке.

Бред Толливер тоже не смог усидеть на месте.

— Пошло-поехало, — сказал он. — Двадцать четыре часа в сутки сторожит старушку. И сверхурочных не получает.

Яша Джонс промолчал. Он смотрел на дом.

— Старушка ведь не в себе, — сказал Бред.

— Да? — вежливо осведомился Яша Джонс, не поворачивая головы.

— У нее шарики за ролики зашли. И винтиков не хватает. Беда, однако, в том, что сестренка не знает, сколько этих винтиков там осталось. Не знает, помнит ли старушка что бы то ни было. Например, о плотине. Читать она уже не может, но смотрит телевизор, да и негры болтают, сколько бы там она ни понимала. Бродит, как привидение, и... — Он замолчал, глядя на дорожку. — А вот привидение пожаловало к нам.

Яша Джонс повернулся.

Она была почти рядом — худая и не очень высокая старуха в чем-то вроде старомодного пеньюара или кимоно, в белом чепце, отороченном кружевом, криво сидевшем на седой голове, одна-две седые пряди свисали на левую щеку, а лицо при луне казалось белым, как мел.

Глаза ее блестели. В них отражался лунный свет.

Яша Джонс церемонно встал ей навстречу, а она, ступая бесшумно, подошла все ближе, но когда она шла, ему казалось, что он слышит беззвучный треск. Она нетвердо встала напротив него, вглядываясь ему в лицо.

— Миссис Фид... мама Фидлер, разрешите вам представить мистера Джонса, — встав, произнес Бред.

Она молча протянула руку, продолжая всматриваться в его лицо. Рука неуверенно повисла в воздухе; Яше Джонсу пришлось схватить и удержать ее, он почувствовал слабое подергивание, как у птичьей лапки.

— Очень рад с вами познакомиться, миссис Фидлер.

Она спросила тонким, дрожащим голосом, продолжая пристально на него глядеть:

— Вы... вы тот человек, который будет снимать фильм?

— Да.

— Я смотрю фильмы по телевизору.

— Очень приятно, — сказал он, стыдясь не то бессмысленности этих слов, не то чего-то другого: ее старости, болезней, чешуйчатой кожи на птичьей лапке, которая продолжала подергиваться у него в руке. Он не знал, как ему отпустить эту руку.

Другая рука, которой она придерживала на груди кимоно, вдруг вытянулась и вцепилась в его правый рукав. Он тупо на нее уставился. На среднем пальце блестел очень большой бриллиант в очень старинной оправе.

Его одолело отвращение или скорее растерянность, причину которой он и сам не мог понять, ведь для нее, казалось, не было никаких оснований. Яша Джонс думал, что другая женщина — молодая женщина, которую зовут Мэгги Толливер-Фидлер, вынуждена ежедневно терпеть это прикосновение, ежедневно обслуживать это существо, поддерживать в нем жизнь. Он не знал, почему у него вдруг возникла эта мысль.

— Послушайте, — сказала старуха, и маленькая птичья лапка шевельнулась в его руке.

Он чувствовал, как его ладонь покрывается потом.

— Послушайте,— повторила она, придвигая к нему лицо, глядя на него снизу вверх.— Не показывайте этого в фильме. Не показывайте.

— Что... чего не показывать?

— Того, о чем говорят,— сказала она, сжимая его руку птичьей лапкой.— Они говорят о Калвине ужасные вещи, они лгут! Вы им не верьте,— шептала она, придвигаясь все ближе.— Было не так. Это ложь... ложь... обещайте, что не поверите им, не покажете такую ложь в вашем фильме! Обещайте!

— Обещаю, миссис Фидлер,— сказал он и увидел, что рука Мэгги Толливер-Фидлер обняла старушку за плечи, и подняв глаза, поймал ее кивок, поймал выражение ее лица, где не было просьбы простить и даже понять, а лишь уверенность, что он тоже способен на человеческое участие.

Она наклонилась к старухе и зашептала ей на ухо:

— Да, мама Фидлер, да, он сделает то, что вы просите, пойдете, не то вы простудитесь, пойдете, мама...

Проводив ее взглядом по дорожке к дому, где свет теперь горел в нескольких окнах, Яша Джонс медленно сел.

Бред протянул ему бутылку.

— Желаете выпить? — спросил он.— Успокоить нервы?

— Нет, спасибо,— сказал Яша Джонс и снова перевел взгляд на дом.

— Еще не расхотелось здесь оставаться?

Глядя на дом, Яша Джонс ничего не ответил.

— Конечно, вам не придется с ней часто общаться,— продолжал Бред.— Разве что у вас возникнет профессиональная потребность изучить психологию выжившей из ума знатной южной дамы.— Бред взял бутылку и посмотрел ее на свет.— Мои нервы после трехнедельного пребывания здесь закалены. Заметьте, я тоже не пью, чтобы успокоиться. К тому же не пью во время работы. А вы уверены, что не хотите рюмочку? — Он снова протянул Яше бутылку.

— Нет, спасибо. Обойдусь.

Мэгги вернулась и подошла к ним.

— Она, наверное, вышла через боковую дверь,— сказала Мэгги и поглядела на дом. Свет был погашен.

— Сегодня у нее беспокойная ночь.

— Жалко,— сказал Яша Джонс.

— Вы были с ней милы.

Он стоял задумавшись.

— Я не хотел бы...— сказал он, подыскивая нужные слова.

— Ну, это не имеет значения,— прервала она, и ее правая рука сделала взмах, который обещал быть широким, угловатым, что-то отвергающим, но был тут же пресечен.— Не надо думать, что вы дали бедняжке какое-то обещание. Делайте все что хотите вы с Бредом...— Она загнулась.

Подошла к Бреду и положила руку ему на плечо.

— Я ведь серьезно, Бред.

И вдруг она заплакала, слезы засверкали у нее на щеках от лунного света. Она не казалась смущенной, хоть и сказала:

— Извините. Просто у нее беспокойная ночь, и когда она...

Ей удалось овладеть собой, и она обратилась к Яше Джонсу.

— А тюрьма? — произнесла она, словно меняя тему разговора.— Ведь Бред обещал показать вам тюрьму?

И прежде чем он успел ответить, она быстро заговорила:

— Ну да, тюрьма — это ведь сердце Фидлерсборо, то, что дает ему жизнь, это...

— Миссис Фидлер...— прервал ее Яша.

Но она не обратила на него внимания.

— ...единственное, из-за чего все мы живем...— Она смущенно засмеялась.

— Миссис Фидлер! — произнес он тоном, в котором вдруг прозвучали властные ноты.

— Да? — спросила она устало и, казалось, смиренно.

— Миссис Фидлер, давайте говорить откровенно.

Она смотрела на него очень прямая, при свете луны.

— Может, вы предпочли бы, чтобы я жил в другом месте?

Она широко раскрыла глаза.

— Да нет! Нет же! Прошу вас, простите меня. Честное слово, со мной этого почти никогда не бывает, Только раз в год. Сейчас...— она слегка взмахнула рукой,— сейчас у нас апрель, и этого не будет до будущего апреля, а он ведь так не скоро, и вас уже здесь не будет, а к тому времени нас затопят, и тогда уже будет все равно. Поэтому...— Она замолчала, явно ожидая ответа.

— Хорошо, я останусь,— сказал он.

— Я бы почувствовала себя просто... дрянью, если бы вы не остались,— сказала она.— Вы же не считаете меня дрянью, мистер Джонс? — спросила она, засмеявшись.

Он посмотрел на нее еще какое-то мгновение, а потом ответил:

— Нет.

— Спасибо.— Она протянула ему руку.

Он взял ее руку, потом отпустил.

Она сделала несколько шагов по дорожке и обернулась.

— Пусть Бред вам расскажет,— сказала она.— Бред знает все и может...

— Черта с два! — сказал Бред беззлобно.— Нечего на меня сваливать.

Она постояла молча.

— Извини, Бред. Я и в самом деле дрянь. Пойду-ка я спать, может, утром буду получше.

Они глядели, как она входит в дом.

— Муж ее там, в тюрьме,— сказал Бред.

Яша Джонс медленно к нему повернулся.

— Он там уже двадцатый год.

Яша Джонс сидел неподвижно, не говоря ни слова.

— Он там, в общем, до конца своих дней. Вот сумасшедший — попытался сбежать в одиночку, и его, конечно, поймали.— Он помолчал.— Ну почему вы не спросите за что? За что он сидит?

Яша Джонс, подумав, спросил:

— Почему вы хотите, чтобы я вас об этом спрашивал?

— А я бы тогда ответил, что не скажу. Вот сейчас сестра лежит там, наверху, в темноте, и ей кажется, будто она слышит, как я вам рассказываю о том, что случилось тысячу лет назад. Ей будет невыносимо тяжело, если вы это узнаете, и в то же время она хочет, чтобы вы узнали. А все ее гордыня. Когда она выяснит, что я вам ничего не сказал, она из гордости расскажет вам все сама.

Яша долго сидел молча. Наконец он сделал какое-то движение.

— Я позволю себе бестактность,— сказал он.

— Валайте.

— Вы ее не любите?

— Почему? — удивился Бред.— Мне она очень нравится. Я даже ею восхищаюсь.

— Да,— пробормотал Яша.— Тогда почему...

— Мне даже нравятся ее ноги,— сказал Бред.

Секунду помолчав, Яша заметил еще тише:

— Да, но это не снимает моего вопроса.

Бред зашевелился, и старый плетеный стул закрипел под его тяжестью. Он встал, подошел к низкой ограде и поглядел через нее на воду.

— Знаете, почему я вас поведу смотреть тюрьму только послезавтра? — Он обернулся.— Потому что завтра день свиданий. Не хотелось бы встретить там мою сестру. Видите ли, сестра водит миссис Фидлер на свидание с сыном, в чью невиновность та, будучи не в себе, неукоснительно верит. Сестра будет сидеть в комнате, где пахнет карболкой, на скамье и смотреть на костяшки пальцев. Она не пойдет повидаться со своим законным мужем Калвином Фидлером. Она не видела его столько лет, сколько он там. Когда она вам расскажет эту историю, она, вероятно, объяснит почему.

Он отвернулся, оперся на ограду и смачно плюнул вниз.

— Фидлерсборо,— пробурчал он.— До чего же я тебя люблю.

Глава девятая

Это место, как им сказал молодой инженер, будто создано для плотины. Прибрежная долина здесь становится уже. К востоку поднимается известковая возвышенность, на которую можно уложить ее край, к западу — остатки горного отрога, который река перерезала, как буханку хлеба, миллион лет назад. И возвышенность и отрог лесистые, а в промоине белеет, как кость, обнаженная скала. У инженера было круглое веснушчатое лицо, красный облупившийся нос и русые, коротко остриженные волосы. Он часто ухмылялся от щедрого запаса природного добродушия. Время от времени он сжимал руки и хрустел суставами. Плотина будет здоровущая, и, видит бог, в ней здесь нуждаются. Ничего не скажешь, охота и рыбная ловля тут знатные, но бог ты мой, как там только, на болотах, люди живут, в так называемых бухточках. А города — их давно пора затопить. Сам он из Висконсина.

Плотина будет гигантская, говорил молодой инженер. Около ста квадратных миль под водой, подпрет реку на двадцать пять миль, говорил он, показывая рукой вверх по течению на юг. Большая часть земель здесь неважная: болота или подрост. А если и есть тут хорошая земля, эти черти понятия не имеют, как ее возделывать. Но при наличии электроэнергии и дешевого транспорта все пойдет по-другому. Высоченные здания вдоль реки, один завод за другим. И обуем болотную шваль, научим ее читать, писать, отбивать время на контрольных часах, нажимать выключатель. Это будет большой промышленный комплекс. Инженеру нравилось это выражение: промышленный комплекс.

Он повторил его дважды.

Теперь, когда лодка с подвесным мотором шла против течения, Бред и Яша могли, оглянувшись, увидеть гигантские гряды земли и камня, огромное белое строение, опалубку плотины, издалика казавшиеся небольшими стрелы кранов на фоне неба, крошечные грузовики, нескончаемой вереницей ползущие по земляным насыпям и кучам щебня. Обнаженные скаты возвышенности ослепительно белели, а земли к западу казались немymi, вылинявшими, словно там видна была лишь серая тыльная сторона дубовой листвы. На взгорье, к востоку, высоко среди деревьев сверкала большая белая доска, на которой постепенно уменьшались черные буквы:

ИНЖЕНЕРНЫЕ ВОЙСКА АРМИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ

Теперь мимо них тянулись болота. К пню высохшего дерева была привязана плавающая лачуга, ее мерно покачивало течением. Бред осторожно направил к ней лодку и футах в двадцати от нее выключил мотор. На задней палубе на корточках сидела женщина и чистила рыбу. Она смахнула потроха в воду и подняла голову.

— Нету его, — сказала она.

— А где он? — спросил Бред.

— Пошел за мясом, — сказала она и ткнула большим пальцем в затопленный лес. — Мясо пошел раздобыть.

— Скажи ему, что это против закона, — сказал Бред и тихонько запустил мотор, чтобы вывести лодку на стрежень.

— Скажу, а как же, — отозвалась она сумрачно, откинула прядь со лба и ухмыльнулась. У нее недоставало нескольких зубов.

— И насчет мяса, что он принесет в кувшине, скажи ему — оно ведь тоже незаконное, — сказал Бред.

— Скажу, а как же, — пообещала она так же сумрачно. И опять ухмыльнулась.

Над краем ржавого корыта за спиной у женщины высунулась льняная головка ребенка. Маленькие пальчики цеплялись за край.

— Сколько их еще у тебя в корыте? — спросил Бред.

Женщина привстала, нагнулась, заглянула в корыто и подняла голову.

— Нету там больше, — сказала она. — Нынче их там нету. А этот вот, — и она, протянув руку, похлопала по белобрисой копенке и пальцем отерла мокрый нос, — этот вот тоже невелика добыча. Но, видно, придется держать как наживку.

Лодку относил течением.

— Скажи Лупоглазому, что я заезжал! — крикнул Бред.

— Скажу, а как же, — откликнулась она.

Бред запустил мотор, и они отъехали, сделав широкий полукруг. Он помахал рукой, и женщина помахала в ответ.

— Ах ты, Лупоглазый... — пробормотал Бред.

— Это тот?.. — начал было Яша.

— Ага. Он самый...

— Из «Ангельских крыльев», — договорил за него Яша. — Один из лучших ваших рассказов.

— Лупоглазый уже не тот парнишка, о котором я когда-то писал. Он созрел. Можно сказать, развился в предусмотренном для него направлении. — Обернувшись, он взглянул на лес. — Взрослый Лупоглазый не стал украшением общества. Не бреется. Чешется там, где зудит, не считаясь со временем и местом. То есть почти всегда и почти повсюду. У него нет свидетельства о браке. Или о разводе. Ходят слухи, что когда они ему надоедают, он попросту выталкивает их за борт. Пьет самогон. Не вносит лепты в церковную кружку. У него бытовая сифилис, и его не смущает, что он заражает других. Налоги не платит. Может запросто перерезать вам сонному глотку. Если вы, конечно, ему не друг и он не настолько пьян, чтобы об этом забыть. По натуре своей он не созидатель. Карточки социального страхования не имеет. Короче, Лупоглазый не верит в общество. Попросту говоря, он человек свободный.

— Я бы хотел на него посмотреть, — сказал Яша.

— Ну я вас к нему еще свожу. Может, нам стоит отразить его в нашем прекрасном фильме. Свобода — это основа нашей страны, а Лупоглазый — единственный свободный человек, который в ней еще остался. И я не желаю выслушивать ехидных возражений, будто-де Лупоглазый — раб своей свободы. Это безусловно так, но, будучи рабом свободы, он из духа самопожертвования служит символу свободы, о которой любой здоровенный баловень в Америке тоскует в глубине души. Посадите косматую голову Лупоглазого на туловище орла — и вот вам наша национальная эмблема. Но если мы хотим отразить его в нашем прекрасном фильме, надо поторопиться.

— Почему?

— Пока его не разбил паралич. В Фидлерсборо, кажется, все бегут напереконки, так, по крайней мере, уверяет сестра. И тут тоже кто кого перегонит: мы или паралич. С Лупоглазым в качестве приза. — Он снова обернулся на лес. — Эх, мой друг Лупоглазый, — произнес он задумчиво, — это ведь ты научил меня всему, что я знаю. Он был года на два старше и на много световых лет мудрее, чем ваш покорный слуга. Мы охотились на каждой пяди земли и рыбачили в каждом ручье и в каждой заводи трех округов. Это было нашим основным родом занятий. Но были еще и побочные. Одним из них было вынюхивание змей. Я имею в виду мокасиновых. Укус у них не всегда смертелен, но вреден, и Лупоглазый вынюхивал их, как охотничья собака. Я этому так никогда и не научился. Но основным побочным занятием были здешние девки. Пусть вас не соблазняет поверхностная и циничная народная мудрость, гласящая, что в темноте все кошки серы. Болотная девка, уверяю вас, совсем особая порода. На первый взгляд это здоровая простодушная поросль здешних мест, но в ней есть свои глубины, свой масштаб, тайный ответ солнца на золотой тине заводи. Это Лупоглазый добыл мне первую болотную девку. По правде сказать, она и вообще была у меня первая. То, чем я стал и чем надеюсь стать, — всем я обязан Лупоглазому. Не будь его и не бойся я, что он станет надо мной глумиться, я, наивный парнишка, убаюканный чистой романтической мечтой, порожденной журнальными картинками, рекламой лифчиков и трогательными пассажами из «Венеры и Адониса» Шекспира, мог бы и оплошать. Но боязнь услышать его злобный хохот закалила мое сердце, и я вступил в темный лес мужской зрелости, в котором и сейчас блуждаю и слезы лью. Правда, перемежая их с отдельными всплесками блаженства и философического прозрения. Ну да, когда в Фидлерсборо становилось невтерпеж, я смывался в лес, под крыло Лупоглазого. Это у меня в крови, я же вам говорил, что отец мой вынырнул из болота.

— Да, — сказал Яша. Он тоже смотрел вниз по течению на леса. Заходящее солнце отбрасывало их тень на реку. Но на лодку еще падали его лучи.

— Лес, — сказал Бред. — Лес и проклятые книжки. Ну да, если бы не лес и не книжки да если бы мой старик не был такой сунин сын, я наверняка обосновался бы в Фидлерсборо и знатно обслуживал бензоколонку в ожидании своего смертного часа. — Он обернулся к спутнику. — Видите ли, когда мой старик разорил дока Фидлера, книги, ну да, у них даже комната была, которую называли библиотекой, — мой старик их тоже забрал. И не сказать, чтобы он был книгочием. Забрал, как видно, из жадности. Но вышло так, что я залезал в эту комнату и читал. Все подряд — от Гиббона до «Маленьких женщин».

Он смотрел на лес, но его уже не видел. Он видел отца, сидящего возле тлеющего огня камина знобкой ранней весной в той комнате, которую Фидлеры звали библиотекой. Сидит с открытой книгой на коленях. Но не читает, а старательно выдирает страницу за страницей, свертывает в жгут и бросает в кучу на пол.

Бред мысленно видит сидящего там человека. Видит, как он сам, тринадцатилетний мальчик, входит в дверь, подходит к отцу и, не говоря ни слова, берет книгу с его колен. Видит, как отец, большой мужчина в сапогах, с черными усами и жесткими черными волосами, медленно встает. Видит, как он выхватывает у мальчика книгу, кидает в огонь и, резко повернувшись, рассчитанным движением звучно бьет — не слишком сильно, но достаточно сильно — мальчика по голове. Мальчик, чтобы ослабить удар, падает на колени и выдергивает книгу из огня. Поднявшись, он кладет книгу на стол у себя за спиной и молча смотрит на отца.

Отец подчеркнуто неторопливо протягивает руку к полке. Достает другую книгу. Мальчик хватается за книгу. Отец бьет его по голове. И кидает книгу в огонь. Все как раньше. Как и раньше, оба не произносят ни слова. Потом эта история повторяется вновь.

На четвертый раз удар застает мальчика врасплох, споткнувшись, он стучается о стену, падает на колени, спиной привалившись к стене. Мужчина кидает в огонь следующую книгу. Мальчик пытается встать и подойти к камину. Ему не больно. Он просто оглушен. Мужчина смотрит на него, видит, что мальчик уже больше не в силах подняться.

Наклонившись, он сам сует руку в огонь и выдергивает оттуда книгу. Он разглядывает книгу с большим любопытством, словно подобный предмет возмущает его уже тем, что непонятен. Потом кидает книгу к ногам сидящего на корточках мальчика и, не говоря ни слова, выходит.

Спустя какое-то время в комнату входит девочка. Она плачет. Глядит на сидящего на корточках мальчика и говорит: «Ты сам его заставил». Мальчик молчит. «Ты сам его заставил, — плача, повторяет девочка, — а теперь он ушел. И ты знаешь, куда он пошел».

Да, мальчик знает, куда он пошел. Но тогда он не знал, зачем он туда пошел.

Теперь, сидя в лодке, Бредуэлл Толливер передернулся, как животное, которого донимает слепень.

— Ну да... — произнес он и запнулся.

— Что? — переждав, спросил Яша.

— Отец вынырнул из болота и захватил Фидлерсборо, — сказал Бред. — А когда Фидлерсборо стал ему поперек горла, спасался в болотах. *Nostalgie de... de... чего? Как там, черт возьми, по-французски?*

— *Nostalgie de la boue* ¹, — сказал Яша.

— Оно самое. Раз в четыре или пять месяцев он забирал своего прихвостня-негра — тот состоял при нем всю жизнь, старый Зак был постарше его и, по-моему, единственный его друг; они садились в лодку и уезжали. На два, три, четыре дня. Потом отец возвращался, вроде бы поутихнув. И целую неделю не лягался и не отламывал ножки от чиппендейловской мебели. В ту пору я еще не знал, чем он там себя утихомиривает. Не знал, зачем он ездит: охотиться, рыбачить, проведать родню или побаловаться с болотной девкой. Вроде той беззубой бабы, которую мы только что видели на лодке у Лупоглазого. А потом дознался.

¹ Тоска по грязи (франц.).

Бред замолчал. Он внимательно правил лодкой. Даже не оглядывался на лес, который тянулся вниз по реке у них за спиной.

Переждав, Яша спросил:

— И что это было?

— То, что я сказал.

— Что именно?

— Буквально то самое,— с раздражением отмахнулся Бред.— *Nostalgie de la...* ну, как это вы произносите?

— *De la boue*,— пробормотал Яша.

— А все Лупоглазый. Лупоглазый дознался. И показал мне. Мне тогда было около четырнадцати, мы поехали с ним, и он меня спросил, знаю ли я, что делает мой папаша. Я говорю — нет, а он и говорит: я, мол, уже года два его выслеживаю. Хочешь поглядеть? И скалитя. Не говорит, в чем дело. Вот и привел меня туда.

Бред замолчал.

Потом повернулся к Яше:

— Послушайте, а ведь мы могли бы вставить и его в наш фильм. Моего папашу.

И снова замолчал. Впереди косые лучи, перекинувшись через реку, вонзались в Фидлерсборо. Один из них засверкал в вышине, ударив в прожектор на боковой вышке тюрьмы.

— Вы совсем не обязаны это рассказывать,— наконец произнес Яша. Бред ничем не показал, что его слышит.— Можно сказать, что наука — это умение хорошо рассказать, а искусство — умение умолчать.

— Он лежал в грязи,— сказал Бред.— Я поглядел сквозь кусты и увидел, как он лежит без памяти на берегу ручья. Кувшин, конечно, рядом. Старый Зак держит ивовую ветку и отгоняет мух. Сидит там, словно так и сидел с самого сотворения мира, и отгоняет мух. Знаете, как сидят старые негры. Время растворилось в ни с чем не сообразной вечности, и черт с ним. «Глянь-ка,— шепнул мне Лупоглазый,— глянь-ка на его лицо». «Оно в потеках»,— сказал я. По его лицу тянулись потеки пыли и грязи. «А знаешь, что это за потеки?» — шепнул он мне. «Нет»,— ответил я. «Он плакал»,— сказал Лупоглазый. «Врешь!» — сказал я. «Сам видел. Видел — лежит там и плачет, как маленький». «Врешь, собака! — заорал я и прыгнул сквозь кусты к отцу.— Скажи, что это вранье! — заорал я старому Заку, который вдруг превратился всего-навсего в одноглазого старого негра.— Скажи, что он не плакал!» — кричал я ему. Губы старого Зака задергались, словно он пытался что-то выговорить. Потом я сообразил, что он хочет сказать. Он хотел произнести мое имя, но не мог выдать ни звука. «Скажи, что он не плакал!» — орал я. «Плакал он,— наконец произнес старый Зак.— Он всегда лежит и плачет. Когда доходит», «Вранье»,— сказал я старому Заку и замахнулся на него. «А что он может с собой поделать?» — простонал старый Зак. Это был стон, самый настоящий стон. Кажется, я опустил поднятую руку. «Ничего он не может с собой поделать»,— сказал тогда Зак.— Когда на него находит, он лежит вот так и плачет. А потом засыпает». За спиной послышалось хихиканье. Я резко обернулся и увидел на лице Лупоглазого улыбочку. Надо сказать, что Лупоглазый был старше, сильнее и злее меня, но, видно, в лице моем было что-то такое, что он усомнился, удастся ли ему это сейчас доказать. Улыбка на его лице погасла, как гаснет темной ночью уличный фонарь, когда стрельнешь в него из рогатки, как мы частенько делали в Фидлерсборо. Смешка как не бывало. Я повернулся к Заку. Он продолжал отгонять мух ивовой веткой, но лицо у него было полумертвое. «Мистер Бред,— твердил он.— Мистер Бред...— Наконец он решил: — Не говорите вашему папаше, не говорите вашему папаше, что я вам сказал, если скажете, он меня просто убьет!»

Бред замолчал. Перед тем как причалить, он сказал Яше:

— Я этого никому не рассказывал. Ни единой душе.— Он снизил обороты мотора и стал заводить лодку к пристани.— Даже жене, даже когда она жила в Фидлерсборо и мы с ней лежали вдвоем в том самом доме. Черт возьми, она ведь знала Лупоглазого. Она была своя в доску, моя Летиция; наденет, бывало, старые галифе, захватит бутылку шотландского виски и маленькую шестнадцати-

доймовку и шляется со мной и Лупоглазым по болотам. Эти галифе сказочно обтягивали ее сказочный бимс, и Лупоглазый не мог оторвать от него глаз. Я даже побаявался, что стоит мне повернуться спиной, и он, неровен час, меня подстрелит. Она с Лупоглазым отлично ладила. Но я хочу сказать, что даже ей я о том самом никогда не рассказывал. О своем старике. Вроде бы раз я брожу с ней по болотам, лежу в том доме по ночам в постели и выкладываю ей душу, а когда-нибудь смогу рассказать ей и это. Так нет же, не рассказал.

Мотор был выключен. Они носом подходили к причалу.

— Я даже сестре об этом никогда не рассказывал,— добавил Бред, забрасывая чалку.— Даже ей...

Яша Джонс стоял у парапета, опершись спиной о дверцу «ягуара», и, дожидаясь, пока Бред вернется с сигаретами, поглядывал на Ривер-стрит. Шляпу он держал в руке и чувствовал, как солнце греет ему лысину. В предвечернем свете улица казалась мертвой.

Яша думал, что если поставить в этой самой точке у парапета киноаппарат, отсюда можно будет начинать съемку. Тогда, если найдешь...

Он не додумал мысль до конца.

У него появилось предчувствие, что он сможет наконец выразить себя в Фидлерсборо.

Так он стоял, когда услышал музыку. Он повернулся, поглядел на юг. И увидел едва двигавшийся большой грузовик, а за ним три машины, разукрашенные фестонами из красной и белой жатой бумаги. Из магазинов стал выходить народ. Кузов грузовика представлял собой большую платформу, на которой стоял человек во фраке, узком галстуче и панаме. Лицо у него было огненно-красное. В руке он сжимал микрофон. За пианино сидела толстая крашеная блондинка в кринолине на обручах, примятом стулом. Она нажаривала на пианино, а две молодые женщины, не блондинки и не такие толстые, пели. Они пели «Джини — русая головка». Над всем этим на огромном полотнище в раме, прикрепленной к кабинке и к заднему борту, парило натужно улыбавшееся лицо. Сверху красовалась надпись: ТОМ ЗЕЛТЕН. Внизу одно слово: ГУБЕРНАТОР.

Пение смолкло. Но пианино продолжало прилежно наигрывать другой мотив, и теперь, когда грузовик проезжал мимо Яши, он увидел, что две маленькие девочки в лиловых платьицах фей, с газовыми крылышками на проволоке и в лаковых туфельках лихо отплясывают чечегку под этот новый мотив, хотя им порядком мешает тряска.

Люди, высыпавшие из магазинов, глазели на грузовик и сопровождавшие его автомобили. Они стояли, пока грузовик не проехал три квартала и не свернул в проезд, который вел к подножию тюрьмы. Тогда они вернулись в свои магазины и, как показалось Яше, снова растворились в тени.

И на улице опять было пусто.

Бред Толливер вышел из аптеки, распечатывая пачку сигарет; дверь с сухим треском захлопнулась за ним.

— Политика,— сказал он.— Теперь они поднимутся на гору, исполнят серенаду уголовникам, а потом вернутся на кладбище и споют ее мертвецам. Покойники и уголовники часто решали в Фидлерсборо судьбу выборов.— Бред сел на шоферское место, Яша Джонс влез в машину следом.— Политика — тут вокруг нее страсти кипят. Половина жителей — республиканцы, половина — демократы. Прапрадеды демократов владели низинными землями и кучкой рабов, а прапрадеды республиканцев ютились в болотах или вон на тех отрогах, где не выразишь и кормовых бобов, а уж негров во всяком случае. Парни с низин пошли с генералом Форрестом, а парни с горных отрогов завербовались к Гранту и дрались за свободу — одной из свобод, за которую они дрались, было право республиканцев Теннесси линчевать негров без помех, запретов и препятствий. Я же... — он прервал свою речь, чтобы выбросить окурки, — я же гибрид. Коренной южанин с материнской стороны, по линии Котсхиллов. Дед Блендинга Котсхилла был отважным бригадным генералом. Помните, того Блендинга, что был у нас на днях. Но голову даю на отсечение, что поголовно все Толливеры были Синепузумы. Говорю так потому, что Толливеры не из тех, кто хранит письменные свидетельства. Хватает на сегодня и свидетельств истории.—

Он задумался.— Нет,— сказал он потом,— мой старик, так же как и его дед до него, не стал бы Синепузым. Так же, впрочем, как и конфедератом. Мой папаша был бы таким, как Лупоглазый.

— А он-то кто? — поинтересовался Яша Джонс.

— Бродяга,— пояснил Бред.— Иными словами — изгой. Иными словами — неподвластен словоблудию и не раб идеологии.

Пока Бред снова закуривал, «ягуар» медленно двигался по улице, вернее по шоссе, потому что дома уже редели.

— Иными словами,— сказал он,— он был таким, как Лупоглазый.— И выпустив дым: — Свободным.

«Ягуар» шел на самой малой скорости.

— Ну да,— продолжал он,— и во мне бунтуют бродяжки гены. Я сын свободных людей.

Они ехали так же медленно.

— Свободных,— сказал Бред самому себе, глядя на дорогу.

Он засмотрелся на фигуру, которая двигалась по правой стороне футах в тридцати от них. Это была женщина с бесформенной копной светлых волос, закутанная во что-то бесформенное синего цвета; она несла бумажную хозяйственную сумку в правой руке.

«Ягуар» прополз еще немного и остановился.

— Леонтина! — громко окликнул женщину Бред.— Леонтина, это я, Бред Толливер.

Женщина обернулась.

— Как поживаете? — сказала она.

— Хотите, подвезу? — спросил Бред.— Раз уж вы закупили всю бакалейную лавку мистера Пархема.

— Да это же рядышком,— сказала она.— Правда... Мне, ей-богу, совсем недалеко.

Яша Джонс вышел из машины.

— Я хочу познакомить вас с моим другом,— сказал Бред.— Это Яша Джонс. А это мисс Паргл. Можете звать его Яшей.

Она переложила сумку в левую руку и подала правую. Протянула, как заметил Яша Джонс, прямо к нему. Он взял ее руку, не без стыда себя спрашивая, нашла ли бы она его руку сама.

Она смотрела ему в лицо таким взглядом, который, казалось, шел из самых глубин ее покорного, ясного существа. Он произнес подходящие слова, сам тем временем разглядывая ее черты, и снова почувствовал себя виноватым, словно подсматривал исподтишка за чьей-то беззащитной наготой. Какое у нее красивое лицо, подумал он, бледное, если не считать слегка лихорадочных пятен на скулах, с небольшим круглым подбородком, разделенным ямочкой, с пухлой бледно-розовой нижней губой и довольно мелкими, но очень ровными и очень белыми зубами. Краска на щеках, должно быть, естественная. Не только слепая, но и зрячая женщина не могла бы добиться такого результата без помощи опытного гримера. И губы тоже не накрашены.

Он нагнулся, чтобы взять у нее хозяйственную сумку. Дотронулся до ее левой руки, чтобы легонько подсадить ее в машину. Она ответила ему улыбкой, улыбкой, полной простодушия. Он почему-то обрадовался, что она ничего не сказала, даже «спасибо».

Она сидела посреди большого мягкого сиденья выпрямившись, поставив ступни рядышком, сдвинув колени и сложив на них руки. Яша уселся сзади, сумку он поставил у себя между ногами.

— Ох, какое мягкое это ваше сиденье,— сказала она.— Говорят, у вас «ягуар». Я еще никогда не ездила в «ягуаре».

— Ну вот сейчас и поедете,— сказал Бред.

— Ой! — вздохнула она.

— Откиньтесь, так будет еще приятнее,— засмеялся он.

— Ой! — снова выдохнула она и несмело откинулась на спинку. Чуть погодя она прислонилась головой к подушке и подняла кверху лицо: ее открытые глаза словно вглядывались в небесную глубь, где загорались первые краски вечера.

Яша подумал: Она не может видеть цвета неба.

Он заметил, как его спутник искоса кинул на нее взгляд, и вдруг рассердился. Потом не без юмора сказал себе: я ведь точно так же шпионил за ней.

Голова девушки мягко покачивалась на спинке сиденья в такт медленному ходу машины. Руки спокойно лежали на коленях. На омытом светом лице едва теплилась легчайшая улыбка, улыбка человека, когда он один или видит хороший сон. Она закрыла глаза. На миг Яше почудилось, будто она закрыла глаза от света. Но тут же он вспомнил, что ей нечего бояться света.

— Леонтина, вы не возражаете, если мы на минутку зайдем к вам? — спросил Бред. — Я хочу представить моего друга шерифу. Он жаждет с ним познакомиться.

— Конечно, — сказала она тихо, мечтательно. — Папа будет рад видеть вашего друга.

Она не подняла головы от баюкавшей ее подушки, а тело ее словно плыло, плыло вместе с движением машины.

Машина остановилась.

Это был квадратный белый дощатый домик в полтора этажа, поставленный на довольно высокие тонкие кирпичные столбы, между которыми кое-где еще сохранились остатки обшивки. На террасе под пряничной резьбой, украшавшей карниз, сверкало металлическое кресло на колесиках. В кресле сидел шериф.

Яша кинул быстрый взгляд от ворот на город. Да, отсюда был виден верх скобяной лавки Лортона. На миг ему почудилось, что он в засаде, кругом тени, грохот сорокачетырехдюймовки, запах пороха.

Все время, пока Бред сидел на террасе с шерифом, Яшей и Леонтиной, ему хотелось посмотреть дом изнутри. Он поглядел на Леонтину и понял: он во что бы то ни стало должен знать, что там, наверху. Он закрыл глаза и мысленно увидел, как она ночью идет по жаркому, душному, тесному, как сосновый ящик, холлу. Он открыл глаза — и весь мир головокружительно поплыл от яркого света. Он сказал ей, что ему надо оставить записку мистеру Дигби — он забыл сегодня на плотине сказать ему важную вещь, нельзя ли зайти к нему в комнату? Леонтина повела его в дом.

Внутри все было так, как он себе представлял: натертый сосновый пол, коврики с цветочным узором, портьеры из деревянных бус, литография полуодетой женщины, вцепившейся в большое каменное распятие посреди темного, бурного моря, кухонный запах. Она повела его по узкой лестнице в комнату, которую снимал Дигби. Бред наклонился над его столом, чувствуя, что она стоит совсем рядом, хотя он ее и не видит, и раздумывал, что бы написать Дигби, раз он уже сюда проник, в этот домик, пахнущий мастикой и сосновой смолой. Он слышал чирikanье воробьев в канаве. Он слышал дыхание женщины рядом. Что, черт возьми, она сейчас думает? Ему хотелось, чтобы она не стояла так близко — прямо жуть пробирает. Он сел и быстро набросал записку. Пригласил Дигби зайти завтра вечером к ним выпить.

Надо же было что-то написать.

А потом, в «ягуаре», по дороге домой, оба они с Яшей молчали; Бред думал о том, как его потянуло подняться наверх, постоять в маленькой, как сосновый деревянный ящик, комнате и послушать в тишине дыхание Леонтины Партл. Он резко обернулся к Яше.

— Ах черт! — воскликнул он. — Придумал! Ах ты черт! Вот здорово!

— Что?

— Послушайте, — сказал Бред. — Слепая девушка в самом соку. Молодой инженер снимает у них комнату. Сочувствие. Хочет понять, что значит быть слепой. Свет — тьма, а тьма — свет. Жить в бархатистой тьме, которая для тебя — свет, быть от чего-то свободным и во что-то погружаться до самого дна. Господи! — Он снова обернулся к Яше, включив холостой ход. — Послушайте, вы заметили, что она делает? Будто бы от всего отключается и уходит в себя.

— Да.

— Ладно. Можно разработать всю эту музыку. Молодой инженер, как и многие, думает, что слепые чувствуют сильнее; интересно, скажется ли это на

его отношениях со слепой женщиной? Молодой инженер из сочувствия заставляет ее рассказывать, что ощущает слепой. Упражняется, закрывая глаза. Испытывает от этого странное удовольствие. Но послушайте...— Он на минуту осекся.— Тут вот такая штука... У него вполне пристойная внешность, у этого парня. Не считая того, что у него...

Он замолчал.

Взгляд его замер на Яше Джонсе. Яша снял шляпу. Левая сторона его головы была обращена к Бреду, который сразу увидел шрам поперек черепа. Сердце у него упало, и он подумал: Господи, так вот откуда я это взял! Господи, он ведь поймет, откуда я это взял!

— Да? — вежливо спросил Яша. — Что у него?

— Родимое пятно...— сказал Бред. И подумав: Достаточно ли я быстро спохватился? — продолжал: — ...страшная штука, багровое пятно на половину лица. Под самый глаз, никакая борода не закроет, ну да вы же видели, да, страшное дело...

Чего бы он не дал, чтобы не надо было вывертываться. Но чем больше замазываешь, тем скорее выкарабкаешься, тогда уж наверняка выкарабкаешься!

— ...страшное дело. И, понимаете, он всю жизнь считал себя уродом. Считал, что никто не может его полюбить. У него никого толком и не было. В смысле настоящего романа, а не случайной какой-нибудь девки. И вот...

Он помолчал.

— Нет, — сказал он. — Лучше по-другому. Он женат. После случайных девок — на холодной бой-бабе старше его годами, которая польстилась на него за неимением лучшего, а он должен с этим мириться, и взял он ее тоже за неимением лучшего. У него растет противный ребяенок. И вот его постепенно одолевает мысль, что в том мире, где свет есть тьма, а тьма есть свет, ему будет хорошо. Словно он вечно лежит в постели, свет выключен и вокруг полная тьма. Тогда можно дать себе волю, ведь она тебя не видит. И вот...

Он снова замолчал. Не удержался, чтобы не бросить взгляд на Яшино лицо. Оно ему ничего не сказала. Не удержался, чтобы не бросить взгляд на шрам. Шрам ничего ему не сказал.

— И вот, — продолжал он, — пусть бой-баба придет к нашему Меченому. Он их где-то поселил вместе с ее отродьем. Скажем, на стоянке для автоприцепов. Но они приезжают. Время подходит к началу затопления. Бой-баба узнает о слепой девушке. И вот...

Он замолчал. Вдруг почувствовал растерянность и легкую тошноту.

— Конечно, я еще этого не продумал, — сказал он. — Только сейчас пришло в голову.

— Конечно, — сказал Яша Джонс.

— Послушайте, — сказал Бред, — вы правда заметили, как она отключается? Отдается каждому биению мотора? Отключается и плывет вместе с вами, словно вас с ней несет по реке и вы, держась друг за друга, плывете по течению? Яша Джонс засмеялся.

— Ну, так поэтично я себе этого не представлял.

Они подъезжали к дому Фидлеров. Яша нажал ручку, приоткрыл дверцу, но не распахнул ее, вежливо дожидаясь спутника, который все еще держал руль и, кажется, собирался что-то сказать.

— Да-а, — сказал Бред, — волей-неволей задумаешься.

— О чем?

— О разнице. Задумаешься о том, что ты не такой. Не слепой, я хочу сказать. В каком-то отношении ты не существуешь. Но существуешь гораздо полнее в другом отношении. Задумаешься, будет ли все по-другому, если ты захочешь сделать это с... Черт, тут помимо воли... Будет ли это, словно ты провалился в ночь, в черный бархат и, господи спаси, ведь на небе ни единой звезды!

Он вдруг вылез из машины. Яша последовал за ним. Бред подошел к небольшой, выложенной кирпичом площадке у ворот, где его спутник в задумчивости остановился.

— В чем дело? — спросил Бред.

— Знаете, — сказал Яша, — надо нащупать дорогу. К фильму, я хочу ска-

зять. Но вот что приходит на ум. Мы ведь не хотим его делать сюжетным, правда? Мы хотим, чтобы это был скорее эмоциональный поток, правда?

Бред Толливер молча клял себя за то, что вообще завел речь об этом проклятом фильме.

Яша смеялся с самым дружелюбным видом, но в смехе его все же слышался укор.

— Ну да,— сказал он,— сама жизнь, она ведь сюжетна. Жизнь так логична, по поверхности, конечно, и поэтому сюжетна. Даже несчастные случаи, казалось бы, происходят для драматического эффекта. Но ведь нам с вами не надо насиловать жизнь? Стилизовать ее?

— Наверное, нет...

— Надо создать ощущение таинственной подспудности жизни,— сказал Яша Джонс,— а не показывать наглядные сюжетные связи.— Он постоял неподвижно, словно был один, а потом добавил: — Если ты поглощен внешним подвижным многообразием мира, значит, ты не можешь увидеть, по-настоящему увидеть или полюбить падение отдельного листа. А следовательно, не можешь любить жизнь, ее подспудное течение. Да...— Он помолчал, а потом заговорил снова: — Это смертный грех для людей нашей профессии, да, пожалуй, и любой профессии — растление восприятия.

И вдруг, глядя на Бреда, просветлел ясной, простодушной улыбкой.

— Но с чего это я тут ною, дружище? Ведь это же вы написали ту прекрасную книгу.

Бред пошел к себе в комнату. У него еще оставалось время до вечерней выпивки. Он лег на кровать и стал смотреть на серую, потрескавшуюся штукатурку потолка.

Он думал о своем отце, лежавшем на глинистой земле.

Он раздумывал над тем, не вынужден ли был он сам вернуться в Фидлерсборо, как возвращался в болота его отец для того, чтобы лежать в грязи и плакать.

КНИГА ВТОРАЯ

Глава десятая

Другая половина полуторного дивана-кровати еще хранила ее тепло. Но была пуста. Он уткнулся лицом в другую подушку, вдыхая ее запах и те дорогие духи, которые обостряли и подчеркивали этот ее запах. Он лежал с закрытыми глазами, вдыхал ее запах, мысленно оценивая силу своего вожделения.

Он вспоминал предыдущий вечер — они засиделись допоздна, было слишком много виски, слишком много разговоров, слишком много политики, слишком много голосов, слишком много уверенности в своей правоте. Потом молодая женщина, красивая, но с нездоровым цветом лица, блестящими черными волосами — а может, они были пригнмажены? — стянутыми узлом, в котором торчал гребень, в почти настоящем испанском народном костюме, читала с чикагским акцентом переведенные с испанского стихи. Когда декламация кончилась, она обошла присутствующих, продавая желтые книжонки, где были напечатаны эти стихи. Бред дал ей доллар, но брошюрки не взял.

— Не хотите? — спросила она.

— Нет. Я же их слышал.

— Я тоже возьму одну,— чересчур поспешно вмешалась Летиция и протянула доллар.

Дома она сказала ему, что он был груб.

— Может быть,— произнес он,— но я нагрубил всего на семьдесят пять центов.— Он взял книжонку, которую она положила на стол рядом с пишущей машинкой.— Погляди, на обложке стоит двадцать пять центов. Я дал ей доллар. Моя грубость в обмен на сдачу.

— Ты пьян,— сказала она.

Не обращая на нее внимания, он прочистил горло, как заправский оратор, раскрыл книжку и объявил:

— Наш заголовок — «Призрак бродит по Европе».

Он прочел:

Где вы?
Где?
Нас догоняют пули.
Ах!
Крестьяне шагают по нашей крови.
Что происходит?

— Ты читаешь самое неудачное место, — перебила она. — К тому же Рафаэль Альберти — великий поэт.

— Тогда у него был отнюдь не великий переводчик. — Он посмотрел на заднюю сторону обложки. — Оказывается, группа критиков может продать нам марксистскую подноготную Шекспира за тридцать пять центов.

Она промолчала. Она сидела на стуле в зеленом халате и расчесывала волосы, считая при этом, сколько раз провела по ним щеткой. Он стоял рядом с желтой книжечкой в руке. Наконец она положила щетку на стол возле пишущей машинки и треснутой тарелки, полной огурков, поднялась и встала прямо против него.

— Я не слышала ни слова из того, что ты говорил.

А потом заулыбалась невинно.

Теперь, когда утренний свет падал на рабочий стол, а рука его былакинута на пустую половину кровати, он вспоминал долгий вечер, ее невинную улыбку и как страсть потом была похожа на яростную вспышку в черноте. Он лежал за обвислой занавеской из мешковины, которая отгораживала альков от остальной комнаты, и молил только об одном — чтобы она поскорее вернулась из ванной.

Но она не вернулась.

Он сел, увидел, что шторы на окне подняты, увидел чьи-то ноги, проходившие на уровне глаз по Макдугал-стрит, увидел стол, на котором стояла его пишущая машинка с запроленным в нее листом бумаги, увидел полупустую бутылку молока, увидел треснутую тарелку с огурками у изголовья кровати, увидел ее элегантный зеленый шелковый халат на стуле и золотые шлепанцы на полу.

Он понял, что она ушла.

На столе лежала наспех нацарапанная записка:

Милый дуралей, пошла работать — вдруг нашел стих, — увидимся в 4.30. Ночь была чудная. И сегодня будет чудная. Я тебя люблю. Л.

PS. Напиши мне что-нибудь замечательное.

Он посмотрел на машинку. Прочел то, что было напечатано, то, что он вчера написал. Допил молоко и съел пончик. Принес из передней утренний выпуск «Таймс». Прочел, что старорежимное правительство сбежало в Барселону. Перечитал ее записку, потом то, что было напечатано на машинке. Вынул лист. И даже не потрудился его скомкать. Дал ему медленно слететь на пол.

Ага, на нее напал стих. Она вылезла из постели, отправилась к себе в мастерскую и кладет краски на холст. Он поглядел на лист бумаги, вынутый из машинки и винутый на пол, закрыл глаза и увидел, как она в эту самую минуту стоит посреди своей чердачной мастерской, как от напряжения треугольная складочка пересекает ее по-детски чистый лоб и как она кладет краски на холст своей последней картины для выставки в галерее «Прогноз».

Он уставился на лежащий под ногами лист и пришел в отчаяние. Вспомнил, что там было написано, и вслух произнес: — Дерьмо.

Потом он подумал: Если это все, на что я способен, пора с этим кончать.

От этой мысли его охватил ужас, он вдруг подумал, что если он не писатель, тогда он ничто, его нет, он не существует. Он стоял, охваченный ужасом небытия.

Потом ужас сменился яростью. Он окинул взглядом комнату. Он почувствовал себя в ней как в западне, и лист лежал на полу как обвинительный акт.

Он вспомнил, как дней пять назад он в сумерки возвратился домой и в ответ на ее обычный сочувственный вопрос ответил, что у него ничего не выходит, что он запутался. И как она сказала: «Бредуэлл, дорогой мой, тебе надо переменить обстановку. Послушай меня, давай махнем в Мексику». А он ответил, что ему это не по средствам. И когда она, улыбнувшись, собралась ему что-то сказать, он ей не дал: «Знаю, что у тебя на уме, и заранее говорю «нет». Видишь ли, голубушка, я не буду с тобой спать там, где не я плачу за квартиру. И за билет, чтобы туда доехать».

Господи, до чего же ему хотелось, чтобы она была здесь. Если бы она так чертовски рано не ушла рисовать свою картину, они могли бы сбросить пары. И тогда бы он кое о чем забыл.

По крайней мере пока они этим занимаются.

Он оделся, вышел, угрюмо постоял минуту, моргая от солнца. Была уже осень. Он зашагал к Пятой авеню. Потом направился дальше, в город. Разглядывал витрины, глазел на выставленные товары. Вошел в книжный магазин, купил номер «Нейшн», украдкой поискал, не валяется ли где «Вот что я вам скажу», с трудом нашел экземпляр, настроение от этого немножко улучшилось, но почти сразу же стало портиться, и он пошел слоняться по улицам дальше, пока не добрал до Центрального парка.

Гуляя по парку, освещенному ярким осенним полуденным солнцем, он вдруг понял, что ему суждено сделать. Он вернулся на Пятую авеню, встал напротив высокого серого каменного здания и поглядел вверх. На него равнодушно глазел швейцар в синей ливрее с красными галунами.

Он подумал: Приятель, я кое-что знаю насчет твоего старого дома, чего не знаешь ты.

Он стоял, вспоминая, как однажды днем в июне они с Летицией Пойндкестер прошли мимо этого самого швейцара, вошли в лифт и беззвучно вознеслись на верхний этаж. Как он проследовал за ней по анфиладе комнат, погруженных в богатый полумрак, где что-то тускло поблескивало. Как потом она повела его вверх по лестнице в небольшой зимний сад. И как молча оставила его там и закрыла за собой дверь. Как он стоял, курил сигарету, глядел вдаль поверх зеленых крон парка и городских башен. Вспомнил, как, услышав легкий щелчок замка, обернулся и увидел, что она запирает дверь на задвижку.

Она спросила:

— Который час?

Он ответил:

— Двадцать минут пятого.

Она сказала:

— Мать... Говорят, будто матери не будет дома до пяти.

Он увидел, как она медленно отвела от него взгляд, а потом остановила его на стуле позади ряда филодендронов.

И теперь, в середине октября, зная то, что он знал, Бред стоял на тротуаре и благодаря этому знанию мог нахально смотреть на роскошно разодетого швейцара, который отрубил бы себе руку, чтобы получить то, что ему, Бредуэллу Толливеру, досталось задарма. Он знал то, что знал. Но не знал, почему ни он, ни Летиция Пойндкестер никогда не упоминали об этом происшествии.

Ночью он дождался, пока она, положив ему голову на правое плечо, не стала ровно дышать ему в шею, что предвещало сон. Глядя в темноту алькова за занавеской из мешковины, он окликнул ее:

— Летиция!

Она что-то ласково пробормотала и, продолжая дремать, поудобнее умыслась на его плече.

— Я еду в Испанию, — сказал он.

Тело отозвалось не сразу. Оно лежало расслабленное, мягкое, дыхание было легким, ровным, как у ребенка; он вдруг почувствовал, как тепло, как мягко, с каким воодушевлением эта плоть в своей потаенной темноте ласкает кости, кости, которые поддерживают плоть и, в сущности, делают тем, что она есть:

Летицией Пойндекстер. И когда он это почувствовал, его охватила нежность почти до слез.

Потом тело напряглось, вскрикнуло, коротко вскрикнуло: «Ох, ох!» — словно горлом что-то выдохнуло, и приподнялось, от чего заскрипели пружины старого дивана. Движение было грузным, неуклюжим, оно, как и гортанный выдох, свидетельствовало о глубочайшей искренности, искренности животного, которому больно.

Голос, похожий на стенание, повторял в темноте:

— Но ты мне ничего не сказал, ты мне никогда не говорил ни слова.

Он не мог ей признаться, что прежде говорить было не о чем. Он не мог рассказать, как в два часа дня, стоял у дверей радиомагазина, услышал передачу о том, что пала Аррионда в Астурии и республиканцы перегруппировались на отрогах гор в направлении Инфьесто; а больше ничего и не было. Он не мог рассказать, что в ту минуту, когда он представил себе, как люди угрюмо отступают, перестраивая ряды, укрываясь в горах, чтобы встретить очередную атаку, его вдруг пронзило ощущение всей красоты и безмерности жизни, той красоты и безмерности, которые становятся твоими, когда ты вдруг прикоснешься к действительности и отдашься ей. Он не мог рассказать, как стоял на Пятой авеню, весь дрожа, словно от страсти. Он не мог ей этого рассказать, потому что сам не знал, что его так потрясло.

Он не мог ей даже рассказать, какой исхоженной была шербатая мраморная лестница, по которой он поднялся на третий этаж ветхого административного здания; как она была заплевана людьми, о которых он ничего не знал; в какой уныло-прозаической конторской дыре, похожей на притон, на одной из Западных Тридцатых улиц, с исцарапанным столом и покосившейся зеленой железной картотекой, где все провоняло неудачей, его встретил недружелюбный от усталости и зубной боли пожилой человек с черной бородой, в черном свитере; как напомнила ему саму Летицию Пойндекстер высокая девушка за пишущей машинкой в коричневом твидовом костюме, просиявшая навстречу ему готовой светской улыбкой, с красивыми ногами в дорогих чулках, чуточку слишком длинными ногами, плотно сдвинутыми и торчащими вбок из-под столика; как он не без высокомерия, на которое теперь, как ему казалось, имел право, подумал о ней: «Богатенькая энтузиастка».

Он не мог рассказать Летиции Пойндекстер, как это произошло, потому что в глубине души и сам этого не знал. Рассказывать об этом было бы так же трудно, как рассказывать сон. Ты знаешь, что лжешь. Ты знаешь, что просто выдумываешь какой-то другой сон.

— Ты же мне ничего не говорил! — снова вскрикнула в темноте Летиция Пойндекстер.

— Черт возьми, — сказал он грубо, — всего же не расскажешь... — Что было правдой — ведь знать, а потому и рассказать, что с тобой происходит, немислимо, к тому же будет ложью, если он хотя бы намекнет, что, прежде чем принять это решение, в нем шла глубокая внутренняя борьба.

— Но ты же мне ничего не сказал! — повторила она.

И заплакала. Несмотря на темноту, он знал, что никогда еще не видел, чтобы так плакали. Он чувствовал, как слезы накипают у нее с неиссякаемой легкостью, словно кровь течет из невидимой раны, и что та, кто выплакивает эти слезы, испытывает непонятную радость, потому что открыла для себя новые глубины жизни.

Он в темноте нашел ее руку и крепко сжал.

— Черт! — сказал он. — Мне же не хотелось об этом говорить, пока я не принял решение. Неужели ты не понимаешь?

Она как-то разом рухнула рядом с ним, голова ее лежала чуть выше его головы. Она ощупью пыталась обнять его, положить его голову себе на грудь, обхватить ее, как ребенка, шепча сквозь слезы «детка», говоря, что она им гордится, что он прав, а она просто дура, называя его деткой, моей деткой.

Он лежал и чувствовал себя холодным, мужественным, суровым. Он чувствовал, что одолел судьбу.

Когда он уехал, она стала жить его письмами. Когда писем не было, она жи-

ла чтением газет. Она все меньше и меньше занималась живописью. Отменила свою выставку в «Прогнозе». Даже разорвала письмо, где писала об этой отмене: если она об этом напишет, что-то будет осквернено. Она отдавала много времени работе на республиканскую Испанию. Половину квартальных денег, которые получала из оставленного ей под опекой наследства, она анонимно вносила на ее нужды.

Она сознательно стала меньше заботиться об одежде. Редко ходила на какие-нибудь сборища, кроме тех, что имели отношение к Испании или к коммунистической партии. Если — что нередко бывало на них — за ней принимались ухаживать, она мягко отклоняла эти поползновения, объясняя, что ее жених в Испании.

Тайком от Бреда она продолжала снимать его полуподвальную комнату на Макдугал-стрит. Днем или ночью, когда на нее вдруг находил такой стих, она уходила туда из дома. Уходила туда и затевала уборку, даже если убирать было нечего. Уходила туда, чтобы читать его письма даже тогда, когда они были уже сто раз читаны. Уходила туда, чтобы полежать на полуторной кровати, глядя в потолок. Однажды она пошла туда под вечер, взяв чемоданчик, и легла спать как положено, даже в ночной рубашке. Но это было чересчур тяжело. Часа в три утра она приняла три таблетки снотворного — она не принимала их уже больше полугода, хотя и носила в сумочке для порядка.

Проснувшись на следующий день, она вдруг почувствовала, что предала Бреда и теперь обречена на бессмысленное существование, которое у нее ассоциировалось с красными таблетками.

Проснувшись в пустой комнате, под укоряющий дневной шум улицы, она трезво призналась себе, почему носит с собой эти таблетки: на случай, если бы жизнь стала уж очень тягостной. Раньше она себе в этом не признавалась.

Она тут же встала, босиком пошла в ванную, высыпала таблетки в унитаз и спустила воду.

Как и перед отъездом Бреда, когда, лежа рядом с ним в темноте, она испытывала потребность мысленно пересмотреть свою жизнь, в ней снова возникло это желание. Нет, это даже не было потребностью в обычном смысле слова. Тут скорее было веление судьбы, нечто вроде того, как если бы тебя на улице перехватил автобус, как если бы что-то громоздкое навалилось на тебя, захватило врасплох, раздавило.

И нельзя было предсказать, когда это желание на нее нападет. Она, бывало, подметает пол, наводит для Бреда порядок — и вдруг рука застывает на щетке и на нее безжалостно накидывается ее жизнь. Поднимет глаза от его письма, которое перечитывает, и вот вся жизнь ее перед ней. Ляжет на кровать, а она тут как тут. В памяти возникнет какое-то событие из прошлого — резко, рвано, бесцветно, прорезанное и испещренное серебряными бликами, беззвучное, как старая кинолента, прокрученная без музыки, без той музыки, которая была плотью чувства.

И она подумает: Вот она, моя жизнь.

Ей казалось, что это повторение жизни сызнава — наложенная на нее эпимья. Оставшись одна, она должна пережить все свое прошлое снова: прикосновение колена под столом на давнишнем званом обеде; темноту под спасательной лодкой на лайнере в беззвездную ночь; щекочущее прикосновение пальца к ее ладони; танцевальную музыку далеко внизу на террасе отеля; дерзкий, воспаленный взгляд поверх бокала с коктейлем модного немецкого художника, который понимает, чего ты стоишь, а ты, с внезапным стыдом тоже это понимаешь; прерывистое дыхание при первом прикосновении чужого человека, который вдруг окажется не таким, как все, и нечаянно тебя обрадует; неровные английские зубы английского археолога из Лидса, Манчестера или еще какого-то провинциального университета, который ведет ее в запасник неаполитанского музея и там, уловив момент, когда она что-то разглядывает, хватает ее за шею, царапая ногтями; чудовищную безвкусицу Телфорда Лотта, который повесил репродукцию «Женщины в белом» Пикассо, написанную жирными мазками, у себя в спальне там, где она у тебя перед глазами, и еще говорил, что это шедевр художника; смех актера-недераста, который причинял ей такую боль и еще при этом смеялся,

а она поэтому ходила к нему; странную вспышку удовольствия, когда она нашла седой волос на груди мужчины и выдрала его: чья же это была грудь — Телфорда Лотта? ну да, его; газетную вырезку с подзаголовком «Финансист выбрасывается из окна», которую ей достали за плату и она хранит ее в шкатулке с драгоценностями.

Комната на Макдугал-стрит — вот то место, где она заново проигрывала свое прошлое. Повторение прожитого происходило только тогда, когда она бывала здесь. Войдя в темный вестибюль, она останавливалась перед дверью, зажав в руке ключ, не решаясь войти. Но всегда входила. И тут все начиналось: вертелась старая, с серебристыми краями киноплёнка, непереносимое без музыки зрелище, когда слышно лишь безжалостное жужжание проекционного аппарата у тебя в мозгу.

Это можно было вытерпеть, только внушив себе, что как-нибудь, когда-нибудь в конце концов тебя осенит благодать. А это, думала она, цена благодати, вспоминая, как доктор Саттон однажды ей сказал: «Вы, дорогая мисс Пойндекстер, пуританка. Будь я мистиком, я бы сказал, что у вас не зря такая наследственность. Вы идеалистка и пуританка. К сожалению, ваш пуританский идеализм не уживается с вашим сексуальным соперничеством с матерью. Если бы вы только поняли, что ее надо жалеть, что сама она...»

Но лежа на кровати в комнате на Макдугал-стрит, она стонала от боли и утраты, ненависти доктора Саттона, который никогда не слышал о Бредуэлле Толливере; а Летиция Пойндекстер была для него всего лишь фамилией на букву «П» в картотеке, потому что из дорогой полутьмы своего кабинета на Парк-авеню он и руки не протянет, чтобы вернуть ей Бредуэлла Толливера вместо подушки, которую она сжимает, обливая слезами.

Потом письма перестали приходить. Пала Лерида, Испания была разрезана надвое — и Летиция была уверена, что он убит. Когда же пришло письмо, адресованное мадемуазель Пойндекстер, где адрес был написан чужой и явно женской рукой, она долго не решалась его вскрыть. Держа его в помертвелой руке, с трудом передвигая деревянными ногами, она пошла в комнату на Макдугал-стрит. Но и придя туда, долго не решалась его распечатать.

Его не ранили. У него был тиф, и его вывезли во Францию. Он чудом выжил, но поправляться будет долго. Медицинская сестра, которая написала это письмо, выражала ей свое сочувствие и посылала наилучшие пожелания.

В ту же ночь Летиция Пойндекстер вылетела на самолете в Европу.

В тот день, перед тем как она ушла из его комнаты, с Летицией Пойндекстер произошел странный казус. Она прошла в ванную, чтобы вымыть глаза после того, как от облегчения расплакалась. Подняв от раковины лицо, она привычным движением откинула волосы правой рукой и при этом заметила, как красиво оттеняет изумрудное кольцо их рыжину. Она поймала себя на том, что это зрелище доставляет ей удовольствие.

Глядя на себя в зеркало, на руку, замершую в волосах, и на кольцо, которое так прекрасно их оттеняло, она решила. Медленно опустив руку, она сняла кольцо и положила его в карман фланелевой юбки. А потом подняла голову, и ей сразу бросилось в глаза старое бритвенное лезвие на стеклянной полочке. Она взяла его и, продолжая разглядывать себя в зеркале, левой рукой схватила прядь рыжих волос с правой стороны, натянула до отказа так, что голова чуть-чуть пригнулась к плечу, а в правой руке наготове держала лезвие, собираясь резануть им по волосам. Но лезвие не отхватило волос, которые ей так нравились.

Оно не отрезало волос, потому что в тот миг, когда она к этому готовилась, Летиция увидела как наяву, что режет не волосы, которые так безжалостно натянула, готовясь ими пожертвовать, а щеку. Она увидела, как лезвие вонзилось в правую щеку, и не раз, а дважды, рассекало гладкую, чуть блестящую поверхность, уродуя ее.

Она задрожала как от озноба, тихонько положила лезвие на полочку и ушла.

В ту ночь она вспомнила в самолете этот эпизод. Ее снова охватило странное чувство страха и болезненного возбуждения. Она и не пыталась понять, что с ней

происходит. И говорила себе, что все это потому, что она так его любит. Все это было молитвой о том, как она его любит.

Глядя в окно самолета на лунный свет, заливающий океан и облака, она ни с того ни с сего подумала, что ей и правда не мешает помолиться. Закрыв глаза, она молча зашевелила губами. Но все, что ей удалось припомнить, были слова псалма: «Спокойно ложусь я и сплю...»². Она их повторила несколько раз, но дальше так и не могла вспомнить.

Повинуясь своему побуждению, она поручила продать изумруд, а полученные деньги передать в Комитет.

Глава одиннадцатая

Вернувшись в Нью-Йорк, Бредуэлл Толливер скоро настолько окреп, что смог выступить на митинге. Его бледность и запинаясь речь создавали впечатление глубочайшей убежденности в том, что он говорит. Репортеры брали у него интервью. Журнал на дорогой глянцевой бумаге попросил статью о том, что он пережил, однако, хотя у него и не было денег, статью писать он отказался. Сам не зная почему.

Он просыпался по ночам и думал о том, что пережил. Он сражался. Он видел смерть. Он испытывал страх, но вел себя не хуже других. Он верил в правоту дела, за которое борется. А теперь не понимал, почему просыпается по ночам и чувствует, что все, через что он прошел, не привело ни к чему.

То, что он делал, уверял он себя, было в высшей степени стоящим и достойным. Откуда же взялась эта духовная немочь? И, лежа в темноте, он сам себе на это ответил.

Он сказал себе, что почему-то смотрит на все, что происходит, как бы со стороны.

Он всячески пытался проанализировать это ощущение. Он знал, что за ним что-то есть, но не мог выразить его яснее. Он сознавал, что, вернись он в Испанию, все станет на свои места. Если бы он мог все пережить снова, он нашел бы в этом внутренний смысл. Он обивал пороги врачей, убеждая, что здоров, что ему нужно вернуться в Испанию.

— У вас шумы в сердце, — повторил в десятый раз доктор. — Это пройдет, но пока вам нечего изображать героя.

— Дело не в этом, — возражал Бред. — Дело в том...

Но он сам не знал в чем.

— Ну? — спрашивал доктор.

— А, черт с ним!.. — отмахнулся Бред.

Больше он к врачу не ходил. Но ему надо было что-то себе объяснить — и он нашел объяснение. Во всем виноват тиф. Кто же не знает, что после тифа наступает упадок?

Так он себе сказал. А Телфорд Лотт говорил ему, что, как известно, после сильного потрясения нужно время, чтобы его переварить и осмыслить. Телфорд Лотт утверждал, что для писателя есть только один способ что-то переварить и осмыслить — это писать. Он сказал, что Бреду нужно написать роман об Испании. И что ему будет выдан аванс в две тысячи долларов.

За шесть месяцев он написал восемьдесят три страницы. Вернее, оставил из всего им написанного только восемьдесят три страницы. Он все чаще и чаще просыпался по ночам. Затевал с Летицией мелкие ссоры. Говорил, что она должна худеть, зная, что под этим кроется какой-то задний смысл, которого сам не понимал. А как-то ночью он проснулся, увидел, что она тихо плачет, и очень обозлился.

В другой раз, на вечеринке, он устроил скандал, заявив, что если кто-нибудь из присутствующих, кто и в глаза не видел, на что похож человек с оторванной головой, еще раз обмолвится об Испании, как это сделал вон тот кровожадный сукин сын, его, Бреда, просто вырвет.

Его почему-то глубоко потрясла собственная ярость. Он ушел с вечеринки. В постели Летиция положила его голову себе на грудь и гладила по волосам. Он был совершенно прав, шептала она.

² Псалтирь 4, 9.

На другой день, когда Телфорд Лотт днем пришел на работу в философическом настроении от выпитого мартини и мечтал спокойно отдохнуть полчаса в своем большом сумрачном кабинете, не зажигая света, он увидел, что посреди комнаты в полумраке маячит фигура поджидавшего его человека.

Телфорд Лотт уже переступил порог, и теперь ему ничего не оставалось, как щелкнуть выключателем; комнату залил верхний свет, яркий свет, который он сам никогда не зажигал, он осветил раскрасневшегося молодого человека в брюках защитного цвета, парусиновых туфлях и старом шевинотомовом пиджаке. Съездившись под внезапным снопом света, фигура замерла и сразу утратила угрожающий вид. Телфорд Лотт заметил воспаленные глаза и безжалостно обкусанные ногти на укоризненно протянутой к нему руке.

— Проклятая книга! — выпалил при его появлении Бред.

И прежде чем Телфорд Лотт успел привести в порядок свои мысли, молодой человек сделал шаг вперед, продолжая тыкать в него пальцем.

— Проклятая книга, — повторил он, — ни слова правды. Одно сплошное вранье в этой проклятой книге, которую вы уговорили меня написать. Слуга почкорный!

Телфорд Лотт уже много лет был издателем, и притом весьма преуспевающим. Ему не пришлось раздумывать, какой взять тон. Он принял соответствующую позу так же машинально, как боксер, выходящий из угла с ударом гонга. Лицо его, красивое, хоть и грубоватое, выразило печальное отеческое долготерпение.

— Бред! — произнес он, и его бархатный голос замер.

Бред злобно на него покосился.

— Бред, — повторил он, — нельзя питать большего доверия, чем я питаю к вам. Надо, чтобы вы это поняли.

Бред молчал, по-прежнему злобно на него уставившись.

— Послушайте, — с энтузиазмом сказал Телфорд Лотт, точно его внезапно осенило. — У меня идея! Принесите все сюда. Завтра же. Мы уйдем из этого хлева ко мне, дернем виски с содовой и поработаем.

— Долго работать не придется.

— Ну и что? Важно не количество. Я и хочу получить очень короткую, очень напряженную, очень...

— Времени вам вообще не понадобится.

— Почему?

— Чтобы обсуждать то, чего нет, времени не надо — вот почему. Я все порвал.

У дверей он обернулся.

— К чертям собачьим этих докторов. Я еду назад, в Испанию.

Он вышел. На улице постоял и решил, что в самом деле постарается вернуться в Испанию, ведь он, наверное, уже выздоровел. И с воодушевлением вообразил, как убивает безликого врага. И тут же, мгновенно, этот безликий враг обрел черты Телфорда Лотта.

В тот день, когда Бред вернулся на Макдугал-стрит, Летиция, как ни странно, его уже ждала. По ее словам, она не могла работать — у нее разболелась голова. Она не объяснила, что голова болела оттого, что она не могла забыть вчерашний эпизод. Бред был вялый, покорный. Она заставила его сходить с ней на длинную прогулку вдоль Гудзона. Заставила его вкусно пообедать в «Лафайетте». Заставила повести ее в бар Гринич-Вилледжа, где в задней комнате танцевали. Заставила потанцевать с собой, чтобы он поменьше пил, и слегка наклоняла голову, чтобы ее щека то и дело прикасалась к его щеке, а пряди волос при каждом повороте скользили по его лицу. Она шептала ему, как она счастлива.

Вдруг он перестал танцевать и встал посреди зала как вкопанный. Высвободился из ее рук, схватил за пальцы, подвел к столу, усадил и уселся напротив.

— Послушай!

Она смиренно склонила голову набок, широко открыв блестящие, карие, с грустью глаза.

— Я еду в Фидлерсборо, — сообщил он.

Она помолчала. Потом взяла его руки в свои. Крепко их сжала и сказала, что тоже поедет в Фидлерсборо.

— Вот еще,— сказал он,— ты же не знаешь Фидлерсборо. Может, ты не сможешь там жить.

— Я могу жить с тобой, милый.

— Ну да, ты не знаешь Фидлерсборо, если думаешь, что туда можно так просто заехать и...

Он осекся на полуслове и пристально на нее поглядел. Она робко ему улыбалась.

— Господи,— сказал он.— У тебя есть только одна возможность поехать в Фидлерсборо.— Он засмеялся. Захотал.

— Над чем ты смеешься?

— Над тобой,— сказал он,— дурочка. Хотела, чтобы я повел тебя обедать и потанцевать? Хочешь меня развеселить, а? Да я вижу тебя насковзь. Что ж, вот и доигралась.

— Какие тут игры? — удивилась она.

— Не поняла? — засмеялся он снова и вдруг почувствовал прилив сил.— Лечебная процедура приняла неожиданный оборот.

— Какой? — спросила она.— Какой?

— Сегодня твоя помолвка.

Он вскочил, потянул ее за собой, обхватил и закружил, хотя и не под музыку. У нее пошла голова кругом, и она тоже начала смеяться, пока, закружившись совсем, не уронила голову ему на плечо, чувствуя, как радостные слезы без стеснения набегают ей на глаза.

Пока Бред ездил в Фидлерсборо, чтобы отремонтировать дом, в котором со смерти отца никто не жил, в Нью-Йорк прибыл из Испании герой республиканской армии; он только что оправился от ран и совершал эту поездку с пропагандистскими целями. Некая богатая светская дама, миссис Филспен, устроила после одного из выступлений доктора Рамона Эчигери прием в его честь, желая привлечь сочувствие ряда тщательного отобранных ею влиятельных и богатых лиц. Миссис Филспен, подруга матери Летиции, пригласила и ее на обед, после которого они вместе с доктором Эчигери и еще несколькими гостями должны были поехать в зал, где испанец собирался выступить.

У доктора Эчигери были пышные черные волосы, которые непокорно вились во все стороны, словно сердито жили своей собственной жизнью. Правый глаз был закрыт повязкой. Из-под косматой брови зверски сверкал черный левый глаз. Длинный нос казался чересчур большим для головы, которая и сама была чересчур велика для его туловища. Ибо ростом доктор Эчигери был невелик. В этом маленьком человечке клокотала ярость, неудержимая ярость.

Но за обедом он вел себя мирно, с неловкостью и застенчивостью, свойственной людям маленького роста. Позже на митинге, когда он вышел на эстраду, он показался еще меньше ростом, почти ребенком, мальчиком с противоестественно развитой грудной клеткой; он сидел, сгорбившись, на стуле под прицелом чужих глаз, закутанный в плохо сшитый темный костюм со старомодным крахмальным воротничком, чересчур просторным для его шеи, окруженный взрослыми нормальными людьми. Когда наконец он встал, показалось, что с ним сыграли непристойную шутку, что его завлекли на посмешище. Он стоял, злобно сверкая здоровым глазом из-под косматой брови, и выжидал, когда смолкнут вежливые хлопки. По-английски говорил он неправильно.

Для начала, сказал он, ему надо кое-что рассказать о себе. Он по происхождению баск. Католик, верит, насколько позволяет его человеческое несовершенство, в доктрину добра, милосердия и справедливости, которую проповедует мать наша церковь. Он не доктор медицины. виновато пояснил оратор, а профессор и до недавнего времени (слова «до недавнего времени» он произнес с язвительной гримасой) был профессором средневековой истории в Мадриде. Будучи католиком, он верит, что длань божия движет историей, а будучи историком — что долг человека стать участником истории, а не прятаться от нее. Ибо для того, чтобы быть человеком, он должен...

Тут в нем проснулась ярость. Под слишком ярким светом ламп с сердитых

волос тек пот. Смуглое лицо покраснелось, как от вина. Черный галстук бабочкой на высоком старомодном воротничке развязался, и дрожащие от бешенства руки — необычайно крупные руки для такого маленького человека, — жестикулируя, тщетно пытались при этом снова завязать галстук. Оратор вытягивал из воротничка шею, злобно вглядывался в лежавший у его ног мир, тыкался в него носом, выплескивая поток гортанных слов, и был похож на маленького израненного бойцового петуха, который едва держится на ногах, но даже полумертвый яростно кидается на противника.

Летиция пыталась потом описать Бреду, каким жалким он выглядел. По ее словам, он был похож на подбитую птицу, которую во время петушиных боев в Гаване при ней подняли с арены и выбросили в канаву умирать.

Она пыталась потом рассказать ему и о приеме у миссис Филспен. О том, как гости сначала вежливо задавали Эчигери вопросы и вежливо ждали ответа. Как он стоял, окруженный сияющими манишками мужчин нормального роста и атласными голыми руками женщин нормального роста. Как он то и дело ставил бокал и судорожно вступал в единоборство со своим галстуком. Как постепенно взрослые люди нормального роста перестали обращать на него внимание, обмениваясь репликами друг с другом. Она даже рассказала, что, увидев, как застыло у этого человека лицо, когда он услышал одну из этих реплик, она пожалела его и встала с ним рядом.

Но она промолчала о том, что сказала ему.

— Я знаю, — сказала она, — что вы подумали.

— Что? — спросил он.

— Вы подумали, что если тот, кто не видел всего того, что видели вы, еще раз что-нибудь скажет, вас вырвет.

Он перестал возиться со своим галстуком. Из-под кустистой черно-седой брови в нее уперся черный глаз, черный, как дуло пистолета, и словно им ее пригвоздил.

Он, будто сердясь, спросил ее своим гортанным голосом:

— И вы можете это знать? Вы?

В поисках ответа она вдруг услышала, как Бред на той вечеринке во время спора об Испании вдруг пригрозил, что его сейчас стошнит, и молча кивнула.

Все так же держа ее как бы под дулом пистолета, этот маленький, яростный, жалкий человечек произнес хриплым голосом, который пристал бы человеку вдвое выше ростом:

— Скажите, как вас зовут? Я не расслышал вашего имени. Как ваше имя?

Вот этого она так и не рассказала Бредуэллу Толливеру. Этого она не смогла ему рассказать.

Назавтра без четверти восемь утра — раньше она не решилась, хоть и была вконец истерзана, — она позвонила доктору Саттону с Центрального вокзала — ближе места к его приемной, где она могла обождать, она не придумала. Она уже ждала два часа. Доктор Саттон, то ли сонный, то ли раздражительный, сперва не мог ее припомнить, однако потом согласился принять ее в половине девятого, урвав несколько минут до прихода назначенного пациента. Она прошагала по его прихожей полчаса, пока не пришла секретарша и не отперла дверь.

Когда доктор Саттон явился, — он ей даже не улыбнулся или улыбнулся так кисло, что лучше бы не улыбался совсем, и совсем ее не узнал — она сразу почувствовала, что погибла. К тому же она заметила присохшую зубную пасту в уголке его рта. Терзания ее обернулись яростью. Ну что можно рассказать человеку, который чистит свои дурацкие зубы, в то время как у тебя разрывается сердце?

Но она все же заговорила, изложив в три минуты всю свою жизнь за три года. Кончив, тяжело дыша, замолчала, словно только что избежала по лестнице. Она наклонилась вперед, сжав кулаки и умоляюще глядя ему в лицо, но он сидел, причесав за толстыми складками и серыми припухлостями своего дряхлеющего тела, за большими толстыми водянистыми стеклами очков, и она ничего не могла у него прочесть.

Прежде чем ей ответить, он выкурил половину сигареты.

В данной ситуации следует иметь в виду ряд факторов, сказал он. Важную

роль сыграли среда, богатый дом, где прошла ее юность, дом ее матери, где она была кое-чему свидетельницей, кое о чем догадывалась и кое-что испытала сама; то обстоятельство, что миссис Филспен — подруга ее матери; то обстоятельство, что миссис Филспен была, так сказать, хозяйкой доктора... доктора... как его фамилия?

— Эчигери, — сказала Летиция.

— То обстоятельство, — продолжал доктор Саттон, — что миссис Филспен была, так сказать, хозяйкой именитого гостя, так же как ваша мать была хозяйкой — вот именно, хозяйкой — некоторых мужчин. Но я хотел бы подчеркнуть другие факторы, факторы сами по себе ценные, положительные, которые были подавлены предрасположенностью к мстительным импульсам. Как, например, то, что вы страстно, идеалистически отдаете всю душу борьбе испанских республиканцев. И даже вашу преданность любимому человеку — как его, кстати, зовут?

— Толливер, — сказала Летиция.

— Даже это обстоятельство, осмелюсь утверждать, — сказал доктор Саттон, — имеет странное, двойственное значение. Возлюбленный ваш, во-первых, сражался в Испании, и вы провели несколько мучительных месяцев в тревоге за его жизнь; если бы доктор Эчигери не был испанцем и не нуждался бы, как вам казалось, в сострадании, ничего бы не произошло. Во-вторых, накануне вступления в брак вы отчаянно желаете доказать, что достойны этого, что способны быть верной женой после всех ваших случайных беспорядочных связей, и поэтому, так сказать, подвергли себя испытанию.

— И как же я провалилась! — простонала она.

— Нет, дорогая мисс Пойндекстер, ничуть, — возразил доктор.

— Но вы же знаете, черт возьми, что я натворила!

— Дорогая мисс Пойндекстер, вы поступили так, как нужно было поступить, чтобы узнать то, что вы сейчас знаете. Ваши терзания подсказывают вам то, что вы и раньше понимали умом, но должны были прочувствовать нутром. Вы можете жить, лишь полностью принадлежа вашему избраннику. Вы пуританка — помните, мы об этом уже говорили? А теперь переименовав Шекспира: вы и ваша порядочность стали вровень.

Он разглядывал горящий кончик сигареты.

— Дорогая мисс Пойндекстер, — продолжал он, — теперь я наконец убежден, что у вас есть все возможности обрести то счастье, какого вы жаждете. Идеально было бы, конечно, вам возобновить курс психоанализа и быстро довести его до конца. Я не говорю, что непременно со мной, я говорю о...

— Нет! Нет! — закричала она. — Я еду в Фидлерсборо!

Он снова стал разглядывать кончик сигареты, потом отложил ее и обратил водянистую пустоту очков на нее.

— Что ж, Фидлерсборо так Фидлерсборо, — решил он.

Его большое кожаное кресло на винте заскрипело. Он резко встал, насколько это допускало его грузное тело. Его ботинки тоже скрипели, когда он обходил письменный стол. Он протянул ей руку. С трудом поднявшись, она ее пожала.

— Вашего молодого человека можно поздравить, — сказал он.

Она что-то промямлила.

— Дорогая, право же, я так считаю.

От растерянности она долго не выпускала его крупную мягкую руку и несколько раз его поблагодарила.

Когда она подошла к двери, он ее окликнул:

— Мисс Пойндекстер!

Она обернулась. Он стоял посреди комнаты.

— Только вот еще что, — сказал он. — Не надо тешить себя исповедью.

— Лгать я не буду, — заявила она. — Ему — никогда!

Толстый расплывшийся доктор Саттон постоял посреди комнаты. Повторил слово «лгать». Потом сказал:

— Что такое ложь? Можете вы называть ложью некоторые слова, которые вы произносите или, наоборот, избегаете произносить, чтобы дать полный простор той глубочайшей правде, которую несете в душе?

— Ну уж я-то знаю, что такое ложь! — воскликнула она и в радостном порыве выбежала из комнаты, неся в себе правду, которая переполняла ее едва

сдерживаемым смехом; выбежала, но только выйдя на улицу, на солнечный свет, позволила себе рассмеяться.

Она стояла на улице и думала о том, что самолет из Нашвилла прилетит без двадцати шесть вечера.

Доктор Саттон долго смотрел на дверь, которая за ней закрылась. Потом медленно повернулся и подошел к стенному зеркалу. Доктор знал, что он из тех людей, чьи ботинки всегда скрипят, и теперь расслышал этот скрип за тихими грузными шагами. Он вглядывался в свое отражение. Лицо было широкое, круглое, сероватое, похожее на луну, которая проглядывает сквозь туман; черты расплывчатые, будто смазанные. Глаза терялись за большими толстыми бифокальными стеклами. Глядя в зеркало, он вообразил, будто лицо это плавает где-то вдали, за плотной выпуклостью огромной водянистой линзы. Он стоял, размышляя о том, что думают, глядя на него, люди. И вспомнил, как много лет назад об этом же размышлял неповоротливый сопатый парнишка на ферме в Индиане.

Перед ним вдруг возник образ Летиции Пойндекстер. Она убежала из комнаты, словно все тут было прозрачным, словно сам он был мнимостью. С этой мыслью пришла и другая: о тяготах грядущего дня. Ему показалось, что он не в силах их вынести. Сейчас, в эту минуту, он утвердился в решении, с которым уже давно заигрывал в уме: прекратить на несколько месяцев прием больных, поехать в Бостон и снова самому подвергнуться психоанализу. Это, надеялся он, вернет ему ощущение своего места в порядке вещей. А может, и надежду на то, что он способен принести пользу.

Он стоял, вглядываясь в свое отражение, и уныло раздумывал о том, принес ли он хоть какую-нибудь пользу людям.

А потом в голове у него возник вопрос: А принес ли я хоть какую-нибудь пользу себе?

Он задрожал, как от сквозняка, твердя себе снова и снова, что вовсе не это имел в виду, нет, нет, вовсе не это.

Он всматривался в зеркало, стараясь припомнить странное название города, куда хочет уехать Летиция Пойндекстер, у которой радость рвалась с губ, — ведь после этого он никогда больше ее не увидит.

И вдруг вспомнил: Фидлерсборо.

Глава двенадцатая

Их принял смотритель тюрьмы — до блеска начищенные черные, сделанные на заказ стопятидесятидолларовые ботинки, коротковатые серые брюки с черной строчкой на швах, короткий сюртук такой длинный, что еще больше укорачивал ноги, костлявое похоронное лицо с седой козлиной бородкой, как на рекламе виски; завитые, припомаженные волосы, на которые была старательно, как на манекен, насажена панамы с огромными полями и чуть-чуть замятой тульей. Он опирался на трость черного дерева с золотым набалдашником и, поглаживая бородку, сказал: да, да, сэр, он был очень рад получить письмо начальника полиции насчет мистера Джонса. Ему бы, конечно, хотелось, чтобы он мог им сопутствовать, так сказать, самолично, собственной персоной. Но увы, на носу первичные выборы, надо хлопотать за нужного кандидата, и при этих словах он тонко, заговорщицки осклабился, будто вел похабный мужской разговор, дернул веком и подмигнул так, что показалось, будто не его длинное мрачное лицо подмигивает, а череп, и многозначительно процедил:

— Политика!

Он передал их в руки мистеру Бадду — Сапогу Бадду, который был на фут ниже и на два фута шире смотрителя. Квадратное, кирпичное от загара и ветра лицо мистера Бадда ничего не выразило, когда их знакомили, зато ручища ненароком чуть не разожгла им суставы. Мистер Бадд сообщил, что он помощник смотрителя, ведает дисциплиной и бытовым обслуживанием, раньше был надзирателем, а еще до войны — заместителем помощника, потом, демобилизовавшись из Первой воздушно-десантной армии, был назначен помощником смотрителя. Он издавна мечтал — с тех пор, как понял, что из-за коротких ног не выйдет в чемпионы тяжелого веса, — стать помощником смотрителя и вот теперь, слава богу,

им стал; в тюрьме у него царят чистота, строгость и справедливость — без этого нельзя, если не хочешь, чтобы тебя пырнули ножом, как это случилось с бывшим зрителем, а кроме Первой воздушно-десантной и тюрьмы, он ничего в жизни не видел и очень всем доволен; пожалуй, он даже предпочитает быть помощником зрителя, чем чемпионом тяжелого веса. Речь его текла нудно, хрипло, монотонно, но негромко, и когда он замолчал, глядя на это кирпичное невыразительное лицо, можно было сделать вывод, что мистер Бадд человек немногословный, что, в сущности, он почти ничего не сказал, а сведения, которые вы почерпнули, исходили вовсе не от него и были вами получены неизвестно откуда.

Они уже давно вошли в большую стальную дверь и стояли в холодном свете тюремного корпуса: с одной стороны до забранных решетками окон поднималась голая кирпичная стена высотой в двадцать футов, с другой — клетки в три этажа со стальными мостками, подвешенными вдоль каждого ряда. Клетки сейчас были пусты. В некоторых из них к задней цементной стене были приклеены картинки — фотографии родных, красотки, вырезанные из журнала, или базарная акварель с изображением бульдога. В одной из камер обе половинки решетчатой двери были для уюта завешены холщовыми занавесками.

Мистер Бадд ткнул в них тростью:

— Кое-кто из них хочет устроиться по-домашнему.

— По-домашнему?.. — пробормотал Яша Джонс, разглядывая внутренность тюрьмы.

— Да ведь многие из них и вовсе дома не знали, — сообщил мистер Бадд. — И другого дома кое у кого из них никогда и не будет. — Он стоял, осматривая корпус. — А кое-кто и вовсе ничего не хочет. Предпочитает голые стены. Наведите тут красоту, как в нашвиллском отеле «Эрмитаж», — и они все тут же повыбрасывают. Голые стены — вот что для них уют. Такие уж это люди. — Он продолжал осматривать корпус. — Сломать его надо, — сказал он угрюмо. — Весь этот корпус.

— Почему? — спросил Яша Джонс.

— У половины Теннесси не хватает денег, чтобы как положено оборудовать тюрьму, чего уж тут говорить. Но я вам скажу. Старомодно. Корпус этот старомодный. Это крыло построено еще при старом полковнике Фидлере, когда он был губернатором и заставил их хоть как-то раскошелиться для Фидлерсборо. Вторую тюрьму построили здесь очень давно. Кажись, сразу после Гражданской войны. Внизу висит портрет губернатора Фидлера маслом. Можете взглянуть. — Говоря с Яшей, он ткнул большим пальцем в Бреда. — Пусть он вам расскажет. Он-то знает об этих Фидлерах больше моего. — Минутку он поразмыслил. — Кроме одного из них.

— Да, — сказал Бред. — Кроме одного из них.

Мистер Бадд двинулся дальше; его толстые резиновые подошвы бесшумно переступали по цементному полу.

— Вы вооружены? — спросил Яша Джонс.

— Внутри огнестрельного оружия не полагается. Пистолет наводит на мысль, что его можно отнять. Но вы ее пощупайте, — сказал он, протягивая свою невинно выглядящую франговатую трость вперед набалдашником.

Яша взял ее в руку.

— Подержите за кончик, — предложил мистер Бадд. — Взвесьте.

Яша Джонс послушался. Трость была довольно гибкой. Вместо набалдашника — тяжелая медная шишка. Общий вес был внушительный.

— Бамбук, насаженный на стальной прут, — пояснил мистер Бадд и отобрал трость. — Имеешь ее при себе — и пистолет лишний. — Он взвесил трость в руке. — Они знают, на что она годится, — сказал он. — Соблюдают дистанцию. И не лезут толпой. Мне только раз и пришлось пустить ее в ход. Давным-давно.

Они дошли до конца корпуса.

— Видите подушку? — спросил он, показывая на нижнюю койку в последней из клеток.

Они кивнули.

— Однажды утром на ней лежала голова. Прямо на подушке. Глаза выпучены, язык наружу. — Он помолчал. — А тело под кроватью.

Он двинулся дальше.

— Педики,— сказал он.— Не так-то просто в тюрьме соблюдать тишину и порядок. Дали бы мне закрыть эти старые двойные камеры, тогда бы еще...

Он не договорил. Мимо прошел надзиратель — с виду миролюбивый пожилой человек не слишком могучего сложения. Трое арестантов мыли пол.

— Доброе вам утро, мистер Бадд. Доброе утро, мистер Бадд. Доброе утречко, мистер Бадд,— произнесли они по очереди почтительно.

— Доброе утро, Бумпус,— сказал мистер Бадд,— и Буррус и Коффи.

Тон был спокойный, голос, уже не скрипучий, снизился почти до шепота. Они пошли дальше. Мистер Бадд не повернул головы.

— Вы их всех по именам знаете? — спросил Яша Джонс.

— Все их паршивые имена помню.

Яша Джонс изучал могучую кирпичную шею впереди себя.

— И головы никогда не поворачиваете? — спросил он.— Чтобы посмотреть назад?

Мистер Бадд и тут не обернулся.

— Повадишься вертеть головой — скоро околеешь. Они сразу почуют в тебе слабину. Если не можешь приказать, не вертя головой, нищи другую работу. Броде чистки сапог.— Он вдруг остановился и резко обернулся всем телом.— Знаете, что в тюрьме громче всего? — спросил он, наклонившись к ним.

— Нет,— сказал Яша Джонс.

— Тишина,— сообщил мистер Бадд.

Он повернулся и пошел дальше.

Они зашли в мастерскую («Доброе утро, мистер Бадд», «Доброе утро, мистер Бадд»). Они зашли в лавку, где продавались сувениры, изготовленные арестантами в свободное время («Ну да, они могут прикопить денюжат к воле»). Зашли в спортивный зал, мрачный, плохо оборудованный, но все же спортивный зал («Когда я сюда пришел помощником, как раз поднялась катавасия. Я вышел к ним и объявил: этим заведением теперь заправляю я. Кто из вас думает, что может вякать, выходи, даю десять раундов при суде. Кто меня побьет, месяц получает мороженое. Кого я побью — тому неделя карцера. Никто ни слова не вымолвил. Начальник полиции обозлился. Заставил это дело прекратить. Черт его знает, может, и к лучшему. Стареешь ведь, сила уже не та. Но в то время живот у меня был, как камень. Руки об него обдерешь»). Зашли на кухню («Ну да, чистота, чистота, строгость и справедливость — вот мое правило, а наперед всего — чистота»). Наблюдали, как длинные вереницы людей входили в столовую. Видели, как двое стражников молча вывели из ряда арестанта («Поглядите на его рожу. Нанюхался наркотиков. И они у него при себе. Наседка утром сообщила. В тюрьме без наседок не обойтись»). Сели за стол на возвышении, на виду у всех. Еду им подавали расконвоированные арестанты («Видят, что я ем то же, что они. Ничего другого. Раз в день»).

Вышли из столовой.

— Сходим в больницу,— сказал мистер Бадд.— Мы там сами управляемся. Кое-кто из ребят здесь выучился. Фармацевт у нас настоящий. Долго здесь просидит. Имел хорошую аптеку в Браунсвилле, да убил жену. Она его застукала с продавицей содовой. Теперь ждем не дождемся, когда где-нибудь в Теннесси настоящий доктор пришлет жену за то, что застукала его с медицинской сестрой.— Мистер Бадд прервал рассказ, чтобы посмеяться.— Если кто всерьез заболел, приходится звать доктора с воли,— продолжал он.— Хотя и у себя хорошего врача имеем. Работал в «Джонс Гопкинсе»³. Но веру в себя потерял. Говорит, что боится лечить. Мотается туда-сюда по больнице. Горшки готов выносить, не брезгует негров-санитаров подменять. Помогает, конечно, но веру в себя потерял.— Мистер Бадд обернулся к Бреду.— Будь я неладен,— сказал он,— вы-то небось знаете, о ком речь.

— Ага,— сказал Бред.— Это мой зять. Поэтому сходите-ка туда одни, а я обожду тут.

Они вдвоем пошли в больницу, занимавшую крыло нового каменного здания, которое пряталось в тени огромной кирпичной стены. Бред стоял возле клум-

³ Медицинский институт в Балтиморе, основан в 1876 году Джонсом Гопкинсом, при институте самая большая больница в США.

бы с еще не распустившимися каннами и смотрел им вглубь. Он снял панаму и подставил голову, покрытую редующими светлыми волосами, теплым солнечным лучам.

— Видели его? — спросил Бред у Яши Джонса, когда они вернулись.

— Да. Он подошел и поздоровался со мной за руку.

— А я его не видел с самого суда, — сказал Бред.

— И все равно бы его узнали, — сказал мистер Бадд. — Смешно, но он совсем не постарел, как другие. — Он спросил у Бреда: — Как, по-вашему, сколько ему лет?

— Лет сорок пять.

— По нему не скажешь. Вид у него все равно как у мальчика. У мальчишки, который поседел, а мысли у него всё где-то витают. А где, он и сам не знает. — Он обернулся к Яше Джонсу. — Что, разве не так?

— Нет, вы верно его описали.

Яша Джонс вдруг о чем-то задумался; он поднял глаза на одну из больших приземистых башен по углам кирпичной стены. Наверху на перила опирался человек. Солнце отсвечивало от того, что он держал на перилах.

— Дурень он, дурень, — сказал мистер Бадд. — Док Фидлер давно бы отсюда вышел, если бы не затеял побег. — И, помолчав, добавил: — Нет, затевать побег не таким, как он.

Яша Джонс все еще смотрел вверх на башню, где солнце отсвечивало на металле. Мистер Бадд поймал его взгляд.

— Это Лем, — сказал он. — Хотите, покажу, что он умеет?

Они взобрались на башню.

— А ну-ка покажи им, Лем, — сказал мистер Бадд, когда они перезнакомились и посетители по очереди пожали и отпустили протянутую им руку с худым запястьем, такую длинную, узкую и сухую руку, что на ощупь она напоминала сушеную сельдь, подвешенную за хвост.

Лем стоял, ожидая распоряжений.

— Во, — показал мистер Бадд, — видите воробышка, это же воробей сидит там, на флагштоке?

Флагшток торчал высоко наискось над входом в тюрьму. Воробей сидел на шишке. До него было не меньше тридцати ярдов.

— Ежели сшибешь шишку, — сказал Лему мистер Бадд, — я у тебя вычту из жалованья.

Лем промолчал. Ружье стало медленно подниматься. Потом оно вдруг прижалось к плечу, и воробья на шишке больше не стало. Из дула вился легкий голубой дымок. Он быстро растаял на солнце.

Лем отвернулся.

— Парень тут до Лема был почти такой же дошлый, — сказал мистер Бадд. — Но из-за него я потерял надзирателя. Как-то раз садовник, он был из расконвоированных, кинулся на одного надзирателя с серпом. Видно, его что-то заело, вот он и начал его крошить, представляете?

Он замолчал и уставился на них, словно вновь переживал это странное происшествие.

— А парень тут, наверху, и не подумал стрелять. Вот черт! Я повел его и показываю, что тот натворил своим серпом. «А говорил еще, что умеешь стрелять. Чего же ты не стрелял?» И знаете, что этот сукин сын мне ответил? — Он снова помолчал, превозмогая изумление. — Я вам скажу. Говорит, что боялся попасть в ни в чем не повинного человека! И знаете, что я ему сказал?

— Нет, — признался Яша Джонс.

— «Господи Иисусе! — говорю я. — В неповинного! Да нету тут неповинных! Ты уволен!»

В нем все еще глели былая ярость и бывшее недоумение. Мистер Бадд смотрел вниз, на двор, где когда-то орудовали серпом, а теперь четверо садовников, сидя на корточках, пропалывали грядку с анютиными глазками.

— Знаете, — сказал он сумрачно, не глядя на спутников, — если завтра выпустить всех арестантов на волю и дать им по тысяче долларов, через полгода большинство попадет сюда снова. Черти окаянные, ведь даже те, кто нацеливает-

ся на побег, и те ведь, говоря по правде, не хотят на волю. Чего-то они хотят, но не на волю. Хотят сидеть тут. — Он резко к ним обернулся. — А знаете, почему они сюда попали? — спросил он. И внушительно объяснил: — Потому что одиноки. Некоторые так и рождаются одиночками и не могут этого одиночества вынести. Может, и тут им тоскливо, но не так тоскливо, как с людьми, которые знают, что и они такие же одинокие, как и ты.

— Да вы философ, мистер Бадд! — сказал Яша Джонс.

— Я помощник смотрителя, — поправил его мистер Бадд.

Взгляд его медленно обошёл двор, перекинулся через кирпичную стену, снова упал на двор. Казалось, он забыл об их присутствии.

— Вы когда-нибудь видели человека, вышедшего из одиночки? — спросил мистер Бадд, не поворачиваясь.

— Нет, — ответил Бред.

— Иногда кажется, что он того и гляди положит голову тебе на колени и заплачет. Так они благодарны, что тебя видят. В тюрьме без одиночек не обойдешься, — продолжал он. — Это такое одиночество, дальше некуда. Одиночество, которого человек выдержать не может, потому что не может оставаться собой самим.

Мистер Бадд замолчал. На них он по-прежнему не глядел. Глаза его блуждали по двору, по стенам, по крышам.

— Мистер Бадд! — окликнул его Яша Джонс.

— А?

— Мистер Бадд, а что тут будет, когда начнут подниматься воды?

— Может, забунтуют, а может, и нет. — Он помолчал. — Ну а если забунтуют, дашь в зубы, а потом под вздох. Без этого в нашем деле, в этом месте то есть, нельзя.

— Но если они хотят тут сидеть, а подъем воды только еще больше отрежет их от внешнего одиночества, даст сильнее почувствовать, что они тут, внутри, почему же...

— А дьявол их разберет, — сказал мистер Бадд. — Я же говорил, что эти мерзавцы сами не знают, чего хотят.

— Ну да, — тихо произнес Яша Джонс, — ну да.

— Пойдем поглядим на Суки, — сказал мистер Бадд, выйдя из задумчивости.

— На какую Суки? — спросил Бред.

— Увидите.

— Четыре доллара девяносто три цента, — сказал мистер Бадд, ступив за стальную дверь. — Вот за что он проломил ей череп. Старухе, которая держала лавочку там, в глуши. Поздно ночью она вошла и застала его возле кассы. А рядом лежал новенький гвоздодер на продажу, он его и схватил. Видно, как начал молотить ее по голове, так и не мог остановиться. Да и не особо прятался потом. Сунул окровавленную рубашку в сортир и лег спать. А теперь только и делает что сидит. Сидит или наигрывает на своей гитаре. Ни молиться, ни чего другого делать не желает. Понимаете, люди внизу, в городе, до того дошли, что останавливают этого священника и спрашивают: «Парень ваш уже помолился? Смирился он или нет?» Народ, видно, волнуется, хочет знать. — Мистер Бадд помолчал. — Хотя, — сказал он, — у него еще недель восемь-девять осталось. До встречи с Суки. За восемь недель еще как намолитесь!

Его туфли на резиновых подошвах двинулись по коридору, потом остановились возле одной из камер. Молодой негр сидел на койке; на нем были серые бумажные штаны без пояса, рубаха защитного цвета, теннисные туфли без шнурков. Лицо было очень темное, очень гладкое. Руки лежали на коленях, как свернувшиеся во сне зверьки. Он неподвижно уставился в невидимую точку на противоположной стене.

Мистер Бадд тихонокко постучал тростью по стальному пруту.

— Красавчик! — негромко позвал он скрипучим голосом. Парень посмотрел в его сторону. — Как себя чувствуешь?

— Нормально, — сказал тот.

— Хочешь поиграть? — спросил мистер Бадд.

Руки на коленях зашевелились. Одна вытянулась и взяла лежавшую рядом гитару. Он запел под музыку тихо, гортанно:

Ты куда идешь ужю?
И пришел откуда?
Где ты родился, Джо,
Хлопковое чудо?

Песенку пришел я спеть
Для тебя, сердечко,
С бриллиантами надеть
На тебя колечко.

Пока он играл, глаза его были устремлены все в ту же невидимую точку на стене. И когда он перестал петь, взгляд его не переместился.

— Спасибо, Красавчик,— сказал мистер Бадд.— Эти вот джентльмены, они тебе тоже благодарны.

— Я вам очень благодарен,— сказал Яша Джонс.

Негр повернул к Яше Джонсу лицо и стал внимательно его разглядывать.

— Спасибо вам,— сказал он.

Взгляд его снова уперся в точку на стене.

Мистер Бадд внимательно осмотрел камеру, а потом сказал:

— Послушай, Красавчик! (Тот повернул к нему голову.) Ты, Красавчик, сдюжишь,— сказал он своим скрипучим голосом и двинулся дальше по коридору: резиновые подошвы бесшумно переступали по цементному полу.

— По-вашему, он сдюжит? — спросил его Бред.— Думаете, псмолится?

— Думаю, что встанет и пойдет,— сказал мистер Бадд.— В положенный час. Встанет и пойдет по этому коридору. Как мужчина.

Они стояли перед дверью.

— Многим из них удастся сдюжить? — спросил Яша Джонс.

— Вы даже удивитесь, как много тех, кому это удастся. Стоит им только уразуметь, что это их единственный и последний шанс быть мужчиной. Я им говорю: «Это ваш последний шанс. Это ваша работа, и никто ее за вас не сделает». Я им говорю: «Может, вы ни одного дня в жизни честно не поработали, но от этой работы вам не уклониться». Я им говорю: «Я на вас ставлю». Нет, вы даже удивитесь.— Он помолчал.

— Мистер Бадд,— сказал Яша Джонс.

— А?

— Почему вы зовете его Красавчиком? Того парня.

— А это его имя. Мать ему такое дала. Под этим именем его и судили. И доктор напишет его на бумагах, когда вытащат жареное мясо. Красавчик Раунтри.— Мистер Бадд оглянулся на коридор.— Поглядите. Вон идет священник. Брат Пинкни. Негритянский священник. Может, сегодня он его расколует.

А потом, когда подошел надзиратель, чтобы отпереть дверь, он сказал: «Вот и Суки» — и шагнул в комнату.

Мистер Бадд нагнулся и похлопал стул по спинке.

— Вот она тут ждет, широко распахнув объятия. Ждет и готова принять любого, кто бы ни пришел! Приветит всех без разбору. Укатает насмерть. Девка в самом соку. Так тряхнет, как тебе еще никогда не доводилось. Один раунд с Суки — и другой встряски уже не захочешь.

Мистер Бадд легко повернулся на резиновых подошвах и присел в кресло.

— Входишь отсюда,— показал он, мотнув головой в сторону притворенной двери.— Садись. Покойно откидываешься назад.— Он откинулся назад.— Кладешь руки на подлокотники.— Он изобразил, как это делается, положив локти на ремни.— Ноги ставишь прямо.— Он поставил ноги рядышком на пол. Там были электроды.— Голову держишь неподвижно, и на тебя накидывают черный колпак. Я их заказываю швейной мастерской нарочно для этого дела.— Он поправил воображаемый колпак.— Сверху надвигают большой кожаный шлем, где проходит ток,— и готово, в путь-дорогу. Суки уже истомилась. Так и брызжет соком, стонет от нетерпения.

Он посидел, забывшись, словно кругом никого не было, посмотрел вниз на свое тело в кресле. Потом поднял голову, и его бледно-серые глаза поглядели на них с холодным вызовом.

— А вы знаете, кто я? — спросил он.

Они молчали.

— Я — палач этого штата. Тот, кто включает ток.

Он поднял с подлокотника правую руку, она лежала на ремнях. Он стал разглядывать свою ладонь, словно она неожиданно его чем-то заинтересовала. Потом поднял ее, чтобы и другие могли получше ее разглядеть.

— Вот она включала рубильник. Столько раз, что и счет уже потеряла. — Интерес к руке пропал, он снова перевел взгляд на спутников. — Двадцать пять долларов зараз, — сказал он. — Та же цена, что и до войны, несмотря на инфляцию и прочее. Эх, — вздохнул он, — раньше на двадцать пять долларов можно было что-то купить. Устроить вечеринку, заарканить девушку. Черт возьми! — засмеялся он. — Да за двадцать пять долларов можно было заарканить хоть полдюжины! До инфляции. — Он посидел еще на стуле, потом резко встал и наклонился к Бреду. — А ну-ка сядьте сюда, — приказал он.

Бред посмотрел на это кирпично-красное лицо, на эти льдисто-серые глаза, глядевшие на него с внезапным вызовом, потом перевел взгляд вниз, на прозаическое, сальное, пропитанное потом сиденье из дерева, кожи и металла, стоявшее в маленькой, унылой в своей чистоте комнате. Он представил себе: вот тыходишь в эту дверцу и не можешь поверить, что это — всё, что эта обыденность, унылая обыденность допотопного зубоврачебного кресла, которому место только в лавке старьевщика, это — всё. Он представил себе, как в ту минуту тебя захлестывает ощущение утраты, непоправимого унижения. Неужели это — всё? Неужели вся наша жизнь и смерть так нелепы?

Он сел на стул.

И тут он вдруг вспомнил унылую, нелепую контору, похожую на контору беглого, вылетевшего в трубу торговца недвижимостью, где он когда-то завербовался в Испанию.

Мистер Бадд склонился над ним.

— Послушайте, — произнес он своим скрипучим шепотом.

— Что? — спросил Бред.

— Вспомните, что вы сделали в жизни самого плохого, — прошептал тот и, заглянув Бреду в лицо, разразился раскатистым хохотом.

Когда мистер Бадд отсмеялся, он хлопнул Бреда по плечу и обернулся к Яше Джонсу.

— Это я так шучу, — сказал он. — Люблю сыграть с людьми такую шутку. Господи, видели бы вы, какие у них бывают лица! Как-то раз один даже описался на стуле, ей-богу!

Он обернулся к Бреду, который уже стоял, глядя на стул, и снова по-братски похлопал его по плечу.

— Шут вас возьми, — сказал он, — вы-то не описались.

— Мистер Бадд, — сказал Яша Джонс. — Я бы тоже хотел посидеть в этом кресле.

— Пожалуйста. Суки, она любит всех без разбору. Она вас дожидается. Яша Джонс сел, устроился поудобнее.

— Я бы избавил вас от необходимости меня стричь, — сказал он и улыбнулся, улыбнулся простодушно, без всякого ехидства.

— Угу, — кивнул мистер Бадд, глядя на его лысину.

Яша Джонс продолжал ему улыбаться.

— А мне вы не зададите вашего вопроса?

Бред, не сводя глаз с узкого загорелого лица, которое улыбалось под тенью тяжелого колпака из кожи и металла, думал о том, какой самый дурной поступок мог бы совершить этот человек. Он знал, почему об этом раздумывает, — ведь когда он сам там сидел и услышал этот вопрос, он не мог ничего придумать, ровным счетом ничего. Он не описался. Но придумать ничего не мог.

Глава тринадцатая

— Не та, — сказал Бред и выпрямился, осмотрев очередную надгробную плиту, густо заросшую сорняками и можжевельником.

Яша Джонс молчал. Он смотрел вдаль, вверх, на башню тюрьмы, откуда они недавно пришли. Взгляд его был прикован к юго-западной башне.

— Надеюсь, вы не будете возражать, если мы тут побродим?

— Я ведь и приехал, чтобы увидеть Фидлерсборо, — сказал Яша Джонс.

— Старый Изя Гольдфарб и есть Фидлерсборо. Даже за десять тысяч миль отсюда стоило мне закрыть глаза и произнести «Фидлерсборо», как передо мной возникал старик Гольдфарб. Я словно воочию видел, как он сидит перед своей лавкой, откинувшись на спинку плетеного стула, и смотрит через реку на заходящее солнце. Не знаю, почему именно он Фидлерсборо, но это так. — Он помолчал. — Нет, знаю почему. Он научил меня видеть Фидлерсборо.

Бред снял шляпу, вынул платок и отер лоб. Было не по сезону жарко. Где-то в зеленых зарослях затрещал кузнечик, потом смолк. Бред посмотрел на реку.

— Знаете... — сказал он, — знаете что...

Он замолчал.

— Что?

— Старый Гольдфарб был одинок, — сказал Бред. — Никто ничего о нем не знал. Ни откуда он, равно ничего, и...

Яша Джонс тихо забормотал:

Ты куда идешь ужю?

И пришел откуда?

Где ты родился...

— Ага, — перебил его Бред. — Точно. Он был Фидлерсборо и в то же время не Фидлерсборо. Он был не-Фидлерсборо и анти-Фидлерсборо. Я вот что хочу сказать: он был сам по себе. Сидит, бывало, один как перст и смотрит, куда заходит солнце. Но одиночества не чувствовал. Он был цельный. Один, но не одинокий.

Яша Джонс смотрел вверх, на башню. Бред, заметив это, тоже туда поглядел.

— Черт возьми, — сказал он, — ваш друг-философ прав. Все дело в одиночестве, как говорит мистер Вадд. Единственное, почему поголовно все в Фидлерсборо от тоски не садятся в тюрьму, это потому, что сам Фидлерсборо своего рода тюрьма и каждый знает, что живет среди тех, кто не меньше одинок, чем он. Господи, да весь Юг — одиночество. Такое, к примеру, как охота на енотов — это любимое тут занятие, — на ней ты еще более одинок, чем где бы то ни было, если не считать охоты с острогой на лягушек темной ночью, когда сидишь в болоте, а лодка течет. Но кое-кому и такое по вкусу. Шут бы его побрал, этот Юг. Люди тут напиваются, чтобы почувствовать себя еще более одинокими, а потом идут в город и затевают там драку, чтобы хоть с кем-нибудь пообщаться. Южные Штаты были заквашены на одиночестве. Все они тут так одиноки, что окружили себя тюрьмой, чтобы вместе быть одинокими. И если армия южан так долго держалась против превосходящих сил противника, то это потому, что каждый солдат ощущал, как невыносимо одинок он будет, вернувшись домой и оставшись в одиночестве. Юг! — продолжал Бред. — Народ говорит «Юг», но это слово ни черта не означает. Этот термин ни к чему не относится. Нет, что-то он означает, но совсем не то, что думают. Он означает глубочайший опыт, пережитый купно, да-да. А знаете, что это за совместный опыт, которым и определяется слово «Юг»?

— Нет.

— Одиночество. Злое одиночество. Злое одиночество и заставляет южан твердить слово «Юг», словно полоумных тибетских монахов, которые вертят сломанное молитвенное колесо, забыв повесить на него свитки с молитвами. Черта с два верят эти южане, что какой-то Юг существует. Они просто верят, что если будут твердить это слово, они хоть немножко избавятся от злого одиночества. На Юге одни негры не чувствуют одиночества. Они, может, и злые, но не одинокие. А знаете что?

— Что? — вежливо спросил Яша Джонс.

— В этом суть расовой проблемы. Дело не в чувстве вины. Ерунда собачья! Просто южанин ощущает глубокое, неосознанное возмущение оттого, что его окружают люди не такие одинокие, как он. И особенно если эти люди — черные. Возьмите хотя бы того беднягу из камеры смертников — почему поголовно все в Фидлерсборо хотят, чтобы он уступил и стал молиться? Потому что если человек молится, значит, его заело одиночество. Вот все тут и хотят, чтобы этот молодой

негр молился. Фидлерсборо — набожный город, так же как Юг — набожный край. Но не потому, что тут верят в бога. В бога не верят. Верят в черную дыру в небе, которую бог оставил, когда он ушел. Вон поглядите!

Он показал на небо, где солнце еще горело так высоко и ясно, что приходилось жмуриться.

— Смотрите, Яша! — приказал он. — Видите?

Яша Джонс покорно прищурился.

— Нет, — сказал он, по-актерски сделав паузу. — Не вижу. Дыры не вижу. Может, потому, что я верю в бога.

— А я в бога не верю, — сказал Бред. — И в черную дыру в небе не верю. — Он помолчал. — А верю я в Фидлерсборо.

— Фидлерсборо... — пробормотал Яша Джонс. Потом тихо спросил: — Поэтому вы сюда вернулись?

— Да, — сказал Бред. — Вернулся потому, что меня заело злое одиночество. — Он пристально посмотрел на собеседника. — А ведь, пожалуй, и вас тоже. Вы ведь тоже приехали в Фидлерсборо.

Он отвернулся. Среди свежих побегов и старых зарослей вереска он обнаружил могильную плиту. Опять не ту, что искал. Потом нашел другую, осмотрел ее, встал и, поглядев на небо, чуть не с отчаянием произнес:

— Господи!

Яша Джонс вопросительно на него взглянул.

— Господи! — повторил Бред, медленно оборачиваясь к Яше Джонсу. — Мэгги... сестра моя Мэгги Толливер Фидлер... вы представляете, как она, должно быть, одинока?

— Нет, — сказал Яша Джонс. — Не представляю.

День был абсолютно тихий. Солнце палило. Слышен был только треск того же кузнечика в кустах. Потом и он стих. Яша Джонс стоял в этой тишине и думал, как жарко и тихо было в тот давний день далеко, во Франции, когда он лежал в траве. После единственного сухого ружейного щелчка в той стороне, где была деревня, наступила тишина. Он лежал, зарывшись в траву, как вдруг услышал какой-то звук. Звук был еле слышный — короткий сухой треск. До него донесся этот треск. Потом в жаре, в тишине до него снова донесся треск. Еле слышный звук, похожий на сухой щелчок крошечного ружья, звук, пришедший издалека в мир сухих травинки и примятых сорняков, где он лежал, звук, который словно подражал настоящему выстрелу.

Он понял, что это такое. Это был треснувший на августовском солнце черный стручок *genêt*⁴. Он смотрел на стручок, тот лопнул прямо у него на глазах с этим негромким треском.

Лежа на животе в призрачной тени *genêt*, он, он, Анри Дюваль из старого школьного учебника, понимал, почему раздался только один выстрел. Значит, первый же выстрел попал в цель. Второго не понадобилось. Значит, его друг Жан Перро мертв. Немцы его убили. Лежа в траве, Яша Джонс думал, что он ведь тоже мертв, хоть и живет еще призрачной жизнью в образе Анри Дюваля, сельского учителя, деревенского аптекаря, незадачливого нотариуса. Он надеялся, что, когда придет его черед, дело тоже обойдется одним выстрелом.

Теперь же Яша Джонс стоял под знойным полуполуденным солнцем в Фидлерсборо и с завистью думал о том Яше Джонсе, который лежал в можжевеловнике и, зная, что он, в сущности, уже мертв, был спокоен, не ведая больше ни страха, ни желаний. Теперь он стоял в Фидлерсборо, зная, что он еще не мертв и должен с бодростью переносить свое существование.

Он почувствовал, как у него вспотели ладони, и посмотрел на Бредуэлла Толливера, который вдруг показался ему таким чужим, потому что, стоя тут, среди заброшенных могил, осмелился спросить, может ли он, Яша Джонс, представить себе, до чего одинока Мэгги Толливер!

— Нет, — повторил Яша Джонс, — я не могу себе представить, до чего она одинока. — И не сразу добавил: — Но я старался.

Бред прищурился и казался погруженным в свои мысли. Помолчав, он сказал:

⁴ Дрока (франц.).

— На Юге полно таких женщин. Вернее, раньше их было полно. Женщин, прикованных к парализованному старику отцу, ненормальной матери, ребенку умершей сестры, дяде, у которого был удар, пьянице брату. Женщин, прикованных к ним и к одиночеству. А я ведь столько их видел, и многие из них были рождены совсем, совсем не для этого. А они сидят и ждут. Одинокие, в долгие жаркие летние дни или осенние ночи; словно копят одиночество, как мед, припасая его для кого-то на грядущий день. Понимаете? Эта преданность, эта цельность просто копят для кого-то. А никто не приходит.

Он стоял, мигая от яркого света.

— Знаете, — сказал он, — бывало, там, на побережье, даже когда я был трезв, я мечтал, что вот вернусь сюда и найду себе такую одинокую женщину со всем накопленным ею медом. Со всей преданностью, цельностью. Понимаете?

— Да.

— А вот я сам не понимаю ни черта! По существу. Но я говорю о такой женщине, с которой ляжешь рядом, возьмешь ее за руку и почувствуешь, что все на свете прекрасно. — Он сделал несколько шагов, осмотрел еще одно надгробье, поднялся и спросил Яшу Джонса: — Понятно?

— Да.

— Теперь я и сам вдруг понял, — сказал Бред и сплюнул. — Возрастное слабоумие. Симптом подкрадывающегося идеализма, а это самое страшное в старческом синдроме. Его надо остерегаться. Найти хорошего хирурга и вырезать — а вдруг это что-то злокачественное? В сущности, оно всегда злокачественное.

Он засмеялся, снова сплюнул и нагнулся над следующей плитой. Потом поднялся.

— Господи, — сказал он. — Мэгги...

Яша Джонс стоял в отдалении, слушал.

— Знаете, — сказал Бред, — когда я вернулся после войны писать роман — шут бы его побрал, я его так и не кончил... Я никак не мог смириться с тем, что с ней происходит. Мэгги же не создана для такой не-жизни! Я знал, что она за человек, и не мог этого вынести! Я уговаривал ее развестись и уехать. Меня просто трясло от ярости. Сам не могу понять, почему я так распалялся. В конце концов мы стали ужасно ссориться. А потом... — Голос его замер.

— Что потом?

— Потом я получил выгодное предложение из Голливуда. — Он пожал плечами. — С тех пор я жил там, а она здесь. — Он посмотрел на раскаленное небо. — И она одинока, как бог.

Яша Джонс внимательно на него смотрел.

— Но ведь возможно... — сказал он.

— Что возможно?

— Что она вовсе не одинока. И только мы думаем, что она одинока.

— Господи! — выкрикнул Бред в сердцах. — Да вы только поглядите, как она сложена, какая у нее походка, какой взгляд...

— Послушайте, — сказал Яша Джонс. — Помните, что мистер Бадд сказал насчет одиночки? Что этого нельзя вынести, потому что никто не может быть самим собой? Помните, что он сказал?

— Да, но...

— А если она может и поэтому не одинока? А вдруг она из тех, кто может быть самим собой и поэтому может оставаться сама с собой?

Мистер Бадд опять поднялся на юго-западную башню. Поглядел за реку на запад. Потом вниз, на Ривер-стрит. У ворот тюрьмы стояла машина того негритянского священника. Священник сидел в машине не двигаясь. Мистер Бадд заинтересовался, почему этот негр там сидит.

Потом он окинул взглядом Ривер-стрит. Вдалеке возле старого кладбища стоял белый «ягуар». Мистер Бадд заметил на кладбище две фигуры, которые казались отсюда совсем маленькими. Какого черта они там делают?

Потом он вспомнил, как тот лысый со шрамами спросил его, что будет, когда поднимется вода, правда лысый сказал не «вода», а «воды». Он отвел взгляд от людей на кладбище и, повернувшись, посмотрел на восточную стену

тюрьмы. Под ней лепились к склону домики: одни уже пустые, другие ветхие, некрашенные. Он увидел и дом, где родился.

Он смотрел на этот дом и вспоминал себя мальчишкой. Он вспомнил отца, тюремного надзирателя, получавшего тридцать долларов в месяц, от которого в праздники пахло виски. Он вспомнил: когда он еще был мальчишкой, из тюрьмы вырвалась большая группа арестантов и засела в скобяной лавке Лортона, а отец так струсил, что не пошел их брать. А вот шериф Партл пошел. Вспомнил, как дрался в школе с мальчишками, которые дразнили его, что отец у него трус.

Мистер Бадд поглядел вниз и подумал о том, что скоро поднимется вода, и сердце его преисполнилось мрачным торжеством. Он представил себе, как вода подступает со всех сторон, и только тюрьма возвышается над ней, и он останется один там, где ему всегда хотелось быть.

Леон Пинкни, выпускник Говардского и Гарвардского университетов, магистр гуманитарных наук и магистр теологии, сидел в своем черном «студбеккере» выпуска 1949 года, с разбитым стеклом на правой двери, заклеенным липким пластырем. Он страдал оттого, что ему не удалось уговорить Красавчика Раунтри помолиться. Но страдал он и потому, что боялся, как бы в конце концов Красавчик Раунтри не стал молиться.

Была и третья причина его страданий. Он страдал оттого, что в эту минуту сам не мог молиться.

Бредуэлл Толливер стоял на солнце, которое уже не пекло, среди заросших сорняками и можжевельником могильных плит, испытывая смутную досаду, словно дурной вкус во рту. — Он вдруг вспомнил, что пригласил инженера Дигби и тот наверняка сегодня придет. Господи, я же не виноват, подумал он. Надо же мне было что-нибудь написать, когда эта Леонтина Партл возникла прямо у меня за спиной!

Глава четырнадцатая

Они молчали. «Ягуар» выехал из кладбищенских ворот, плавно скользя по рытвинам и ухабам — дорогу под предлогом того, что ее скоро зальет, никто не трудился ремонтировать. В убывающем свете дня машина шла мимо пустырей, где черные стебли прошлогоднего чертополоха торчали над молодыми побегами; мимо изгородей, которые уж никто и не думал подпирать; мимо домов, которые больше никто не трудился красить; мимо уже опустевшего дома Томвита с выбитыми стеклами; мимо террасы, где Сильвестр Партл сидел в своем кресле на колесиках и возле которой, как заметил Бред, машины Дигби еще не было. У него появилась слабая надежда, что, бог даст, этот сукин сын все же не придет. Глядя на дом, Бред вспоминал ящичек из лакированных сосновых досок, который занимал Дигби, диван-кровать с заплатами белым покрывалом и гадал, удалось ли Дигби добиться успеха у Леонтины.

Нет, решил он, такие женщины Дигби не по вкусу. Трудно себе представить Дигби с его веснушками, круглым лицом, красным облупленным носом, песочного цвета ежиком, ухмылкой, открывающей редкие квадратные зубы, и привычкой хрустеть костяшками пальцев — человеком, которому доступна мистическая тьма Леонтины.

Нет, Дигби совсем не подходит для роли инженера в том сюжете, который он придумал. У него нет багрового родимого пятна.

Когда они поднимались по широкой лестнице, ведущей из холла, Бред, не дойдя до второго этажа, вдруг остановился.

— Послушайте! — обратился он к Яше. — Без нее нам не обойтись. Она нам необходима.

— Кто?

— Тюрьма. Для нашей прекрасной картины. Внутри и снаружи. Кто-то ждет потопа внутри. Видите...

— Бросьте вы его и ступайте вверх, мистер Джонс, — услышали они голос сверху и, подняв головы, увидели Мэгги: она смеялась, перегнувшись через перила второго этажа. — Бред будет болтать и под водой, о которой столько говорит.

Стоит ему завестись — и он продержит вас на лестнице до утра. Ступайте, бросьте вы его.

— Сестричка, ты не понимаешь законов литературного творчества, — сказал Бред. — Я же работаю.

— Кто такой Дигби? — спросила она.

— А что? — сказал Бред с опаской.

— Кто-то по имени Рой Дигби недавно звонил, что немного запоздает, а ты будто пригласил его зайти. Я тебя покрывала. Заворковала, говорю — как же, как же, мы вас ждем. А кто он?

Бред весело запел:

Дигби, кто он? Что за птица?
Дигби, он на что сгодится?

Распевая, он злился на то, что лицо его скривилось в подобии беззаботной улыбки. И на то, что сестра на него смотрит.

— Что же все-таки делает этот Рой Дигби? — вежливо спросила она.

— Рое, — сообщил он, по-прежнему изображая веселье.

— О господи! — вздохнула она и снова стала самой собой, перестала на него смотреть и перевела взгляд на Яшу. — Ах мистер Джонс! — воскликнула она с сочувствием. — Ну как вы его терпите? Неужели вам приходится слушать вот такое целый день?

— И за то, что он рое, его прозвали Рой, — прервал ее Бред, поднимаясь выше по лестнице.

Кривая гримаса — подобие беззаботной улыбки — сползла с его лица. Он коротко пояснил.

— Дигби — инженер на плотине. — И спросил Яшу: — Вы, наверно, хотите умыться?

— Пожалуй, да, — улыбнулся Яша и, махнув им рукой, легкий и прямой, пошел по темноватой прихожей.

Бред обернулся к сестре, стараясь разглядеть, какое у нее выражение лица.

— Черт бы меня побрал, — сказал он. — Я совсем не собирался приглашать этого Дигби, просто так получилось...

Бред замолчал. Он ведь не мог объяснить, что он не нарочно, что ему пришлось написать записку с приглашением зайти и выпить — надо же было что-то написать. Если Леонтина Паргл стоит так близко, что ты того и гляди с ней столкнешься, дотронешься до нее, испытывая брезгливость, за которую самому же стыдно, потому что это брезгливость к ее слепоте, и все время, пока ты стоишь, придумывая, что бы тебе написать, как выйти из этого дурацкого положения, ты знаешь, что она тут, позади, так близко, что ты вот-вот почувствуешь ее дыхание; что она тут со своей копной бледно-желтых волос, сбившейся набок, и этой мистической, словно она услышала благую весть, улыбкой на влажных губах, в сущности даже и не улыбкой; она тут — со своими глазами, устремленными на то, чего тебе никогда не увидеть, — и все это в маленьком ящике из лакированной сосны, где так тихо, что слышно ее дыхание. Не мог же он объяснить, как он слышал, стоя там, даже чирканье проклятого воробья в канаве.

— Бред, — сказала Мэгги.

Он попытался отгадать, что выражает ее лицо и что она хочет сказать.

А она сказала:

— Не волнуйся. Только потому, что он молодой инженер. Ведь все это было так давно.

— Ерунда. Этот тип придет, когда обед давно кончится. Ты можешь и не выйти к нему. Тебе необязательно с ним встречаться.

— Но я хочу! — воскликнула она, в ее тоне была живость, которая могла сойти за жизнерадостность.

— Не пойму почему, — не отступал он.

— Значит, тебе не хватает воображения, — сказала она, и он увидел — или ему так показалось, — что суставы пальцев, сжимавших перила, побелели. — Постарайся вообразить, как я сижу здесь, в этом доме, в темноте и не вижу его лица. И то, что я не вижу его лица, и будет нехорошо.

Бредуэлл молча стоял, жалея, что он сюда вернулся. Ему очень хотелось отсюда сбежать.

Он так никогда и не уехал бы из Фидлерсборо, во всяком случае не уехал бы так легко, если бы не Лупоглазый. Отец предпочел бы, чтобы он умер, валялся бы на полу трупом холодным, как куча куриных потрохов, чем дать ему уехать в Нашвилл, а потом и дальше на север, в Дартхерст. Даже если бы у него были и свои деньги. Мать, правда, об этом позаботилась и оставила то немногое, что у нее было, детям, специально оговорив, что эти деньги — «на образование в каком-нибудь достойном учебном заведении, только не в Фидлерсборо».

Она оставила им наследство под опекой своего троюродного брата, мемфисского банкира, который был не из тех, над кем мог покуражиться старик Толливер, а, наоборот, сам был бы рад покуражиться над Толливером в отместку за его наглость — он посмел смешать свои плебейские гены с голубой южной кровью Котсхиллов, пусть всего лишь речь шла о дальней троюродной сестре из Фидлерсборо. Мстительность Котсхилла из Мемфиса несомненно выражала потаенные чувства покойницы. Ибо Калиста Котсхилл в конце концов возненавидела себя за тот взрыв темной страсти, который отдал ее, дрожащую перезревшую девственницу, на милость мозолистого, волосатого Ланкастера Толливера; она возненавидела Ланкастера Толливера за те бесчисленные унижения, которым он ее подвергал, утоляя насущные потребности своей грубой природы, причем больше всего за то, что раньше мучило ее в снах и отдало ему во власть. И вот она умерла, извергнув из своей утробы дитя — плод последнего надругательства над собой Ланка Толливера, надругательства над ее презрением к себе, над ее постоянным изумлением перед собственной слабостью.

Однако вовсе не банкир из Мемфиса заставил Толливера отпустить сына. В то время, когда Бреду исполнилось четырнадцать лет, Ланк Толливер был еще в расцвете сил; его природную заносчивость все еще подстегивали богатство и престиж, которые еще мог дать ему Фидлерсборо. И в этих условиях даже мемфисскому банкиру вряд ли удалось бы одолеть его самодурство. Удалось это самому Бреду. Но благодарить за это он должен был Лупоглазого. Ведь это Лупоглазый привел его на болото, где Толливер валялся в грязи, с еще не высохшими потеками слез на щеках.

И событие это имело двойные последствия.

Во-первых, мальчик, который умел сносить грубое самодурство отца и, в сущности, был привязан к нему из-за этого его самодурства, научившись играть на его причудах как на инструменте, не мог вынести, что при всей своей грубости отец позволял себе лежать в грязи и плакать. То, что он узнал, подорвало саму основу его существования. Он просыпался ночью, чувствуя, что его физически тошнит. Он не мог оставаться в доме после того, что увидел.

Во-вторых, мальчик понял, что теперь он получил в руки оружие, с которым сможет навязать свою волю отцу. И вот однажды утром в июле 1929 года мальчик спокойно заявил за завтраком, что осенью поедет в школу, где учится Калвин Фидлер, в академию Мори в Нашвилле.

— Черта лысого ты поедешь, — сказал отец.

— Я уже написал мистеру Котсхиллу, мамину родственнику, в Мемфис, — сказал мальчик, — и он все устроил.

Он смотрел, как темная кровь кинулась отцу в лицо, и подумал, что оно похоже на грозовую тучу, которая набухает в жарком летнем небе и вот-вот сверкнет молнией. Его вдруг окрылил этот образ, и он сказал самым невинным тоном:

— Знаешь, это тот мамин родственник, который распоряжается оставленными мне и Мэгги деньгами.

— К чертям собачьим! — заорал отец и вскопил, как ужаленный бык, который ломится сквозь кустарник. Стул под ним грохнулся, а сам он пошел на мальчика.

Мальчик не поднялся ему навстречу. Он только сказал:

— А что я про тебя знаю...

Отец остановился. Его остановили не слова, потому что он их и не понял. А невозмутимое лицо мальчика. Лицо было совершенно спокойное, ничем не

встревоженное, не взбудораженное какой-либо эмоцией. Белокурые волосы, еще темные от утреннего мытья, гладко прилизаны, волосок к волоску. Вот из-за этой невозмутимости отец и остановился как вкопанный с поднятой для удара правой рукой.

— Я видел, как ты плачешь, — сказал мальчик.

Отец вытаращился на него. Багровое лицо пошло белыми пятнами. Но рука была все еще поднята.

— Да, — сказал мальчик. — Я видел, как ты лежал в грязи на болоте, куда ты ходишь плакать. Ты плакал.

Поднятая рука задрожала.

— Послушай, — произнес мальчик теперь уже шепотом, — ты меня не удержишь. Ты предпочел бы, чтобы я убрался сейчас же. Ты ведь не хочешь, чтобы я остался и глядел на тебя, а ты бы знал, что я знаю каждый раз, когда я на тебя гляжу.

Белые пятна на лице стали еще заметнее. Вид у отца был совсем больной.

— К тому же, — продолжал мальчик, — у тебя останется Мэгги. Ты сможешь сажать ее на колени и трепать волосы и не будешь видеть, как я на тебя смотрю.

На этом все и кончилось. Рука медленно опустилась. Отец посмотрел на руку, потом прижал ее к бедру, словно на ней рана и он этого стыдится. Он вышел из столовой, не произнеся ни единого слова. Мальчик остался сидеть, но тут, мягко ступая, вошла негритянка и стала молча убирать со стола. Утреннее летнее солнце освещало объедки завтрака. А мальчика переполняло радостное ощущение своего могущества.

Глава пятнадцатая

Над темной махиной неосвещенного дома поднималась луна. Дигби еще не пришел. Несколько минут царило молчание, потом Мэгги спросила у Яши Джонса:

— На днях вы говорили, что, когда вам не спится, вы читаете. Что вы читаете?

— Стихи, — сказал он. — А вы стихи читаете?

— Ага, — ответил за нее Бред. — Сестричка их читает.

— По-моему, я читаю все что попадется, — сказала она. — Ведь целый день сидишь тут, в этом доме. У стариков Фидлеров было много книг.

— Сестричка читает стихи, как альпинист лазает на горы, — сказал Бред. — Просто потому, что они есть. А почему вы их читаете?

Яша Джонс засмеялся.

— Потому что я физик. Вернее, несостоявшийся физик, или человек, который собирался стать физиком. — Он помолчал. — Видите ли, — продолжал он, — многие физики играют на скрипке или слушают камерную музыку. Думаю, это потому, что музыка дает им другое эмоциональное измерение, нечто вроде эмоционального эквивалента того, что они делают. Это образ закона и потока, глубины и мерцания. Ну а мне, — в его смехе прозвучала легкая издевка, — мне слон наступил на ухо и я не настоящий физик. Поэтому мне остаются стихи.

— Глубина, — сказала Мэгги Фидлер. — Глубина и мерцание...

— Да, — сказал Яша Джонс, — во всяких хороших стихах они есть. Но я-то думаю об особом виде стихов — о тех, которые выражают наше время. Нашу физику. Которые, вернее говоря, предсказали нашу физику. Стихи Бодлера, Эзры Паунда, Элиота, Сен-Жона Перса. Ну и кое-кого еще. Кольриджа в его безумии, по-своему Вордсворта, у них это тоже было, уже так рано. Но не Йитса. Он не менее велик, но он анахронизм, у него Ньютоново мышление, страстное, устаревшее Ньютоново мышление, оно словно кромлех в лунном свете. Вся его чепуха насчет конусов, вращений, планшеток для спиритических сеансов и сумеречного кельтского духа — все это попытка создать нечто соответствующее таинственному содроганию Эйнштейна, Фрейда или Перса. Может быть, даже Маркса. Но у Йитса все пошло задом наперед: он думал, что содрогание происходит вследствие бегства от природы. А оно бывает от бегства в природу.

— На меня бы она быстро нагнала сон, — сказал Бред. — Эта поэзия.

— На меня поэзия не нагоняет сон, — сказал Яша Джонс. — Вначале совсем наоборот. Вот именно: она меня пробуждает. Я сижу в кровати посреди ночи и если наткнусь на хорошие стихи — у меня вдруг рождается ощущение, что мир вокруг меня беззвучно взрывается. Во все стороны, в абсолютной тишине, в виде длительного, текучего взрыва в полную тьму, которая разлетается во все стороны. Слово стены комнаты летят в бесконечность, оставив лишь эту маленькую точку света, или, вернее, если я закрою глаза или выключу лампу возле кровати, оставив в голове лишь светящиеся слова, как крошечные лампочки, мигающие в большой вычислительной машине. Я не хочу сказать, что большая машина — это я. Это место, где я мог бы быть, если бы был там. Потом мне вдруг становится легко, и я засыпаю.

— Ну знаете, это похоже на Руби Гольдберга⁵, — сказал Бред. — Так бы он нарисовал карикатуру на то, как засыпает человек, страдающий бессонницей.

— Лучшей модели для такой карикатуры, чем я, он не найдет, — засмеялся Яша. — А чтобы перестать, как выразился бы Бред, пыжиться, я вам скажу просто: это вроде утраты индивидуальности и если ты можешь на это пойти, ты засыпаешь. У нас ведь век утраты индивидуальности. Вы можете воспринимать личность только в точке, вернее только как точку пересечения бесчисленных линий, идущих внутрь и наружу. Личность равна точке, из которой... И точке, к которой... То есть ничто. Вот к чему мы пришли в наше время. Но люди боятся это признать. Поэтому за что-то цепляются — за доктрину или за наркотики. Лишь бы за что-нибудь ухватиться. Возьмите такого остро сознающего это человека, как Элиот, — самый гений его рожден подобным сознанием, но он его боится, ему надо пересчитывать епископов, как старому Сэмюэлю Джонсону надо было пересчитывать заборные столбы, со страху, что он взорвется. Но стоит вам примириться с тем, что это так, и вы сможете заснуть. Там очень покойно, в той точке, где пересекаются все линии. Всякое движение транспорта прекратилось.

И в уме Яша добавил: И можешь испытывать радость. Это все, что остается в точке, откуда разбежались все пересекающиеся линии.

— Держу пари, что вы были опытно-показательным профессором, — сказал Бред.

— Мистер Джонс, — сказала Мэгги, — его слова можно принять за комплимент, но в устах моего брата они вовсе таковым не являются.

— Я чувствую, как беззвучно взрываюсь, — сказал Бред. — Мое «я» беззвучно взрывается в «не-я».

— Тс-с, — сказала Мэгги, — послушай лучше пересмешника. Он сейчас начнет.

Птица взяла пробную ноту и тут же смолкла.

— Она беззвучно взорвалась, — пояснил Бред.

— Мистер Джонс... — произнесла Мэгги.

— Да?

— Вы обладаете необычным и приятным свойством, — сказала она. — Одновременно разговаривать со всеми и с каждым встречным. Не свысока. И не сквозь зубы.

— Вы хотите сказать, что у меня не хватает воображения? — сказал он. — Знаете, это не большой комплимент.

— А я считаю это комплиментом. Я должна так считать, потому что, понимаете ли, тогда это комплимент мне. Яша Джонс разговаривает со мной в Фидлерсборо — так же как Яша Джонс разговаривал бы с кем-нибудь в Калифорнии или в Нью-Йорке.

— А может, Яша Джонс просто разговаривает с самим собой, — сказал он. — Может, ничего другого он и не умеет. — В его тоне вдруг зазвучала суровость. Он поймал себя на этом и в тот же миг погрузился в мрак. Он почувствовал, что беспросветно одинок.

— Как бы там ни было, я не хочу, чтобы вы разговаривали по-другому, —

⁵ Американский карикатурист (род. в 1883 году), знаменит пародиями на сложнейшую машинерия, употребляемую для простейших операций.

сказала она. — И то, что я сейчас скажу, считайте комплиментом. Такое, по крайней мере, у меня намерение. Я ведь и правда пыталась понять то, что вы объясняли.

— Спасибо, — сказал он сухо. — Но я не уверен, понимаю ли я это сам.

Наступило молчание. Луна уже высоко поднялась над домом. На крыше тускло отсвечивала телевизионная антенна. Пересмешник снова завел свою песню. И снова замолчал.

— Бред, — нарушил тишину Яша.

— Что?

— Если бы нам удалось это передать...

— Что именно?

— То, о чем мы говорили. Глубину и мерцание. Передать хоть немножко. Луч, упавший на воду, когда низкое солнце только встает или уже заходит. Воды тихо поднимаются вон над теми низинами, а мы ловим на них отблеск света...

— Эй, есть тут кто? — весело окликнул их голос из укрытой тенями верхней части сада. — Где вы все?

Первая ответила Мэгги.

— А, мистер Дигби! — откликнулась она голосом высоким и звонким, словно от счастья. — Мы здесь, внизу. Спускайтесь!

Бред пошел навстречу гостю и привел его к ним; Дигби остановился перед Мэгги, она протянула ему руку, улыбнулась и сказала:

— Как мило, что вы пришли. Я готова была убить Бреда за то, что он не пригласил вас раньше.

Он стоял перед ней в лунном свете — плотный, круглолицый, круглоголовый. И, переминаясь с одной начищенной белой туфли на другую, словно боксер, натирающий подошвы канифолью, наконец выдал «спасибо, очень приятно» и «на случай, если вы сладкоежка», сунул ей коробку конфет, двухфунтовую, которую, постояв в магазине Рексолла, решил купить, рассудив, что это будет в самый раз — не какая-нибудь дешевка весом в фунт и не чересчур нескромная в пять фунтов.

Она ответила, что это просто чудесно, но он не должен был этого делать, теперь она всю ночь будет есть шоколад, ей и правда жаль, что Бред не позвал его раньше, она и не помнит, когда разрешала себе такую шоколадную оргию, — все это она произносила так же оживленно, звонко, как отозвалась на его оклик из темноты; она сидела выпрямившись, будто хотела выгодно показать свою тонкую талию, улыбалась и не сводила с него глаз.

А он улыбался в ответ. У него был на редкость счастливый вид, когда он, стоя перед ней, правой рукой поправлял полосатый галстук-бабочку. Галстуком явно можно было не заниматься, ибо он сидел математически правильно под воротником чистой белой рубашки. Луна уже светила так ярко, что полоски на галстуке были отчетливо видны.

Потом он сел и пригнулся вперед, чтобы лучше ее слышать. Время от времени он попивал виски. Пил он смакуя, мелкими глотками, как на рекламной картинке, где изображается, как пьет человек, понимающий толк в напитках. Он смеялся, и почти всегда кстати, над тем, что она говорила. Хотя ее брат и поглядывал на нее не без удивления и тревоги, она весело, простодушно рассказывала истории из жизни Фидлерсборо, сопровождая слова жестами, мимикой, явно сознавая, что может нравиться, что роль ее — смеяться под луной и нравиться.

— ...и бедная мисс Юфимия крала все подряд. В Фидлерсборо не очень-то хорошо знали, что такое клетомания, но хорошо знали мисс Юфимию. Знали, что она ворует — не так, как воруют другие. Например, только ей удалось — клянусь вам, это правда! — украсть витражи из методистской церкви. Еще когда у нас была методистская церковь и...

— До того, как наш папаша прикрыл их лавочку, — пояснил Бред.

— Тс-с, — сказала Мэгги, — не перебивай!

— Он предъявил их закладную в суд, — сказал Бред.

— Окна вынули, чтобы помыть, — продолжала она, не обращая внимания

на брата. — Прислонили к стене. И вот в полдень, в самую жару, появляется мисс Юфимия под бело-голубым зонтиком со сломанной спицей. Кругом, как на грех, ни души. А тут катит на телеге, запряженной мулами, старый негр Зак. «Дядя, — говорит мисс Юфимия, — погрузите-ка мои окна и свезите ко мне домой». Он так и сделал. Люди мисс Юфимии обычно не перечили. Зак их погрузил, а она взобралась к нему на передок — как была в черных нитяных перчатках, пенсне, под зонтиком со сломанной спицей — и покатила среди бела дня, в жаркий летний полдень, в самое уединенное и безлюдное время дня в Фидлерсборо, прямо к своему сараю. Ну а методисты никак ума не приложат, куда девались их окна. Старый Зак — он работал у нашего отца — рассказал хозяину, и...

— Если вы думаете, — вставил Бред, — что наш старик был из тех, кто позволит своим должникам разбазарить хоть что-то из заложенного имущества, будь то даже витражи, глубоко ошибаетесь. Он написал письмо методистскому священнику с требованием вернуть окна и вставить на место. Безотлагательно. Бедные методисты понятия не имели, где эти окна, но знали моего папашу. А папаша знал, где окна, но не желал им этого сказать. Заварил кашу, как он обожал это делать. Поэтому...

— Тс-с, — сказала Мэгги, — мы же рассказываем об окнах, а не о бедном старом папочке. — Она повернулась к Дигби. — В общем, методистам пришлось долго их доискиваться. Они землю носом рыли, все разнюхивали, где могут быть эти окна. Наконец один их мальчонка как-то загнал kota в сарай мисс Юфимии — методистские мальчишки любят травить кошек. Но это делу не помогло. Нельзя же заявить во всеулышание, что такая приличная старая незамужняя дама и прихожанка епископальной церкви, как мисс Юфимия, — воровка! Методисты пытались взвалить это дело на шерифа. Шериф — им тогда был старый мистер Паркл — не желал даже пальцем пошевелить. Умыл руки. Сказал только: «Идите вы к черту, я-то ведь баптист» — и положил в рот новую порцию жвачки.

— И что же они сделали? — помолчав, спросил мистер Дигби.

— А скажите, мистер Дигби, — с серьезным видом осведомилась Мэгги, наклоняясь к нему, — что бы сделали вы, будь вы методистом?

— Мои родители, мать во всяком случае, — лютеране, — сказал мистер Дигби.

— Ну а все же, предположим, что вы не лютеранин и все это происходит в Фидлерсборо, — как бы вы тогда поступили?

Дигби поразмыслил, скромно отпил виски, поставил бокал на землю, похрустел костяшками пальцев, ухмыльнулся и признал, что понятия не имеет, как бы он поступил.

Она его упрекнула, что он ленится, просто не хочет подумать.

Нет, он, ей-богу, не знает, и все.

— Вы чересчур честный человек, — сказала она. — Выход нашелся самый простой. Украсть их обратно. Так они и поступили — священник, старосты и прочие. Достали телегу, мулов и дождалась ночи потемнее. Но у мисс Юфимии был чуткий сон. Она пальнула по ним со второго этажа дробью из старинной двустволки. Но опоздала. Они уже успели отъехать. Правда, в одного из мулов угодил заряд, он стал пятиться, брыкаться, а так как священник был далеко не Бен-Гур, возникли затруднения, которых, казалось, не победит даже вера. Началась неразбериха, — продолжала Мэгги, — но я вам постараюсь изложить все как можно яснее. Выстрел разбудил людей. Кто-то принялась бить в пожарный колокол. Решили, что из тюрьмы сбежали арестанты. Тюремные прожекторы стали обшаривать окрестности. Люди повыскакивали из домов — те, кто со страха не залез под кровать. Прожекторы в конце концов нащупали упряжку мулов, витражи на телеге и беднягу священника, который ею правил с лицом, залитым потом. К этому времени его уже сопровождала ватага полуголых мальчишек, они высыпали через окна и двери, чтобы поглазеть на это полуночное зрелище, и галдели как оглашенные. К толпе присоединились и взрослые безбожники, то есть не методисты. Священник гнал своих мулов. Гнал, и, как потом говорили, пот с него лился градом, словно был знойный полдень. По сторонам он не глядел. Губы его шевелились, творя молитвы. Позднее люди уверяли, будто молитва и тут доказала свою силу. — Она обернулась к брату. — Дай мне подкрепиться, пока я не

переняла твою привычку болтать без умолку. Лучше уж перейму твою привычку пить без удержу.

Он налил ей виски.

Она отпила глоток и снова обернулась к Дигби.

— Вот и все,— сказала она.— Или почти все,— добавила она, сделав еще глоток.— Не считая мисс Юфимии.

— А что она?

— Кудахтала, как недорезанная курица. Пошла к бедному шерифу — он даже еще не успел позавтракать — и заявила, что Фидлерсборо в опасности. Ее ограбили. Пусть он пошевеливается и вернет ей пропажу. Он сказал, чтобы она подала письменную жалобу с описанием украденного имущества. Она уселась тут же у него на веранде и до завтрака написала жалобу. Ну и как вы думаете, мистер Дигби, что, по ее словам, у нее похитили?

Мистер Дигби приоткрыл рот, но не издал ни звука. Глаза его вспыхнули, словно ему пришла в голову мысль, и тут же погасли. Рот снова судорожно дернулся, казалось, он сейчас что-то произнесет. Но мистер Дигби явно не посмел высказать свою догадку.

— Тогда я вам скажу, мистер Дигби,— заявила она с торжеством.— Мисс Юфимия подала официальную жалобу, что неизвестный или неизвестные выкрали у нее из сарая шесть оконных витражей.

— Ну и ну! — протянул мистер Дигби. Лицо его медленно расплылось в улыбке.— Вот те на...

— А вы, мистер Дигби, собираетесь затопить Фидлерсборо! — воскликнула она горестно.— Хотите затопить единственный город на всем белом свете, где бедная мисс Юфимия может быть мисс Юфимией. Что же нам тогда остается делать, мистер Дигби?

Он сказал, что очень сожалеет, ему понятно, какая жалость терять такой прекрасный дом. Она сказала: да ну его, на что она ей сдалась, эта старая крысоловка, ее тревожат будущие мисс Юфимии — где теперь таких найдешь?

Бред попросил ее рассказать, как мисс Юфимия украла гроб, чтобы его примерить, когда мистер Лортон получил новую партию гробов без упаковки и выставил их у себя в переулке.

Она пообещала припомнить и эту историю.

Бред закрыл глаза, слушая этот веселый голос. Нет, кажется, все обойдется.

Дигби, выпив не спеша три бокала виски, хорошо разбавленного содовой, вовремя откланялся. Бред, проводив его до парадной двери, вернулся, постоял в лунном свете, а потом, деланно зевнув, заявил, что, ей-богу же, он осоловел, пора спать, и быстро зашагал по дорожке к дому.

Глядя ему вслед, Мэгги сказала:

— Бедный Бред...

Яша Джонс промолчал.

Она:

— Как он беспокоится.

Он опять промолчал.

— Беспокоится обо мне. Это теперь-то!

Она обождала, не отзовется ли он на ее слова, не спросит ли хоть что-нибудь. Но он молчал.

— Вы никогда не задаете вопросов? — спросила она.

— Иногда задаю. Когда забываю важный принцип, который когда-то выработал.

— Какой?

— Закон Яши Джонса «Об информации и свидетельских показаниях».

— Все равно не поняла.

— Закон таков: на прямой вопрос получаешь лживый ответ. Поэтому вопроса не задаю. А заявляю: Бред беспокоится не о вас. Он беспокоится о себе.

Она поглядела на темный дом.

— Может, и так,— согласилась она после долгой паузы. Потом наступило

молчание, в которое каждый из них погружался все глубже и глубже, как бы забыв о присутствии другого. Наконец она произнесла:

— Он беспокоится потому, что ему страшно, не останемся ли мы — он и я — сегодня вдвоем.

Когда она произнесла эти слова, ему показалось, что она отпустила веревку, опору, мешавшую ей окончательно погрузиться в темную глубину молчания. Когда эти слова были произнесены, она, казалось, скрылась из виду, и лунный свет, падавший на лицо, которое не было от природы бледным, заставил его вообразить, будто она исчезает в глубине, оставляя лишь беловатый блик. Но, подумал Яша, в этом тонушем отблеске он не прочел мольбы о спасении. И в тот миг, когда женщина погружалась все глубже, он увидел первый проблеск ее волшебного превращения, первый привольный взмах вновь родившейся силы, словно там, в темных глубинах, она победно вступила в родную стихию, более присущую ей, чем земная поверхность с ее обманным светом.

Тогда Яша Джонс подумал, что он и сам погружается в молчание, в глубину самого себя, которая вдруг показалась ему сумеречной, зыбкой, удушливой. Сознание его сделало беспомощное усилие выкарабкаться на чем-то удержаться, наладить какую-то связь. В этот короткий миг перед ним закружилась толпа бесформенных образов, бесплотных, как плеск волн в темноте, и рука его не смогла ни за что ухватиться.

Он сидел, не понимая, стоило ли пройти все эти годы и расстояния, чтобы очутиться здесь, в этом ничем не примечательном саду штата Теннесси, посреди ночи, и так губительно провалиться в темную глубину самого себя. В эту минуту он вдруг почувствовал недобрую зависть к женщине, которая так победно и высокомерно ускользнула от него в темное, свободное «я». И от безысходности поднял на нее глаза. А она смотрела на него.

— Мой муж... вы сегодня видели его? — спросила она.

Ему пришлось вынырнуть откуда-то из глубины, чтобы ей ответить. И даже пересказать себе ее вопрос, восстановить время и место, прежде чем он смог ответить: да, видел.

— Да, — сказал он, — в больнице... в лазарете... он был там. Я осматривал помещение и вдруг заметил, что меня упорно разглядывает какой-то человек. Он подошел и представился. Сделал это очень спокойно, с таким видом, будто уверен, что я все про него знаю. Протянул мне руку и сказал: «Мистер Джонс, я с удовольствием смотрел некоторые ваши фильмы. Нам их здесь показывают, хоть и с опозданием. Я доктор Фидлер».

Она снова ушла от него в себя. Потом спросила:

— Как он выглядит?

— Вы знаете мистера Бадда... помощника смотрителя тюрьмы? Так вот он, по-моему, великолепно описал его Бреду. Он сказал...

— Бреду? — прервала она. — Значит, Бред... не пошел в лазарет?

— Нет.

Она помолчала, обдумывая это сообщение.

— Значит, он туда не пошел, — сказала она сдержанно. И добавила: — Они были когда-то очень дружны. — Потом снова подняла на него взгляд. — А что сказал мистер Бадд?

— Он сказал, что мистер Фидлер похож на поседевшего мальчика.

Она медленно усвоила эти слова, подумала над ними.

— Могла бы и сама догадаться, какой он. — И обращаясь уже прямо к нему: — Знаете, почему я могла бы догадаться?

— Нет.

— Потому что я сама себя так ощущаю. Поседевшей девчонкой. Слово во мне что-то заморожено. Только волосы меняются.

— Да, — поколебавшись, признался Яша Джонс. — У вас есть седина.

Она кинула на него быстрый взгляд.

— Да. Но я все же удивлена. Что вы сразу согласились... Так не слишком галантно.

— Я и сам удивлен, — сказал он. — Но сказать «нет» я не мог. И смолчать тоже не мог. Это было бы по отношению к вам даже дурно. Не знаю чем, но

дурно. Поэтому, — он развел руки ладонями кверху в знак покорности судьбе, — я должен был сказать «да».

— Пришлось сказать правду? — засмеялась она.

— Я не страдаю пороком правдолюбия. Но иногда без этого не обойтись. Она молчала. Потом, словно очнувшись, спросила:

— Почему не обойтись?

— Я нарушу закон Яши Джонса «Об информации и свидетельских показаниях» и сам задам вам прямой вопрос.

Немного погодя она сказала:

— Да, приходится говорить правду, я хочу сказать — приходит время, когда без этого не обойтись, если... — Она помолчала, а потом договорила: — Если хочешь выжить...

Она поднялась со стула. Ее движения вдруг стали тяжеловесными, неуклюжими, в них появилось что-то чуть ли не старческое. Она отошла, встала возле низкой кирпичной ограды и поглядела на реку.

Он вдруг почувствовал, что смотрит на все до странности отчужденно. Вспомнил, как в первое утро до завтрака — и с удивлением сообразил, что это было всего четыре дня назад, — он спустился погулять и взглянул за ограду. При ярком солнце над берегом видны были заросли можжевельника, жимолости, засохшие стебли лаконоса. Он увидел там ржавые банки от свиного сала и ржавые банки от кофе, еще не опутанные цепкими побегам, стоптанную туфлю, старые бутылки, разбитый стеклянный графин. Он увидел более пышную зелень там, где, должно быть, протекала труба.

А теперь он смотрел, как она глядит на залитую луной реку и на западный берег, и думал, как выглядит этот берег при лунном свете. Он думал, как снять на пленку то, что она видит. Снимать надо, конечно, с реки. Под взгорком можно найти место для штатива. Трудно, но можно. Надо спанорамировать снизу, чтобы поймать в кадр женскую фигуру, опустившую под белесой шалью плечи, с освещенным луной лицом. Поймать и отблеск того разбитого графина, поймать, но не задерживаться на нем. Панорамируя, надо схватить его также мимоходом, как поймать в объектив папоротниковое кружево рожкового листа, выбеленного луной. Потому что все должно казаться частью всего остального.

Да, отметил он снова, сейчас она слегка опустила плечи. Он отмечал это бесстрастно. Он подумал, что уже несколько лет для него поглощенность делом — способ, единственный способ ощущать себя в окружающем мире. Но сейчас, в данную минуту, ему показалось, что вот эта самая поглощенность — не стала ли она скорее бегством от окружающего мира? Но и это наблюдение над собой он тоже произвел бесстрастно.

Мэгги повернулась к нему. Плечи, определил он, выпрямились. Она стояла не меньше чем в пятнадцати футах от него, но заговорила, не повышая голоса:

— Дигби, этот молоденький Дигби...

— Что?

— Такой молоденький мальчик, а придя с работы, он бреется, умывается, брызгает на себя одеколоном и надевает белую рубашку, а вот вы с Бредом становитесь с каждым днем все неряшливее...

— Да...

— ...начищает белым кремом туфли, надевает свой лучший твидовый пиджак, трижды перевязывает полосатый галстук бабочкой, чтобы он сидел точно на месте, как положено инженеру, и когда наклоняется, он даже в темноте держится прямо и каждое утро пятьдесят раз отжимается на руках, чиркает спичкой о ноготь, с первого раза зажигая вам сигарету, а когда пригибается, чтобы поднести вам огонь, его лицо вдруг выступает из темноты и он вам улыбается, и вы видите все его белые зубы лопатками, щелястые, как у ребенка, и... — Она замолчала.

— И что? — спросил Яша Джонс, ощущая, что вдруг заговорил неприятным тоном и что в душе его загорается темное, недоброе возбуждение. А может, сказал он себе, когда она готовилась что-то добавить, он знает, что ей надо сказать и должен заставить ее это сделать?

Ладно, — сказал он себе, — пусть будет и то и другое: и жестокость и нежестокость!

— И что? — повторил он.

— И приносит вам это, — сказала она, протягивая ему в лунном свете коробку шоколадных конфет, положенную на ограду. — Приносит мне это! — сказала она и засмеялась. Но тут же смеяться перестала. — Не дай бог еще пригласит меня на бал для старшего курса и... ох!

— Что ох?

— Вы можете себе представить его мертвым? — спросила она очень тихо.

— Не очень.

— Ну а я могу. Еще как. И знаете почему?

— Если хотите, чтобы я знал, скажите.

— Зачем Бред его привел! — воскликнула она. — Как я его за это ненавижу!

Минуту он вглядывался в залитый луной горизонт. Потом сказал:

— Не думаю, чтобы вы были очень способны на ненависть.

Она стояла, глядя на коробку конфет, которую держала в руках. И вдруг, словно в ней что-то сломалось, присела на низкую кирпичную ограду.

— Разве я могу ненавидеть Бреда? — спросила она уныло, как-то бесцветно. — Я просто себя ненавижу за то, что слабее, чем думала.

Казалось, она говорит это себе, а не ему. А потом решительно, но словно лишь усилием воли подняла на него взгляд.

— Это было очень давно, — произнесла она голосом, который как будто тоже слинял от времени. — С другим молодым инженером. Его звали Ал Татл, Альфред С. Татл, но все называли его Тат, и мой муж его застрелил.

КНИГА ТРЕТЬЯ

Глава шестнадцатая

В конце января 1939 года, сразу же после того как они с Легицией решили пожениться, Бред прилетел в Нашвилл, где он взял напрокат «шевроле», и час спустя уже катил в Фидлерсборо по дороге, которая в те времена быстро превращалась в выщербленный колдобинами проселок. Когда он добрался до горной гряды к востоку от города, по-зимнему красное солнце уже садилось.

Он проехал весь город. На улицах не было ни души. В бакалее Пархема тускло горел свет, и, проезжая мимо, Бред через дверное стекло увидел, как седобородый мужчина нес большой бумажный мешок, торопясь к выходу, домой. Свет горел и в лавке Рексолла. Там сверкала никелем и мрамором стойка с газированной водой, но людей не было видно.

Он выехал на Ривер-стрит. Окна фасадов были темные, но кое-где в окнах, выходивших во двор, виднелся свет. Из темнеющих окрестностей, с улиц, из пустоты самого дома жизнь ушла назад, к очагу, к столу, на котором дымилась пища.

Он медленно доехал до конца Ривер-стрит, миновал последнее освещенное окно, пустыри, где тьма, казалось, запуталась в поваленных заборах, последний уличный фонарь, и его наполнило удивительное ощущение покоя. Он остановился у своего дома, выключил мотор и посидел немного, глядя на темные окна. Он не видел этого дома четыре года, с похорон отца.

Внутри не было видно ни зги. Электричество, конечно, отключили. Поставив чемодан посреди прихожей, он при свете фонарика снес на кухню ящик с припасами, купленными в Нашвилле. Нашел свечи в ящике, где они хранились еще в детстве на случай, если буря порвет провода. Поставил три свечи на блюдце и зажег.

Он пересек кухню и подошел к окну, выходившему на запад. В небе еще горело зарево, но теперь уже низко над горизонтом. Он смотрел на багровое небо за рекой и за равниной, где затопленные водой канавы ловили последние красные отблески, а голые черные деревья, такие маленькие издали, очерчивали туманную плоскость.

Немного погодя он заметил отражение свечи на левом оконном стекле. Когда он снова поглядел на небо, зарево уже погасло.

Он вышел из кухни. Стал бродить по холодному, темному дому, то освещая себе дорогу фонариком, то полагаясь на память. Постоял неподвижно в прихожей, на лестнице и в комнате, держа погашенный фонарик в руке и затаив дыхание. У него было ощущение, что он и сам — темный дом. Темный дом, в котором он стоит, и в то же время — человек, который затаил дыхание в огороженной стенами темноте. Воспоминаний не было. Прошлое не возвращалось. Он просто жил в молчании и темноте. В черном пространстве висел мутно-серый квадрат окна. Пятно, не дающее света. То один, то другой предмет приобретал вещественность — не форму, а только особую густоту тьмы. Казалось, что беззвучность и темнота дома — это потоп, он захлестывает комнату все выше и выше, заливая пространство, поглощает его. В том покое, который он ощутил, ему казалось, что темнотой и молчанием дом медленно, постепенно замаливает свои грехи.

В верхней спальне с северной стороны он подошел к окну и стал смотреть на город. Он видел огни в дальних домах. Напрягая зрение, разглядел человеческую фигуру в освещенной комнате. Но все дома были слишком далеко. Он подумал о незнакомом седобородом мужчине, которого мельком заметил в витрине бакалеи Пархема. Он подумал о том, как этот человек несет домой по улице бумажный мешок с едой, проходит под фонарем, входит в белый дом, где дощатое крыльцо требует починки, отдает мешок женщине, которая сварит суп, нальет в тарелку, поставит перед ним на старую клеенку. Бред пытался представить себе лицо этой женщины, как она откидывает седую прядь со лба и поправляет очки — они слегка запотели от пара. Улыбнется ли она мужчине поверх дымящейся тарелки?

Он теперь знал, что внутренний покой воцарился в нем безраздельно. Слово он, Бредуэлл Толливер, открыл глубоко запрятанного себя самого. Свое истинное «я», которое будет жить вечно.

Он глядел из своего окна вниз, на темные крыши, а потом вверх, на темную громаду гурьмы, и еще выше, на небо, где сияли по-зимнему яркие звезды. Он почему-то поднял руки. И в тот миг — вызвал ли его этот жест или жест был им вызван, он не знал, что было причиной, но в воздухе возникло лицо Летиции Пойндекстер, словно ее образ там, в светящейся туманности, был слит с темной землей, с этим небом и над ними парил.

Она смотрела на него с любовью, с печальной ласковой улыбкой, с томлением и наклоняла к нему голову, как этого часто требовал ее рост, выражая этим движением нежную покорность. Он почувствовал, как время над ним течет, проникает сквозь него, как происходит какой-то глубокий процесс, необычайно ему важный.

Он вернулся на кухню, открыл чемодан, достал пачку бумаги и бутылку, налил себе виски, но пить не стал и при свете свечи, так и не сняв пальто и не чувствуя голода, сел писать:

Моя дорогая.

Только что приехал. Сажу на кухне при трех свечах и пишу тебе. Я бродил по темному дому, где не слышно ни звука, и в этой тиши и мраке я понял, что твоя доброта, красота и любовь — это то, чем я живу и всегда буду жить. Я видел в темноте твое лицо и тянул к нему руки, чувствуя, как Время течет сквозь мое существо и надо мной в каком-то глубинном ходе вещей, необычайно мне важном. В эту минуту я учусь у тебя, как бесконечно радостно жить во Времени, через настоящее постигать прошедшее и будущее. Теперь я зримо представляю себе, какой будет у нас с тобой жизнь; и когда ты войдешь в темный дом, все...

Он проснулся в темноте среди ночи в комнате своего детства; ложась, он попросту завернулся в одеяло и уткнулся головой в жесткий тик подушки. В голове, уже когда он просыпаясь, созрела мысль: Но в одну комнату я не вошел.

Он выспростался из одеяла, нащупал ногами туфли, надел пальто вместо халата и, освещая дорогу фонариком, вышел в переднюю, спустился по лестнице и

через большую прихожую вошел в библиотеку. В этой комнате он не был с того дня, когда отсюда вынесли отцовский гроб.

Он обвел стены фонариком, освещая книжные полки, пустой камин, пол, и задержал луч на том месте, где тогда на козлах покоился гроб. Ждал ли он, отыскивая сюда дорогу, чего-то, что не произошло?

Он вспомнил, что в тот день сказала ему сестра. Как он вбежал в эту комнату, приехав прямо из Дартхерста, и как она, молодая девушка с едва набухшей маленькой грудью и широко расставленными темными глазами, плакала, стоя посреди комнаты, и, увидев его, воскликнула: «Смотри, каким он стал маленьким, а ведь был такой большой!»

И вот теперь он стоял сгорбившись, дрожа даже в пальто, и, уставив луч фонарика на то самое место, на место, где был гроб, он тоже заплакал. Заплакал внезапно, сам себе удивляясь. Будто плакал кто-то другой. Потом он попытался присвоить себе этот плач. Извлечь из него пользу. На миг даже возгордился тем, что вот он, Бредуэлл Толливер, способен стоять в темном доме и плакать. Он ждал награды — блаженного чувства облегчения, которое должно наступить. Но не наступило. Грудь его надрывалась от рыдания. Редкие слезы бежали по щекам. Его удивляло, что слез так мало.

И вдруг он почувствовал, что стоит здесь и плачет кто-то другой, посторонний, чье горе неведомо Бредуэллу Толливеру. Его обманули.

— Дерьмо, — выругал он себя вслух.

Воспоминание об этом эпизоде он старался прогнать от себя в последующие годы. Думать о нем он не мог. Он не понимал, что все это значило. Но знал, что когда он об этом думает, он думает и об отце, который лежал и плакал в болотной грязи, а этой мысли он вынести не мог никогда.

На обратном пути в Нью-Йорк он на сутки остановился в Нашвилле повидать сестру.

Она тогда училась в Ворд-Бельмонте, куда попала — хотя для спокойствия души ей лучше бы этого не знать — только ценой смерти отца.

Весной 1935 года банкир Котсхилл из Мемфиса — тот троюродный брат, которому миссис Толливер завещала распоряжаться деньгами, оставленными ею на образование детей, — посетил Фидлерсборо. Он сказал старому Ланку Толливеру, что настала пора выполнить условия завещания и послать девочку «в какое-нибудь достойное учебное заведение, только не в Фидлерсборо». Старый Ланкастер Толливер заявил, что, черт побери, он будет держать девочку там, где ей положено быть, при себе, дома, в Фидлерсборо.

Тут банкир Котсхилл даже выиграл. Он сказал, что ему известно, что с годами дела у мистера Толливера идут все хуже, что Фидлерсборо — полумертвый город, где нормального экономического подъема нечего и ждать, что мистер Толливер должен только радоваться, если кто-нибудь возьмет на себя заботу о девушке. Ему известно и то, добавил он, что мистер Толливер держит большую часть своего состояния в Народном банке Фидлерсборо, а банк этот, говорят, трещит по швам. Он сказал, что как банкир не понимает, почему мистер Толливер, так плохо разбираясь в делах, рассчитывает на помощь откуда-то.

Ланк Толливер налился кровью и, выкатив глаза, крикнул мистеру Котсхиллу, чтобы тот убирался к дьяволу, пока он не переломал ему шею. Мистер Котсхилл, чувствуя себя хозяином положения, пожелал старому обдирицу ондатры доброго здравия и решительно зашагал к большой черной машине, где сидел его негр-шофер в ливрее и курил сигарету, а на него с восторгом таращились трое местных мальчишек. Машина еще не вышла за пределы Фидлерсборо, как Ланк Толливер уже отправился на своей лодке с подвесным мотором в болота. В одиночку. Тело его нашли через два дня. Покойник лежал, уткнувшись лицом в сырую черную землю. Но бутылка была едва почата.

Теперь, проведя четыре года в летних лагерях, в Ворд-Бельмонте и в богатом, затененном от солнца доме бездетных Котсхиллов, Мэгги Толливер достигла восемнадцати лет. Это была темноволосая, тоненькая, хорошо сложенная девушка. Душевная теплота и юмор помогали ей легко сходитьсь с товарками, но ей

было мало их постоянного хихиканья и маленьких тайн, и она чувствовала, что такая жизнь не по ней. Иногда ей снился Фидлерсборо, где она не была со смерти отца, и сны эти были полны страхов и томительного волнения, будто она смотрит в зеркало и чувствует, что какое-то лицо только что исчезло у нее за спиной. Она наклеивала в тетрадь все, что касалось ее брата: несколько вырезок из газет, рецензии и его редкие письма к ней. У нее не сложилось в ранние годы ясного представления о нем, и, по правде говоря, попытка воскресить эти годы была ей неприятна, но когда он написал ей, что хочет заехать в Нашвилл, она чуть не расплакалась от счастья.

Он застал ее в приемной — она стояла с соседкой по комнате и еще двумя соученицами, те, поглядывая на него не без робости и в то же время по-женски оценивая его, сказали, что рады с ним познакомиться. Соседка по комнате вытащила припрятанный томик «Вот что я вам скажу» и попросила автограф, а остальные, поняв, что их обошли, засуетились, достали какие-то листочки и тоже заставили на них расписаться. Они сообщили, что какой-то из его рассказов читали у них на уроке литературы. Одна из них сказала, что это так романтично — его намерение жениться и привезти свою невесту в Фидлерсборо. Другая сказала, что, судя по его рассказу, прочитанному на уроке литературы, и сам Фидлерсборо, наверно, ужасно романтичный. Соседка по комнате сказала, что с его стороны было смело и ужасно романтично поехать в Испанию сражаться с фашистами. Он стоял среди них и думал, какие они молодые, похотывал и чувствовал себя старым, мудрым, сильным, снисходительным и властным. И тут он поймал на себе взгляд сестры.

Он почувствовал, что краснеет.

В эту минуту он понял, до чего она непохожа на своих товарок, на этих девочек в мягких кашемировых свитерах, с мягкими животиками, на которых резинка от трусиков, когда их снимешь, оставляет розовую полоску, с острыми локотками и звенящими браслетками на запястьях, где тонкие голубые жилки нежно прошивают белизну кожи. У Мэгги не было и следа этой ласковой, кокетливой мемфисской невинности или сонного, кошачьего самодовольства девушек из Чаттануги. Она стояла в отдалении — темные волосы были зачесаны назад, над смуглым овалом лица — стояла твердо, прямо, скорее невысокая, но без этой девчачьей манеры показывать, что тронь ее — и она убежит. Она выглядела на тысячу лет старше своих товарок и, стоя в отдалении, не сводила с него темного немигающего взгляда.

И хоть он почувствовал, что краснеет, он послал ей широкую братскую улыбку, которая должна была наладить то, что было в разладе. Улыбка подействовала. Глаза Мэгги повеселели, губы растянулись в ответной улыбке, белые зубы засверкали на загорелом лице, и он с легким сердцебиением узнал давно знакомое детское лицо. Он расправил плечи.

— Пошли, сестренка, — сказал он с грубоватым добродушием, — нехорошо задерживать этих девиц на всю ночь.

Он посадил ее в наемную машину и отвез на ферму, переоборудованную под ресторан, — ему сообщили в отеле, что там всегда найдется виски и могут подать вино. Он обнял ее правой рукой за плечи, сказал, что ему не часто выдается случай прижать к себе свою сестренку, и повел машину быстро, с небрежной уверенностью. Он пытался заставить ее рассказывать о себе, говоря, что надо восполнить пропущенное время, но она твердила, что рассказывать ей нечего. Ей-богу, нечего, к тому же она слишком счастлива, чтобы разговаривать.

...и я до сих пор, через столько лет, помню, как я была счастлива. Словно все время чего-то ждала и вот наконец оно случилось. Я не знала, что именно, но что-то будет. Словно шла какая-то жизнь еще раньше, до Фидлерсборо, которую я не очень-то могла припомнить, а теперь мне сулят другую жизнь, когда, и где, и какую — не знаю. Но за все время между той, прежней, и той, что будет, ни в Ворд-Бельмонте, ни в Мемфисе не было ничего, кроме одиночества.

Это не было тоской. Было ожиданием. Я жила, как другие девочки, ходила на уроки, болтала о тряпках и свиданиях, спорила, что тот мальчик — прелесть, а этот — прилипала; бегала на танцы, по-девчоночьи смутно мечтала о том, что у меня будет свой дом, замечательный муж, дети. Но все это было что-то нена-

стоящее, просто ожидание. Иногда я думала или внушала себе, что влюблена в какого-нибудь мальчишку. Но в глубине души знала, что это неправда. У меня, конечно, бывали романы, но никогда ничего серьезного, не так, как у других девочек, не так, как они мне рассказывали, — даже до того, что можешь, сама того не заметив, поскользнуться и перейти границы. Я просто дурачилась. И все это было только ожидание, как ожидают в сказке, чтобы тебя расколдовали. Вот Бред и должен был снять колдовство.

Правда, я не так уж хорошо знала Бреда. В детстве мы не были очень близки. Во-первых, он был много старше меня, мало бывал дома и либо шатался с мальчишками, либо бродил по лесу с каким-нибудь проходимцем вроде Лупо-глазого, либо играл в шахматы с этим добрым стариком мистером Гольдфарбом. Во-вторых, он так не ладил с отцом, просто ужас. Но теперь как раз то, что я не видела его столько лет, сблизило нас больше, чем если бы мы дружили с ним в детстве. Он вдруг появился ниоткуда, из ничего. Он написал книгу. Он воевал в Испании. Он был по-своему красивый в своем потертом твидовом пиджаке, сильный, добродушный, когда, конечно, не хмурился. Собирался жениться на какой-то нью-йоркской девушке, а знали бы вы, чем для меня, да и для других девочек в Ворд-Бельмонте — признайся они в этом, — была самая всамделишная нью-йоркская девушка! Ну так вот, Бред явился — как с неба упал. Теперь моя жизнь, наверно, изменится как по волшебству. Даже ресторан и тот был как из сказки, удивительное место, в такие места девушек, во всяком случае таких молодых, как я, приличные мальчишки не водят. Бред пил и меня заставил разок выпить. Я и до того несколько раз пробовала выпивать. Кое-кто из девчонок, сидя в пере-рыве между танцами в машине, выпивал по два, а то и по три бумажных стаканчика виски с кока-колой или лимонадом, а потом они жевали сен-сен, чтобы от них не пахло, я же пила только для того, чтобы не чувствовать себя не такой, как все. Мне это, в общем, не нравилось. Но ради Бреда я выпила. Потом, за обедом, я выпила и вина. А он рассказывал о своей девушке. Мне все больше казалось, что она тоже часть всего этого волшебства.

Рассказывал он о ней как-то отрывочно. Что-нибудь скажет, а потом замолчит, будто о чем-то думает и выбирает, что можно мне рассказать. Говорил, что она мне понравится, и что я понравлюсь ей, и что они хотят, чтобы я провела вместе с ними лето в Фидлерсборо. Он то и дело к этому возвращался, и каждый раз на душе у меня становилось все лучше. Тут уж мне сулили настоящее волшебство!

Бред в тот вечер был такой ласковый. Там был музыкальный автомат, и он со мной танцевал, а потом сказал, что я прекрасно танцую. А чего не было, того не было. Сказал, что я стала красоткой. Чего опять же не было. Спрашивал моего совета, как покрасить и подремонтировать дом в Фидлерсборо. У меня было такое ощущение, а может, оно пришло потом, что он старается пробиться ко мне, что ему нужно что-то завязать, найти. Вот эта потребность, как я потом поняла, и толкнула его на то, что он сделал.

Он танцевал со мной и так меня завертел, что у меня голова закружилась, а он молчал, и казалось, что все его мысли далеко-далеко, и когда я кружилась, я закрыла глаза и будто телом чувствовала, как он думает о той девушке. Мне хотелось представить себе, что это ее он кружит и кружит, а глаза у нее закрыты и они так счастливы. Незнаю как, но словно по волшебству я могла это понять и в этом счастье участвовать. Ведь можно сказать, что их счастье и мне что-то сулило. И ощущение того, до чего же ему хочется быть с ней и танцевать с ней, заставило меня сказать то, что я сказала. Я хотела, чтобы он знал, что я его понимаю. И я как-то по-глупому выпалила, что не пойму, откуда у него взялось на меня время, почему он сразу не понесся назад, чтобы жениться на ней.

Мы как раз сели за столик. Голова у меня кружилась от вальса и от вина. Он смотрел на меня как-то странно, и глаза у него блестели. Я и сейчас вижу, как блестят его глаза, чуть покрасневшие от виски.

— Господи спаси, — сказал он, хохотнув, — уж не думаешь ли ты, что мы дожидались благословения мэра Ла Гардия⁶?

Я чего-то не поняла, и он по моему лицу об этом догадался.

— Господи спаси, — сказал он опять. — Летиция — взрослая женщина.

⁶ Мэр города Нью-Йорка в тридцатые годы.

Я молчала. Голова у меня кружилась. Я почувствовала себя маленькой и растерянной. Казалось, все на свете меняет свои очертания и места. Я вдруг заметила, что он мне улыбается, но улыбка была какой-то далекой. Потом он вытянул руку и похлопал меня по руке.

— Маленькая ты моя, дорогая сестричка из Ворд-Бельмонта, дай-ка я тебя еще поверчу...

И мы снова пошли танцевать, и он кружил меня, кружил без конца. Это было так замечательно. Странно, до чего же я помню каждую...

Поздней ночью у себя в отеле он вспоминал, как его чуть не целый час подмывало сказать сестре то, что он ей сказал: насчет того, что Летиция — взрослая женщина. Он понимал и тогда, что не сможет удержаться. Теперь, когда он сидел, сгорбившись, на краю постели и задумчиво держал в руке туфлю, он чувствовал щемящее чувство раскаяния. Что-то ему подсказывало, что этот эпизод явно из тех, которые надо подальше запрятать и выкинуть из памяти.

Когда он лег и выключил свет, он припомнил, что еще его подмывало рассказать сестре в тот вечер. Ему хотелось ей рассказать, как, встав ночью в Фидлерсборо, он пошел в библиотеку, осветил фонариком то место, где стоял гроб, и заплакал. И теперь, лежа в темноте, он вдруг пожалел, что этого не сделал.

Эти слова стерли бы те, другие слова, которые он ей сказал.

Но тут он вспомнил, что и эпизод в библиотеке тоже был из тех, которые надо спрятать подальше. Засунуть в глубь темного чулана. Нельзя жить на свете, если все помнишь.

В прихожей на Макдугал-стрит он отряхнул ботинки от недавно выпавшего снега, отпер дверь и вошел, как ни странно, в темноту. Но почти сразу же услышал ее голос.

— Я здесь, — сказала она каким-то слабым и будто далеким голосом из темного угла в конце комнаты.

— Ох, моя дорогая, — сказал он, бросил чемодан на пол, сделал к ней шаг в темноте и почувствовал то же, что в ту ночь дома, в Фидлерсборо, когда лицо ее склонилось к нему с темного неба.

Но тут он услышал:

-- Зажги свет.

От удивления он сделал шаг назад и стал шарить возле двери выключатель. Верхний свет грубо обнажил комнату. Он увидел, что она сидит на жестком стуле у стола, опершись на него локтем.

— Детка, что... — начал он и поспешно сделал к ней несколько шагов.

Но она подняла руку.

— Стой! — приказала она.

Его остановил не жест и не выкрик, а ее серое, осунувшееся лицо, незнакомое лицо. Незажженная настольная лампа под абажуром была у нее под рукой, но она, словно забыв о ней, заставила его включить резкий верхний свет, который беспощадно обнажил ее серое лицо.

— Твое письмо... — сказала она, и ее рука медленно, как у больной, потянулась к развернутому на столе листку.

Он узнал свое письмо.

— Я получила его сегодня днем, — сказала она.

— Я отправил его только в субботу, — сказал он, оправдываясь, — из Фидлерсборо. Замотался в хлопотах о доме. Наверное, опоздал к субботней выемке. А в воскресенье, видно, письма не вынимают и...

— Ах, Бред, разве в этом дело, — сказала она, водя пальцем по бумаге. — Твое письмо, наверно, пришло еще вчера. Но когда я получила твою телеграмму, письма я уже не ждала и сюда не вернулась, я... я была там, в мастерской, работала и там переделалась, чтобы пойти на прием, ты ведь знаешь, выходные платья у меня там, ну да, на прием к миссис Филспен, а сюда я потом не вернулась... ночевала в мастерской и не попала сюда...

— Какого черта... — начал он.

— Если бы только я получила письмо вчера, — сказала она тупо. — Или вообще его не получала. Господи, я просидела тут над ним весь день и думала, что умру.

Он сделал к ней шаг и протянул руку.

— Не трогай меня! — закричала она и отпрянула назад.

Он замер. И остался стоять в пальто, в шляпе — на шляпе еще не стаял снег, — так и не опустив руку. Он смотрел на лицо, обращенное к нему, залитое резким светом.

Она рассказала ему.

— Послушай, — повторяла она, — послушай, я тебе расскажу...

Бредуэлл Толливер стоял и слушал с ощущением, что его бьет и швыряет чересчур кругая волна. В нем сменялось одно чувство другим. Тут была и просто звериная ярость. И уязвленное самолюбие. И злая издевка над тем, что вон там, на столе, его письмо, где сказано, как он по-новому понял, что такое любовь и человеческая жизнь во Времени. Было тут и беспросветное отчаяние. И злорадство от мысли, что совокупление и есть только совокупление, сделай поскорее что надо — и к чертовой матери! Тут было и мучительное ощущение какой-то тайной справедливости или хотя бы законного возмездия — чего и ждать, если все началось с подматривания за грязной сценой сквозь листву Центрального парка. Было и желание дать ей по роже, лишь бы замолчала. И злоба на ее откровенность. Была и горькая издевка над тем, что он, Бред Толливер, такой смысленный парень, заполучил в жены потаскуху. Было и презрение к себе из-за боязни, что даже и теперь она не потеряла над ним власть, несмотря на серую некрасивость обращенного к нему лица. И панический страх перед красотой ее страдания. Тут бы... и позыв скорее выбежать туда, обратно, на снег.

Как много всего тут было. И в то же время так мало — лишь унылое убывание; как бег отпущенных тебе лет, как медленно, беззвучно вытекающая мутно-серая вода в засоренный слив ванны. И в конечном итоге не оставалось ничего.

Ибо какой-то частью своего существа он был всего лишь зрителем некой головоломки. Он видел две фигуры, пригвожденные к этому месту безжалостным светом: мужчину в пальто и шляпе, на которой тает снег, и женщину на стуле, запрокинувшую серое лицо. Все казалось ирреальным. Он и не был уверен — что же и в самом деле реально? Да и существует ли она, эта реальность?

Слова продолжали звучать:

— ...и я не знала, прав ли доктор Саттон или нет, то есть насчет меня, но я знала, что он не прав, когда сказал, будто я не должна тебе этого рассказывать. Я должна была тебе рассказать. При том, как я к тебе отношусь, я знаю, что не смогу остаться с тобой ни минуты, если ты не будешь знать обо мне все. Ведь если я вообще тебе нужна, я хочу, чтобы ты брал меня целиком, такой, какая я есть. Какой бы я ни была. Мне весь день хотелось умереть, но, может, как ни ужасно то, что произошло, и оно имеет свой смысл, если я это так переживаю. Хочу быть твоей целиком, если вообще существую. Я не знала, что вот так, до конца, можно это ощущать, и теперь я...

Он не сводил глаз с ее серого лица. Он видел, как обтянуло кожей скулы возле глаз. Он видел жилку, которая билась на левом виске — том, что ближе к свету.

Слова текли:

— ...но больше всего мне надо, чтобы ты поступил, так, как ты хочешь. Хочешь в глубине души. Я тебя не буду осуждать, если ты сейчас просто уйдешь. Я тебя не буду осуждать, если ты просто подойдешь и меня ударишь. До крови. Я этого даже бы хотела. Я тебе даже подставлю лицо. Я тебя ни в чем не буду обвинять, но если ты меня хочешь — ты должен быть уверен, что действительно меня хочешь. Меня всю. Потому что только целиком ты и можешь меня иметь.

Она окинула его издали быстрым взглядом. Потом гело ее медленно наклонилось вперед. Она вытянула руки и оперлась ладонями на плотно сдвинутые колени. Минуту она смотрела на свои руки, словно разглядывая ногти. Ногти были кроваво-красные, и он подумал, как не идут эти ярко-красные ногти к серому лицу.

Потом руки обмякли и вяло опустились. Голова сникла и отвернулась чуточку вправо. Рыжевато-каштановые волосы свисли на лицо, более тяжелая прядь упала на правую щеку. При режущем глаза верхнем свете ему была видна обна-

женная беззащитная белизна шеи. Он заметил, как натянула ее мускулы безвольно опущенная голова.

— Послушай...— начал он.

Она не подняла головы.

— Послушай, детка.— Он старался, чтобы голос его звучал не так, как обычно, из страха, что он сорвется.— Бумажка эта у тебя?

— Какая?

— Ну та, из муниципалитета.

— Да,— произнесла она чуть ли не шепотом, но подняла голову.

— Смотри, детка, не вздумай ее потерять,— произнес он уже грубовато.— Завтра утром она тебе понадобится позарез.

Он смотрел, как ее лицо просияло улыбкой. Тогда он сделал к ней шаг. Но она вжалась в стул.

— Не трогай меня!

— Накого дьявола еще?

— Мне надо поплакать,— сказала она.— Положить голову и поплакать. Прежде чем ты до меня дотронешься.

Она положила голову на край стола и почти беззвучно заплакала. Ему было видно, как из ее открытых глаз бегут слезы.

Вот так Бредуэлл Толливер вошел в Обитель Всепрощения. Он не знал, что в этой обители много покоев и некоторые из них лишены света.

Глава семнадцатая

В такси по дороге из ратуши Летиция взяла Бреда за руку и сказала, что им нечего ждать, она хочет сразу же поехать в Фидлерсборо и заняться домом, потому что в этом доме им жить. Можно купить машину и тут же двинуть в путь.

— Это я куплю машину,— поправил он, сжимая ей руку.— И, наверное, какую-нибудь старую колымагу — все, что я смогу себе позволить.

— Колымага — это прекрасно, а в ней мы вдвоем и не надо ничего изображать. Будем вдвоем, куда бы мы ни поехали. Скажи: «Навеки вместе», Бредуэлл Толливер.

И Бредуэлл Толливер сказал: «Навеки вместе».

— Я никогда еще нигде не была, кроме Нью-Йорка, штата Мэн, Гаваны и Флориды,— сказала она,— и, конечно, этой противной Европы, а теперь я о ней даже в газетах читать не могу. Я хочу, чтобы мы были только вдвоем в любом месте, ну, вроде Питтсбурга, какой бы он там ни был, или на какой-нибудь турбазе в Уилинге с розовыми шелковыми абажурами, или еще где-нибудь в кошмарном туристском лагере в кошмарном городке в Огайо, или...

— Спокойно,— сказал он,— когда ты говоришь «кошмарный», ты говоришь о Фидлерсборо. Ты говоришь о городе, который я люблю.

— Но я тоже люблю Фидлерсборо,— сказала она.

Она любила этот город, когда, надев старые, выгоревшие джинсы и рубашку Бреда, помогала старому Заку расчищать многолетние залежи мусора в подвале, или вносить в почву известь и пересевать газон, или копать клумбы. Она любила его, когда переругивалась с малярами на лесах или с плотниками и водопроводчиками, которые ремонтировали кухню. Она любила его в буквальном смысле слова, потому что в каждом деле, за которое она в нем бралась — с перемазанным лицом, со сломанными ногтями и слипшимися от пота волосами,— ей виделось что-то символическое; она дорожила им как неким ритуалом послушничества. И она любила Фидлерсборо, когда бурный период переоборудования миновал и она поставила свой мольберт в комнате верхнего этажа, выходящей окнами на север, и стала смотреть на текущую мимо реку и на городские крыши.

Она выбрала эту комнату из-за освещения, но когда Бред помог ей устроиться, он ей сказал, что здесь, в этой комнате, в ту январскую ночь он видел, как улыбалось ее лицо, возникшее из темноты. А после этого, когда он закрыл за собой дверь и оставил ее одну с кистями и красками, она стала смотреть в окно. Жаль, что сейчас не ночь, думала она; тогда бы она могла смотреть на темный

город, как смотрел на него тогда он. Потом она легла на кровать — на железную койку, покрытую тюфяком, — и закрыла глаза. Она лежала и думала, что после блужданий вслепую и нелепостей ее жизни перед ней, кажется, маячит счастье. Она ощутила блаженство и бестелесность, и ей вдруг припомнилось, как в детстве она испытывала то же чувство, выздоравливая после долгой болезни.

Она лежала с закрытыми глазами и снова переживала то забытое счастье. Она вспомнила далекое утро, когда после жара, пересохшего горла и зуда на коже она вдруг проснулась, ощущая только солнечное тепло на одеяле. Вот такой, думала она, отныне будет ее жизнь.

В таком настроении она ходила в бакалею Пархема за покупками; принимала местных дам, которые от неловкости сидели в гостиной, сбившись в кучу; смотрела через окно, выходящее на север, как падает вечерний свет на крыши и на реку; ездила на болота с Бредом и Лупоглазым; готовила Бреду ужин, когда кухарка бывала выходная, а он сидел за кухонным столом с бокалом в руке и вечер за вечером посвящал ее в историю Фидлерсборо. После обеда они садились на скамейку возле старой, покосившейся беседки и смотрели, как последние лучи гаснут над равниной за рекой.

Сейчас даже не верилось, зачем ей надо было на Макдугал-стрит ночами напролет рассказывать ему историю жизни Летиции Пойндекстер. Сейчас у нее не было потребности рассказывать ему что бы то ни было. Он знал и владел всем ее прошедшим и будущим. Она могла закрыть глаза и, пока в небе свет, ощущать, что ее властно влечет могучий поток, нет, даже не влечет, а сама она часть его движения, сама несется с ним вдаль, не чувствуя от этого никакого унижения, а над нею медленно расцветают звезды.

Что же до Бредуэлла Толливера, то он всегда считал, что весна 1939-го — это время, когда все в его жизни связалось в единый узел. К тому же он тогда заново проник во внутренний смысл кое-каких свойств своего Фидлерсборо, которые понимал и в прежние годы. Он помнил о них в долгие ночи в Дартхерсте; теперь он их видел при ясном свете дня. Часто думал он и о старом Израиле Гольдфарбе.

Раз или два этой весной вспомнил он и ту январскую ночь, когда, стоя в холодной библиотеке и освещая фонариком место, где был гроб отца, он интуитивно почувствовал, что его внезапные слезы открывают какие-то новые качества в нем самом. И, может, теперь, думалось ему, это предчувствие сбывается.

Жизнь его в тот период казалась замкнутой в себе и samozавершенной. Внешний мир будто отпал, и жизнь в ее гармонии и совершенстве освободилась от многого, в чем он раньше нуждался. На столе в прихожей скапливалось все больше и больше нечитанных номеров «Нью-Йорк таймс». Нераспечатанные номера «Тайм», «Ньюсуик», «Нейшн», «Нью рипаблик» и «Партизан» складывались, как вязанки дров, под столом. Майским вечером, когда после народных песен станция в Нашвилле передала последние известия и они услышали, что Германия заключила с Италией военный пакт на десять лет, Бред отложил «Нашего общего друга» — он перечитал половину томов Диккенса, — встал и выключил приемник.

— Все они жулье, — сказал он.

Летиция подняла глаза от вязания.

— Будет война, — глухо произнесла она словно из-за стеклянной перегородки.

— Ну и что? — сказал он. — Если Франклин Д. нас в нее втянет, он будет самым большим дурнем нашего века.

— А она будет, — повторила она.

— Да ну тебя, — рассердился он, — что ты так на меня смотришь, я, что ли, в этом виноват? Не я выдумал это жулье в Европе. Погляди, что они проделали с Испанией. Погляди, что они проделали с Чехословакией. И не одни только Гитлер и Муссо. А прекрасные французы и англичане? Не я сотворил этот мир и не я делаю историю. Я сейчас налью себе и выброшу все из головы, пока эта бойня не добралась и до меня.

Он сделал шаг к двери.

— Будет ужасная война, — сказала она еще более глухо и упала на диван, а потом перевернулась на живот, свесила ноги за край дивана и заплакала.

— Да перестань ты! — сказал он.

— У меня судорога. Ты же знаешь, как я легко плачу, когда у меня сводит ноги.

— Дать виски и аспирин?

— Я хотела бы забеременеть, — сказала она, уткнувшись лицом в диван.

— Погоди, скоро будешь такая брюхатая, как бочонок, набитый сельдями.

— Когда? — спросила она, не поднимая глаз.

— Куда торопиться? У нас еще целый месяц. Вернее, у нас впереди еще целый год. Хочешь выпить?

— Дай. И аспирин.

Он оглянулся, посмотрел, как она лежит ничком, уткнувшись лицом в диван. Вернулся и шлепнул ее по задку.

— Для вас мне ничего не жалко! — сказал он с неправдоподобным еврейским акцентом. И добавил: — Так говорил старик Гольдфарб.

— Дай аспирин.

— Так мне говорил старый Изя, — продолжал он, не обращая на нее внимания, — когда мы играли в шахматы и он брал у меня ферзя. Обычно он так разговаривал только в шутку. Шутка не очень смешная, но я всегда смеялся. Он и сам не думал, что это смешно, но тоже смеялся.

Когда он вернулся из кухни, она уже встала и опять принялась вязать. Проглотила аспирин, запив его большим глотком виски. Он лег на диван, положил голову ей на колени, поставил свой стакан виски на пол рядом. В тот день он закончил большой рассказ и знал, что он получился.

Рассказ был очень хороший. Литературный агент продал его за две с половиной тысячи долларов. Критика его расхвалила. В 1946 году по нему сняли хороший, хоть и эстетский фильм, второй его фильм, и в течение многих лет включали во все антологии.

...когда в июне я приехала в Фидлерсборо — в июне 1939 года, — она приняла меня очень радушно. Поначалу я стеснялась, она ведь была такая столичная, видная, высокая; время от времени она скидывала джинсы или старые шорты защитного цвета и появлялась в каком-нибудь сногшибательном платье и надевала чудесный браслет, который, наверное, стоил целый миллион, и жесты у нее тогда становились плавными, но иногда она выражалась так дерзко и вызывающе, как я еще никогда не слышала. Могла сказать все что попало, но не казалась вульгарной, а просто веселой, забавной, даже, можно сказать, деликатной. У нее была такая веселая, открытая улыбка, будто шла от души, казалось, что она любит и вас и все вокруг. И поэтому улыбается. Так, во всяком случае, было в то первое лето. Но хоть она и улыбалась, первое время она меня все равно почему-то подавляла.

И она, видно, это почувствовала, потому что однажды, когда я уже легла в постель и пыталась, хоть и не очень успешно, потому что была немножко растеряна, почитать при свете ночника, она постучала и вошла ко мне. На ней был очень яркий зеленый халат, кажется, из легкого шелка, отделанный настоящим золотым галуном, с золотым поясом. Зеленый цвет необычайно шел к ее рыжевато-каштановым волосам и большим карим глазам с золотыми искорками. Конечно, я раньше всего должна рассказать, как она была одета. Ах да, совсем забыла: на ней было нечто вроде золотых сандалий на высоких каблуках. Она была высокая, но не боялась быть еще выше. Держалась так, словно этим гордится.

И вот через столько лет я помню эти золотые сандалии на высоких каблуках и потрясающий халат, но помню и то, как мне было мучительно неловко за мою ночную сорочку из нашвиллского универмага и халатик со скромными голубыми ленточками, лежавший у меня на ногах.

Ну а что касается Летиции, было видно, что на ней никакой ночной рубашки нет. Она туго затянула золотой пояс на своей неправдоподобной талии, а зеленый шелк свободно развеивался сверху и снизу, и я уверена, что под ним не было

ничего. Не знаю, отметила ли я это про себя тогда, но теперь знаю это наверное. Я запомнила эту деталь на многие годы, важна она сама по себе или нет.

Она подошла к моей кровати, посмотрела на меня, а потом говорит:

— Мэгги, деточка, мне хочется тебе кое-что сказать перед сном. Я расчесывала волосы, и вдруг до меня дошло, как я счастлива. Я люблю Бреда и этим счастлива. Я люблю этот дом и люблю Фидлерсборо и этим счастлива. И то, что ты здесь, для меня это тоже счастье. Если ты мне позволишь, я буду и тебя любить. Можно?

Я почувствовала, что у меня на глаза навертываются слезы. Словно всему моему одиночеству в Мемфисе и Ворд-Бельмонте пришел конец. А она молча на меня смотрела. Наверное, понимала мое состояние, понимала, что я вот-вот расхнычусь. Она вдруг улыбнулась — я никогда не видела более ласковой улыбки, во всяком случае так мне тогда показалось, — и сказала:

— Да я тебя даже и спрашивать не буду, можно ли мне тебя любить! Люблю — и что ты тут, маленькая, поделаешь?

И она наклонилась ко мне широким, плавным движением, отчего колыхнулся зеленый шелк, и как-то застенчиво, еле притронувшись, поцеловала в лоб. Было странно, что от такого сильного размашистого движения получился такой поцелуй, но от его робости моя робость стала естественной. Потом, не говоря больше ни слова, взмахнула зеленым шелком, блеснула золотом и ушла. Дверь за ней закрылась. С того дня я стала ходить за ней, как собачонка.

Бред много работал, часто оставляя Летицию одну: иногда бродил по окрестностям, а она сидела дома. Она знала, что у него такая привычка, такая манера работать. Где-то бродить в одиночку, разговаривать с людьми, иногда ловить рыбу. Поэтому я повсюду таскалась за ней, когда она не работала у себя в мастерской. Тогда я читала в эти часы и по вечерам, когда они тоже читали. Вот откуда у меня, как видно, привычка читать. Она мне потом очень пригодилась, в ту тысячу лет, которые я провела одна в этом доме. Тут были груды книг, и я, по-моему, прочла их все. Включая «Доказательства происхождения христианства» епископа Пейли.

Но шло лето, и Летиция все меньше и меньше бывала в мастерской. Она даже как-то раз мне сказала, что она не настоящий художник, не такой, как Бред — писатель, а в этом деле надо быть всем или ничем. Сказала, что обожает живопись, но не свою, что когда она узнала, как любит Бреда, любит по-настоящему, то поняла, что живопись для нее была лишь средством заполнить жизнь. Тогда и я попыталась ей рассказать, как до приезда этим летом в Фидлерсборо у меня все тоже было только попыткой заполнить жизнь. А она уставилась в пространство и сказала: да, до того, как она нашла Бреда, все было только попыткой заполнить жизнь.

Я верила, что она говорит правду, потому что если кто кого и обожал, так это она Бред. По ней это было видно, даже когда она делала для него ерунду — подавала пепельницу или в воскресенье готовила ужин. И он ее обожал. Когда они бывали вместе, они просто светились от счастья, правда свет был такой мягкий, что днем его видно не было, но казалось: останься они в темноте — от них будет исходить сияние, как от рыбы, выпрыгнувшей при луне.

И не прерывистый и мерцающий, а постоянный приглушенный свет. Когда по вечерам мы сидели, не зажигая огня, на застекленной террасе, выходящей на север, и он брал ее за руку — там, на качалке, где они всегда сидели вдвоем, — я могла поклясться, что в темноте вокруг их сцепленных рук стоит бледное сияние. Но это не вызывало у меня ощущения непричастности или одиночества. Они жили своим счастьем, но их счастье сулило счастье и мне. Это было частью волшебства.

Я, наверное, до смерти надоедала Летицию своей глупостью после той жизни, которую она вела в Нью-Йорке, Европе и прочих местах, но она никогда этого не давала почувствовать. У нее была такая особенность: когда она рассказывала о своей жизни или показывала платья и украшения, как это делают все девушки, она словно включала и меня в свою жизнь, а не заставляла ощущать, что это не для меня и не про меня. Из всех памяток ее прошлой жизни меня

больше всего восхищал ее туалетный стол. Боже ты мой, он был чуть не в десять футов длиной — его соорудили по заказу Бреда и поставили в той большой угловой ванной на северной стороне, -- и на нем стоял миллион баночек, флакончиков, пульверизаторов и коробочек. В нем был ящик, где лежало, клянусь вам, не меньше сорока губных помад! Все было золотое, блестящее. Духи, о которых я никогда не слышала. Кремы, пудра, лосьон, специально для нее приготовленные в Париже с ее инициалами.

За этим столом она проводила целые часы, что-то с собой делая. Хочет побаловать Бреда, говорила она. А я сидела рядом и приглядывалась, пока она не была готова появиться перед ним: вокруг глаз фиолетовые тени, ресницы намазаны тушью и губы такого оттенка, какого я никогда и не видела, — прозрачно-розового или алого. Потом она выходила к нему, и Бред отпускал дурацкую шутку, подражая французскому акценту: «За одну ночь с вами, мамзель, отдам все свое состояние, а утром застрелюсь!» А как-то раз, не говоря ни слова, слез с качалки, подошел к ней и больно укусил ее в плечо. Она взвизгнула и ударила его по щеке. Он даже лица не отдернул. Так и стоял, скалясь уверенно, по-мужски, и смотрел, как она трет укушенное плечо, там остался след, два полукружья, которые уже синели — у нее была нежная кожа, — она терла это место и смотрела на него как-то сонно, не отрываясь.

Все это произошло очень быстро. Они просто забыли обо мне. Но Летиция опомнилась. Она посмотрела на меня, засмеялась и сказала, что так ей и надо, раз вышла замуж за обдирщика ондатры из Теннесси. Она умоляла меня не выходить замуж за обдирщиков ондатры, укус их смертелен. Лучше уж выйти за ядовитого ящера!

Даже в то время одно меня удивляло, но, правда, и восхищало тоже: Летиция часами прихорашивалась, наводила на себя красоту и в то же время не гнушалась самой грязной работы. Все ногти, бывало, себе обломает. Ходила в лес и на болота с Бредом и этим Лупоглазым и возвращалась оттуда потная, грязная и веселая. Словно это были два разных человека или же один, разделенный как раз пополам. Ей, казалось, надо хватать самое разное в жизни. В ней кипела энергия. Плавала она замечательно, лучше всех, и когда Бред купил моторку, великолепно управлялась с аквалангом, вытворяла разные штуки, которым, видно, научилась во Флориде, а может, и на Ривьере во Франции. Тут, в Фидлерсборо, она полдня проводила на реке либо с Бредом, либо давая уроки плавания гёрл-скаутам. Хотите верьте, хотите нет, она и в самом деле подружилась с гёрл-скаутами, зимой давала им уроки кройки и шитья, учила, как мазать губы и втягивать живот. В ту зиму она даже ходила в церковь и помогала на благотворительных базарах.

Но надо сказать, что летом на нее иногда нападала полнейшая лень. Она натягивала в саду, поближе к реке, простыню, чтобы ее не было видно из дома, подстилала под себя полотенце и лежала голая. Уверяла, что раз она рыжая, ей надо стараться, чтобы не быть похожей на вареного рака, а стать полосатой, как Съеннский собор, — уж не знаю, какой он есть, этот собор, — она тоже себе не позволит. Она хочет целиком покрыться красивым ровным тоном, чего и добилась: стала сочного золотисто-коричневого цвета — ее даже не портили редкие веснушки на потрясающих плечах, — совсем как спелая груша. Мне бояться солнца было нечего, я ведь смуглая, но лежать там значило быть с ней, поэтому я тоже натиралась маслом. Я и сейчас помню свежий, душистый запах этого масла, уже не знаю, какое оно там было, в ее коллекции притираний.

Мы лежали раздетые до нитки, изредка сквозь дремоту втирали масло друг другу в спины или поворачивались на другой бок. Она умела быть такой естественной во всем — и в том, что была голая, и как лежала. Вернее сказать, целомудренной. Вытянется, как кошка, пошевелит для разминки ступнями, поиграет пальцами ног, иногда повертит бедрами, а потом лежит неподвижно, даже глаза закроет и, кажется, куда-то уносится, так она умела расслабиться, а то и скажет что-нибудь мне, словно тихо прошелестит, даже фразу порой не кончит, замрет на полуслове и задремлет. Иногда она делала гимнастику. «Если ты такая высокая, — говорила она, — следи за собой в оба. Сбережешь талию — все будет твое». И сгибалась и вертелась. Хотя, казалось, ей-то не о чем беспокоиться.

Однажды мы лежали за простыней, подставив тело солнцу, прикрыв лицо тонким полотенцем, и загорали. И молчали. Я думала, что она дремлет. Но вдруг она заговорила тихонечко, словно во сне:

— Смешно, ведь не знаешь, твое тело — это ты или нечто, в чем тебе суждено жить, чем пользоваться, в чем передвигаться...

Слова выдыхались словно маленькими гроздьями, с длинными паузами в промежутках, просто текли и текли. Я ничего не сказала. В сущности, я не понимала, о чем речь. Лежала себе, чувствуя солнце на обнаженной коже, прикрыв глаза полотенцем.

И вдруг ощутила свое тело, как еще никогда его не ощущала, и крепко зажмурилась, чтобы там, под полотенцем, стало еще темнее; я лежала лицом к небу и дрожала в своей наготе, а солнце жгло меня и, казалось, вывечивало мое тело все до малейших подробностей. Словно миллион крошечных, чудовищно острых, пылающе-ледяных иголок высвечивал мое тело. И впервые оно стало реальностью. Вот как мне тогда казалось.

И когда я так лежала, дрожа под палящим солнцем, я услышала, как она говорит приглушенно, будто издалека:

— Раньше я ненавидела свое тело. — И помолчала. — Нет, я, конечно, холила это противное старье. Словно без этого не могла обойтись. И еще за это его ненавидела.

Помолчав:

— А теперь больше не ненавижу.

Помолчав:

— Знаешь почему?

Минуту спустя я сказала: нет, не знаю.

И еще минутку спустя она сказала:

— Бред.

Только это.

Не знаю, долго ли мы лежали, прежде чем она заговорила снова:

— Можно жить, когда наконец это чувство к тебе приходит.

Помолчав:

— Чувство, что твое тело — это не ты и в то же время ты, выразить словами это нельзя, надо, чтобы с тобой это произошло.

А как же тогда туалетный стол? Я иногда и теперь закрываю глаза и вижу эту старую ванную, солнечные лучи, проникающие сквозь жалюзи, малиновку, сонно шуршавшую листвою в послеобеденном зное, сверканье всех ее флакончиков и пульверизаторов; сложный, сладкий аромат, который, казалось, впитывает твое тело, ощущение, что твое тело бесценно и в то же время бесплотное. Вот какое чувство внушал мне этот туалетный стол уже после разговора на солнце за натянутой простыней. Иногда я задумываюсь, как бы пошла моя жизнь, если бы я ни разу не вошла в ту ванную. Вспоминая, иногда вижу сверканье туалетного стола и вдыхаю его запахи.

Как-то под вечер я сидела там, и она вдруг пристально на меня поглядела.

— Давай-ка угостим Бреда чем-то новеньким. Этот хам даже не знает, что у него за сестра. Сядь сюда.

И она принялась за меня. Выщипала брови — ну и больно же это было! Потом зачесала волосы набок в какой-то чудной узел и заколола большой золотой заколкой с красными камнями, наложила лиловые тени на веки и тушью намазала ресницы — они стали чуть не в ярд длиной; рот сделала багрово-красным и каким-то капризным. Я сидела в лифчике и в синих выгоревших шортах и скалила в зеркале зубы.

— Ради бога, перестань скалиться, — приказала она. — Надо, чтобы лицо горело зловещим, беспощадным огнем, как искра на запальном шнуре, которая ползет к бомбе. Ну-ка, милочка, сделай капризную мину. Выпяти нижнюю губу и прикуси ее.

Я так и сделала, и мы обе расхохотались. Но знаете, я вдруг и правда почувствовала себя капризной и опасной. Даже сама испугалась. Вдруг во мне поя-

вилось что-то трагическое вроде: я умру молодой. Мне стало жалко всех мужчин, которые будут любить меня безнадежно. И себя жалко.

Она сказала, что меня надо нарядить. И нарядила. Но сначала раздела догола. Потом, покопавшись, вытащила большую белую шаль из тонкой и легкой, как шелк, шерсти и соорудила мне платье; одно плечо оставила голым, остальное держалось на английских булавках, а у левого бедра прихватывалось другой большой золотой брошью с красными камнями.

— Сандалии! — закричала она. — Сандалии! — И запнулась. — Какая я дура! Мои велики для твоих маленьких породистых фидлерсборовских ножек. — И, подумав секунду, решила: — Пойдешь босиком! Это их доконает. Босые ноги — этого они не выдержат.

Она поглядела на мои ноги.

— Ну и ноги! — простонала она. И, присев, принялась их обрабатывать. Ногти и на ногах и на руках стали того же багрового цвета, что и мои губы. Потом она надушила меня за ушами и капнула на волосы. — Вот, — сказала она, оглядывая меня, — теперь только нарисовать знак касты — и ты станешь жемужиной среди наложниц магараджи. — Она помолчала. — Но, конечно, не хватает магараджи.

Магараджи явно не хватало. Но к обеду вдруг явился гость. Старый приятель Бреда по Фидлерсборо и соученик по Дартхерсту. Он только сегодня приехал в город, и Бред, встретив его на улице, привел с собой. Когда в этом дурацком наряде, босиком я спустилась вниз и увидела его в прихожей, я чуть не умерла со стыда.

Похоже было, что и он сейчас умрет. Он побледнел как полотно. Это был Калвин Фидлер. Я не видела его с семилетнего возраста. С тех пор как он уехал учиться в начальную школу.

Перевела с английского Е. ГОЛЫШЕВА.

(Продолжение следует)

НИКОЛАЙ ТАРАСОВ

★

ГОЛОС ЗА КАДРОМ

Лупит время по коже,
оставляя рубцы.
Все начала похожи,
все похожи концы.
Где гранит этой грани
и огня острие?
Вы свое отыграли,
отгрели свое.

Бьют в бетонные стены
русла вымерших рек.
И уходит со сцены
самый яростный век.

Над опавшей листвою
столкновений и лет.
Оглушенный собою,
грозным громом ракет.

Весь в ожогах и шрамах.
В городах на крови.
И рубашку земшара
разорвав на груди.
Но в его середину
из московской глуши
я впечатал, как в глину,
даже шорох души.

* * *

Баллада любви начинается утром
торжественным маршем машин поливных,
распадом дождя просветленным и мудрым,
за час до метро расставаньем двоих.
Еще догорают ее поцелуи,
и руки еще приникают к рукам...
Я тоже гадаю на линиях улиц
о солнечном смысле твоих телеграмм.
Мне тоже мерещится ночь до рассвета.
Но только с тобой! И моя ли вина,
что нету под крышами комнаты этой
с холодным глотком грехминутного сна?

* * *

Годы падают замертво,
как вода на весло.
Небо прошлого занято.
Я стучу о стекло.

И из шороха листьев
через правду и ложь
обнаженно, как истина,
ты навстречу идешь.

* * *

Возвращаюсь в бессмертную даль.
Вижу все и ясней и короче.
Баш на баш, боль на боль, дар на дар
мы меняем тбилисскою ночью.
Значит, есть на земле высота!
Постигаем ее удивленно
за широкой спиной стадиона,
где дорожка и утром пуста.
И опять — я один, ты одна.

Но откуда такие мы сони?
Солнце бьет в амбразуру окна
и кричит, надрываясь: «Мацони!»
Что еще мы хотим от страны?
Не бывает ни лучше, ни плоше.
Есть окно, есть четыре стены,
есть железное царское ложе.

Бронза

Он здесь стоит как нарастанье света.
Картечью речи опаленный рот.
Пиджак отжат крутым напором ветра.
И век двадцатый вписан в поворот.
За годом год. За далью даль. И снова
скалы голубоватый пьедестал.
Рука — в полете. И в полете — слово.
И грохот моря метрах в пятистах.
И никого. И только много неба.
Таким я вижу памятник ему.
А за спиной — поля простого хлеба.
И свет идет. И сокрушает тьму.

Пишу весну

Сквозь миг иду и подчиняюсь мигу —
пусть их потом разметят по годам! —
из умолчаний складываю книгу
и палец ночи подношу к губам.
Пишу весну — в который раз на свете! —
в углу дождя прогорклой горстью слов
на полотне оставшихся по смете
и просто вдаль летящих облаков.

На баке спят

...На баке спят. Железная стена.
И жизни треть, а может половина,
оставлена на улицах Берлина.
А нам еще мерещится война.
Не кружит вальс над шаткою кормою.
Вся белая и грустная, как мим,
«Принцесса Медж» идет Азовским морем,
на много лет очищенным от мин.

Публикация ЕЛЕНЫ ТАРАСОВОЙ.



3. ШЕЙНИС



СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ КОЛЛОНТАЙ*

Тысяча девятьсот пятнадцатый год. Уже второй год, как идет война в Европе, миллионы людей остались на полях сражений. Одна партия продолжает борьбу против шовинистического безумия, против бессмысленной гибели людей и сокровищ Европы — партия русских социал-демократов (большевиков) во главе с Владимиром Ильичем Лениным.

После длительных и трудных переговоров с другими европейскими социал-демократическими партиями в швейцарской деревушке Циммервальд собралась конференция нескольких европейских социал-демократических партий, чтобы выработать действенную программу против войны. Русскую делегацию возглавил В. И. Ленин.

По предложению Владимира Ильича лидеры социал-демократов должны были выразить свое принципиальное отношение к войне, решительно осудить ее.

Большинство лидеров западноевропейской социал-демократии не стало на этот путь. И все же Циммервальдская конференция сыграла важную роль: принятый ею манифест отразил международный протест против войны и шовинизма.

К этому времени в Соединенных Штатах Америки находилось много русских политических эмигрантов. Был создан Русский отдел Социалистической партии Америки, начавший играть заметную роль в политической жизни США.

Американская Социалистическая партия, все ее секции и отделы проявили большой интерес к решениям Циммервальда, но подробностей не знали. В Америке нарастала волна шовинизма, правительство президента Вильсона готовилось вступить в европейскую войну.

Левая немецкая секция Социалистической партии Америки послала Коллонтай официальное приглашение прибыть в Америку и взяла на себя расходы по ее поездке¹. Александра Михайловна сообщила о предложении Владимиру Ильичу и попросила его совета, как быть. Коллонтай писала Ленину: «В основе моей поездки в Америку лежит стремление возможно шире распространить те взгляды, которые с особенной выпуклостью и яркостью сумели оформить Вы и которые охватывают собой основу позиций революционеров-интернационалистов».

Ленин одобрил поездку Коллонтай, дал ей ряд практических советов, прислал из Берна свою брошюру «Социализм и война», попросил перевести с немецкого на английский и издать в Соединенных Штатах Америки.

Поездка Коллонтай в США, проведенная там ею работа имеют принципиальное значение для оценки ее деятельности — с 1915 года Коллонтай окончательно переходит на большевистские позиции, связывает свою дальнейшую деятельность с Лениным.

Еще перед поездкой в Америку Коллонтай записала в своих дневниках:

«За этот год чувствую, что окрепла органические связи с революционным крылом. Точно перейден какой-то рубеж... Это приобщение к тому революционному крылу, которое будут многие годы поносить, клясть, преследовать... Да, да, и преследовать... Сдавшихся шовинистов — их будут гладить по головке, а нас... Быть может, на этом пути ждет много страданий, боли, потребуются еще и еще жертвы».

В конце сентября 1915 года на пароходе «Бергенсфиорд» Коллонтай выехала из Норвегии в Соединенные Штаты Америки и в начале октября прибыла туда. Четыре с половиной месяца длилась эта ее первая поездка, она побывала в восьмидесяти горо-

* О к о н ч а н и е. Начало см. «Новый мир» № 4 с. г.

¹ О поездке Коллонтай опубликованы американские дневники — глава в книге А. М. Коллонтай «Из моей жизни и работы», издательство «Советская Россия», М. 1974 г. Автор ограничивается публикацией новых материалов, обнаруженных в архивах.

дах, встречалась с лидерами рабочего движения Юджином Дебсом, Биллом Хейвудом, «хитрой лисой» (так назовет его она вскоре) — Хилквитом, и, конечно, с русскими политическими эмигрантами. Чтобы сразу была ясна позиция большевиков-ленинцев по вопросу о войне, она публикует в журнале «Форботе» свою статью, ее черновой набросок остался в архивах только на немецком языке.

Два главных вопроса, две важные проблемы стоят на повестке дня, пишет Коллонтай, требуют точной и ясной позиции международных социалистов: интернационализм или национализм? Она ясно и безоговорочно выступает против любых проявлений национализма и шовинизма.

Пронзительно вглядывается она в происходящие события, слушает речи на собраниях, беседует с рабочими лидерами. Эти свои впечатления под псевдонимом Интернационалист она позже опубликует в бернской газете «Тагвахт», озаглавив свою статью «Пролетариат Америки. Американские рабочие и массовые акции». Вот отрывок из этой статьи: «Новый дух пронизывает рабочее движение Америки. Старая реформистская политика профсоюзов с ее лозунгом «Унионизм» с их методом и стремлением к компромиссам и «дипломатическими увертками» их лидеров приходит к отмиранию».

Царское правительство, обеспокоенное большевистской акцией в Америке, устанавливает за Коллонтай агентурное наблюдение. Чиновник особых поручений департамента полиции доносил в Петроград в 1916 году:

«Совершенно секретно.

Имею честь доложить Вашему превосходительству, что, по полученным агентурным данным, 14 февраля с. г. в Нью-Йорке в Арлингтон Голле собралось 500 русских и еврейских рабочих выслушать речь известной социал-демократки Александры Коллонтай, приехавшей в Америку из Лондона.

Вся речь Коллонтай была посвящена вопросу, как восстановить международную солидарность, и сводилась к нижеследующему: «Пролетариат во всех странах был обманут и одурачен господствующими классами, затеявшими войну в своих хищных интересах. Социалисты, как и рабочие массы, поддались обману, чему много содействовала существовавшая в Социалистическом Интернационале неясность по вопросу об отечестве. Вопрос этот должен быть пересмотрен: третий Социалистический Интернационал должен возродиться как организация социалистических рабочих, для которых интересы международной солидарности в борьбе с международным врагом — капиталом, будут стоять выше интересов отечества, которого у рабочих нет и не будет...»

Статский советник Красильников».

Коллонтай встречалась во время поездки с русскими политическими эмигрантами. Это позволяло лучше понять их настроения. Одна из таких встреч произошла на квартире Андрея Чумака в городке Кеноша, близ Чикаго, на Сюпирио-стрит.

Андрей Чумак был интереснейшей личностью. Рабочий из Донбасса, организатор восстания в Гяндже (ныне Кировабад). В 1906 году он бежал от царского произвола и вскоре стал руководителем Русского отдела Социалистической партии Америки.

Андрей Чумак и его друзья из русской колонии в Кеноше встречали Коллонтай на вокзале в Чикаго с букетами цветов, одетые в свои лучшие костюмы. Александра Михайловна в тот день выступила в Чикаго, а затем сразу же уехала в Кеношу.

В небольшой квартире Чумака на Сюпирио-стрит собралась вся русская колония. Коллонтай рассказала о своей поездке по Америке, о письмах, полученных от Владимира Ильича. Сказала, что Ленин и сам подумывает о приезде в Соединенные Штаты. Прихворнула Надежда Константиновна. Возможно, как только она выздоровеет, Ленин и Крупская приедут.

Коллонтай опубликовала в Америке брошюру Ленина «Социализм и война», выступила с рядом статей в американской печати. Поездка ее заставила задуматься многих рабочих Америки. Но правительство президента Вильсона уже начало раздувать шовинистическую кампанию, готовить Соединенные Штаты к вступлению в войну.

8 марта 1916 года Коллонтай возвратилась в Европу. Но уже через пять месяцев снова выехала в Америку.

Повод для второй поездки за океан был чисто семейный. Летом 1916 года, то есть вскоре после возвращения из Америки, Коллонтай получила из Петрограда письмо от сына. Михаилу тогда уже было двадцать три года. Он окончил Технологический институт, свободно владел английским языком и военное ведомство послало его в Соединенные Штаты Америки в качестве приемщика автомобилей для русской армии. Он просил Александру Михайловну поехать в Америку вместе с ним.

28 января 1917 года, уже направляясь обратно в Европу на борту «Бергенс-фиорда», Александра Михайловна записала в своем дневнике:

«Свою миссию по отношению к Мишуне выполнила. Миша душевно окреп, здоровье лучше. И сейчас я ему не нужна.

Когда я решила ехать с ним, мной руководил, во-первых, случай редкий, случай пожить несколько месяцев с ним, что при данной сложной мировой обстановке особенно ценно, скрепить наши заметно ослабевшие за последние два года душевные скрепы.

Во-вторых, дать ему мое тепло, окружить заботой, помочь выйти не разбитым, не изверившимся в жизнь — из первой „сердечной бури“».

В конце 1916 года в Соединенных Штатах уже шла откровенная подготовка к отправке экспедиционных войск в Европу. Александра Михайловна обращается с листовкой «Ко всем рабочим Америки»:

«Война вступила в новую фазу, фазу тайных переговоров и соглашений дипломатов, наглого торгашества, постыдного дележа добычи между воюющими империалистическими державами. Наступает период секретных договоров и новых союзных группировок государств в целях удержания за группами национальных капиталистов классового господства».

Листовка призывала к немедленному прекращению войны. «Это должен сделать пролетариат. Вильсон и официальный Вашингтон — игрушка в руках Уолл-стрита».

Нелегко дались ей те несколько месяцев в Америке. Коллонтай поселилась в небольшом городке Петерсон и первого ноября 1916 года записывала в своем дневнике:

«Два месяца безуспешных и серых. Пожалуй, самых безуспешных за всю мою жизнь. Одно утешение: Мишуля будто чуточку лучше выглядит...»

Постарела, потолстела, подурнела. У меня все зависит от настроения. В июле опять вдруг подтянулась, будто чарами вернула, вызвала молодость. А сейчас отяжелела, потухла и кажется, будто 60 лет».

Коллонтай недолго оставалась в тиши Петерсона, снова начались бурные встречи с русскими политическими эмигрантами и американскими лидерами. Не все из них шли на активные действия. Она записала в своем дневнике:

«Вопрос о борьбе за «невмешательство» Соединенных Штатов в войну всплыл во всей актуальности. Расшевелили Лоре (представитель немецких левых.— З. Ш.), Пришлось провести «дипломатические» переговоры даже с этой лисой Хилквитом. Практически Хилквит должен был признать, что это «надо», но на деле ничего не сделал. Зато размежевание стало яснее».

Тем временем в Америке усилилась шовинистическая кампания, крупные монополии — поставщики оружия — стали загребать миллиардные прибыли. Коллонтай записала в своем дневнике:

«Что стало с Америкой за эти два последних месяца! Ни одного митинга протеста, ни одного воззвания социал-демократической партии! Уже скатились к обожончеству, уже во власти социал-шовинизма и войны».

С тех пор как Вильсон произнес свою на шумевшую речь в сенате (мир без побед с чьей-либо стороны), немецкая федерация резко повернула фронт. Они, кто так рьяно нападал на войну, на шовинизм,— они сейчас занялись выжиданием, боятся открыть кампанию против «препереднес», чтобы не испортить, видите ли, политики Вильсона. Какая близорукость! Какая политическая наивность или хуже того — измена. Тут-то и наступать».

Через три дня после прибытия в Хольменколлен Коллонтай продолжила дневниковые записи. Дни указаны по новому стилю. Она еще не пришла в себя после Америки, не сразу в пригород Христиании Хольменколлен доходят вести из России.

«12 февраля.

...Часто бываю в кафе «Фолькетсхус» для встреч. Настроение у меня продолжает быть безотчетно подавленным. Вспоминаю маму. Она тоже в последние годы своей жизни безотчетно тосковала, металась, впадала в нервную меланхолию. Может быть, вступаю в «критический возраст»? Нет, не вижу признаков, все нормально. Вдруг тоскую о близких. Завидую тем, у кого есть мать, сестры, муж? Нет, меньше всего верю, что муж может дать душевное тепло и не потребовать за это отказа от свободы. Муж нет, а друг может.

Но сейчас у меня нет здесь друга...

Рассказы из России скорее бодрящие: в войсках большое недовольство, офицеры образуют кружки революционного типа».

В записях за февраль — март 1917 года то и дело мелькает: «Написала письмо Владимиру Ильичу», «Получила письмо от Владимира Ильича». Факт обширной корреспонденции между Владимиром Ильичем и Коллонтай зафиксирован в 49-м томе Полного собрания сочинений В. И. Ленина: имя Коллонтай там упоминается более 80 раз. Владимир Ильич осуществлял в то время связь с Россией во многом, если не в большинстве случаев, через Александру Михайловну.

Прекрасно зная политические и деловые качества товарищей по партии, Ленин особенно ценил точность, деловитость, знал, что Коллонтай можно доверить важнейшее партийное поручение, ценил ее ум, политический такт и преданность делу.

«18 февраля.

Послала вчера длинное письмо Ленину. Дискутируем вопрос о «самоопределении». Пункт этот не должен открыть щель для сотрудничества с буржуазией. Наша задача сейчас — внести ясность, очистить головы от патристического мусора. Надо, чтобы рабочий класс во всем мире проникся сознанием, что для него сейчас существует лишь один коллектив — пролетариат как класс...

25 февраля.

Читаю в рукописи статью Ленина о самоопределении. В ней ответы на многие наши сомнения и споры... Ленин безусловно прав в основном и главном: постановка вопроса о гражданской войне и тактике. Всякая иная постановка уводит в болото соглашательства и бездействия...

Вечер. В зимнем вечере тает и прелесть и особая грусть...

28 февраля.

Была на чудесном концерте с Эрикой в Ауле. Какая удивительная певица эта Галли Монрад. Пела романсы Грига. Публика восторженно аплодирует. А она недовольна: «нет, я не так спела».

Мы стояли, так как сидеть было дорого. Но я не заметила, что простояла три часа...

...Думала о Зюльке, о нашей молодости. Вечера на Подъяческой. «Маленький профессор» Н. Н. Зюль. «Ди айне! Ди айне» (единственная).

Тогда я для всех была единственная...

12 марта.

Написала за месяц статью для «Штурмлокке», статью для «Классанкампен», для «Арбайдер политикен», для «Дей». Две статьи для «Бернер тагевахт», две для Голландии, одну для «Лейбор лидер», одну для «Начала», одну для «Социал-демократен» — итого 14 статей, около 5 — 6 печатных листов.

Наладила транспорт с Америкой. Организовала бюро информации для «Берн/ер курр/ир» при участии норвежских и шведских товарищей. Интернациональная связь нуждается прежде всего в правильно поставленной информации.

14 марта.

В России что-то назревает, как ни цензуруют газет — этого не скрыть... Пишу Владимиру Ильичу...»

Через два дня ночью раздался неожиданный стук в дверь и конторщица отеля фрекен Дундас крикнула ей из коридора: «Царь пал!»

Заметки Коллонтай более точно позволяют понять события той поры, ее настроение, окружающую обстановку. «Первая записка. Приезд Ганецкого из Стокгольма и Парвуса из Берлина ко мне в Христианию в первых числах марта 1917 года (после отращения царя) для переговоров о возвращении Ленина из Швейцарии в Россию через Германию.

Вторая записка. Встреча в Петрограде. 18 марта меня встретила Танечка с мужем² и член Исполкома Совета депутатов рабочих и солдат.

Танечка неизменно обаятельна и мила ко мне. Николай Борисович красив и импозантен, но лицо осунувшееся — война сказалась и на нем.

А член Совета... полон энергии и жизни. Обнялись. Он не разрешил таможенному чиновнику досматривать мой весьма скромный багаж:

— Это же товарищ Коллонтай, вернулась по амнистии. Именем Петросовета вскрывать ее вещи не дозволено.

² Татьяна Львовна Щепкина-Куперник и ее муж Николай Борисович Полинов, в ту пору известный в Петрограде адвокат.

Таможенник сделал под козырек...

Приехали к Щепкиной.

— Как у тебя хорошо, Танечка, чувствую, что я наконец дома, в Петербурге,— вырвалось у меня.

— В Петрограде, Александра Михайловна,— перебил меня с улыбкой Николай Борисович.— Мы забыли слово «Петербург».

Таня предложила садиться за стол. Но я попросила разрешения раньше поговорить по телефону. Таня провела меня к телефону, я позвонила в «Правду» тов. Молотову, сказала, что только что приехала.

Молотов спросил:

— Писать у нас будете?

Ответила:

— Еще бы!

Пошла с Таней помыться с дороги — четыре дня в пыльных вагонах.

— Разумно ли ты делаешь,— заметила Таня,— что сразу звонишь в «Правду»? Временное правительство очень озлоблено на большевиков... Революция еще не кончилась.

— Вот именно поэтому я просила Молотова оставить для меня место в завтрашнем номере и считать меня в числе сотрудников «Правды».

— Все та же ты неугомонная,— засмеялась Таня и, обняв за плечи, подвела к столу, заставленному всякой всячиной».

Вечером Татьяна Щепкина-Куперник сообщила Коллонтай то, что не сразу хотела сказать, не знала, как она отнесется к новости о муже:

«— Шура, в Петрограде находится Владимир Людвигович Коллонтай.

— Вот как. Где он?

— Подробности тебе может рассказать Николай Борисович.

Николай Борисович рассказал все что знал: Владимир Людвигович дослужился до звания генерал-майора, воевал в составе 3-й армии. У него вышла какая-то крупная неприятность с командованием фронта. Он тяжело болен и сейчас находится в Петрограде. Вот его точный адрес: Военная гостиница, 4-й этаж, комната 449.

— Телефон там есть?

— Есть.

— Благодарю, Николай Борисович, я позвоню ему».

Коллонтай сразу окунулась в водоворот событий. Передала в «Правду» привезенные ею статьи Ленина, сама выступила в газете со статьями «Работницы и Учредительное собрание» и «Наш памятник борцам за свободу».

Приезд В. И. Ленина из эмиграции 3 апреля 1917 года, его речи, выступления дали ориентир всей партии большевиков: вслед за буржуазно-демократической грядет пролетарская революция. Это вызывает ярость не только буржуазных партий, но и меньшевиков. Крайне важно напомнить, как себя в этой сложной обстановке показала Коллонтай. Она сразу же после приезда из эмиграции стала членом большевистской фракции Петроградского Совета, и это в то время, когда не все сумели сохранить ясность мышления и политической ориентации. На Всероссийском совещании большевиков — делегатов Советов рабочих и солдатских депутатов в Таврическом дворце Коллонтай безоговорочно выступила в защиту Апрельских тезисов Ленина.

В те дни Коллонтай возглавляет забастовку четырех тысяч прачек Петрограда. Руководит грандиозной демонстрацией солдаток, требовавших хлеба для детей и возвращения своих мужей с фронтов мировой войны.

На VI съезде РСДРП(б), который проходил полулегально с 26 июля по 3 августа 1917 года, Александра Михайловна была избрана членом ЦК большевистской партии.

Учитывая популярность Коллонтай во многих странах Европы, ЦК дает ей ряд поручений за границей.

Когда в июне намечался съезд социал-демократов Финляндии, по предложению Владимира Ильича от ЦК(б) туда выезжает Коллонтай и проводит ленинскую линию.

В Швеции собираются представители западноевропейских социал-демократических партий — сторонники Циммервальда. И снова по предложению Ленина ЦК(б) за границу направляет Коллонтай. Вместе с Вацлавом Вацлавовичем Воровским она должна добиться полного разрыва с «оборонцами» — сторонниками продолжения войны.

Конференция в Стокгольме не состоялась: прибыли далеко не все делегаты. Но на информационном совещании Коллонтай выполняет поручение своей партии.

В Стокгольме становится известно о событиях в Петрограде в дни между 3 и 5 июля, о расстреле демонстрации правительством Керенского. Она возвращается в Петроград и сразу же оказывается за решеткой Выборгской женской каторжной тюрьмы. Нелегкие были те дни и недели для нее. Достаточно точно передает ее настроение письмо, которое Коллонтай послала из тюрьмы Зое Шадурской, возвратившейся из Стокгольма.

«Тюремная камера. 4 часа дня, 11 августа 1917 года.

Моя бесконечно любимая, дорогая, близкая моя! Ты только что ушла, только что кончился мой праздник, свидание с тобой. Но на душе как-то смутно, все кажется, что не сказала и половины того, что хотела, не дала тебе понять и почувствовать, как я рада тебя видеть, как много счастья в одном том, что ты здесь близко, в том же городе. Зоюшка, мой родной! Что бы я стала делать, если бы тебя здесь не было? Ведь я с первого дня ощущала твою заботу и было чувство: кто-то свой, близкий заботится, думает, делает все, что может...

...Первые дни мне казалось, что я участвую в американском фильме, там в кинематографе часто изображается тюрьма... первые дни я много спала, кажется, выспалась за все месяцы напряженной работы... Трудно передать свое душевное состояние. Кажется, преобладающая точка была в те тяжелые дни — ощущение, будто я не только отрезана, изолирована от мира, но и забыта».

В конце августа 1917 года Коллонтай по настоянию Максима Горького была выпущена из тюрьмы под залог в 5 тысяч рублей. Но сразу же оказалась под домашним арестом.

Записи Коллонтай передают события кануна Октября. В них и сложность той исторической поры, аромат эпохи и стремление заглянуть в будущее.

Запись последних двух дней:

«24 октября.

Сerenький, осенний денек. В Смольном заседает ЦК. Приняты постановления: все члены ЦК обязуются находиться в Смольном безотлучно. Официально решено порвать с соглашательским ЦИК. Усилить караул в Смольном, установить пулеметы, командировать Дзержинского на почту и телеграф, чтобы обеспечить за революцией эти важные пункты связи. Направить большевистский контроль на железные дороги. Организовать запасной штаб в Петропавловской крепости на случай разгрома Смольного.

Таково положение дела. Оно ясно говорит о том, что вооруженное восстание за власть Советов — осязаемый факт.

25 октября.

Ленин в Смольном. Ленин открыто идет в зал заседаний Петроградского Совета. Кто пережил, тому не забыть этих минут напряженного опасения за великого человека. Вечер. Темный, октябрьский вечер. Близится ночь.

Комната в Смольном, окнами на Неву. В комнате тускло светит электрическая лампочка над небольшим квадратным столом. На полу, на газетах расположился больной Ян Берзин, старый большевик. За столом ЦК, избранный VI съездом, Ленин здесь. Ленин среди нас. Это дает бодрость и уверенность.

...Если меня спросят, какая была самая важная минута в моей жизни, ответ будет ясен: та ночь, когда русский пролетариат города и деревни голосами своих депутатов на Втором съезде заявил на всю Россию: Временное правительство низложено... Съезд постановляет: вся власть на местах переходит к Советам рабочих и крестьянских депутатов, которые должны обеспечить подлинный революционный порядок...

Многие в тот час не схватывали еще, что тут-то только теперь и начинаются все трудности и долгая, затяжная на годы борьба с контрреволюцией, за социализм...»

Схватывала ли она всю сложность и трудность предстоящей борьбы? Могла ли она прозреть свое место в этой великой борьбе?

На второй день после Октября Владимир Ильич сказал Коллонтай: немедленно отправляйтесь в министерство государственного призрения и занимайте его.

Коллонтай помчалась в министерство. Швейцар не пустил ее в здание. Александра Михайловна все же проникла туда, и вот первый «Приказ Народного комиссара государственного призрения. 17 ноября 1917 года.

Зачисляются на работу в Народный комиссариат: А. Н. Аппус, И. И. Петров, П. Н. Васильев, С. С. Алексеева, Н. Г. Загловская...» Первым сотрудникам были установлены оклады с «вилкой» от 150 до 300 рублей в месяц.

Штат Народного комиссариата с трудом подобран. Она призвала туда женщин с фабрик и заводов, бывших политических эмигранток, мужчин, пришедших из окопов мировой войны,— мобилизовала всех кого могла. И пишет приказы один за другим, пишет сама; на заседании Совнаркома, у себя в комнате ночью, в стареньком автомобиле по пути в наркомат, в коридорах Смольного, присев в углу. Стиль приказов «октябрьский», революционный. Вст еще один из них от 31 января 1918 года за номером 1247: «Два миллиона едва затеплившихся на земле младенческих жизней ежегодно гасли в России от темноты и неосознанности угнетенного народа, от косности и равнодушия классового государства. Два миллиона страдалиц-матерей обливала ежегодно горькими слезами русскую землю, засыпая мозолистыми руками могилки бессмысленно погибших невинных жертв уродливого государственного строя! Веками искавшая пути человеческая мысль выбилась наконец на простор лучезарной светлой эпохи свободного строительства руками самого рабочего класса тех форм охраны материнства, которые должны сохранить ребенку мать, а матери ребенка».

Далее она подвергает уничтожающей критике образчики капиталистической морали — «воспитательные дома с их колоссальной детской скученностью и смертностью, с их отвратительными формами кормиличного и питомнического промыслов, с надругательствами над святыми чувствами обездоленной рабочей матери, превратившими гражданку-мать в тупое дойное животное,— все эти ужасы кошмарной ночи, к счастью России, при победе рабочих и крестьян погрузились в черный мрак прошлого. Настало утро чистое и светлое, как сами дети».

И наконец, на нескольких страницах практические действия: по охране материнства и младенчества, о задачах врачей, акушеров и педагогов. И отдельный пункт приказа Коллонтай — создать в Петрограде Дворец охраны материнства и младенчества. Дворец действительно создали в великолепном здании. Но все оказалось не так просто. Науськанная попами и ханжами озлобленная толпа пыталась линчевать Коллонтай, рвала на ней одежду, таскала за волосы. Рабочие и матросы с трудом отбили ее.

В те дни попы в Казанском соборе в Петрограде с амвона предали Коллонтай проклятию за ее революционную деятельность и призывы к равноправию женщин. Александра Михайловна рассказала об этом Ленину. Владимир Ильич рассмеялся, сказал:

— Вы попали в хорошую компанию вместе со Степаном Разиным, Емельяном Пугачевым и Львом Толстым.

Кажется, это было на второй день после поджога Дворца, она издает приказ «Об устройстве в Уч-Дере, Черноморской губернии санатория материнства».

Через несколько дней Коллонтай поручено выехать с важным дипломатическим поручением за границу.

Этой поездке предшествовали важные события в ее личной жизни.

Отношения Александры Коллонтай, бывшей родовитой дворянки, с матросом, крестьянским сыном Павлом Дыбенко — весьма заманчивая тема для буржуазной прессы. Вокруг отношений этих двух людей революции возникло много легенд и сплетен. Особенно в этом отношении поусердствовали авторы зарубежных работ.

Как-то Коллонтай спросили:

— Как вы решились связать свою жизнь с человеком, который был на семнадцать лет моложе вас?

Александра Михайловна ответила:

— Мы молоды, пока нас любят.

Дыбенко любил ее безгранично.

Кратко об истории их знакомства.

Впервые Коллонтай и Дыбенко встретились весной 1917 года. ЦК большевиков послал Александру Михайловну на линкор выступить перед матросами и склонить их проголосовать за большевистскую резолюцию.

Настороженно смотрели матросы на женщину в длинном суконном платье и шляпке, поднимающейся по трапу,— морская традиция гласит: женщина на борту — быть несчастью.

Лишь один человек подошел к ней, дружелюбно поздоровался, объяснил, что

она первая женщина, вступившая на палубу линкора. Представился: рядовой матрос Дыбенко, председатель Центробалта.

После речи Коллонтай матросы проголосовали за большевистскую резолюцию. Дыбенко сам отвез Коллонтай на катере, поднял на руки и отнес на берег.

После переезда Советского правительства в Москву Коллонтай и Дыбенко соединили свои жизни гражданским браком и поселились в Первом Доме Советов — гостинице «Националь».

Шесть лет семейной жизни, но какой... Кажется, лишь один раз за это время они смогли прожить не расставаясь несколько месяцев. Это было на Южном фронте, действовавшем против барона Врангеля. И еще — редкие дни и недели, которые они вместе провели в Кисловодске на отдыхе и в деревне, в гостях у родителей Дыбенко. Остальное время — врозь. Первая разлука — в начале 1918 года. Вот некоторые документы.

Из протокола заседания ЦИК от 22 декабря 1917 года:

«§ 8. О мирной делегации.

Для установления тесной связи между всеми трудящимися элементами Западной Европы послать делегацию в Стокгольм.

Поручить этой делегации принять все меры для подготовки созыва Циммервальд-Кинтальской международной конференции и организации Советского информационного бюро в Стокгольме».

29 января 1918 года Президиум ЦИК утвердил состав делегации. Руководителем была назначена Александра Коллонтай. Делегация выехала в Швецию и по пути остановилась в Гельсингфорсе.

Из дневника делегации:

«18 февраля... в 11 часов 15 минут прибыли в Гельсингфорс. В 3 часа т. Коллонтай уже выступает на митинге в переполненном зале Мариинского дворца, громит по дороге анархистов, разъясняет недоразумения и сомнения...»

Дальше события развертывались следующим образом: пароход «Мариограф», на котором делегация пыталась выехать в Швецию, у Аландских островов был затерт льдами. Из записи, сделанной членом делегации:

«26 февраля. На наш затертый «Мариограф», как крысы, лезут льдины. Мы «затерты». Темно, крепчает, поднимается ветер. Одиноко возвышается наша скорлупа среди поля минных заграждений. Крепчает ветер. Вправо приблизительно в полуверсте взрывается первая мина. Высокий столб так же беззвучно рассыпается и исчезает».

В Стокгольме советский представитель Вацлав Вацлавович Воровский ждет Коллонтай, но связи нет, шведская пресса сообщила о гибели делегации. И вот телеграмма, отправленная Воровским 1 марта 1918 года Павлову в Исполнительный Комитет Мариенгамна (Алданские острова): «Телеграфируйте подробности гибели «Мариографа» тчк Была ли Коллонтай товарищами тчк».

Воровский не знает, что делегация пыталась по льду Финского залива пробиться в Швецию, но буря заставляет высадиться на Аландские острова, а оттуда они прибывают в Гельсингфорс.

Коллонтай возвращается в Петроград. Через некоторое время она снова по поручению Владимира Ильича выезжает в Гельсингфорс, чтобы оттуда добраться до Копенгагена и там установить связь с социалистическими партиями Западной Европы, разъяснить им цели и задачи советской власти. В это время немецкие армии начинают наступление на Петроград. В Центральном Комитете РКП(б) Ленин ведет тяжкую борьбу за немедленное подписание мира с кайзеровской Германией, чтобы спасти Советскую Россию. Вместе с теми, кто выступает против Брестского мира, — Павел Дыбенко.

Положение Коллонтай крайне сложное. Член ЦК РКП(б) она участвовала в работе VII съезда партии в первые мартовские дни 1918 года. После съезда она ушла с поста народного комиссара призрения, целиком переходит на партийную работу и по поручению ЦК ведет агитационно-пропагандистскую работу в Поволжье. Но в трудные дни, когда судьба Советской России оказалась чрезвычайно сложной, Коллонтай в 1918 году выступила с речью против Брестского мира. И вот теперь ей нужно окончательно высказать свою точку зрения по этому жгучему вопросу.

Из переговоров по прямому проводу между Александрой Коллонтай, находящейся в Гельсингфорсе, и Павлом Дыбенко:

«Гельсингфорс. У аппарата Коллонтай.

Дыбенко. Здравствуй, Шура. В три часа было заседание Народных Комиссаров, на котором принято решение обеих партий против двух — меня и Алгасов...»

Дыбенко сообщает Коллонтай, что он против Брестского мира и «...я отстаиваю принцип ведения партизанской войны... Прошу тебя хоть на два часа приехать из Гельсингфорса в Петроград...»

Из телеграммы Дыбенко Коллонтай:

«В связи с наступлением немцев вчера было экстренное заседание Совета Комиссаров. Мой доклад не был принят, отложен до решения ЦК. В 7 утра была послана телеграмма в Берлин о том, что согласны подписать условия мира. В 3 часа снова будет заседание по поводу посланной телеграммы в Берлин. С этой телеграммой я совершенно не согласен и в случае, если она вторично будет принята, сложу свои полномочия...»

Из телеграммы Коллонтай Дыбенко:

«Только что вернулась с кораблей. Было большое бурное собрание на «Петропавловске» — мою резолюцию приняло меньшинство, а большинство высказалось за резолюцию, выражающую доверие Советской власти... Поскольку после голосования я так их выругала, что они решили переголосовать... На этом я ушла... Было бы очень хорошо, если бы ты мог экстренно выехать сюда для дел во флоте и для информации делегации...»

Из переговоров по прямому проводу Коллонтай с Дыбенко:

«Гельсингфорс. У аппарата Коллонтай. Отвечаю тебе на вопрос о выходе из Совета Народных Комиссаров — и опять повторяю: ничего нет удивительного, что ты остался в меньшинстве. Заявление сейчас не подавай... Самое лучшее подожди подавать заявление, пока не побываешь в Гельсингфорсе и не наладишь здесь дела. Мое впечатление, что твое присутствие здесь многое сгладило и наладило бы... Не можешь ли выехать сегодня ночью?»

Такова история тех дней. Коллонтай не была столь решительно настроена против Брестского мира, заняла более осторожную позицию, понимая, насколько прав Ленин. Но все же она колебалась. Так было.

Но проследим дальнейшую деятельность Коллонтай в те безгранично трудные годы революции до X съезда партии.

Позиция Коллонтай по вопросу о Брестском мире не изменила ее положения. Александра Михайловна полностью переходит на партийную работу. По решению ЦК партии она выезжает в подмосковные текстильные районы, а в ноябре 1918 года участвует в работе Первого всероссийского съезда работниц и крестьянок, выступает там с докладом на тему «Семья и коммунистическое государство».

Пожалуй, никогда не раскрывался с такой силой ее талант партийного трибуна, как в те первые годы революции. Центральный Комитет РКП(б), прекрасно знавший свои кадры, очень ценил эти особенности Коллонтай и широко ими пользовался.

Александра Михайловна решительно отвергала напускную народность, всегда оставалась такой, как была в жизни, не прибегая к маскараду. Это, в частности, хорошо проявилось во время одной сложной ситуации весной 1918 года в Москве.

А произошло тогда следующее: на швейной фабрике (ей позже присвоили имя Клары Цеткин), которая работала на Красную Армию, разразился скандал — работники прекратили работу из-за того, что в продовольственном магазине, находившемся возле фабрики, продавали тухлую конину. Это было на руку дирекции, в которой орудовали противники советской власти.

На площади у фабрики собралась толпа, обстановка накалилась до предела. Опытные агитаторы, срочно туда прибывшие, оказались не в силах успокоить работниц. И тогда из Московского комитета партии позвонили Коллонтай. Она сразу же примчалась, как обычно, элегантно одетая, хорошо причесанная.

— Вы с ума сошли? — остановили ее перепуганные агитаторы. — В таком виде вы собираетесь выступать перед разъяренной голодной толпой? Да вам и слова сказать не дадут. Немедленно снимите шубку и сотрите с лица пудру...

Коллонтай улыбнулась, отстранила агитаторов и не взмогла, а взлетела на импровизированную трибуну — дощатый настил.

Ее правдивые, искренние, необыкновенно убедительные и простые слова ошеломили людей и буквально зачаровали толпу. Она предложила избрать комиссию из работниц, которая все проверит и доложит коллективу фабрики. Предложение приняли. Инцидент был исчерпан. А дирекцию пришлось основательно почистить.

Исключительно продуктивными были для Коллонтай как партийного литератора те годы. Ее статьи часто появляются в «Правде» и «Известиях», выходят в свет книги «Новая мораль и рабочий класс», «Работница за год революции», очерки о Штутгартском и Копенгагенском конгрессах, опубликован отдельной брошюрой и ее доклад, с которым она выступила на Первом съезде работниц и крестьянок.

Да и 1919 год был для Коллонтай таким же бурным. Она по-прежнему на передовых рубежах партийной работы — на первом конгрессе III Интернационала, делегат VIII съезда партии, выступает там с докладом о работе среди женщин. После смерти Инессы Арманд, в 1920 году Коллонтай — заведующая отделом ЦК РКП(б) по работе среди женщин.

Гражданская война снова ненадолго разлучила Коллонтай и Дыбенко. Павла Ефимовича послали на учебу в Военную академию. Пусть наберется знаний — политических и военных. А Коллонтай ЦК партии направляет на Украину. Там один из важнейших фронтов борьбы против иностранной интервенции и белогвардейских армий, предстоит разгром последнего оплота контрреволюции — армий барона Врангеля.

Коллонтай сразу же выехала в Киев, прибыла туда в тот день, когда в городе открылась армейская партийная конференция. В зал вошла женщина в изящном белом костюме, воздушной белой шляпке и села в сторонке у входа.

На нее начали оборачиваться. В президиум полетела записка: «Здесь присутствуют беспартийные». В зале началось нечто вроде легкой паники. Президиум конференции распорядился немедленно провести поголовную проверку партийных документов. Двери закрыли, чтобы никто не мог выйти. Товарищи из президиума, сопровождаемые вооруженными красноармейцами, начали обходить ряды. Подошли к женщине в белом костюме.

— Дамочка, ваши документы, — нервно спросил ее проверяющий.

Так к ней не раз обращались: дамочка!

Женщина предъявила партийный билет и мандат представителя Центрального Комитета РКП(б).

Теперь легкая паника перешла в суматоху. Товарищ из президиума, побагровев, воскликнул:

— Что же вы нас подводите, товарищ Коллонтай! Идите в президиум.

— А меня не выбирали в президиум, — ответила Александра Михайловна.

Из Киева Коллонтай отправилась в Белоруссию, на которую наступали белополяки. И вот свидетельство комсомолки из местечка Лоев Баси Коган:

«Александра Михайловна Коллонтай прибыла к нам в Лоев на агитпароходе из Киева по пути в Гомель. Был базарный день, собралось много народу. Коллонтай прямо с парохода прошла на базарную площадь. Она попросила близстоящего крестьянина разрешить ей встать на телегу, и оттуда она обратилась к собравшимся.

Было тревожное время, наступали поляки. Все мы с волнением слушали ее речь. Она нас успокаивала и просила не падать духом. «Отступление временное, надо держаться, — сказала она. — Ждите нас, мы вернемся!»

Она очень ясно и понятно для всех нарисовала картину положения, говорила с такой уверенностью и так захватывающе, что у многих из нас появились слезы на глазах. Коллонтай со всех сторон обступили, старались пожать ей руку.

Я находилась рядом с ней и как будто сейчас вижу ее перед собой, оживленной, убежденной, убеждающей: «Ждите нас, мы вернемся!» Эти ее слова навсегда остались в памяти. Нас всех поразили ее красота и ее простота. С ней так легко было говорить.

Крестьянин с телегой не дал ей вернуться на пристань пешком, а отвез ее на своей телеге. Лошадь шла шагом, а все мы, огромная толпа, провожали Коллонтай к пароходу. Простились мы с ней, как с близким человеком».

На фронтах гражданской войны Коллонтай оставалась вместе с войсками Фрунзе до разгрома последнего оплота контрреволюции.

И снова одна из редких встреч с Дыбенко. Павел Ефимович — командир дивизии Южного фронта. Коллонтай — начальник политотдела этой дивизии.

В армию черного барона, еще во время боев на юге Украины, влились части разгромленных денкинских корпусов. Они яростно огрызались, не видели выхода из создавшегося положения.

Дивизия Дыбенко взяла в плен немало бывших денкинцев, бывали и персбежчики. Коллонтай беседовала с ними, выясняла моральное состояние противника.

Гражданская война подошла к концу: интервенты изгнаны, белогвардейские армии разгромлены. Но главное впереди. Страна лежала в развалинах.

8 марта 1921 года в Москве открылся X съезд Российской Коммунистической партии большевиков. Предстояло решить неотложные задачи восстановления народного хозяйства республики. Пришлось начинать, как теперь бы мы сказали, с нуля.

X съезд партии принял важнейшее решение о новой экономической политике (нэп), продовольственная разверстка была заменена продовольственным налогом.

Съезд вошел в историю еще одним важным событием: на нем была разгромлена «рабочая оппозиция». Одним из лидеров этой оппозиции и ее главным литературным работником была Александра Михайловна Коллонтай.

Что же собой представляла «рабочая оппозиция», каковы были ее цели и какую роль в ней сыграла Коллонтай?

Платформа «рабочей оппозиции» требовала передачи функций государства по управлению промышленностью в руки профсоюзов. Высшим органом управления экономикой страны должен был стать всероссийский съезд производителей. Тем самым государство должно было устраниться от руководства экономикой, что неизбежно привело бы к разрыву между рабочим классом и крестьянством, подорвало бы основные принципы, на которых зиждется советская власть. Да и сам рабочий класс противопоставлялся Советскому государству. Платформа «рабочей оппозиции» практически пыталась реализовать в условиях советской России идеи анархо-синдикалистов.

На X съезде Ленин подверг уничтожающей критике платформу «рабочей оппозиции». Реакция Владимира Ильича на брошюру Коллонтай была предельно четко сформулирована: «...так работать нельзя, ибо это — демагогия, на которой базируются анархистскомахновские и кронштадтские элементы»³. Резолюция съезда осудила оппозиционеров как носителей синдикалистского и анархистского уклонов. «Съезд постановил: 1) признать необходимой неуклонную и систематическую борьбу с этими идеями; 2) признать пропаганду этих идей несовместимой с принадлежностью к РКП(б)».

Коллонтай тяжело переживала свои расхождения с Лениным, а по сути дела — со всей партией. Она анализирует свои ошибки и заблуждения, но не сразу откажется от них.

После X съезда партии Коллонтай продолжала активную деятельность в партии, читала курс лекций в Коммунистическом университете имени Я. М. Свердлова. В 1921 году в Москве собралась Международная конференция коммунисток. Александра Михайловна выступила с докладом о формах и методах работы среди женщин, ее избрали секретарем Международного женского секретариата при Исполкоме Коминтерна.

22 июня 1921 года в Москве открылся III конгресс Коминтерна. ЦК РКП(б) поручил Коллонтай сделать на Конгрессе доклад о работе коммунистических партий среди женщин. Она выполнила и это поручение. Но воспользовавшись всемирным коммунистическим форумом, решила изложить свои взгляды на платформу осужденной X съездом «рабочей оппозиции». Она даже пыталась получить на это «благословение» Ленина, попросила его прочитать текст ее выступления.

Много позже, то и дело обращаясь к личности Ленина как вождя революции, мыслителя и человека, она скажет на собрании советской колонии в Стокгольме: «Он умел, он даже любил слушать возражения. Они его толкали на дальнейшее заострение мысли. Он не отвергал целиком возражения, он брал в них то, что было правильно, даже если была лишь крупица». Но в тот июньский день, когда она протянула Ленину свои тезисы, он спокойно и решительно ответил, что на нарушение партийной дисциплины не требуется согласия.

Коллонтай все же выступила, как того требовали ее единомышленники. Участники Конгресса отвергли платформу «рабочей оппозиции». В сущности, это был последний удар, который Коллонтай получила на поприще партийно-политической борьбы.

³ Ленин В. И. Полное собрание сочинений, т. 43, стр. 50.

В материалах о жизни и деятельности Коллонтай имеются большие пробелы. Где она была, что делала с июля 1921 года после III Конгресса Коммунистического Интернационала и до ноября 1922 года, когда уехала в Норвегию, где и началась ее дипломатическая деятельность? Упоминаются лишь некоторые факты: в декабре 1921 года на IX Всероссийском съезде Советов Коллонтай снова избирают членом Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета. Она входит в высший государственный орган страны. И обращаясь к прошлому, она снова и снова вспоминает Ленина, скажет о его отношении к людям, и подтекстом будет отношение Владимира Ильича к ней, нарушившей в те невероятно трудные для страны годы партийную дисциплину:

«Ленин был удивительно прост и оставался во все дни своей жизни простым и естественным в общении с людьми. Для него не было разницы с кем бы он ни общался: с иностранным ли послом или с крестьянином из глухой провинции, который приезжал хлопотать у Ленина, чтобы ему вернули лошадь, реквизированную у него еще Временным правительством... Грубость, жестокость — это были свойства, которые не входили в духовный багаж Ленина. Твердость — это дело другое».

Она сумела оценить твердость, которую проявил Владимир Ильич в дни X съезда партии и в дни работы конгресса Коминтерна. Но в те июльские дни 1921 года Коллонтай в смятенном состоянии уезжает из Москвы в Одессу.

На одной из тихих улиц Одессы, обсаженной платанами, в двухэтажном особняке, принадлежавшем в прошлом какому-то вельможе, поселился Павел Ефимович Дыбенко. После окончания Военной академии в Москве его назначили командующим Одесским военным округом. Дыбенко приехал в Одессу летом 1921 года, а после завершения работы III конгресса Коминтерна к нему приехала Коллонтай.

Все последние годы — и в сложные дни Бреста, когда Дыбенко, не поняв генерального плана Ленина спасти советскую Россию от германского нашествия, заявлял о своем выходе из Совета Народных Комиссаров, — и в последующие годы, когда Коллонтай не сумела должным образом оценить обстановку и порочность «рабочей оппозиции», нарушила партийную дисциплину — отношения этих двух деятелей революции оставались ровными. Гражданская война, интервенция бросали их в разные стороны, но затем жизнь их снова сводила, и казалось, что их отношения такие, какими они были в первые годы их совместной жизни.

Но это не так. Не очень уютно чувствовала себя Александра Михайловна в Одессе. Неприятно поражала ее роскошь, какой окружил себя Павел Ефимович: дорогая мебель, ковры. Хотя она и выросла в условиях высшего петербургского света, ей ничего не нужно было, кроме письменного стола, стопки бумаги и книг. Была убеждена, что коммунист не имеет права на лучшую жизнь, чем другие. Дыбенко отшучивался.

Первого июля Коллонтай выступает в Дискуссионном клубе в Одессе с докладом на тему «О партийной этике».

Огромный зал Дискуссионного клуба в тот летний день 1922 года был заполнен до отказа. Жарко, душно. Но кто пропустит лекцию Александры Коллонтай!

Представитель губернского комитета компартии Украины товарищ Меңде кратким вступительным словом открывает диспут и предоставляет слово Коллонтай.

В последние годы жизни Александра Михайловна записала в своем дневнике:

«Тот энтузиазм, каким бывает одержим агитатор, проповедующий и борющийся за новую идею или положение, это душевное состояние сладко, близко к влюбленности... Я сама горела, и мое горение передавалось слушателям. Я не доказывала, я увлекла их. Я уходила после митинга под гром рукоплесканий, шатаясь от усталости. Я дала аудитории частицу себя и была счастлива».

Вот в таком состоянии горения стояла она в тот июльский день 1922 года на трибуне Дискуссионного клуба в Одессе. Свой доклад о партийной этике и морали человека нового общества она закончила следующими словами: «Очень часто приходится наблюдать, как то самое лицо, которое в момент революции проявило себя как герой, совершая подвиги самоотверженности и храбрости, сейчас, в период мирного строительства, выявляет себя совсем с другой стороны, оказывается мелким, трусливым человечком, карьеристом, себялюбцем, способным на поступки, которые, казалось бы, совершенно не могут быть свойственны революционному герою».

Коллонтай заканчивает лекцию под шумные аплодисменты, отвечает на вопросы, возвращается домой не на автомобиле командующего округом, а пешком, поднимается

в комнату на первом этаже особняка и находит на столе записку в конверте. Она полагает, что это ей оставил записку Павел Ефимович.

Записка адресована не Александре Михайловне, а Дыбенко. Это объяснение в любви некой молодой особы.

В 1920 году остатки врангелевских войск, разгромленных Красной Армией, бежали из Севастополя за границу. Во время дикой давки с одного из пароходов, отошедших от причала, была сброшена в море девятнадцатилетняя девушка. Родители ее остались на пароходе. Девушку подобрала рыбаки, и вскоре она оказалась в Одессе...

Вечером Дыбенко вернулся домой. Александра Михайловна очень спокойно сказала ему, что невольно узнала о его романе с Валею — так звали спасенную девушку. Посоветовала Павлу Ефимовичу, если он действительно любит Валю, связать с ней свою жизнь.

Дыбенко молча поднялся на второй этаж. Через несколько секунд раздался выстрел. Дыбенко с простреленными легкими увезли в больницу. Рана оказалась опасной, но не смертельной.

Александра Михайловна не сразу уехала из Одессы, дождалась выздоровления Павла Ефимовича. Повторив, что ее решение твердо, она расстается с ним навсегда.

Туго затянувшийся узел надо было разрубить. В Одессе оставаться было нельзя. Да и в Москву не хотелось уезжать. После всего происходящего и там она чувствовала бы себя плохо. Последнее время Александра Михайловна все чаще задумывалась о прошлом, о своих ошибках, переживала глубокий душевный кризис. В 1918 году Коллонтай записала в своих дневниках, что не представляет своей жизни без партийной деятельности. Теперь наступил перелом. Надо было решать, что делать и как жить дальше. Оставался один путь: просить ЦК направить ее на любую работу.

Но кого просить об этом? Владимир Ильич болен. Коллонтай решила написать И. В. Сталину, сообщила, что просит ЦК РКП(б) предоставить ей работу, но только не в Москве, готова поехать за границу, даже корреспондентом ТАСС.

Просьба Коллонтай была кстати. В апреле 1922 года в Генуе-Рапалло советская дипломатия под руководством В. И. Ленина прорвала внешнеполитическую блокаду. Иностранные государства начали устанавливать с советской Россией дипломатические и торговые отношения. Руководители Наркоминдела подбирали кадры для работы за границей. Народный комиссар иностранных дел Георгий Васильевич Чичерин не был в восторге от кандидатуры Коллонтай, считал, что женщина не очень подходит на дипломатический пост, но обращение к Сталину решило вопрос. Сталин сообщил Коллонтай, что ЦК РКП(б) решил направить ее на дипломатическую работу.

Из рассказа Коллонтай, записанного ее секретарем Э. Г. Лоренсен:

«В Москве вопрос о работе был решен практически — направить Коллонтай в Канаду. Наркоминдел запросил у канадского правительства агреман. Из Оттавы пришел отказ. Там помнили о поездке Коллонтай по Соединенным Штатам Америки, ее выступления против войны, обвинения в адрес капитализма — зачинщика войны.

И. В. Сталин сказал Коллонтай, что надо подумать о другом варианте, смеясь, спросил:

— Есть ли страна, где вы не шумели?

— Норвегия, — коротко ответила Александра Михайловна».

Наркоминдел запросил у норвежского правительства агреман. Ответ пришел сразу: Королевское правительство Норвегии согласно принять Александру Коллонтай.

С грустью и душевной болью оставалась она Москву в ту осень 1922 года. Александра Михайловна понимала, что ей уж не придется заниматься женским движением в России, да и связь с молодежью отныне прерывается. Уже не будет встреч, бесед, бурных собраний о нравственности, морали и этике, диспутов, которые стали частью ее жизни. И начинается новая полоса ее деятельности.

8 марта 1950 года старый и верный друг писал Коллонтай:

«В этот день хочется в первую очередь поздравить Вас, дорогая Александра Михайловна. В самом деле, нельзя думать о какой-либо другой современнице, которая сделала бы столько же, сколько Вы для женщин, и не только нашего Союза, но и всего мира. К сожалению, не могу поздравить лично или по телефону, а поэтому приходится по почте...

Ваш М. Литвинов».

Равноправие женщин во всех сферах общественной и личной жизни — это был тот плацдарм, на котором Коллонтай вела борьбу с того момента, как посвятила себя

политической деятельности. Но взгляды ее на эмансипацию женщины и семейную жизнь не раз вступали в противоречие с мнением партийной печати. Естественно, что Александра Михайловна все время сталкивалась с непониманием этих ее взглядов, особенно с точкой зрения на отношения мужчины с женщиной. Она была сторонницей свободного брака, веря, что скоро настанет такое время, когда социальные условия полностью раскрепостят женщину не только от «корыта и кухни», но и от повседневной заботы о детях. «Для классовых задач рабочего класса,— писала Коллонтай,— совершенно безразлично, принимает ли любовь форму длительного и оформленного союза или выражается в виде преходящей связи».

В тезисах к лекции «О коммунистической морали в области брачных отношений», которые она готовила зимой 1921 года в тиши деревни Валуево под Москвой и затем прочитала эту лекцию в Коммунистическом университете имени Я. М. Свердлова, Коллонтай изложила свое кредо по вопросу любви и брака. Вот ее записи:

«Коммунистическое хозяйство упраздняет семью, семья утрачивает значение хозяйственной ячейки с момента перехода народного хозяйства в эпоху диктатуры пролетариата, к единому производственному плану и коллективному, общественному потреблению.

Все внешние хозяйственные задачи семьи от нее отпадают: потребление перестает быть индивидуальным, внутрисемейным, его заменяют общественные кухни и столовые; заготовка одежды, уборка и содержание жилищ в чистоте становится отраслью народного хозяйства так же, как стирка и починка белья. Семья как хозяйственная единица с точки зрения народного хозяйства в эпоху диктатуры пролетариата должна быть признана не только бесполезной, но и вредной.

Забота о детях, их физическое и духовное воспитание становятся признанной задачей общественного коллектива в трудовой республике. Семья, воспитывая и утверждая эгоизм, ослабляет крепость коллектива и этим затрудняет строительство коммунизма.

Взаимные отношения родителей и детей очищаются от всяких привходящих материальных расчетов и вступают в новый исторический период».

И вот последние два развернутых тезиса, с которыми Александра Михайловна выступила в «Свердловке».

«Расцвет духовно-душевных переживаний человечества неслыханной высоты достигает в коммунизме через подчинение слепых сил материи крепко спаянному, а потому небывало мощному трудовому коллективу.

В недрах всего коллектива созреют и новые невиданные формы взаимоотношений между полами, где яркая, здоровая любовь примет многогранную окраску, озаренную ликующим счастьем вечно творящей и воспроизводящей природы».

Эта лекция была не только прочитана, но и напечатана в журнале «Коммунистка» в 1921 году, вызвала много суждений и споров. Были в этой лекции очень важные и передовые идеи, но были и иные, возможно, навязанные средневековым утопистом Томмазо Кампанеллой, автором «Города Солнца».

Лекции и статьи Александры Михайловны по вопросам семьи и брака вызвали большой отклик: споры, дискуссии.

В ноябре 1922 года Коллонтай выехала в Норвегию. Начался тридцатилетний дипломатический путь Александры Михайловны. В марте того же года ей исполнилось пятьдесят лет. Дипломатическую деятельность этой женщины завершила ее кончина в марте 1952 года, в канун ее восьмидесятилетия.

Это был сложный и трудный путь. 27 января 1929 года Александра Михайловна писала Элен Микельсон — шведской учительнице из города Окселеунд:

«Наша работа — как альпинизм. Торописься наверх, к вершине, задыхаясь поднимаешься: «Ну, вершина достигнута!» Но это лишь оптический обман: среди окружающих горных вершин гордо высится новый крутой пик. И снова нужно подыматься, снова напрягать все силы, чтобы достичь новой цели».

В конце 40-х годов Коллонтай, работая над дневниками о своей зарубежной деятельности, много внимания уделила Норвегии.

Помнила о том, что в годы первой мировой войны эта страна предоставила ей убежище, много трудных, но и радостных дней пережила она там. Теперь она прислала в эту страну не изгнанницей, а полномочным представителем социалистической России и это в корне меняло ее положение. Надо было налаживать связи, учиться

торговать и продавать отечественные товары, получать кредиты и приобретать друзей для своей страны.

Вскоре после начала работы Коллонтай в Христиании туда приехал Павел Ефимович Дыбенко.

После выхода из госпиталя Дыбенко оставался в Одессе на своем посту. Метался, не мог пережить разлуки с Коллонтай. Прислал ей письмо, просил встречи.

Александра Михайловна написала И. В. Сталину, просила разрешить Дыбенко приехать в Норвегию. Дыбенко дали отпуск на шесть недель «для лечения легких в горах Норвегии».

Дыбенко чувствовал себя в Норвегии не в своей тарелке. Герой гражданской войны, здесь он лишь муж полпреда. Александра Михайловна проводила все дни в приемах, переговорах, он же обречен был на бездеятельность. Через три недели он уехал в СССР. Как и советовала ему Александра Михайловна, он женился на Вале, но брак был недолгим.

Александра Михайловна, как и раньше, оставалась в дружеских отношениях с Дыбенко. Он часто звонил ей в Христианию, а потом и в Стокгольм, когда Коллонтай стала посланником в Швеции.

Они остались друзьями до конца дней Павла Ефимовича Дыбенко, до лета 1937 года...

Алекса́ндре Михайловне приходилось иногда по делам службы выезжать в Швецию и Данию. В Копенгагене ее, как это уже не раз бывало, атаковали корреспонденты, и наиболее энергичный из них, представитель газеты «Политикен» Анкер опубликовал 16 октября 1923 года интервью:

«У Александры Коллонтай.

Первая женщина в мировой истории, получившая пост министра.

Новая мораль.

Между всеми посланниками, которых Советское правительство послало по всему свету, г-жа Александра Коллонтай, без сомнения, самая интересная и не только по своей красоте, совершенно легендарной, или по своим знаниям языков, позволяющим ей агитировать за коммунизм на четырех языках, на которых она проповедует новую сексуальную ориентацию для женщины. Этот интерес к ней все больше возрастает. Но что дает Александре Коллонтай особое положение, это то, что после революции она была назначена первым в истории мира женщиной-министром, а затем первым послом. И вот целый год находится она в качестве русского полномочного представителя в Христиании и продает рожь и покупает селедки на много миллионов. Вчера сна была на Кронпринцессгаде в доме русской делегации — грациозно и элегантно одета, с волнистыми черными волосами и сверкающими черными глазами и кораллово-красным ртом».

Оставим на совести корреспондента его описание внешности Коллонтай. Одета она действительно, как всегда, очень элегантно. Но волосы у нее были каштановые, глаза — голубые, и приведем ее ответы на вопросы журналиста:

«**Вопрос.** Чем вызвано ваше посещение Копенгагена?

Ответ. Только желанием сделать краткий визит Цезарю Гейн и приветствовать его.

Вопрос. Вы здесь и прежде бывали?

Ответ. Я была здесь на социалистическом конгрессе в 1910 году. Это был наиболее успешный форум, который мы имели с Жоресом и Вандервельде... Потом я здесь была короткое время после высылки из Швеции. Теперь, когда год назад прежний Полномочный представитель перемещен из Христиании в Турцию, я заняла пост полномочного представителя Советского правительства в Норвегии, пост, полностью соответствующий посту Красина в Лондоне.

Вопрос. Впервые ведь женщина назначена послом?

Ответ. В наше время — да. Но я разыскала в истории Франции некую графиню Елермо, которая в XVI веке была направлена в качестве посла из Парижа в Венецию, но только на короткое время.

Вопрос. Вы также первая из современных женщин, которая была министром.

Ответ. Да, сразу после революции в первом Совете Ленина я была назначена Народным комиссаром по социальным делам.

Вопрос. Что послужило основанием для этого назначения?

Ответ. Мои книги по социальной охране. Я опубликовала большой труд в 600 страниц, главным образом о материнстве...

Вопрос. Почему в Норвегии рабочие и студенты вступают в коммунистическую партию, а в Дании нет?

Ответ. Потому что рабочее движение развилось в Норвегии позже и поэтому оно более обостренное. Тридцать лет назад в Норвегии не было промышленности, теперь это вполне промышленная страна. В Дании социалистическое движение гораздо старше и поэтому пошло по пути медленного реформистского развития.

Вопрос. Вы выступили перед норвежскими студентами с докладом о новой морали?

Ответ. Да, выступила, но это было до того, как я была назначена представителем Наркомаиндела. Господин Чичерин очень строг и запрещает своим служащим выступать официально в качестве коммунистов. Мы можем только частным образом поддерживать прежние коммунистические знакомства. Люди ошибаются, полагая, что наши делегации во всем мире являются центром революции, они только центры для торговли...

Вопрос. Как велики торговые обороты между Норвегией и Россией?

Ответ. В прошлом году мы закупили рыбу и селедку на 10—12 миллионов крон. В этом году на 30 миллионов крон. До войны мы продавали Норвегии втрое больше, чем Норвегия теперь покупает у России. Теперь мы хотим, чтобы эта пропорция была в пользу Норвегии, и мы покупаем столько же в Норвегии, сколько Норвегия покупает у нас...

Вопрос. Что это за новая мораль, о которой опубликованы Ваши книги на русском и немецком языках? Вы говорили об этой новой морали и на собраниях норвежских студентов.

Ответ. Первым долгом эта мораль требует, чтобы было покончено с любым лицемерием, во-вторых, чтобы одна и та же мораль была действительна для обоих полов, в-третьих, эта мораль требует, чтобы родители отвечали перед своими детьми не только материально, но и физиологически. Лучше не иметь детей, чем населить мир больными детьми.

Вопрос. Что Вы имеете в виду, требуя одинаковой сексуальной морали для мужчин и женщин?

Ответ. Равноправие женщин в любви. Прежде она, женщина, приспосабливалась к мужчине, подчиняясь целиком его требованиям. Я желаю, чтобы оба в полной степени были в товарищеских отношениях, основанных на взаимном признании и на выполнении обязанностей друг перед другом.

Вопрос. По Стриндбергу?

Ответ. Да, но он знал только пожелания женщин, которые должны теперь уметь...

Вопрос. Вы хотите упразднить домашний очаг?

Ответ. Да, мать и дети — это одно, но мужчина — это нечто преходящее. Семейная жизнь уже потерпела кораблекрушение... Почему любовь и кухня должны быть пригвождены друг к другу? Уже настало время, когда любовь освободилась от тирании кастрюль и тарелок».

Тема равноправия женщин не дает покоя Коллонтай. Она не упускает любую возможность, чтобы высказаться по этому вопросу. В июле 1923 года в Москве проходило совещание преподавательского состава губернской совпартшколы. В это время в Москву из Христиании приехала Коллонтай. Узнав о совещании, сразу же направилась в губком партии и попросила разрешения прочитать лекцию по вопросу о семье, браке, моральных устоях и воспитании подрастающего поколения.

Когда стало известно, что на совещании выступит Коллонтай, со всех концов Москвы и близлежащих городов приехали сотни людей. Видимо, лекция проходила в Политехническом музее. На трибуну Коллонтай поднялась в строгом светлом платье, которое оттеняла золотая цепь. Все так же ярко светились ее глаза.

Слушатели встретили Коллонтай шумными аплодисментами.

В напряженной тишине начала Александра Михайловна свою лекцию, сказала, что бесконечно рада снова видеть своих соотечественников после десятимесячной разлуки. А затем перешла к главному: праву женщины на свободные отношения между мужчиной и женщиной, против двойной морали.

В лекции Коллонтай продолжила свои мысли, высказанные на страницах журнала «Молодая гвардия». Много говорила об Анне Ахматовой, объяснив, «почему коммунистка может плакать над белыми томиками некоммунистки Ахматовой», ибо в своих стихах Ахматова отстаивает «Белую птицу», подразумевая год ней личность женщины-человека. Она отстаивает свободу личности, потому что только свободный человек может творить.

В эпоху схватки двух культур, двух идеологий — буржуазной и пролетарской — Ахматова находится на стороне не отживающей, а создающей идеологии, сказала Коллонтай. Ценность и актуальность стихов Анны Ахматовой в том, что в них говорится о пробуждении женщины, о пробуждении в ней веками попранной гордости и человеческого достоинства, о стремлении обрести себя как личность. Не надо забывать, что именно во взаимоотношении полов сейчас совершается величайшая в мире революция. Идеология пролетариата дает ответ и на эту неразрешимую в буржуазной культуре загадку...

Около трех часов в тот жаркий июльский день продолжалась лекция Коллонтай. Она излагала свои мысли и взгляды, радуясь и по-хорошему завидуя молодому поколению Советской России, которое примет на свои плечи решение этих великих задач.

С трибуны сошла радостно взволнованная, шатаясь от усталости. Не сразу удалось ей добраться до гостиницы «Метрополь», где она остановилась. За ней шла толпа слушателей, с которыми она обменивалась репликами, отвечала на бесчисленные вопросы...

В конце июля 1923 года Коллонтай возвратилась в Норвегию, к своим служебным дипломатическим делам, к переговорам о продаже Советскому Союзу селедки, трески, о поставках других товаров, разумеется, на взаимовыгодной основе.

Быстро прошли четыре года. Газеты сообщали:

вчера, 14 апреля бывший полпред СССР в Норвегии т. Коллонтай при большом стечении провожающих покинула Осло. На перроне находился почти весь дипломатический корпус, представители кабинета, рабочих партий, профорганизаций. Вся буржуазная пресса отметила деятельность отъезжающего полпреда как содействовавшую укреплению дружеских связей Норвегии с Союзом.

Все газеты подчеркнули, что при Коллонтай, в 1924 году, Норвегия признала СССР де-юре.

Когда она приехала в Осло в 1922 году, ее встречал чиновник протокольного отдела министерства иностранных дел Норвегии. Она не припишет успех себе. В интервью норвежской печати скажет: «Советский Союз начал продвижение по пути индустриализации и наши успехи неоспоримы...»

Одна вершина на долгом дипломатическом пути была достигнута. Впереди была Мексика.

Предложение поехать полпредом в Мексику явилось для Коллонтай неожиданным. Она хорошо знала Соединенные Штаты, но Латинская Америка была для нее terra incognita, хотя она и не раз задумывалась о дальнейших путях развития латиноамериканских стран. Еще находясь в Норвегии, Коллонтай пишет серию статей о мировой социальной революции, революционном брожении в Мексике и Никарагуа, о гражданской войне в Китае. Эти статьи Александра Михайловна так и не закончила, они не были опубликованы. Тем не менее ход мыслей автора представляет значительный интерес и сегодня, через шестьдесят лет после их написания. Коллонтай задается следующим вопросом: «Почему мы думаем, что социальная революция начнется вслед за нашей в Европе? И почему это надо считать, что социальная революция только тогда и есть социальная революция, когда она разыгрывается на территории высокоразвитых капиталистических стран, по которым мы привыкли изучать шаги истории? Что такое социальная революция, как не попытка класса, фактически несущего на себе производство, сбросить с себя тяжесть верхних, переживших себя социальных классов... Мы готовы признать, что Китай переживает фазу социальной революции, но что весь мир живет под ее неизбытым знаком. Это яснее видно нам, тем, кто волей судьбы и решающих инстанций Союза заброшен на чужие, далекие материка».

17 сентября 1926 года Центральный Исполнительный Комитет СССР издает постановление о назначении ее полпредом и торгпредом в Мексике.

Сразу же после приезда в Мексику она поняла, почувствовала, как безгранично велика разница между той Америкой, в которой она провела много месяцев в годы первой мировой войны, и страной, лежащей к югу от Рио-Гранде.

И граница между ними проходила не просто по великой реке. Это была граница социальная, политическая, экономическая, моральная. Там, на севере, лежала богатейшая страна капиталистического мира, привыкшая властвовать на великом континенте Нового Света.

Начало не предвещало ничего хорошего. Уже 15 декабря она делает в дневнике следующую запись:

«США, могу сказать к сожалению, чересчур занимают мною. Стараются доказать, что наше полпредство — «очаг коммунистической пропаганды». И что «жестокую и аморальную особу» Советское правительство прислало с особым заданием — «насадить коммунизм» в Мексике. И не только в Мексике, но и по всему американскому континенту».

Дальнейшие записи позволяют понять и почувствовать атмосферу, в которой находилась Александра Михайловна все шесть месяцев своего пребывания в этой латиноамериканской стране:

«25 декабря 1926 года.

Церемония вручения грамот прошла благополучно и пышно, но совсем не так, как в Норвегии. Президент Кальес послал мне огромный букет фиалок. Это хороший признак, ведь говорят, Кальес не отличается любезностью. Конечно, здесь сенсация, что женщина вручает грамоту и представляет такую великую державу, как СССР. Мексиканки отмечают, что это мировое женское достижение... Я этому рада...

29 декабря.

Эта неделя проходит в официальных визитах и в устройстве дома. Жить я все же останусь в отеле, так удобнее. К себе вижу хорошее отношение. Может быть потому, что и я к мексиканскому народу и его трудной борьбе отношусь с уважением и пониманием.

1 января 1927 года.

Я должна доказать, что женщина может быть дипломатом не хуже, а порой и лучше мужчины. «Пробить путь». Мое назначение на новый пост утверждает нас, женщин, на этой работе, право наше и в этой области труда.

13 января.

Большие события и скверные. В полпредстве все волнуются. Мининдел США Келлог выступил перед комиссией Бора с разоблачениями «о большевистской политике в Америке». Вчера поздно вечером звонили газетчики. Дала общий ответ о бездоказательности. Сегодня часа полтора беседа с представителем «Ассошэйтед пресс», делала опровержение келлогских обвинений по поводу нашей деятельности...

28 января.

Состоялось первое деловое свидание с президентом Мексики. Просила аудиенции у Кальеса по поводу той газетной шумихи в Америке, которая отравляет мое существование и вся построена на лжеразоблачениях Келлога о нашей пропаганде. Весь его материал — лживый вымысел, клевета на нас, продиктованные враждой к пролетарскому государству. Нет ни одного факта, ни одного серьезного доказательства. Но клевета действует. Ее подхватывают здешние мексиканские крупно-буржуазные круги. Все это очень досадно...

12 февраля.

Приход союзного парохода с союзными товарищами в порт Центральной Америки помог бы пробить путь для союзных товаров на новые рынки и восстановил бы совершенно оборвавшуюся нить торговых связей с Центральной Америкой... Обратное судно Союзторгфлота могло бы доставить также комбинированный список мексиканских товаров...»

Сложная обстановка, высокогорный климат все чаще давали себя знать. Иногда приходилось делать перерывы, чтобы прийти в себя, отвлечься от кошмарной суеты в Мехико.

Она писала Шадурской:

«А знаешь — откуда я тебе пишу? Из монастыря, переделанного теперь в загородный ресторан и отель. Стало невыносимо «безвоздушно» вчера, и мы с П/иной В/а-сильевой приехали сюда на несколько дней. Подумай — монастырь, переделанный в

загородный ресторан... Ежедневно здесь музыка, «афтернунти» и фокстроты. Но по утрам и вечером — пустота и дивно. Я наслаждаюсь тишиной. Кроме нас с Пиней еще один или два жильца. Сад когда-то был хорош. Сейчас запущен и напоминает почему-то украинские сады. Цветут кусты полуодичавших роз рядом с отцветающими вишнями. Масса таинственных переходов, церквей, крошечных, темных, кресты на углах башенок и монастырских стен... Сегодня я не пошла на работу. Осталась «дышать». Эти дни опять было хуже сердце. А здесь воздух не насыщен бензином и не пахнет чесноком и тряпками...»

В бурные дни Октябрьской революции да и в последующие годы вся информация о Советской России поступала в Мексику главным образом через Соединенные Штаты Америки. Шел поток самой разнузданной клеветы о событиях в Петрограде, о партии большевиков.

В сущности информация о Советской России в Мексике во время пребывания там Коллонтай была ненамного объективней, чем в 1917 году. И тут пропагандистский дар Александры Михайловны сыграл большую роль. Используя свои контактные способности и личное обаяние, она организовала через крупнейших деятелей культуры свои доклады о Советской России, ее истории, литературе и искусстве, Февральской и Октябрьской революциях, Ленине как вожде пролетарской революции. Внимательное наблюдение за настроениями мексиканцев позволило ей сделать 12 апреля 1927 года следующую запись в своем дневнике: «Растущий интерес к Советскому Союзу, к нашей новой культуре, к нашим писателям. К Ленину — восторженное поклонение. Индустриализация, электрификация, наши артельные начинания, успехи совхозов, крупное земледелие, трактора — все это мексиканцам понятно. Давно не ощущала такого "созвучия"». Вот обо всем этом она рассказывала мексиканцам.

Доклады Коллонтай получили широкий резонанс в прессе. Она дала интервью о положении в Петрограде в 1917 году, нарисовала литературный портрет Керенского, который летом 1917 года бросил ее за решетку женской каторжной тюрьмы. Это интервью опубликовала одна из самых популярных и распространенных газет Мексики — «Эксельсиор».

Но пребывание Коллонтай в Мексике подходило к концу. Вот записи из ее дневника:

«16 мая.

Москва дала согласие на мой отпуск. Значит, конец моей работы в Мексике. Надо бы радоваться, а я почти огорчена... Сейчас я уже втянулась в работу и привыкаю к климату и к высоте. Связи завязываются. И работа становится интересней. Но перерешать — нельзя.

5 июня.

Мехико позади... Материк Америка — прощай! Полгода работы. Полгода оторванности от друзей, от любимых, от партии... Полгода настороженности, ответственности. Но и достижений... Я уезжаю другая, чем приехала. Уезжаю обогащенная их культурой. Точно я заглянула в книгу истории и побывала за 4—5 тысяч лет тому назад. Мир стал шире и еще любопытнее».

Могла ли предположить Александра Михайловна, покидая Мексику, что пройдут десятилетия и в портах Мексики и других стран Латинской Америки будет часто швартоваться океанский лайнер, на борту которого будет сверкать имя «Александра Коллонтай».

После возвращения из Мексики Коллонтай ждало новое назначение — снова посланником Советского Союза в Норвегии.

Отъезд предшественника Коллонтай из Норвегии предполагался только осенью 1927 года, и Александра Михайловна выехала в Германию, чтобы восстановить свое здоровье после Мексики. В августе 1927 года она пишет из Берлина Шадурской:

«Берлин, 10 августа 1927 года.

...Мне душно в Грюневальде не столько физически, сколько морально... Берлин живет приговором над двумя несчастными в Америке⁴. Невольно и к ним несется моя мысль... Странное время переживает человечество. В нем много, много творческого, нового, незастойного, но и много острой борьбы. Наши отцы жили в другую эпоху. Что увидит Мишино дитя? Мне все кажется, что в XV—XVI столетиях человечест-

⁴ Речь идет о смертном приговоре двум американским рабочим — Сакко и Ванцетти

во переживало нечто схожее: гуманизм, реформация, инквизиция, войны, преследования за веру, расцвет науки и искусства, чума и крестьянские восстания. А мысль работала и экономика... строилась по-новому. Замки пустели, разрушались. А мореплаватели искали новых водных путей, как сейчас проводятся все новые и новые воздушные линии. Я верю, что коммунизм в широком смысле слова более близок и неизбежен, чем когда бы то ни было. Но пойдет это другими, нам неисповедимыми путями... И жалко, что лучшие наши друзья видят только «близкое» и «малое» и упускают то, что в творящемся есть «великого и творческого»...

Помнишь, как мы с тобой смолоду ненавидели застой и косность? Мы всегда рвались от всего законченного. Вот теперь мы в гуще процесса перестройки мира, все сдвинулось, ползет, изменяется»...

В Москву Коллонтай вернулась лишь осенью. Все меньше оставалось недель до открытия XV съезда партии. Партийная печать публикует материалы, разоблачающие троцкистскую оппозицию. 30 октября Александра Михайловна публикует в «Правде» статью «Оппозиция и партийная масса». Она давно уже окончательно и бесповоротно осудила «рабочую оппозицию», но теперь, перед отъездом, сочла необходимым еще раз высказать свое мнение публично, перед всей партийной массой. «...если оппозиция не слышит,— писала она,— чутким ухом умонастроения масс (сила В. И. Ленина была именно в том, что он всегда умел слышать, что требует, чего добивается, чего хочет масса), как же ей не оставаться побежденной? Нельзя безнаказанно стремиться прорвать волю коллектива своей «групповой волей». Те, кто пытаются это сделать, перестают быть «своими» для массы».

Статья привлекла большое внимание за рубежом, о ней говорила буржуазная пресса. Полностью статью перепечатал орган Коммунистической партии Соединенных Штатов Америки газета «Уоркер».

«Осло, 22 марта 1928 года.

Зочка! Какой-то у меня странный период настал: все воюсь с артистами, то я им цветы, то они мне. Что ни день, присылают билеты, сижу как ценительница в первых рядах. Директора театров очень заинтересованы моим мнением. На торжественных ужинах в честь Ибсена актрисы и актеры и директора театров пьют мое здоровье, вовсе не как министра, а как человека, который очень тесно связан с театром. Почему? На днях познакомилась с лучшим здешним артистом Сканке, и он мне ужасно напомнил Женю (сестра Коллонтай.— З. Ш.). А сегодня в ответ на мой «покойнический» цветок, о котором тебе уже писала Пиночка, получила очаровательное письмо от моего любимца Эрнста Рольфа, граммофонные пластинки его самых популярных песен, ноты и чудные темно-красные розы. Это особенно трогательно, так как ни ему ничего от меня не надо, ни мне от него.

В субботу у меня обед, на который приглашены художники, артисты и профессора. Совсем другой мир, чем тот, с которым имела дело в первый приезд в Норвегию».

Коллонтай не отказывалась от приглашений выступить и ответить на самые жгучие вопросы современной жизни, о литературных взглядах, положении в Советском Союзе. Подчас ей задавали вопросы провокационного характера. Она с достоинством и едким сарказмом отметала домыслы, намеки и полунамеки. Уже в конце 70-х годов издательство «Тидерне скифтер» издало двухтомник избранных произведений Коллонтай. Буржуазные издатели преследовали цели, явно противоречащие их возможностям. Рецензент двухтомника Ханна Рейнторф писала 28 февраля 1978 года в газете «Ланд ог фольк»:

«Несмотря на то, что у издателей заметно желание найти у Коллонтай критику Советского государства, даже подобранный ими материал настолько богат и полон, что он дает прекрасное представление, как о жгучих проблемах того времени, так и о жизни и деятельности самой Коллонтай».

Еще в начале 20-х годов Коллонтай начала создавать сборник воспоминаний о революционной деятельности, написала черновые варианты сборника очерков «Это было в Октябре». В предисловии она писала: «Мысль об издании такого сборника была мне подсказана читающей молодежью, той молодежью, которая в семнадцатом году была еще слишком юной, чтобы сознательно воспринимать исторические дни Октября».

В Осло Коллонтай приступает к работе над своими записками. 22 октября 1928 года она писала Шадурской:

«Знаешь, родная, сейчас новая волна в литературе: воссоздание живых исторических образов. Это не биографии, не сухая передача фактов, это и не роман из жизни великих людей. Нет, это совсем нечто новое. Перед тобой в живой форме проходит вся жизнь человека, его детство, невзгоды, радости, трагедии, достижения. Это не вымыслы, не роман. Это сама жизнь...»

У нас может родиться эпос о революции... наши молодые писатели... нащупывают путь. Но в их произведениях еще слишком много вымысла... Пишу теперь мемуары, а именно живые портреты: но не просто силуэты-образы, а восстановление, строго историческое, проверенное с документами эпохи и жизни человека».

11 августа 1929 года Александра Михайловна снова в письме к Шадурской обращается к этой теме:

«Не кажется ли тебе, что полоса «вымыслов» в романе прошла, что мы хотим сейчас знать «правду» жизни? Может быть, потому, что нам «лень» читать «серьезные» книги и мы хотим, чтобы нас учили истории в легкой, удобоваримой форме? Новый читатель — это как новый демократический танцор, — он требует самых «упрощенных» и четких па и упрощенно четких образов прошлого».

Еще весной 1930 года шведская, да и печать других скандинавских стран, опубликовала сообщения, что Александра Коллонтай будет назначена послом Советского Союза в Швеции. Осенью того же года эти предположения оправдались.

С жадным любопытством стокгольмское общество ждало появления Коллонтай в столице. Ждали не только дипломаты, аккредитованные в Стокгольме. Ждало «высшее общество», столь наслышанное об этой женщине, некогда принадлежавшей к элите царской России, а затем ставшей неистовой революционеркой. Ждали местные буржуа и еще больше буржуазки, читавшие или почерпнувшие из третьих уст сведения о ее книгах по вопросам «Эроса» и наслышанные о ее туалетах. И, конечно, ждали те, кого стало принято называть «простыми людьми» — рабочие, мелкие фермеры и служивый народ. Тут было не просто любопытство, а желание увидеть женщину-дипломата из Советской России, некогда изгнанную из Швеции, овеянную легендами, понять, что же здесь вымысел, а что правда и через нее понять страну, сбросившую ярмо самодержавия.

И вот она появилась в Стокгольме — не туристом, не случайным посланцем, а официальным представителем великой страны. О том, как ее встретило «высшее общество», весьма красочно и точно описал свидетель, который собственными глазами видел, как Коллонтай прибыла в «золотой карете» во дворец короля, чтобы вручить свои верительные грамоты. Этим свидетелем был Карл Герхард, знаменитый шведский актер, ставший затем добрым другом Коллонтай и выполнявший по поручению шведских властей чрезвычайно тонкую дипломатическую миссию в годы второй мировой войны: он налаживал контакты, способствовавшие выходу Финляндии из войны против Советского Союза. В своих мемуарах, вышедших в Стокгольме в 1953 году в издательстве «Боннье», он писал:

«Ее приезд в Стокгольм был большой сенсацией. Публика не сразу осознала, что одетая в меха дама, ехавшая в золотой карете, была одной из выдающихся личностей своего времени... С трепетом сладострастия теснилось стокгольмское общество вокруг советского посла во время приемов в высшем свете. В кулуарах эти люди говорили, что они не пожмут ее руки, так как эта рука «обагрена кровью класса, к которому они принадлежат». И тут же они протискивались поближе к этой женщине, ловили ее благосклонную улыбку или хотя бы обращенное к ним слово.

Безусловно, это была удивительная женщина, и вокруг нее создавалась атмосфера политических салонов Парижа. Она обладала большим обаянием и тонким юмором. Она отличалась холодным умом, но умела очаровательно улыбаться. Она говорила на очаровательной смеси скандинавских языков. Ее отличали мудрость, дружелюбие и жизнеутверждающий характер».

Так ее приняли те, от кого зависело ее вживание в шведское общество. С этим обществом она не могла не считаться. Но главное состояло в том, чтобы сплотить коллектив советского посольства, расширить отношения со страной, завоевать симпатии широких масс Швеции.

Решающую роль в этом сыграл тот факт, что Коллонтай принадлежала к тем кадрам партии, которые еще до революции, находясь в эмиграции, установили кон-

такты со многими политическими деятелями европейских стран. Александра Михайловна была хорошо знакома со шведскими молодыми социалистами, многие из них тем временем заняли крупные государственные посты. Это облегчило ей выполнение трудной миссии в Стокгольме.

В сутолоке событий, переплетении сложных дел, оценивая прошлое, она то и дело заглядывает в будущее.

Из письма к Шадурской, 1931 год:

«...Интересно, что мы с тобой прожили не только «эпох». И каких! Отмирание либерализма и расцвет наивно-гуманного социализма, замена либерализма... тут же расцвет утонченного индивидуализма (Гауптман, Гамсун, Уайльд, Рескин). Затем — эпоха мировой войны... темные, беспросветные годы, где только слабо мерцал во тьме духовной ночи, как боевой призывный огонь, действенный большевизм... За ней — другая эпоха. «Великая» — это 17-й год и все первые годы революции. Сейчас мы уже перешагнули в новый мир. Мы за чертой. Мы на переломе эпох. И это чудесно...»

В мире, однако, не все было чудесно. Экономический кризис, начавшийся в 1929 году, все сильнее потрясал капиталистический мир. Десятки миллионов людей, во всем разуверившихся, бродили по дорогам Америки в поисках работы. Все больше погружалась в трясину кризиса и Европа. В Азии уже шла война — Япония вторглась в Маньчжурию.

Не все просто было и на Скандинавском плацдарме. После захвата власти Гитлером в январе 1933 года в Швеции активизировались профашистские элементы. Это осложняло работу полпреда. Сразу же после назначения на работу в Стокгольм Коллонтай энергично взялась за выполнение очень важного в ту пору поручения. Правительство Керенского, предчувствуя свое неизбежное падение, перед Октябрем успело поместить в шведских банках золотой запас на сумму десять миллионов. Эта большая по тем временам сумма была необходима для закупки ценного оборудования в Швеции и других странах. Переговоры по этому вопросу велись давно, но предшественник Коллонтай Копп не добился возвращения золотого запаса.

Переговоры по этому вопросу, начатые Коллонтай еще в 1930 году, продвигались очень медленно. Но Александра Михайловна упорно шла к цели. В 1932 году на пост министра иностранных дел Швеции был назначен социал-демократ Рикард Сандлер — давний знакомый Коллонтай. В 1912 году он сопровождал Александру Михайловну во время ее поездки по Швеции, где она выступала с лекциями по социальным и политическим проблемам. Коллонтай настойчиво склоняла его к позитивному решению вопроса. Но окончательное решение упиралось в министра финансов Вигфорса. В конце концов и он не устоял против аргументов советского дипломата. В июне 1933 года был подписан договор о возвращении Советскому Союзу золотого запаса.

Незадолго до этого события Александру Михайловну наградили высшей наградой Советской страны орденом Ленина. Указ Президиума ЦИК СССР гласил, что она награждается за выдающуюся, самоотверженную работу в области коммунистического просвещения работниц и крестьянок. Но велики уже были ее заслуги и в области дипломатии.

В середине 30-х годов политическая обстановка в мире начала еще больше осложняться. В 1935 году фашистская Италия напала на Эфиопию. Это уже было предлюдией ко второй мировой войне.

В сложной и напряженной обстановке Советский Союз успешно продолжал мирное строительство, еще энергичнее развернул борьбу за создание системы коллективной безопасности в Европе, за сохранение мира. Полезен был в этой борьбе и опыт, авторитет, знания каждого деятеля Коммунистической партии. Ожидается официальный визит в Москву министра иностранных дел Великобритании Антони Идена, и Коллонтай по поручению ЦК ВКП(б) приглашает в Москву. Она тоже примет участие в этих переговорах.

Приехала — и сразу же много больших и малых дел. Из письма от 8 марта:

«В день приезда... меня позвали в НКВД. Очень удачно и приятно. Оттуда проехалась в Большой театр, но попала туда к концу митинга. Досадно, что не удалось быть с самого начала. Сегодня — у рабочих метро, завтра — на Пресне. Видала пока лишь деловых людей... Уже начались телефоны без конца и прилив всякого рода просьб и содействия...»

Сейчас жду деловых шведов, затем обед, а затем метро и собрание по поводу 8 марта».

После возвращения в Стокгольм Коллонтай осуществила давно задуманную идею — создание в Швеции Общества дружбы с Советским Союзом. Решение этой задачи требовало большого такта, выдержки, осмотрительности.

В 1935 году в Ленинграде состоялся Международный конгресс химиков. Из Стокгольма на конгресс в Ленинград прибыл знаменитый шведский ученый профессор Пальмэр. Ленинград с его удивительными красотами произвел на профессора сильное впечатление, да и сам конгресс, оказанный прием, высокий уровень советской науки, доброжелательность советских людей дополнили это впечатление. Вот кто мог бы взять на себя инициативу создания Общества дружбы, решила Коллонтай.

Теперь она не медлила. Пригласила профессора в посольство, обсудила с ним все вопросы. Пальмэр был буквально «подожжен» идеей. Составил список учредителей, провел переговоры с деятелями культуры, науки, общественными деятелями. Шведское Общество дружбы с Советским Союзом было создано. Пальмэра избрали президентом Общества, Коллонтай — почетным членом Правления.

Александра Михайловна организовала библиотеку для Общества, написала в Москву, и «Международная книга» прислала литературу, Коллонтай передала для библиотеки и книги из фонда полпредства. Жизнь закипела. Общество стало притягательным центром для ученых, писателей, артистов, профсоюзных деятелей. По приглашению Общества в Стокгольм приехали представители советской интеллигенции. Побывали там Александр Корнейчук, Вера Инбер, Давид Ойстрах, пианист Григорий Гинзбург. Писатели и поэты читали отрывки из своих произведений, музыканты давали концерты в зале полпредства. Это привлекло шведов, поднимало престиж Советского Союза. Особенно большой интерес вызвал приезд Михаила Шолохова. Он был так молод и застенчив — Михаилу Александровичу только-только исполнилось тридцать лет, — шведы были потрясены: так молод и уже создал великое произведение «Тихий Дон».

Позже несколько раз проездом во Францию и Испанию в Стокгольме останавливался Илья Эренбург. Он тоже читал отрывки из своих произведений. Шведы его хорошо знали, тепло приветствовали.

Шведское Общество дружбы с Советским Союзом сыграло большую роль в деле взаимопонимания двух стран и народов, чьи исторические пути были так тесно переплетены.

Коллонтай была включена в состав советской делегации, участвовала в XVI ассамблее Лиги наций, работала в Комиссии по вопросам правового и экономического положения женщин.

В те сентябрьские дни 1935 года Англия и Франция поощряли агрессора — фашистскую Италию, терзавшую Эфиопию, срывали применение санкций. 23 сентября Коллонтай писала из Женевы в Стокгольм Эми Лоренсон:

«Большой вопрос (о санкциях против агрессора.— З. Ш.) все еще висит в воздухе. Настроение очень напряженное... Много слухов, и не знаешь, когда сможешь уехать. Я хочу уже обратно в Стокгольм, особенно теперь, так как моя работа вчера закончилась. Большая битва за две резолюции, много сопротивления — дело было так серьезно принято господами (о статусе для женщин), точно вопрос шел об их жизни. Мы более или менее настояли на своем, и если постановление недостаточно ясное, то все же принцип сохранен!..

Я очень утомлена, но все же довольна. Только сегодня утром у меня был острый приступ печени (никому об этом не говорите. Я лежу в постели. Сегодня воскресенье). Сейчас лучше, чем было утром. Это должно было случиться — так много волнений».

В сложные предвоенные годы Коллонтай еще дважды пришлось выезжать в Женеву в качестве члена советской делегации на заседание XVIII ассамблеи Лиги наций. Вот ее письмо от 4 октября 1936 года из Женевы в Стокгольм, адресованное Эми Лоренсон:

«Дорогая Эми! Благодарю за письма.

...Здесь, в Женеве, фаталистический взгляд на развитие мировых событий. Сердце сбивается кровью, когда видишь, как здесь издеваются над республиканской Испанией. Просто страшно. Я чувствую себя несчастной и возмущена до глубины души.

Да, Вы правы. Здесь у меня другая жизнь и отсюда все мелочи и булавочные уколы кажутся смешными и незначительными...»

Годы бежали неумолимо, но все так же зорко и внимательно она вглядывалась в окружающий мир, оставаясь прежней Коллонтай. В 1937 году — ей было тогда 65 лет — Александра Михайловна открыла бал в Гранд-отеле и кружилась в вальсе с чехословацким министром. А в письмах то тихая грусть, то бурный взлет неиссякаемой энергии. Вот еще два письма, они говорят о многом: в марте Коллонтай уехала в курортный городок Мессеберг, приближался день рождения и ей хотелось побыть одной, вспомнить прошлое, подвести некоторые итоги.

«Зоюшка, родная, друг всей жизни, сегодня мне 65 лет. Большая цифра. Оглядываюсь и нахожу — жизнь была богата, красочна, многоцветна. Оставила след и результаты, кое-что сделала для женщины, была винтиком в строительстве социализма и в утверждении мощи и престижа нашего великого Союза. Кое-что сделала, но много, много меньше того, о чем мечталось и что себе намечалось. Вероятно, это неизбежно так».

Нелегко ей далась вторая половина 30-х годов. Навсегда уходили друзья тех далеких и бурных лет. Подчас наступало отчаяние. Но снова — бурный подъем жизненных сил, снова была через край неукротимая энергия, вся отданная служению своей родине.

Из письма, написанного в конце 1937 года:

«...сейчас 7 часов вечера, жду вечером гостей... местная «левая» интеллигенция. Столы накрыты, цветы в вазах. Анна Ивановна (повариха полпредства.— З. Ш.) в белом передничке и наколке. Я в черном бархатном... помнишь? — надевала на обед для Мовинкеля... И настроение у меня боевое. Чего только не пережито за эти недели? Насыщенно. Другому на жизнь целую хватит... Я, верно, «живучая», самочувствие «крылатое», несмотря на многие тени, на страдания, переплетающиеся с жизнью, на муку за судьбу многих прежних друзей, все это покрывает «подъем»: я снова в периоде завоеваний и преодолений».

А события накатываются одно на другое. Коллонтай до предела занята: приемы, переговоры, сообщения в Москву о положении в Швеции. Выполнено задание Москвы — открыта воздушная линия Стокгольм — Москва. Размещены на крупнейших предприятиях Швеции заказы на изготовление уникальных станков для Советского Союза... Нет возможности перечислить все сделанное в ту пору.

Она, конечно, не забывает и свое сокровенное — литературу, отдает ей ночные часы, когда наступает тишина, никто не позвонит по телефону, никто не спугнет крылатую мысль. 23 июня 1938 года она пишет Эми Лоренсон:

«Моя дорогая Эми!.. Как много мы могли бы поработать вместе в моей любимой области: литература, мемуары... Я ведь очень одинока. Очень! У меня такое чувство, что вокруг меня возникают все новые и новые пустоты. А мир за эти два года стал беспокойным и угрожающим. Я много читаю, отдаю предпочтение историческим произведениям: о Лоренцо Великолепном во Флоренции в эпоху Ренессанса, о Риме и Англии, о Наполеоне и женщинах, сыгравших большую роль в истории. Но подчас эти произведения навевают грусть: всегда были войны, разрушения, человеческая жестокость... Но когда я беру в руки московские газеты и читаю о молодежи нашей страны, мне становится радостно. Из моей социалистической Родины придет освобождение от войн и жестокости... А пока... война в Испании, война в Китае. Разве это не ужасно!»

Осенью 1938 года Коллонтай последний раз выезжает в Женеву. Строки оттуда: «Дорогая Эмихен!.. пишу во время заседания Комиссии, пока идет перевод речей. Обстановка в мире очень напряженная, и у меня на сердце лежит камень. Работа здесь не столь результативна, как хотелось бы. При нынешней напряженной международной обстановке других результатов ожидать нельзя. Что же будет? Бедная Чехословакия! Это ведь вторая Испания...»

После возвращения из Женевы Коллонтай пытается уделить время и для своих мемуаров. «Живу в водовороте событий,— пишет она,—...мир,— он стал другим. Я не узнаю его больше. И так хочется немного сердечного тепла в этом урагане, в котором мы живем».

Дни творческого простоя переходят в недели, а затем и в месяцы. События не дают покоя, взяли за горло, подчас в строках ее писем пессимизм:

«Я смертельно устала!.. Вдобавок к этому еще всякие заботы и неприятности, и пресса с ее глупостями... И нет никого, кто бы мне хотя бы немного помог... Я утопаю в мелочах... Когда я одна хожу по улицам Стокгольма, тени прошлого встают передо мною, словно быстро бегущие кадры фильма. Только всмотришься в них, а они исче-

зают. Но фильм можно посмотреть много раз, а жизнь не повторяется. Я очень одинока!.. и жизнь — это вечная спешка...»

17 марта 1939 года Александра Михайловна пишет Эми Лоренсон в Мертфорс:

«Когда весь мир охвачен волнениями и заботами, люди становятся ближе друг к другу... Последнее время моя рукопись лежит без движения, нет времени».

Через три дня, 20 марта, она снова пишет Лоренсон:

«Порой становишься скептиком и думаешь, имеет ли смысл писать? Особенно такие мысли приходят в голову перед лицом мировых событий. Но надо переломить себя».

Лоренсон старается подбодрить Коллонтай, знает, как та нуждается в поддержке, она звонит ей и вдогонку посылает письмо:

«Мертфорс, 26 марта 1939 года.

Дорогая Александра Михайловна!

...Нет никакого сомнения. Вы должны писать дальше и не думать, что Ваши литературные труды надо бросить, ибо человечество сейчас занято другими делами. Мир всегда чем-нибудь занят. Тревоги сегодняшнего дня пройдут. То, что Вы пишете — останется! Так важно узнать и понять первоисточники Вашей силы, мужества. Я не знаю, как это выразить, но Вы меня понимаете. Я хочу, чтобы люди Вас поняли и хотя бы даже в малой степени уяснили смысл того общественного движения, которое встряхнуло человечество и ныне является опорой и поддержкой в то время, как все бесцельно мечутся не зная куда».

Творческий «простой» длится недолго. Она остается верна своему девизу: во что бы то ни стало оставить свои воспоминания для будущих поколений. Она попросту удирает из Стокгольма в курортный городок Мессеберг и работает там до изнеможения над своими дневниками. 25 апреля 1939 года она снова может послать для перепечатки несколько глав.

«Дорогая Эмихен! Не всегда легко писать, когда в мире такой переполох... Чувствую себя утомленной и раздражительной. Д-р Блумстрем заявил категорически, что я должна вернуться. Поэтому 20 апреля я была в пути... Завтра, 26 апреля, я должна ехать обратно. Приезжает Майский — только проездом. Но уже в третий раз я больше не вернусь. Жаль, так как давление все-таки снизилось с 230 до 205. Я спала здесь очень хорошо... В Мессеберге я всегда дружу с пожилыми людьми. Последний раз это был доктор Кей из «Свенска дагбладет», очень умный и приятный собеседник. Он так обрадовался, когда я вернулась, прислал мне в комнату книги с милым письмом. А на следующий день он упал в салоне на пол. Умер. Это произвело на всех очень тяжелое впечатление. Я подумала, что с моими флиртами всегда все кончается драматически».

Последнее мирное лето 1939 года. Приближается мировая буря. Гитлеровская Германия захватила Австрию, уничтожает Чехословакию. Советский Союз предпринимает все возможные усилия, чтобы остановить расползание фашистской агрессии. В Москве идут переговоры с представителями Англии и Франции с целью принятия совместных мер против дальнейшей нацистской агрессии. Но английское и французское правительства послали в советскую столицу второстепенных лиц, не облаченных необходимыми полномочиями. Чемберлен и Даладьё все делают, чтобы канализировать германскую агрессию на Восток, против Советского Союза.

Коллонтай напряженно следит за событиями, отброшены в сторону литературные занятия: «Я иногда думаю: имеет ли смысл все это писать? Захотят ли люди когда-нибудь оглянуться назад? Мне кажется, мы вступили в тот период, в котором можно интересоваться только будущим».

Тучи все больше сгущаются. У Советского Союза остается только один выход — подписать договор о ненападении.

24 августа 1939 года, когда события в мире приобретают наивысший накал, когда многие растеряны и не в состоянии понять и оценить акцию Советского Союза, Коллонтай пишет: «Главное — предотвратить войну». И через шесть дней, 30 августа 1939 года, новая констатация и оценка происшедших событий: «Я уверена, что наша акция укрепила мир. Она смешала «карты» и это было очень важно и нужно... Моя рукопись не двигается дальше. Слишком беспокойно в мире. И много ответственности. Я не могу углубиться в прошлое».

Война все же разразилась. Не на Востоке, как рассчитывали «мюнхенцы» — на Западе. Советский Союз продлил мирную передышку. Это даст возможность укрепить обороноспособность страны.

Зима 1939/40 года принесла новые тяжкие испытания — «зимняя война» с Финляндией. Швеция, нарушая свою традиционную политику нейтралитета, приняла участие в развернутой «мюнхенцами» и другими реакционными силами антисоветской кампании. 6 января 1940 года Коллонтай по поручению Советского правительства направила ноту Швеции, в которой привела факты о помощи Швеции Финляндии, указала, что «эти действия шведских властей не только противоречат шведской политике нейтралитета, но и могут привести к нежелательным осложнениям в отношениях между Швецией и Советским Союзом».

СССР проявил сдержанность в отношении Швеции, что объяснялось и заинтересованностью Советского Союза в установлении мирных контактов с Финляндией. Большую роль в деле достижения мира с Финляндией сыграла Коллонтай. 29 декабря 1939 года она нанесла визит новому министру иностранных дел Гюнтеру. Это был первый зондаж для установления контакта с финнами.

В первых числах января 1940 года финское правительство направило в Стокгольм своего неофициального представителя, известную писательницу Хеллу Вуолийоки (она широко известна в СССР: спектакль по ее пьесе «Женщины Нискавуори» с большим успехом шел и идет на сцене Малого театра и других театров Советского Союза). Трехнедельные секретные встречи Вуолийоки в Стокгольме принесли полезные результаты. 29 января 1940 года Коллонтай передала шведскому правительству советские условия возобновления мирных переговоров. Реакционное правительство Рюти — Таннера упрямялось, выдвигало неприемлемые требования. СССР продолжал свою линию на прекращение войны, на поддержание нормальных отношений со Скандинавскими странами. Известный исследователь политики Скандинавских стран А. С. Кан отмечал: «Большие заслуги в улаживании советско-шведских инцидентов... принадлежали нашему посланнику в Стокгольме А. М. Коллонтай. На плечи этой немолодой уже, перенесшей первый инсульт женщины легло основное бремя предварительных мирных переговоров с правительством Финляндии. Как вспоминают современники, автомобиль советского полпреда постоянно можно было видеть стоящим у подъезда на площади Густава-Адольфа, где находился шведский МИД».

Мир с Финляндией был достигнут.

22 июня 1941 года в комнате на Виллагатен, где помещалось советское посольство в Стокгольме, спала семидесятилетняя женщина. Было очень светло в это раннее утро — в Скандинавии наступили белые ночи. В комнату постучали:

— Александр Михайлович! Вы спите? Вставайте! Война! На нас напали! Немцы!

Она давно уже поняла, какая ответственность ляжет на нее в случае войны: отныне только в трех странах Европы оставались советские посольства — в воюющей Англии и в нейтральных Швеции и Швейцарии. Больше нигде. Все остальные страны Европы оккупированы гитлеровской Германией и являются ее сателлитами-союзниками. И даже нейтральная Швейцария не может быть источником информации. Там хозяйничает фашистский абвер.

Сохранившиеся в частных семейных архивах письма Коллонтай и газетные полосуны донесли важные факты ее деятельности. В труднейшие дни войны, когда гитлеровская армия подошла к воротам Москвы, Коллонтай под псевдонимом Роберт Гаррисон публикует в стокгольмской газете «Экстрабладет» 20 декабря 1941 года статью «Победа будет наша». «Этими словами определяется настроение в Советском Союзе, — писал Гаррисон. — Кого ни встретишь, государственного ли деятеля, рабочего, ученого, актрису или служащего гостиницы — каждый скажет вам те же слова: победа будет наша!

Допустить другой исход показалось бы советскому человеку признаком невежества или просто глупости... Временный неуспех встречают как неизбежное явление...»

В самый разгар войны Коллонтай дает интервью корреспонденту английской газеты «Дейли экспресс».

Два главных момента она выделяет в этом интервью:

1. сотрудничество между СССР и союзниками после войны жизненно необходимо, иначе мир окажется под страшной угрозой;

2. пора перестать отлынивать и открыть второй фронт. Высадка союзников в Италии — не решение вопроса.

...7 ноября 1941 года. Под Москвой развернулась небывалая по своим масштабам и героизму битва. На Красной площади столицы парад частей Красной Армии.

В те напряженные часы в большом зале полпредства в Стокгольме собралась вся советская колония. Коллонтай подходит к столу, в руках у нее наспех исписанные листочки доклада.

«Сегодня весь наш народ встречает 24-ю годовщину Великой Октябрьской революции под знаком гнева, возмущения и ненависти против проклятой банды Гитлера, коварно-злодейски напавших на нашу великую социалистическую родину. Война небывалых масштабов, интенсивности и жестокости» — так начинается ее сообщение.

...Последние дни декабря 1942 года. Под Сталинградом идет сражение за каждый дом и каждую улицу. Гитлеровское посольство распространило в Стокгольме сообщение, что город на Волге пал и «большевистские орды» там уничтожены или пленены.

Надо опровергнуть и эту пропагандистскую ложь нацистского командования. Машинистка посольства Лариса Ивановна Степанова всю ночь принимает по радио из Москвы сведения, сводки Совинформбюро. На ротаторе их размножают, вкладывают в конверты и рассылают в редакции газет, журналов, официальных агентств и многим видным деятелям Швеции. Так поступает советское посольство все годы Великой Отечественной войны. Этот «Бюллетень Советского посольства» — детище Коллонтай.

А под Новый, 1943 год она устраивает для детей елку, пишет сказку о Лягушке-квакушке и ее товарище Пауке-бегуне, дарит сказку сыну сотрудника Игорьку, который зачитает ее всем детям на новогоднем празднике.

Сохранилась эта сказка, написанная рукой Коллонтай на листке из ученической тетради в линейку. Внизу подпись и дата: «1 января 1943 года. Александра Коллонтай».

Президент Финляндской республики Урхо Калева Кекконен писал: «Искреннее стремление мадам Коллонтай помочь Финляндии выйти из войны мы вспоминаем с большой благодарностью».

И еще одно многозначительное признание — министра иностранных дел Швеции Гюнтера: «Счастье для Швеции, что именно мадам Коллонтай была представителем Советского Союза в годы войны». К этому необходимо добавить, что все свои дипломатические действия и шаги Коллонтай осуществляла в соответствии с установками и поручениями Центрального Комитета партии и Советского правительства.

А теперь перенесемся мысленно в февральский день 1944 года. Именно тогда на Виллагатен пришел шведский промышленник и банкир Маркус Валленберг, чтобы встретиться с советским послом.

Александра Михайловна знала, что Валленберг тесно связан с правящими кругами Финляндии, имеет крупные капиталовложения в банках Хельсинки. Знала она и то, что он обеспокоен судьбой своих капиталов и может сыграть определенную роль для того, чтобы через него наладить контакты с финским правительством, и потому пригласила его.

Уже в первые минуты разговора выяснилось, что Коллонтай нащупала важные пружины³.

Валленберг сказал:

— Ваши войска ведут грандиозное наступление по всему Восточному фронту... Если война с Финляндией продолжится, я могу потерять свои капиталы.

Коллонтай дала совет Валленбергу отправиться без промедления в Хельсинки и посоветовать президенту Финляндии Ристо Рюти начать переговоры о мире.

Уже 7 февраля Валленберг был в Хельсинки, встретился с Рюти. День был выбран на редкость удачный для выполнения миссии. Советская авиация произвела массированный налет на вражеские позиции.

Правительство Финляндии попросило Валленберга передать Коллонтай, что для встречи с ней в Стокгольм тайно прибудет Юхо Кусты Паасикиви и ему поручено «выяснить условия выхода Финляндии из войны».

Следует сказать, что поручение переговорить с Коллонтай выпало на того человека, который помнил мудрое завещание одного из крупнейших общественных деятелей

³ Приведенные здесь данные о переговорах с Валленбергом и Юхо Кусты Паасикиви, последний изложил в своих мемуарах, опубликованных в Финляндии и Швеции.

Финляндии прошлого века Снельмана, еще в 1863 году предупредившего своих соотечественников, что лишь «в полной дружбе с Россией наш народ может жить и создавать предпосылки для самостоятельности».

Успеху переговоров должен был способствовать тот факт, что Паасикиви был раньше послом Финляндии в Стокгольме и у Коллонтай сложились с ним дружеские отношения. И вот подробности встречи с Паасикиви, которая состоялась в Сальтшебадене в марте 1944 года, в Гранд-отеле, принадлежавшем Валленбергу.

В 12 часов ночи к Гранд-отелю подъехала машина, из которой вышли Валленберг и Паасикиви. Они прошли мимо портье, который, завидев хозяина, подобострастно поклонился, и поднялись на второй этаж, в комнату, предназначенную для Валленберга.

Валленберг заранее зарезервировал три комнаты. Одна была предназначена для Коллонтай, слева в комнате рядом находилось ее доверенное лицо, комната по правую сторону — Валленберга. Таким образом, подслушивание переговоров исключалось.

Паасикиви, выйдя из комнаты, в которой остался Валленберг, быстро прошел к Коллонтай. Высокого роста, как бы вырубленный из глыбы финского мрамора, с мощной головой, посаженной на короткой шее, внешне медлительный и малоразговорчивый Паасикиви был преисполнен чувства ответственности за порученную ему важную для его народа миссию. Он тепло и дружески приветствовал Коллонтай, Александра Михайловна протянула ему руку и так же тепло ответила на приветствие.

Разговор, длившийся довольно долго, происходил на шведском языке...

Пройдут годы и Паасикиви с полным правом скажет своему народу, что ему пришлось исправлять пером то, что разрушил меч.

И она, посол своей страны, понимала, что в ту ночь в комнате отеля в курортном местечке под Стокгольмом рождается дитя мира. Раздастся его первый слабый крик, прорвавшийся сквозь грохот всесветной бойни, в которой ежедневно гибнут тысячи жизней. Но она могла лишь догадываться, что в ту ночь заложен еще один кирпич в фундамент политики добрососедства между двумя странами с разным социальным строем. И эти отношения станут добрым примером для других, а слово «Хельсинки» через десятилетия приобретет особый смысл...

Беседа закончилась... Паасикиви тепло поблагодарил Коллонтай. Александра Михайловна подошла к столу, на котором лежала коробка сигар. Она знала, что сигары — его страсть, однако война давно лишила его этого удовольствия. Но как быть? Можно и нужно ли одаривать представителя враждебной страны? Александра Михайловна на мгновение задумалась, взяла пять сигар — по числу частей света — и протянула ему.

В глазах Паасикиви, прикрытых тяжелыми веками, мелькнула искра благодарности. Он тихо сказал: «Всякое даяние благо» — и, тяжело ступая, пошел к двери... пошел к двери...

Журналисты в Стокгольме ломали себе головы, с какой целью прибыл в столицу Швеции Паасикиви? Он кратко ответил на их вопросы: прибыл навестить своего давнего друга банкира Валленберга. И, конечно, порыться в лавке букинистов.

Все знали, что Паасикиви — старый библиофил. Его заявлению никто не поверил. И никто тогда так и не узнал о подлинной цели его неожиданного визита в Стокгольм...

В ту ночь Коллонтай передала Паасикиви советские условия прекращения военных действий.

Дальнейшее победоносное наступление советских армий по всему фронту отрезвило упорствующих финских реакционеров. И снова в центре переговоров оказалась Коллонтай с ее тактом и умением повести дело к успешному завершению. В конце августа 1944 года Энкель поручил финскому послу в Стокгольме Гриппенбергу вручить Коллонтай письмо для Советского правительства с просьбой принять финскую делегацию для переговоров о перемирии или мире.

Через четыре дня Советское правительство сообщило свой ответ, подтвердив уже известные условия о разрыве отношений с гитлеровской Германией и выводе нацистских войск из Финляндии в двухнедельный срок.

Финское правительство приняло условия. 30 сентября Коллонтай пригласила Гриппенберга и его ответственных сотрудников на официальный завтрак. Произошел обмен речами. Коллонтай говорила по-французски, высказала радость по поводу оконча-

ния войны между СССР и Финляндией. Гриппенберг дал оценку деятельности Александры Михайловны, ее усилиям, которые способствовали выводу Финляндии из войны.

Последние годы Коллонтай почти безвыездно находилась в Москве. Здоровье продолжало ухудшаться, но она не сдавалась, продолжала писать, все чаще вспоминала прошлое, годы борьбы за светлые идеалы.

К ней приходили друзья, говорили о литературе, событиях, происходящих в мире.

Она уже давно достигла горной вершины, преодолев многие крутые пики. И могла оглянуться назад, подвести итоги. За два года до кончины она написала письмо своему давнему другу и соратнику по дипломатической деятельности Семену Максиму Мировичу Мирному, призывая его и всех старых друзей запечатлеть страницы героической борьбы ленинской партии, оставить их потомству.

«Мы все грешим тем,— писала Коллонтай,— что не оставляем для истории даже переписку между членами партии нашего времени, а она часто дает свежую картину происходящего... Через сто лет это будут читать с увлечением и по-новому и поймут наши трудности и наши победы и достижения».

Свою книгу она продолжала писать. Время внесло коррективы в ее прогнозы. Не через сто, а через тридцать лет увидели свет ее статьи и речи*. Жаль, что Александра Михайловна не успела довести эту книгу до конца...

В начале 50-х годов на Большой Калужской улице в Москве из подъезда дома номер 11 изредка выезжала инвалидная коляска, в которой полулежала женщина. Ее лицо все еще хранило черты былой красоты.

Заметив коляску, милиционер-регуляторщик останавливал движение, отдавал честь и, лишь когда она оказывалась на другой стороне улицы, разрешал движение транспорта.

Нелегкие были последние месяцы ее жизни. На ее глазах прошли целые эпохи, менялись поколения, уходили из жизни старые друзья, все чаще болел Литвинов. В последних будничных записках, которыми они обменивались,— проза жизни. 17 сентября 1951 года, за три с половиной месяца до кончины Литвинова, Коллонтай писала ему:

«Дорогой Максим Максимович!

Мой сын просил передать Вам, что доктор Находкин готов приехать к Вам, но, во-вторых, нужно Ваше согласие и посылка за ним машины, так как он иначе не едет на консультацию...

Как Ваше самочувствие?

Если Вы закончили просматривать мою рукопись, не откажите вернуть мне ее сегодня, она еще в работе.

Как Ваш сон? Мне очень помогают таблетки фанодорм, всего одну таблетку на ночь, запить водой, лучше тепловатой... Спишь хорошо и утром голова свежая...

Ваша А. Коллонтай»

Она по-прежнему диктовала свои записки. С достигнутой вершины она еще о многом хотела сказать тем, кто пришел в этот мир после нее и тем, кто придет в грядущие десятилетия.

9 марта 1952 года Александра Михайловна Коллонтай скончалась. Накануне пришли письма и телеграммы от всех, кто знал и ценил ее подвижнический труд на благо Советской страны, во имя освобождения женщины от несправедливости и неравенства.

Прах Александры Михайловны Коллонтай покоится на Новодевичьем кладбище в Москве. Рядом могилы Георгия Васильевича Чичерина и Максима Максимовича Литвинова. В истории Советского Союза эти три государственных деятеля и дипломата внесли вклад, который трудно переоценить. Их труд лег могучими плитами в фундамент страны, первой прорвавшей замкнутый круг истории.

* В книгу А. М. Коллонтай «Избранные статьи и речи» (М Политгиздат 1972) вошли работы Коллонтай, написанные в разные годы.

В МИРЕ ИСКУССТВА

ЕЛЕНА ДАНГУЛОВА



СОДРУЖЕСТВО

*Беседы с народным художником СССР
Д. А. Шмариновым*

... **К**лассическая литература. Осмысление ее сегодня неразрывно связано с богатейшим опытом современных режиссеров, актеров, скульпторов, художников — словом, представителей самых различных искусств, в чьем творчестве литературное наследие получает своеобразное преломление.

Для истинного таланта это всегда мудрая и щедрая школа, каждая новая ступень которой, увеличивая жажду совершенства, оттачивает мастерство художника, упрочивает гражданские позиции, укрупняет нравственный потенциал. В соприкосновении современного искусства с опытом прошлого, выраженном в философской, этической и эстетической программе Пушкина или Шекспира, Толстого или Достоевского, Чехова или Горького, выявляется не только глубина исторического опыта, но и духовная сущность сегодняшнего дня. Все новые и новые работы, отмеченные печатью большого таланта, становятся достоянием миллионов, преумножая ставшее поистине общенародным чувство культурной преемственности.

Современное искусство по-своему расширяет и литературоведческие границы. Ни один серьезный художник не мыслит сегодня своей работы по классике вне глубочайшего изучения литературоведческих исследований, вне собственных оригинальных изысканий, связанных с природой творчества того или иного писателя. Но и современное литературоведение все чаще и чаще обращается к произведениям искусства, избравшим своей темой литературный образ.

Первое наше выступление о поисках и открытиях на этом пути было посвящено творчеству советского актера и кинорежиссера Сергея Бондарчука («Новый мир», 1981, № 3). Сегодня новая встреча с нашим современником, чье искусство впрямую связано с литературой.

На Верхней Масловке, старинной улице Москвы сегодня, впрочем, мало чем отличающейся обликом своим от новых районов столицы, есть один дом заметный — большой, серый, с огромными окнами, москвичам он известен тем, что здесь живут и работают московские художники.

Мастерская народного художника СССР Дементия Шмаринова не вписывается в наше традиционное представление, сложившееся еще с гоголевского «Портрета», о том, что здесь обязательно должен царить особый живописный беспорядок. Масса света и воздуха в этой мастерской, отдраен добела, как когда-то в деревнях, некрашенный дощатый пол, по стенам от пола до потолка — книги, книги, книги.

В библиотеках книги со шмариновскими иллюстрациями стараются держать в основном в читальных залах, оберегая от небрежливой абонента. Но чтобы оценить вполне издание «Повестей Белкина», например, конечно, нужно рассматривать его дома, подолгу, возвращаясь к рисункам еще и еще раз параллельно с чтением книги.

— Пушкинское творчество для меня как пристань, где я могу отдохнуть, — говорит художник. — Нет, неверно — у Пушкина я всякий раз получаю новое дыхание, обновление. «Повести Белкина» — есть в них и ирония и буколика, и в то же время они

наполнены любовью к людям — вспомните хотя бы «Станционного смотрителя»: как пластически ясно, поразительно точно, экономно написана повесть, с великой пушкинской простотой. Говорят, что нельзя войти дважды в один и тот же поток, но войти в поток Пушкина можно и нужно: это родник с живой водой. В сорок седьмом году я иллюстрировал «Дубровского» и вот уже совсем недавно — четыре тома пушкинской прозы.

За эту последнюю работу над Пушкиным и за дополненное новыми иллюстрациями издание «Войны и мира» Дементию Шмаринову была присуждена Ленинская премия.

Вот эти четыре книжечки пушкинской прозы в одном футляре. Каждая обложка имеет свой «кафтан»: «Повести Белкина», поскольку там много снега, метели, — белый, «Дубровский», естественно, вызывает ассоциации с зеленым, у «Капитанской дочки» цвет кафтана Пугачева, у «Пиковой дамы» — черный... «Пиковая дама». По черному полю летит знакомая пушкинская роспись. Форзац книги зеленый, как сукно карточного стола. На шмуцтитуле портрет «пиковой дамы».

В безобразной восьмидесятисемилетней старухе современники безошибочно угадывали «усатую княгиню» Голицыну. Гофмейстерине в ту пору, когда знал ее Пушкин, было уже за девяносто, но она была настолько влиятельна, что в день ее имени сам Николай I приходил к ней с поздравлениями.

А у Шмаринова знаменитая пушкинская графиня Анна Федотовна изображена «молодой красавицей с орлиным носом», портрет этот схож с портретом, что висел в ее спальне. Хороша «московская Венера», но есть в портрете и некий иронический подтекст, обращенный к нам, ведь и у Пушкина образ зловещей старухи графини не сразу проявляется, так не спешите доверяться невнимательной памяти, удерживающей лишь роковые перипетии фабулы.

Чисто изобразительное решение подачи текста учит нас быть внимательнее, заставляет ценить и замечать всякую пушкинскую деталь, всякое пушкинское слово. Как правило, эпиграф набирается мелким шрифтом над текстом, что мало способствует тому, чтобы читатель отдал эпиграфу должное и вдумался, что за ним стоит, зачем он нужен писателю. Четыре эпиграфа у Пушкина — на французском языке. Художник потребовал от издателей перенести перевод в примечания, над каждым эпиграфом стоит изобразительный перевод, и решение их настолько неожиданно и интересно, что даже тот, кто привык никогда не обращать внимания на эпиграфы, на сей раз не однажды к ним обратится.

Эпиграф, предвещающий новеллу, набран крупным шрифтом:

«Пиковая дама означает тайную недоброжелательность.

Новейшая гадательная книга».

Над ним три карты из самой дешевой колоды, две рубашкой, третья — дама пик — лицом, что, как известно, на карточном аргю — предвестник всяческих бед. Но есть «но»... Ссылаются всегда на старейшие гадательные книги и уж никак не на новейшие; да и что это за новейшая гадательная книга, как не шутка: еще не начав повествование, Пушкин улыбнулся, а вместе с ним и художник.

Ни в одном из своих изобразительных эпиграфов Шмаринов не отступает от авторского замысла, пристальное изучение новеллы привело художника к пониманию, что делает пушкинскую прозу при всей ее простоте и поражающей емкости каждого слова непостижимо многозначной. Шмаринов не претендует на исчерпывающее постижение, но и за тем, что открывает его решение, рассекречиваются сцепления, далеко не всеми и не сразу замечаемые.

Вот к эпиграфу второй главы художник изобразил в полукруглом окне мансарды «черноволосую головку, наклоненную, вероятно, над книгой' или над работой». Это портрет Лизы, данный самим Пушкиным; художником изображено даже слово «вероятно»: через полукруглое окно мансарды действительно трудно понять, вышивает девушка или читает. Переведем эпиграф:

«— Вы, кажется, решительно предпочитаете камеристок.

— Что делать, сударыня? Они свежее».

Абстрактный светский разговор, впрямую не имеющий отношения ни к одному из героев. Но именно в этой главе примет Германн решение узнать тайну старой графини. «Представиться ей, подбиться в ее милость, — пожалуй, сделаться ее любовником, — но на это все требуется время — а ей восемьдесят семь лет, — она может уме-

реть через неделю»... И вот тогда-то герой увидел Лизу — «свежее личико и черные глаза. Эта минута решила его участь».

Лишь один пласт, обнажающий цинизм маниакальной целеустремленности героя, где Лизавета Ивановна — жертва, «пренесчастное создание», а в нашем представлении — одна из драматических пушкинских героинь. Но есть и второй пласт — светский диалог. И если совпадение эпитетов «они свежее» — «свежее личико» у Пушкина не случайно, значит, верно и шмариновское решение, когда он рисует к абстрактному эпиграфу конкретный портрет Лизы. Но тогда получается, что мы не совсем правы, видя в Лизе драматическую героиню: она из камеристок. Тот, кто был внимателен к пушкинскому заключению, согласится с таким решением художника. В конце концов Лизавета Ивановна выйдет замуж «за очень любезного молодого человека; он где-то служит и имеет порядочное состояние: он сын бывшего управителя у старой графини. У Лизаветы Ивановны воспитывается бедная родственница».

Четвертая глава. К эпиграфу — профиль Наполеона. Перевод: «7 мая 18**». Человек, у которого нет никаких нравственных правил и ничего святого! А мы воспринимаем миниатюру как портрет Германа. Во всех иллюстрациях внутри глав это сходство героя с Наполеоном, которое Пушкин называет пошлым, подчеркивается художником в маниакально-наполеоновской надменности самого постава фигуры, в скрещенных руках, в дико-мрачном взоре. В эпиграфе художником сфокусирован исток, первопричина судьбы героя.

Виктор Борисович Шкловский, анализируя пушкинские эпиграфы, доказал, что они выполняют у поэта роль эзопова языка и потому ссылки на авторов иногда и ложны. В «Пиковой даме» этот прием обнажен, здесь Пушкин и не скрывает, что они придуманы им самим, подчеркивая необязательность авторства в светском разговоре или переписке, и призваны высветить подтекст, заложенный внутри сюжета: перед главами, казалось бы, фатально-трагического звучания в эпиграфах всякий раз доминирует явно саркастическая нота. Эпиграф у Пушкина задает тон.

Иллюстрации Шмаринова обладают даром литературоведческого анализа и, продолжая поиск в направлении исследований Шкловского, помогают нам обратить внимание на то, что мы не всегда умеем замечать. В его решении «Пиковой дамы» эта цель достигается не только высокой культурой подачи текста, но и в самом изобразительном решении. Так, например, художник доказывает, что между эпиграфами пятой и шестой глав при всей их несхожести есть прямая взаимосвязь.

Только что умерла от страха в своих вольтеровских креслах графиня, а сразу же следом за этой главой идет такой эпиграф:

«В эту ночь явилась ко мне
покойница баронесса фон В***.
Она была вся в белом
и сказала мне: «Здравствуйте,
господин советник!»

Шведенборг».

И все же, несмотря на эти чисто комедийные детали («вся в белом», «здравствуйте»), жутковатое впечатление от той, только что умершей страшной старухи, нас не оставляет. Но увидев ее над эпиграфом изображенной в ночной рубашке и нелепо кокетливом чепце с бантами, многозначительно поднявшей костлявый палец, а другой рукой подбирающей, чтобы не споткнуться, подола этой невероятно длинной рубахи-савана, мы не можем сдержать улыбку.

Улыбается поэт, улыбается художник.

Этот же многозначительно предостерегающий жест будет и в шестой главе: изображены одни руки, в руках карты, но какие руки — толстые, узловатые, алчные, это уж не руки графини! И текст с лакейски-уничижительной частицей да плюс плебейское нарушение французского ударения на последнем слове, подчеркнутое Пушкинным:

«— Ата́нде!

— Как вы смели мне сказать ата́нде?

— Ваше превосходительство, я сказал ата́нде-сі!»

Для финальной трагической главы, где будет так жестоко наказан герой, — и столь странный эпиграф, эпиграф — секрет? Ответ на него в дневнике Пушкина от 7 апреля 1834 года: «Моя Пиковая дама в большой моде. — Игроки понтируют на тройку, семерку и туза. При дворе нашли сходство между старой графиней и кн Натальей Петровной и, кажется, не сядутся...»

Не побоялся Пушкин высмеять приближенную к русскому престолу на протяжении шести царствований, но все еще задающую балы в ту пору, когда уже вышла новелла, превратив ее в безобразную старуху-привидение. Но двор не сердится, все понтируют на тройку, семерку, туза. Маниакальная идея, вызвавшая у Пушкина презрение и высмеянная им столь блистательно, стала модной, раскожей — пошлой. Вот он, образ этих рук! И не эту ли реакцию предвидел Пушкин в эпиграфе к последней главе?

Саркастично-кратко пушкинское заключение к «Пиковой даме»: «Германн сошел с ума»; затем адрес больницы, даже номер палаты. И у Шмаринова этот финал предельно лаконичен и... страшен. Сидит Германн на больничной койке в позе Наполеона, в рваном халате на голое тело, тупо уставившись в одну точку.

Помните пиковую даму, обозначающую тайную недоброежелательность, изображенную в начале книги? На последней странице ее заменит старуха в чепце в позе дамы пик, вместо цветка в ее руке три карты, и, «прищуривая одним глазом» прямо на нас, замрет в насмешливой улыбке.

Гёфманиада разрушена.

Шмаринов считает, что его возможности как художника-иллюстратора не безграничны; однако поиск художника идет не по пути фабульной конкретности, а в зримом воплощении философской и эстетической сути литературного произведения.

Точность жанрового чувства.

Пушкин-поэт, создатель «Евгения Онегина», для Шмаринова неприкосновенен, но емкая многозначная пушкинская проза находит параллели в его изобразительном решении; изобразительна у художника и сложнейшая философия Достоевского. Достоевский в его иллюстрациях символичен, Пушкин стремительно-точен, гоголевский «Тарас Бульба» выполнен в довженковском ключе — природа сливается с образами героев.

Кто видел эту книгу, помнит композицию разворота. Яблоня с щедрым урожаем наливных яблок и мать, простая украинская женщина, вместе с сыновьями — богатырями. Дуб — старый, кряжистый, и Тарас — словно пустивший корни в землю столетний дуб. Образы выполнены смелыми крепкими мазками — решительно, уверенно. Да, это Гоголь, это Украина, ее степи, ее раздолье. Незыблемость, красота земли, мощь народная...

Точность жанрового решения.

— Мечта проиллюстрировать роман Достоевского у меня была связана с культом Ленинграда. Я очень люблю Ленинград, хорошо его знаю, особенно ту часть, где сохранился облик старого города. Когда я только начинала свою работу над романом, мне повезло: не помню уж сейчас, кто посоветовал прочитать книгу «Петербург Достоевского», а потом я познакомился и с ее автором — был такой Анциферов Николай Павлович, замечательный литературовед! И по его приметам и подсказкам прошел по всем этим лестницам, коридорам, углам, по всем этим страшным проходным дворам и переулкам.

Представить себе размеры проделанной художником работы можно только тогда, когда пытаешься мысленно восстановить географию скитаний Раскольников, призвав на помощь старинные карты Петербурга и книгу Анциферова, изданную Брокгаузом и Ефроном в 1923 году. Анциферов увидел в произведениях Достоевского не только аллегорический образ Петербурга, города, явившегося вдохновителем, музой писателя, но и сумел доказать, что особая, гнетущая ирреальная атмосфера романа не обладала бы такой убеждающей силой, не связки ее Достоевский с совершенно реальным, топографически точно выписанным образом города.

В «Преступлении и наказании» Достоевский вроде бы засекречивает обозначения «срединных улиц» Петербурга: «В начале июля, в чрезвычайно жаркое время, под вечер один молодой человек вышел из своей каморки, которую нанимал от жильцов в С — м переулке, на улицу и медленно, как бы в нерешимости, отправился к К — ну мосту» — так начинается роман. Но при этом мы узнаем, что от дома Раскольникова до дома старухи ровно семьсот тридцать шагов, узнаем, где именно Раскольников встретит Мармеладова, через сколько домов от дома Сони находится мост, где сойдет с ума Катерина Ивановна, на каком бульваре встретит соблазненную пьяную девочку Родион.

Засекречивание географии происходящего, возбуждающее любопытство читателя,

легко рассекречивалось, особенно современниками; для того чтобы увидеть прообраз романа, им достаточно было переступить через черту Невского и дойти до Сенной.

Сенная с прилегавшими к ней улицами Гороховой, Мещанской, Казначейской была центром публичных домов, ночлежек, бесконечных распивочных и трактиров. В Столярном, том самом С—м переулке, где жил Раскольников, на шестнадцать домов, по свидетельству современников, приходилось восемнадцать трактиров; удивительно ли, что его будили «страшные, отчаянные вопли с улицы, которые, впрочем, он каждую ночь выслушивал под своим окном в третьем часу». Застраивался этот район, принадлежавший именитым Вяземским, Юсуповым, Апраксиным, с таким расчетом, чтобы даже из нищего можно было выжать копейку: их селили или в подвалах, или в каморках под крышами вроде раскольниковской. Экономия пространства породила вонючие дворы-колодцы, узкие, стена в стену улицы, переулки-тупики, кончавшиеся свалками и помойками,— в городе, гордившемся классической планировкой. Эта мрачная изнанка Петербурга поражала своей контрастностью еще и потому, что и Вознесенский проспект и Гороховая — центр притонов — вместе с Невским входили в знаменитый трезубец, начинавшийся с Адмиралтейства, прекрасный образ которого действительно просматривается с любой точки Гороховой и Вознесенского. Можно представить себе, как этот символ иного — дворцового города дразнил своей недосыгаемостью служивый и бродячий люд, загнанный на чердаки и в подвалы.

Изнанка Петербурга — главенствующий образ Достоевского, страшный и убеждающий неприкрытой обнаженностью, воссоздан Шмариновым со всей достоверностью. У Шмаринова этот образ не только портретно точен, но и предельно эмоционален. Благодаря вертикальной перспективе пятиэтажные дома действительно кажутся огромнейшими, а от изображения дворов-колодцев создается реальная иллюзия того, что перехватывает дыхание в этом городе без воздуха и неба. Впечатление усиливается и благодаря контрастному противопоставлению огромных глухих стен без окон и прилепившихся к ним маленьких домишек с безобразными, похожими на водосточные трубами, выносившими угар в петербургское небо. На одной из многочисленных иллюстраций, где изображен дом Раскольникова, художник восстановил такой домишко-уродец и эти трубы-паразиты, частью целые, частью сломанные и провисшие на скобах, торчащих из глухой стены.

Художником замечено все: что Сенную венчала нынче не сохранившаяся церковь Успения Спаса; что дом Сони — окнами на канал — маленький, трехэтажный, вход со двора; что лестница, ведущая к старухе, была сразу же от ворот направо.

— Помню, как обрадовался я,— продолжал Шмаринов,— когда наконец отыскал дверь как у старухи, с колокольчиком, одну на весь район, хотя у Достоевского и сказано, что «в подобных мелких квартирах таких домов почти всё такие звонки». Нашел я и ту самую кривую узкую лестницу, ведущую в каморку под крышей, где жил Родион. Во время этих моих бесконечных скитаний я набрел на проход под домом, жутковатый, прямо скажем; потом выяснилось, что в этом доме жил Крылов. Я и этот проход зарисовал. Он мне пригодился для сцены, когда Раскольников дает понять Разумихину, что совершил убийство. А это один из домов «Вяземской лавры» на Сенной, славившийся своими притонами, где состоялась встреча Раскольникова со Свидригайловым. Обратите внимание на эти нелепые, разбросанные по всей стене разных размеров окна.

Когда Шмаринов показывает, он все время повторяет: «Надо точнее, проверьте потом это место по книге поточнее», подчеркивая, что только в непосредственном соединении с текстом он мыслит восприятие образного решения. И действительно, в иллюстрациях замечено даже то, что в романе отражено в одном слове, внутри фраз, в запятых.

В двадцать втором году Юрием Тыняновым была написана статья, посвященная проблемам иллюстрации. Статья по-тыняновски блистательна даже в своей категоричности. «Иллюстрация дает фабульную деталь — никогда не сюжетную. Она выдвигает ее из динамики сюжета, она фабулой загромождает сюжет», — утверждал литературовед. Когда писалась статья, Тынянову было двадцать восемь лет, а Шмаринову только пятнадцать. Спора быть не могло. Но через десять лет художник самой работой своей над «Преступлением и наказанием» доказал уязвимость позиции Тынянова.

Дарование Шмаринова — художника-иллюстратора отличает редкостное умение сакцентировать творческое внимание именно на тех образах, которые являются символами, централизующими замысел самого автора.

— Помню, когда делал «Преступление и наказание», — рассказывает художник, — я вычертил графически, эмоционально, конечно, а не по клеткам, как идет кривая романа: где она поднимается, где вдруг страшно опускается, где идет как бы в забыты — прямая, прямая и потом вновь взлет.

Опыт Шмаринова над Достоевским доказывает: иллюстрация — большое искусство только тогда, когда в конкретных образах есть художественное обобщение, а в символике — достоверность жизни; иллюстрация — большое искусство только тогда, когда изобразительное решение каждого образа находится в единстве и с текстом и между собой. Образ Петербурга Достоевского неразрывен со скитаниями Раскольникова. Этот обобщенно-символический образ — в огромном количестве рисунков, отмеченных не только документально-текстуальной точностью, но и подлинностью сюжетной динамики, предельной эмоциональной насыщенностью, где главное — психологическое раскрытие героя, его судьбы, не внешней судьбы, а его духовного мира в столкновениях, в конфликте.

Скитания Раскольникова объединены у художника образом Екатерининского канала, показанного в разных ракурсах. Вот Раскольников у канала ночью. Вдоль набережной никого, только согбенная больная фигура Раскольникова; в доме на противоположном берегу светится лишь одно окно; можно точно сказать, что это период уходящих белых ночей — июль: на рисунке прорисован даже воздух. Раскаленный за день и пропитанный испарениями из канала, он создает особый мертвящий серый фон. Канал был проложен на месте реки Кривуши. В районе Сенной он делает петлю. И снова и снова, когда смотришь иллюстрации, возникает ощущение, что нечем дышать в замкнутой перспективе изображения канала, зажатого домами-колодцами. «Воздуху! Воздуху! Не хватает воздуху» — сколько раз этот образ возникает в романе.

Шмаринов предельно внимателен к каждому слову писателя, ни одно слово Достоевского для него не случайно, каждое способно у художника перевоплотиться в зримый образ.

Вот мы видим Раскольникова у канала мучимого сомнениями, что ему делать со своим страшным скарбом; он нагнулся над решеткой как раз напротив сходней к воде; канал загроможден бревнами, разбитыми лодками, плотами. Достоевский называл его канавой, и действительно чувствуете, что это зловонная грязная канава.

А вот тот самый К—н — Кокушкин мост, по которому герой идет каяться на Сенную: «Поди на перекресток, поклонись народу, поцелуй землю, потому что ты и пред ней согрешил»... Перспективой, устремленной вверх, подчеркивается, как труден был этот путь для удаляющегося от нас Раскольникова.

В рисунках к «Преступлению и наказанию» Шмаринов избегает статичной определенности. Есть в них некая неуловимость, стертость; изображение лишь угадывается — прием сознательный: он требует пристального всматривания и одновременно свободного включения ассоциативного ряда воспринимающего. Изменение ракурса одного и того же места создает иллюзию подлинности живого действия. По энергии, динамике композиции и технике исполнения рисунки Шмаринова родственны импрессионистической манере. Но эта манера ассоциируется с щедрой живописностью цвета, а Шмаринов решает Достоевского в черно-белых тонах — и в этом тоже проявление художнического такта, ненавязчивости и одновременно жанровой точности образного решения.

Шмаринов любит сравнивать свою работу с работой режиссера.

— Прежде чем приступить непосредственно к рисованию, я всегда разрабатываю режиссерский план, изучаю место действия, исторические материалы, костюмы, уверяю жанровые элементы, композицию, ищу мизансцены, наконец, начинаю пробы героя — чистая режиссура! Но режиссер может выбирать только из того, что ему предлагает «живой материал», а он редко до конца совпадает с внутренним видением. Художник в этом отношении счастливее. Вот, посмотрите — даже крупный план героев я беру в действии, то есть не просто портрет (как у Боклевского, например), а портрет в среде, во взаимоотношениях героев с другими героями; беру героя сначала крупно, чтобы потом он узнавался даже в такой вот фиюлке, а в этих-то маленьких рисунках и главный смысл. Вы заметили, что на них герой всегда один?

По композиционному построению всякий раз создается впечатление, что человек этот вот-вот скроется от нас, пропадет из поля зрения, уйдет, — создается иллюзия движения; четкие портретные признаки героя не даются, его фигура иногда даже трудноразличима, можно только предположить, что это Раскольников. А может быть,

и сам Достоевский? Тем более что дочь Достоевского писала об отце: в период вызревания очередного замысла писатель «блуждал по самым темным и отдаленным улицам Петербурга. Во время ходьбы он разговаривал сам с собой, жестикулировал, так что прохожие оборачивались на него». Этот образ почти текстуально схож с образом Раскольникова — Достоевский смотрел на мир глазами своих героев: он останавливался, пораженный взглядом, улыбкой незнакомца, которые запечатлеваются в его мозгу... Он узнавал своих героев, ставил себя на их место, наблюдал, подмечал, выверял замысел реальностью. Вымысел и реальность сливались в единый мощный образ, воплощенный в зримый художником Шмариновым.

Финал. Иллюстрация небольшая. Вертикальная перспектива. На берегу огромной реки она и он — Соня и Раскольников. Над ними высокое необъятное щедрое небо («Воздуху, воздуху!»). Как глубоко и привольно им дышится! Обретение духовного освобождения, нравственного дыхания. Обретение неба.

«Произведение искусства только тогда настоящее, когда воспринимающий не может себе представить ничего иного, как именно то самое, что он видит, или слышит, или понимает. Когда воспринимающий испытывает чувство, подобное воспоминанию, — что это, мол, уже было, и много раз, что он знал это давно, только не умел сказать, а вот ему и высказали его самого. Главное, когда он чувствует, что это, что он слышит, видит, понимает, не может быть иначе, а должно быть именно такое, как он его воспринимает. Если же воспринимающий чувствует, что то, что ему показывает художник, могло бы быть и иначе, видит художника, видит произвол его, тогда уже нет искусства» (Лев Толстой).

Кто может точно сказать, какой она должна быть на самом деле — Наташа Ростова, что вечно носится, всех вокруг будоражит: поет, плачет, горюет, смеется — живет. Есть внутреннее видение. И мы бережем его как лучшее в нас самих.

Любимые образы литературных героев дают нам радость, живут вместе с нами, поддерживая даже в самые трудные дни, как живут в нас память о дорогом уголке природы, запомнившаяся музыкальная фраза, отдельные строки стихов. И поэтому когда встречаемся с любимыми литературными героями, воплощенными в иллюстрациях, в театре, в кино, как часто мы говорим: «Да нет же! Нет! Наташа совсем не такая! А вот старый князь — вылитый и Кутузов именно такой». А откуда нам знать, какие они? Ведь, в конце концов, мы не видели их и не знали. Нет! Видели! И, что удивительно, настолько точно, словно это живой реальный человек, бесконечно нам близкий; а что самое удивительное — этим точным знанием одновременно обладают миллионы. Доказательство тому те редкие минуты, когда мы все вместе на одном дыхании говорим: «Он! Он! Гамлет! Она, Джульетта! Точно такая».

Приходит художник, и в самых сокровенных наших владениях, знакомых вроде бы до мельчайших деталей, начинается открытие: «Посмотри! Ты еще не все знаешь. А это, а это?» — и мы отдаем ему свои сердца полностью, испытывая редкое и высокое чувство перед открывающим и ведущим — преклонение. Он пастырь, мы паства. И склоняем перед ним головы и мечтаем о новой встрече.

Как добиться полнокровного властного узнавания жизни, быющей через край, в произведениях великих? Как угадать тип в иллюстрациях? Увидеть глаза, улыбку, неповторимость пластики определенного характера, не имея живой природы? Да и где найдешь природу для Наташи Ростовской, Раскольникова, Джульетты — ту, единственную? Похожий тип лица можно, конечно, встретить и мгновенно зарисовать. Но пластика! Пластика! Ведь проявление характера, смена настроений — понятие подвижное, даже покой не статичен. Покой доброй усталости после удачного трудового дня. Гнеущее замедленное движение времени в болезни. Остановившееся время в горе. Замершее мгновение любви, боящейся спугнуть это мгновение. Сосредоточение мыслителя. Сосредоточение человека, воспринимающего прекрасное творение искусства или природы. Счастливый покой материнства. Сколько в этих разных состояниях человека секретов живой неповторимой пластики. И для Шмаринова секрет подлинности кроется не столько в портретной типажности (что путают порой даже режиссеры, подбирая по этому принципу актеров), а прежде всего в правде пластики — и физической и духовной. Счастье, гармонию, истинность человеческой личности Шмаринов-художник видит в свободном проявлении души; во всех его работах эта тема присутствует неизменно.

Тынянов считал, что слово-образ, слово-символ неизобразительно, а шмариновская школа зримого раскрытия характеров опирается именно на литературный опыт,

и прежде всего на опыт Льва Толстого — писателя, создавшего каждый свой образ с поразительной зримой пластической точностью. Обратите внимание, насколько статично-фальшивы в своем поведении завсегдатаи салона Анны Павловны Шерер; а Наполеон, разыгрывающий роль гениального самодержца всего мира; а Александр I, стремящийся справиться с ролью правителя — кумира своего народа: помните сцену с бисквитами, за которую так изничтожали писателя верноподданнически настроенные критики?.. Что объединяет у Толстого эти такие разные человеческие типы — либо преднамеренность хитрости, либо чванливая манерность, либо ограниченность самовлюбленности?! Поразительной узнаваемости подобного человеческого типа Толстой достигает постоянной фокусировкой нашего внимания на фальшивой театральности, напыщенном позерстве и всяческом игнорировании ролей, на фальши, зашедшей так далеко, что стала она человеческой сутью. Толстой доказывает, что подобный тип не только статично-фальшив и лишен жизни, но и бесконечно вреден, так как разрушает доброе движение жизни. И какую бы сцену из романа мы ни вспомнили, она неизменно пронизана этой высокой нравственной сущностью, Толстой не боится тут быть субъективным: подобный тип он ненавидит открыто.

Для Толстого и физическая красота не есть еще признак человеческой красоты: он презирает статичную картинность Элен и Анатоля Курагина. Толстой пишет художнику Башилову, первому иллюстратору «Войны и мира»: «...Hélène — нельзя ли сделать погрудастее (пластичная красота форм — ее характернейшая черта)». А про Анатоля Курагина так просто уже с нескрываемым отвращением: «...нельзя ли покрупнее и тоже погрудастее. Он будет в будущем играть важную роль красивого, чувственного и грубого жеребца».

А теперь сравните, как лепит Толстой своих любимых героев. Сколько свободы, естественности, правды в проявлениях души — сама жизнь, энергия жизни, а потому и непосредственность, непреднамеренность, динамика пластики, а она может быть неловкой, как у Пьера, неженственной, как у княжны Марьи, грубоватой, как у Марьи Дмитриевны, сухой и резкой, как у старого князя, и у всех — прекрасной!

Решение Толстым образа Кутузова: «Кутузов не всегда с зрительной грубкой, указывая на врагов, ехал на белой лошади ...для художника, в смысле соответственности всеми сторонами жизни, не может и не должно быть героев, а должны быть люди», «Простая, скромная, и потому истинно величественная фигура эта [М. И. Кутузова] не могла улечься в ту лживую форму европейского героя, мнимо управляющего людьми».

— Долго, очень долго постигал я эту толстовскую школу решения образов, — говорит Дементий Алексеевич. — За плечами был уже художественный опыт решения прозы Пушкина, Достоевского, и все же мне казалось, что для того, чтобы приступить к воплощению мечты, которая шла со мной с самого детства — к роману «Война и мир», — этого опыта недостаточно. Первые шаги я сделала в самый разгар Великой Отечественной, и говорить об этой работе, минуя опыт военных лет, я не имею права. Война настолько спаяла всех единой судьбой, что любой искренний художник просто не мог быть в стороне. Я стал военным плакатистом.

Можем ли мы сейчас представить военные годы без знаменитых шмариновских плакатов, без «Окон ТАСС», работ Кукрыниксов, Моора. Решимость лучших наших художников показать всю меру горя, что легла на плечи Родины, тоже один из примеров незабываемого подвига. Даже сейчас, когда смотришь серию станковых рисунков Шмаринова «Не забудем, не простим», щемит сердце, а всю эту боль, пережитую народом, нужно было так воплотить в плакатах, чтобы они были способны вселить в каждого тот великий гнев, который объединял всех. И не было на нашей русской земле человека, кто бы не откликнулся на этот воплощенный в плакате крик Родины, взывающей о помощи. Миллионам советских людей этот зримый образ самого дорогого — Родины — давал нравственные силы в тяжелый час на фронте, в труде, в тылу врага. И уже на второй год войны родина отметила заслуги художника — ему была присуждена Государственная премия.

— И вот тогда я решил приступить к работе над «Войной и миром»: все пережитое давало мне право на это. Московский музей Толстого был эвакуирован, но некоторые его сотрудники оставались в Москве. Они-то и помогли мне собрать все, что было нужно для прототипов: портретную галерею предков Толстого в фотографиях, копии ценнейших архивных материалов, мемуары, переписку Толстого, из которой я отобрал письма Толстого художнику Башилову, изучил указания Толстого ему —

очень точные, невероятно деликатные — и, закончив работу с архивными материалами, сразу после войны отправился в Ясную Поляну... Приехал я в Ясную Поляну — Лысье горы в ноябре: с гостиницей что-то не получилось, меня поселили в толстовском доме, в комнате, которая при Толстом называлась комнатой для приезжающих, и на несколько дней я оказался с этим удивительным домом в буквальном смысле один на один. Ходил по всем комнатам, которые помнили Толстого, ночью вслушивался в бой часов, который начинался сначала в одной комнате, потом в другой — вразнобой: там часы дребезжат, хрипя и охая, словно мучимый бессонницей старик, в другом месте раздаётся мелодичный звон, бьют часы Волконского на лестнице... Замечательно... Утром просыпался оттого, что часов в семь — Ясная Поляна из соображений мемориальных не переведена на паровое отопление — приходил кучер Толстого, доживший до тех дней, приносил охапки дров, без особого мемориального почтения сбрасывал их перед всеми печами и затапливал. По всему дому разливалось тепло, раздавался треск дров, дом оживал, и я начинал работать. Меня тогда очень заинтересовала, и слава богу, что заинтересовала, роща Чепыж; снега было еще очень мало, и я эти дубы, которые были описаны Толстым в «Анне Карениной», да и в «Войне и мире» — помните тот дивный старый дуб, убедивший Болконского, что жизнь еще совсем не кончена? — зарисовал. А ведь они умерли сейчас. Косогорский завод с его страшными испарениями убивает растительность. Хвойная вся погибла, дубы долго держались, но большинство тоже сейчас погибло... Вот он — яснополянский альбом первых послевоенных лет. На этом карандашном наброске долина реки Воронки и Чепыж. А вот и дубы. Я очень дорожу этими рисунками: это портретные деревья и они для меня как живые — их знал Толстой... Дом. Вид из кабинета Толстого. Диван, на котором Толстой родился, на нем у меня лежит Пьер Безухов. Роговое кресло из кабинета Толстого. Письменный стол. Книжный шкаф. А это уголок комнаты Софьи Андреевны: секретер, рабочий столик, подсвечники всякие, чернильницы... Часы, которые будили меня по ночам... Ведь нельзя же наврать ни в чем, вернее можно, но только в том случае, если есть подлинное знание материала до мельчайших деталей. Изобразительное досье к роману «Война и мир» сейчас находится в Ясной Поляне. Я оставил себе только вот эти драгоценные для меня альбомчики — в них самый первый этап работы, то, что я делал в Ясной Поляне и потом в Москве. Рядовой пехотинец в парадно-строевом мундире. В двенадцатом году войну называли батальным искусством, вчерашнего мужика одевали в белые штаны, страшно себе представлять, что это такое было — воевать в парадно-строевом мундире в море крови убитых и раненых, в развороченной земле, которую он только вчера пахал. Кутузов понимал это, помните, как у Толстого это написано. Солдата надо было вернуть к естеству подлинно народному, вот он — солдат в шинели. 1806 год — ездовой канонир; 1809 — 1811 годы — штаб-офицер, обер-офицер, обер-офицер по кавалерии, кавалергард. Вы видите, как они все отличаются. Чтобы сделать «Войну и мир», в этом надо было разбираться до тонкостей. Врать я не хотел.

После войны у меня была нервная дистрофия — силы меня оставили. Около месяца я пролежал на диване не в силах ничего делать, и тогда вот в этом альбомчике я стал искать героев «Войны и мира», зарисовывать свои первые раздробленные мысли. Я много раз убеждался в том, что, если вы хотите зацепить какую-то волнующую вас деталь или мысль, образ, нужно немедленно это зарисовать и, как бы плохо ни получилось, не выбрасывать. Оказывается, это является тем толчком, возвращаясь к которому вы потом обязательно найдете верное направление, увидите движение, развитие образа, да и не всегда, как это принято считать, последнее бывает лучшим. Вот так я искал графа Илью Ростова — лицо, фигуру. Нужно было выразить его радующие, открытую наивность, щедрость. Искал долго, вплоть до последнего издания. Вот посмотрите — граф Илья встречает гостей: это же не граф, а какой-то метратель; сменил план на крупный — и сразу щедрый жест распахнутых рук, широта гостеприимства... А старого князя Болконского даже искать не пришлось. Объяснение очень простое: прототипом послужил дед Толстого князь Волконский. Сохранились портреты, где характер его лица виден прекрасно... А вот с князем Андреем было очень трудно. В романе сказано, что у него красивые черты лица. Вообще эпитета «красивый» довольно много у Толстого, и раскрыть князя Андрея под его маской сдержанности и умения владеть собой очень трудно. Вот и этот красивый, сухой, я вообще ни одним вариантом не доволен, ни новым, ни старыми... Княжна Марья — плоская грудь, жидкие волосы, затянутые в пучок. Ее неженственность даже в характере платья. А вот тут я зарисовал ее со спины: сразу бросается в глаза ее сутуловатость, по-

нятно, что у нее тяжелая походка, шаг крупный, руки беспомощные... А вот Борис Друбецкой. В нем даже почти в мальчике есть уже сухость, целеустремленность, что потом перерастет в карьеризм... Союю я очень люблю, и мне ее ужасно жалко. Прототип-то был человеческий из прожитой жизни — тетюшка Ергольская Толстого, помните письма к ней юноши Толстого, такие откровенные и добрые. Вот посмотрите — Сонечка, она вся в себе. И вся ее пластика — это вот что такое: она живет своим чувством, которое боится высказать до конца, ждет счастья... Пьер, самый близкий мне герой Толстого, получился у меня сразу, с первых набросков... Наташу я искал главным образом в движении. Кто прототип? Ясно, что кто-то был, невозможно умозрительно так зацепить порывистость ее натуры, просторную открытость, свободу ее души, не озабоченную никаким игранием ролей обаяния, и потому — единственность и неповторимость. Вы же знаете слова Толстого: «Я взял Союю, перетолок ее с Таней, и получилась Наташа». Башилову он писал: «...посмотрев Танин дагерротип 12-ти лет, потом ее карточку в белой рубашке 16-ти лет и потом ее большой портрет прошлого года, не упустите воспользоваться этим типом и его переходами, особенно близко подходящим к моему типу». А что в этих портретах есть? Кузьминская не подходит Наташе буквально, но линия шеи, прикрепление головы — это поющее существо! Чувствуешь, что у нее должен быть голос, и кроме того — живая и устремленная, есть характер. А потом так: в Абрамцеве, где я работал над «Войной и миром», жила девочка лет одинадцати — двенадцати, и девчуженку эту я пригласил позировать. Девочка оказалась обворожительным застенчивым милым существом и очень многое мне подсказала. Вообще у меня есть свойство, оттолкнувшись от натуры, рисовать того, кто мне нужен. Например, один и тот же человек позировал мне и для Пети и для Пьера Безухова. Вот посмотрите, насколько они разные, не говоря уж о возрасте; единственное, что было общего в этом позировавшем мне человеке с героями, — он был очень добрый.

«Войну и мир» издадут по-разному. У Шмаринова это два огромных тома — воплощение в рисунок грандиозной работы Льва Николаевича Толстого.

Именины графинюшки. Бал. Гости расступились. В центре граф Илья Андреевич и Марья Дмитриевна танцуют Данилу Купора. Два старых человека наивно и абсолютно счастливы; а большею частью девочка, всплеснув руками, переполненная этим же наивным счастьем, и умоляет и требует разделить ее восхищенное настроение; Петя взобрался на стул, чтобы лучше было видно; Соня — черная головка, белое платье — грациозна, но сдержанна; рядом Борис и Николай. Они еще все вместе, стайкой — пятеро счастливых детей; и с ними большой грузный Пьер, действительно похожий на ребенка. М и р.

Не раз повторится в первом томе на заставках прекрасный образ Москвы: теплой — дым из труб, морозной — белый снег на крышах невысоких ее домов, над ними купола соборов и церквей; бесконечно родной, спокойной, мирной Москвы, не знающей еще страшного огня пожаров двенадцатого года. М и р.

Наташа притихшая, счастливая сидит на подоконнике и, обхватив руками колени, слушает ночь. Ночь светлая, лунная.

— Я проверял: отдаленные деревья дают вот такой слабый отсвет, тени очень легкие.

Художник показал Наташу в тот момент, когда Соня уже заснула. По срезанному плану нижнего этажа угадывается, что Наташина комната на уровне листвы деревьев, и князь Андрей чувствует, что девушка, только что мечтавшая полететь, прямо над ним этажом выше: Андрея мы не видим, а образ его есть. М и р.

Наташа, худенькая, вытянувшаяся, уже повзрослевшая, приподнявшись на цыпочки и подбоченясь, «улыбнулась торжественно, гордо и хитро-весело» и, взмахнув платком, пошла в пляс под дядюшкину гитару. Помните: «По у-ли-и-це мостовой...»; Петя спит, сморившись, на диване. Анисья Федоровна с дворовыми, пригулявшими у стены, любителю на графинечку; хмельной Николай — улыбка во весь рот — за столом; дядюшка с гитарой прямо напротив Наташи — «чистое дело марш». М и р.

Встреча Наташи со смертельно раненым Болконским.

— Я говорил вам уже, что к книгам своим возвращаюсь, и вот этот рисунок я тоже переделывал. Посмотрите, насколько они различны в двух изданиях. Видите — здесь просто встреча влюбленных: в ней слишком мало вины, а в нем слишком много трезвости и отсутствия смертельной болезни. Тут она как столбик стоит: «Ну как ты себя чувствуешь, как температура, настроение?» А здесь она — вся устремление.

Взрослеет Наташа. Сколько уже пережито: война, горе. Вот она замерла на диване. Лицо вроде бы той, прежней Наташи — девочки у окна, но глаза огромные, скорбные, лицо воспаленное после пролитых и непролитых слез и такие непередаваемо живые, удивительные нервные девичьи руки: поза статична, а сколько в ней духовного движения.

— А вот в финале мне стало Наташу жаль, и чего мне стоило решиться ее составить — сказать не могу... Ясная Поляна и Москва подарили мне тему мира. Ну а война... она была только что пережита. Я приехал в Бородино, прихватив с собой вот этот альбомчик и план сражения, сделанный самим Толстым, — Бородинское поле, знаменитый курган Раевского я рисовал в разных ракурсах: это курган Раевского, его правая сторона, а это если смотреть на него снизу. Я представлял себя на месте Кутузова и Наполеона, Болконского и Пьера и чувствовал, как это страшно и чудовищно было для Болконского — не участвовать в сражениях, а вот так стоять в запасе и смыкать ряды, когда там убивают кого-то из твоих же солдат... Пьер на Бородине — мирный человек: очки, белая шляпа — нелепость; вокруг идет грандиозное сражение, а прямо перед ним корчится раненый... Кутузов в своей ставке: знамена, иконы, низкий потолок крестьянской избы. Кутузов без повязки — старый, осевший, уставший, зрячий глаз смотрит остро... Наполеон: надменный, маленький, крепкий, весь вздернутый вверх, а животик и бедра женские... Образ русского солдата. Застенчивый герой Тушин, не расстающийся со своей трубочкой-«носогрелкой», «маленький человек, с слабыми, неловкими движениями» дает команду своим солдатам, заряжающим пушку, которую он в трудную минуту ласково величает: «Ну, Матвевна, матушка, не выдавай!»

Идут пленные французы, захваченные партизанами. Вот он, враг, пытавшийся осквернить русскую землю; но смотришь не на французов, а на лица мужиков: в них не жестокость, а суровая сила, мудрость.

— Дементий Алексеевич, но почему только классика, уходящая в девятнадцатый и еще дальше?

— Я делаю то, что хочу делать. Но сейчас, хотя и, казалось бы, в моем возрасте все должно быть связано с прошлым, я все время думаю о том, что будет завтра, меня как никогда волнует и сегодняшний день и события не столь уж давние. Старость забывает, но есть вещи, которые забыть невозможно. Борьбу с фашизмом в Испании я переживал с невероятной силой: по-моему, не было такого документального фильма о событиях в Испании, который я тогда не видел бы; я просматривал всю фотохронику ТАСС, ловил каждый газетный очерк, идущий из Испании, особенно статьи Кольцова и Эренбурга, позже пользовался архивом Бориса Ефимова, который собирал буквально все, что относилось к его брату Кольцову и к испанской войне. «По ком звонит колокол» мы читали с женой вслух. И уже тогда, читая, я понял, что миновать этот роман в своей работе я просто не имею права. Я был потрясен: все, что я нес в себе эти годы, что любил и ненавидел, всколыхнул Хемингуэй. Предварительной договоренности с издательством, как и всегда, когда я начинал делать большие работы, не было. Было только одно: желание, чтобы хватило сил довести начатое до конца. И когда у нас восстановились с Испанией дипломатические отношения, я сразу же туда поехал. Мне повезло: наш туристический маршрут пролегал как раз по тем местам, с которыми связано действие романа, и я смотрел, зарисовывал, запомнил, а вернувшись, начал набрасывать первые эскизы. В семьдесят девятом году я поехал туда вновь, но, видимо, не рассчитал силы, и неожиданный сердечный приступ привел к инфаркту; меня хватило еще на три дня, чтобы, глотая нитроглицерин, ходить и рисовать, поэтому по возвращении работа была уже наполовину сделана, но закончил я ее только минувшей зимой. Сейчас книга в издательстве, я смогу показать вам фотографии иллюстраций. То, что волнует нас всех, чем мы сейчас живем, я стремился выразить в этой последней моей работе. По-моему, она очень перекликается и с серией «Не забудем, не простим». Смотрите...

Оживает горький роман Эрнеста Хемингуэя. Оживают его герои — их боль и вера, их страдания и любовь. Черно-белый язык графики сдержан, но сколько в нем эмоциональной силы. Он взывает: слишком прекрасна жизнь человеческая, чтобы кто-то мог ее уничтожить!

«Всякий раз, когда Роберт Джордан смотрел на Марию, у него что-то подступало к горлу» — как это нарисовать? Как нарисовать самое сокровенное, что сближает двоих? А он есть, этот образ любви, у Шмаринова.

Трудно назвать рядом с Хемингуэем писателя, кто бы так откровенно и страстно писал земную любовь. Но «По ком звонит колокол» — самая откровенная и высокая из его книг об отношениях мужчины и женщины, о любви редкой и беспредельно чистой. Минуя ханжество, Шмаринов рассказывает об интимном с осторожным, ласковым и добрым чувством. Он и она — первородность, и от этого ощущение какой-то поразительной их незащищенности, хотя Роберт и силен и мудр, как все герои Хемингуэя, но кажется: случись что с ними — и оборвется сама жизнь.

Книга Хемингуэя, а вместе с ней и художник, говорит: нет ничего прекраснее самого Древнего чувства на земле, что объединяет и роднит все живое, что продолжает саму жизнь. У художника Мария похожа на худенького длинноногого жеребенка по весне, а ее только-только отросшие совсем еще коротенькие волосы действительно золотятся, как спелая пшеница, сожженная солнцем.

Рассматривая иллюстрации, понимаешь, что человек, нарисовавший их, прожил долгую жизнь, человек этот добрый и мудрый и мудрость его — в точном знании того, что нужно беречь на земле. За это же, за мудрую бережливость, художник так любит героиню Хемингуэя Пилар. Некрасивая у Хемингуэя цыганка, у Шмаринова она похожа на прекрасную врубелевскую «Гадалку», только сильно постаревшую. Но и Пилар неспособна отвести смерть от героев. Наоборот, мудрость подсказывает ей, что впереди у них только смерть, смерть в бою, и она делает все, чтобы три дня, отпущенные судьбой Марии и Роберту, были как можно счастливее.

Смерть готовы принять не только испытанные в боях, на смерть идет и маленький герой-коммунист Хоакин. На рисунке полные ужаса глаза ребенка обращены к небу, откуда с бреющего полета бомбит партизан фашистский летчик. Кричит язык графики: жизнь человеческая так же хрупка, как этот мальчик, которому бы жить да жить! и она прекрасна только до той поры, пока он жив, этот мальчик! но как легко эту жизнь уничтожить!

«Нет человека, который был бы как Остров, сам по себе: каждый человек есть часть Материка, часть Суши; и если Волной снесет в море береговой Утес, меньше станет Европа, и так же, если смоем край Мыса или разрушит Замок твой или Друга твоего; смерть каждого Человека умалет и меня, ибо я един со всем Человечеством, а потому не спрашивай никогда, по ком звонит Колокол: он звонит по Тебе». Это эпиграф к роману.

Роман «По ком звонит колокол» — самая трудная по эмоциональному наполнению работа художника.

Дементий Шмаринов видит в каждом, к кому обращен его труд, человека большого духовного и нравственного заряда, но и все, кто соприкасается с его творчеством, находят в художнике глубокого, тонко мыслящего, внимательного собеседника. И встретившись один раз с художником, читатели потом ищут постоянного с ним общения, ибо работы Шмаринова — это не только собственно изобразительное решение художественного произведения, это определенная гражданская и художническая позиция как результат страстного отношения к проблемам современности и глубочайшего изучения литературы, воплощение опыта истории и культуры того времени, которое нашло отражение в выбираемых художником книгах; это и литературоведческий поиск, и не только поиск, а, как мы видим, и открытия; наконец, творчество художника — это великолепная школа пристального чтения.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Д. ТЕВЕКЕЛЯН



СОТРИ СЛУЧАЙНЫЕ ЧЕРТЫ

Что ж, человек?..
Какие огненные дали
Открылись взору твоему?..

А. Блок.

Весной прошлого года мне впервые довелось поехать в новосибирский Академгородок.

Когда он только создавался в начале 60-х и со всей страны туда двинулись крупнейшие наши ученые, а само приглашение в Академгородок считалось высокой честью и признанием научного потенциала, когда очевидцы рассказывали, захлебываясь, какая научная база отдана в распоряжение ученых, какие головокружительные задачи поставлены перед ними, какие открываются возможности для творческого поиска, какой расцвет разных школ и направлений, даже непосвященные поняли, что научно-техническая революция — это всерьез, что она получила свою мощную теоретическую базу. Вспомните романтического Баталова и роскошно-самоуверенного Смоктуновского в фильме «Девять дней одного года», вспомните атмосферу застолья физиков в этом фильме, когда сложнейшие и совершенно недоступные зрителю математические выкладки делались прямо на салфетках — а когда-то на салфетках (и манжетах) писались стихи, и стихи эти помнит и открывает для себя заново каждое новое поколение, — и вы представите себе тот романтический ореол, которым сопровождался первые шаги Академгородка. Потом были долгие годы работы, озарений и разочарований, на место романтическому подъему пришли будни в их деловой сложности, и в работе ученых окружающие мало-помалу перестали искать панацею от всех бед, она по-прежнему заслуживала величайшего уважения, но властителями дум снова стали те, кто и всегда, — поэты.

И вот почти через четверть века группа авторов и работников «Нового мира» летела в Сибирское отделение Академии на-

ук СССР, в новосибирский Академгородок, для участия в «круглом столе», проводимом академиком А. Г. Аганбегяном на тему «Современное природопользование и задачи формирования нового сознания».

Сам городок с его улицами — Морским проспектом, Золотой Долиной, проспектом Науки, Обским морем, — коттеджами академиков, членкоров и профессоров, с университетом, студенты которого имеют возможность проверять свои теоретические знания на практике здесь же, рядом, в современнейших научно-исследовательских институтах, где решаются насущные народно-хозяйственные проблемы, со школой талантливых юных математиков — этих одаренных «головастиков» везут сюда со всего Союза, а в свободное от учебы время они увлеченно читают, и спектакль по роману М. Анчарова «Самшитовый лес», поставленный ребятами, пользуется успехом и у взрослых; городок, по центральным улицам которого не ходят машины, а чтобы пешком добраться от дома до любого института — места работы, — нужно потратить самое большее полчаса, и дорога пойдет по эллипсу улиц, окруженному таежным лесом, и прирученные белки, выскочив из своих домиков под номерами (около Дома ученых я видела такой «дом» № 10), станут требовать у вас угощение, уверенные в своем праве, — этот городок полностью соответствовал тому представлению, которое сложилось у нас по литературе и многочисленным рассказам. А вот разговоры с людьми, создающими эту науку, со старожилками городка, подтвердили новую тенденцию — с нами говорили не самоуверенные, ироничные, все знающие и все могущие решить сами технократы, знакомые по многочисленным повестям, романам, кинофильмам о героях

НТР, а высокие профессионалы своего дела, которые ждут от искусства и литературы помощи в решении человеческих вопросов, потому что ни одна проблема научно-хозяйственная не движется вперед без человеческого фактора.

Для академика Владлена Петровича Казначеева, медика, человеческий фактор — это прежде всего здоровье людей, коренного населения Сибири и Севера и приезжих, тех, кто строит, осваивает богатства этих мест. «Мы много ездим в экспедиции,— говорит Владлен Петрович,— недавно прошли Северный морской путь, и я как врач смотрел там очень много людей»: С увлечением рассказывая об освоении Сибири («Кузбасс — это, с точки зрения продукта, металл. Это химия. Это уголь...»). «В Омске нам показали замечательный цинный завод...»), он во главу угла непременно ставит систему жизнеобеспечения (с точки зрения расширенного воспроизводства человека со всеми его социальными, биологическими и психологическими позициями). Чтобы избежать в этой системе брака, необходимо выверять ее, контролировать наравне с выполнением экономических планов, а сводки, этот резерв здоровья, должны лежать у секретаря обкома рядом со сводками экономических показателей. Рядом, настаивает Владлен Петрович. Сводки должны анализироваться, делаться выводы: товарищи руководители, немедленно меняйте ритмы, меняйте рекреационные маршруты для людей, потому что вы заваливаете кпд живой силы, а она вам завтра завалит кпд экономического. Там, где директора, экономисты с кругозором, практически это делают и сейчас, но не систематически, а главное — этим заняты не медики. Необходимо при планировании будущих городов, когда еще только начинают рыть каналы и строить палатки, закладывать всю систему жизнеобеспечения, а не дожидаться, когда потребуются разворачивать госпиталь.

Не правда ли, в обширной уже литературе о творцах НТР мы не читали такого масштабного и страстного монолога? Но послушайте еще В. П. Казначеева, его наблюдения, его заботы напрямую обращены к литераторам, настоятельно требуют нашего участия.

Часть приезжающих на стройки людей впитывает в себя психологию, представления «временщиков». Когда раньше горожан или крестьянин жили в квартире, в доме, то у них был круг забот — сохранить свое здоровье, вырастить детей, помнить о том, чтобы детям передать и землю и навыки свои. И в человеке не-

вольно, грамотный он был или нет, жила забота о преемственности поколений. А сейчас психосоциальная композиция такова, что я как врач представляю себе — гигантская армия идет на штурм, и каждый из солдат чувствует, что ему только бы взять эту крепость, а дальше где-то будет благополучие, какая-то остановка, и где дети, где что — не очень ясно... Самая большая озабоченность возникает не только из-за состояния здоровья работающего сейчас поколения, но из-за состояния здоровья будущих поколений. Это плата за те долги, которые мы берем у природы... Тут оттягивание первых родов, тут высокий процент бракоразводности, когда у нас на 1000 браков за первый год расходятся около 400 семей. Повторные браки, третьичные браки — все это создает в самом главном, в преемственности поколений, в воспроизводительной потенциальности человека, какую-то второстепенность. Желание иметь ребенка, ухаживать за ним, потом передать ему свой опыт становятся все более прохладными. Притупляются и инстинкты — не с точки зрения биологической, разумеется, но чувство материнства, чувство отцовства уходит на второй план...

(Вспомнилось выступление Александра Трифоновича Твардовского на XXII съезде КПСС: «Но партия, как все наше общество, ждет от художественной литературы не только... непосредственно практических свидетельств о хозяйственной, о производственной жизни страны. Эти ожидания и требования значительно шире, они относятся к духовной жизни нашего человека, ко всем его радостям и печалям, заботам и желаниям не только в производственной жизни, но и в быту, в отношениях семьи, любви, отцовства и материнства...») И впрямь профессиональный опыт выдающегося медика вызывает к литературной практике, усилия объединяются.)

Слушая Владлена Петровича, мы понимали, как он занят, как трудно у него со временем, и все же, хоть было совестно, напросились к нему в гости. В громадном кабинете, где заваленный рукописями, книгами, выкладками рабочий стол наминал скорее длинный стол для заседаний в каком-нибудь солидном конференц-зале, хозяин дома задумчиво говорил примерно следующее:

— Знаете, есть разные типы людей. Вот приезжают, одни акклиматизируются медленно, раскачиваются, простужаются, не могут привыкнуть. Другие наоборот — словно всю жизнь здесь провели, активны, решительны, с ходу берутся за дело, работают, полностью выкладываются, чу-

ствуют себя свободно, хорошо, других за собой тянут. Главный рывок приходится на их долю, и они вкладывают свою энергию радостно, вольно. Их хватает на полгода, на год. Это спринтеры. За это время те, медлительные, осмагриваются, обихаживают свои жилища, перестают простужаться и тосковать по дому, втягиваются в дело и ведут его спокойно, размеренно, без суеты, с постоянством, выдумкой, с ощущением полноты жизни. Львиная доля успеха строительства, работы завода зависит от них. Это стайеры.

...Не так ли и в литературе?

Одни идут след в след за текущим днем, с ходу торопятся постичь, а иногда и сконструировать его и не смущаются, сталкиваясь с неоднозначными проявлениями этого дня. На бегу они увлеченно фиксируют множество существенных проявлений современной жизни, современного характера, благородное намерение нередко ведет их романы и повести, они нащупывают тенденцию времени и на скорую руку выражают ее — в характере, как правило, приблизительно-одномерном, в броском, но неточном образе, в смелом, но спорном обобщении.

Помните, как Гончаров, мастер глубинного письма, мастер явно из породы стайеров, в статье «Лучше поздно, чем никогда» ополчился на ультрареалистов? «Нам до той или другой жизни дела нет: все в искусстве должно служить делу, моменту, «злобе дня», — проповедают ультрареалисты. Но ведь этак пришлось бы ограничить жизнь суетливым перебеганием от одной дневной заботы к другой. Куда же девать все другие, бесчисленные, и мрачные, и светлые стороны жизни, картины не одних политических, социальных, но и общечеловеческих, разнороднейших страстей, интересов, сует, волнений и горячек, скорбей и радостей? Ведь жизнь — это беспредельное и глубокое море: его не исчерпаешь и не направишь в одно какое-нибудь узкое русло, а с ним и искусство, ее верное отражение!»

Отдавая должное темпераментной принципиальности, с какой И. А. Гончаров отстаивает право художника на многогранное изображение жизни, на домысл, фантазию как основу творчества, задумавшись все же, почему, говоря о тургеневском Базарове, тот же Гончаров вынужден признать: «Нигилизм обнаружился только, можно сказать, в теории, нарезался, как молодой месяц, но точное чутье автора угадало это явление».

Не в том ли дело, что спринтеры в ис-

кусстве накапливают подробности, по бездорожью отважно прокладывают тропинки к той широкой магистрали, по которой неторопливо, существенно, мощно пойдет всеобъемлющее освоение искусством опыта народной жизни? (Разумеется, любое сравнение приблизительно, и, говоря о спринтерах, врезающихся в гущу сегодняшнего дня, нужно иметь в виду добросовестных литераторов, увлеченных заботами текущего дня, а не тех, кто спекулятивно выдает поделки за подлинные произведения.)

В нашей критике, подводящей итоги развитию литературы в ушедшем десятилетии, отчетливо прочитывается мысль о том, что в 70-х годах появилась обобщающая проза, тяготеющая к философскому осмыслению действительности. Эта проза пытается понять своего героя и его жизнь в общем движении XX века, черпает силы в историческом прошлом своего народа, для нее открыта и притягательна мировая культура, она чужда узости, замкнутости и, отстаивая идеалы своей страны, интернациональна по своей сути.

Эта проза опирается на самый разный жизненный материал, герои ее могут быть кем угодно по профессиональной принадлежности, объединены же они именно тем, что выражают наш сложный и противоречивый век — XX, а значит, ищут решения многих проблем, впервые вставших перед людьми именно в наш век, стараются сохранить исторически накопленный народами духовный, нравственный опыт, человечность.

Такая проза стремится к художественному постижению сложнейших процессов действительности. Вот пример. Казалось бы, уж какой утес мировая история, складывающаяся из истории разных народов, их взаимодействия и взаимообогащения. А ведь и содержание самого понятия «мировая история» изменяется к концу XX века, потому что меняется само качество взаимодействия народов — выход в космос дал человечеству осознанное представление о себе как о землянах, ответственных за сохранение своей планеты, поставил перед необходимостью одновременно, независимо от социального строя, искать сотрудничества, решать общие глобальные проблемы — экономические, энергетические, освоение космоса и прочие. И главную — проблему создания системы безопасности, сохранения мира на земле, сохранения самой Земли. В прозе, о которой идет речь, прочитываются все эти сложнейшие и реально существующие пробле-

мы, они оброкинута на человека, и герой, исходя из своего жизненного и нравственного опыта, пытается их решать. Он поставлен перед необходимостью определить собственную позицию — сделать выбор, и позиция эта нередко дается ему кровью сердца, непосильным напряжением, порою разочарованием, бывает и так, что человек пасует перед жизнью. Эта проза полна уважения к человеку и веры в его возможности, поэтому она не упрощает жизнь, не боится драматизма, не баюкает своего читателя, а требует от него напряженной душевной работы.

А между тем трудно не согласиться с мыслью В. Г. Белинского: «Бедна литература, не блистающая именами гениальными, но не богата литература, в которой все — или произведения гениальные, или произведения бездарные и пошлые. Обыкновенные таланты необходимы для богатства литературы, и чем их больше, тем лучше для литературы». В современном литературном потоке, поспевающим за бегущим днем, только те произведения способны воздействовать на читателя именно как произведения искусства, в которых этот бегущий день не самоцелен, связан с днем ушедшим и будущим нерасторжимыми нитями. Психология представления «временщиков» (вспомним рассуждения академика В. П. Казначеева), перенесенная в искусство как кредо писателя, явит читателю картину, внешне, может быть, и правдоподобную, но это будет лишь первый уровень искусственного шлюза, проходя которым трудно предположить глубину и полноводность самой реки.

Подводя итоги ушедшего десятилетия, литературная критика немало сделала для утверждения знака качества подлинного искусства (в связи с этим хочется напомнить читателю статьи, постоянно появляющиеся в журнале «Литературное обозрение», живость, темпераментность и нелицеприятность многих дискуссионных материалов этого журнала).

Расставлены оценки, неизбежно утверждена непреходящая ценность тех, давних произведений деревенской прозы, которые вернули нашему искусству представление не о быте и сиюминутных заботах нынешнего человека, а о том, чем жив дух человеческий, в чем традиция и преемственность поколений, особенность национального характера.

Дискуссия 1980 года на страницах «Литературной газеты» о состоянии современной деревенской прозы, несмотря на разнообразие точек зрения участников, под-

твердила читательское ощущение — сильная своим историзмом, точностью характеров, своеобычностью писательских почерков, проза эта, такая мощная в обращении к прошлому, потеряла в качестве, как только на страницы ее пришел современный материал — сегодняшняя деревня. Казалось бы, в деревне появились столь желанная индустрия, зажиточность, образованность, а в литературе о ней все те же мотивы — становление колхозной деревни, послевоенное восстановление от разрухи, привычно думающие на прежний лад мужики и бабы, кругозор которых словно бы замкнулся в преддверии 50-х годов. В этой прозе стала все настойчивее ностальгическая нотка. Тяготение к устоявшемуся, постоянному, вечному в человеке у раннего Тендрякова, у Яшина, Абрамова, у Белова в «Плотничьих рассказах» и «Привычном деле», у Залыгина в «На Иртыше», у других писателей помогало разрушить неживое, помпезное, суетливое представление о нашей жизни объемным, сочувственным, сострадательным показом человека в его трудах, беде, радости, в его глубинном участии в народной жизни. Это же тяготение к постоянному, неизбывному, когда оно пережестывает через край, нынче приводит нередко к откровенной идеализации патриархальной старины. Из картины словно уходит движение жизни, ее саморазвивающийся поток.

Статика, обращенность к прошлому не позволяют видеть человека в тех проявлениях, которые диктуют новые обстоятельства, социальное развитие общества. Отсюда, случается, смакование быта и тех его примет, которые были болью прежней деревни, а сейчас, в ностальгическом свете, нередко выглядят анахронизмом, ценностью скорее архивной. Да и герой, обращенный к прошлому, назад, хотя нередко монументален, но несовременен. При всех своих прекрасных человеческих качествах он беспомощен перед изменяющейся жизнью, более того, он не работник в современном понимании — он отстал, а нагонять не хочет или не умеет.

Две незаурядные книги, появившиеся одна за другой, словно бы изнутри подвели итоги двадцатилетнему развитию деревенской прозы. Это «Прощание с Матёрой» В. Распутина и «Дом» Ф. Абрамова. В одной из них — красота, чудо, поэзия, четко отнесенные к старой, уходящей деревне («Прощание с Матёрой», писал А. Адамович в статье «О войне и о мире», это «всемирное наше прощание с крестьянской Атлантидой, постепенно скрывающейся во всем мире, не только у

нас...»), в другой — развитие темы на новом материале, невозможность для искусства существовать, не видя диалектики своего предмета. Роман Ф. Абрамова на деревенском материале подтвердил истину о том, что только тогда человек полноценный работник в своем деле, когда он помимо специальных знаний, усилий несет понимание своего существования с жизнью общества. Живет с чувством перспективы. И гибнет как самостоятельная личность, когда пресекается эта многосложная связь с миром.

Дело даже не в том, что страна наша резко изменила свой облик и статистика отмечает, что нынче большая часть населения занята на строительстве, в городском, а не сельском хозяйстве. Изменились методы хозяйствования, индустрия пришла в деревню. А такой силы социальный сдвиг означает прежде всего изменение человеческой психологии. Ведь уже экономисты совершают ошибку, когда, планируя, учитывают мощности техники и количество занятых в той или иной отрасли людей, но не задумываются о том, какие именно люди нужны для работы в этой конкретной отрасли. Какие — начинающие или профессионалы, изобретатели, холостые или семейные и т. д. Социологи все чаще поправляют экономистов. Ну а писатели — ведь это прежде всего писательское дело, понять нынешнего работника, побудительные мотивы его деятельности, обнаружить, как преломился в психологии современной личности великий классовый сдвиг, пролетарское хозяйское чувство, которое неукоснительно действует независимо от того, где живет и работает человек — в городе или деревне.

А вот знак художественного качества в литературе о рабочем классе, появившийся у истоков советской литературы — ведь наша литература и началась романом о рабочем человеке, — заметно стерся в бесчисленных производственных романах. Напоминая о себе, о том, что тема рабочего класса — вечная тема социалистического искусства, знак качества давал себя знать в «Соти» Леонова или у Мальшклина в «Людах из захолустья», в катаевском «Время, вперед!», в «Кружилке» Веры Пановой или «Битве в пути» Г. Николаевой, в «Территории» Куваева, липатовском «Сказании о директоре Прончатове» или в «Скудном материке» Александра Рекемчука, но совершенно исчезал в однообразном потоке производственных повестей и романов, где человек год от года

все больше терялся среди втулок, турбин, генераторов и синхрофазотронов.

Непреложно одно: человек труда — главное лицо истории. И главный герой всей нашей литературы, общими усилиями нас, критиков, поделенной на деревенскую, городскую, военную и прочую, — человек труда. Разыскивать истоки народного духа, опираясь только на землю или только на асфальт, дело безнадежное. И это великое знамение времени — неразрывная связь представления о народности с человеком труда, главным двигателем любого — технического, социального, общественного — прогресса. Народное представление о значительности, о роли в истории человека труда связано и с делом жизни его, и, главное, с тем, насколько такой человек — личность, как сконцентрирована в нем эпоха, насколько велика и современна его духовная нагрузка. Помните притчу о двух каменщиках, которых спросили, что они делают? Один был уверен, что просто везет тачку с камнями, а другой понимал — он строит Шартрский собор. Так вот, говоря о человеке труда как о главном лице истории, мы имеем в виду тех, кто (метафорически, разумеется) понимает, что строит Шартрский собор. Попробуйте определить, к какому «подвиду» литературы относится последний роман Чингиза Айтматова. Важно, что сердце Буранного Едигея — рабочего человека и по профессии и по натуре — открыто всем болям нашего времени, что деятельный и отважный современный этот характер несет идею справедливости, сострадания, что герой мужественно, не закрывая глаз на опасность, грозящую не ему лично, даже не его стране только — всему человечеству, готов с этой опасностью бороться.

1

Больше полувека стоит наше государство, и советская литература с момента своего становления рассказывает о новом герое — хозяине своей жизни и своей страны. Это традиционно главный герой нашего искусства.

Еще недавно это был характер, для которого успех дела был его личным успехом, а провал — личной бедой. Страстный, одержимый человек, увлеченный строительством новой жизни, — такой характер был призван удовлетворить настоятельную потребность читателя в литературном типе, который жил бы настоящим, расходуя себя до конца, без остатка, жмл щедро и широко, разделяя и славу и боль своей страны. И эта потребность, уверенность, что надежность такого харак-

тера не веяние моды, в нем обеспечение будущего, возникла не случайно. Просто отчетливо сказалось настойчивое желание работника поверить в самого себя, в возможность личности, осознавшей свою активную роль, почувствовавшей, что общество нуждается в этом добровольном гражданском даре. Такой герой советской литературы прошел с полной выкладкой долгий и нелегкий путь от середины 30-х годов через Отечественную войну к 50-м годам, укрепился в своем достоинстве, в своей яростной преданности делу, остался оптимистом, защитив прожитой жизнью свое право на оптимизм. Только почему-то за последние годы, очевидно в связи с небывалым размахом науки и техники, из наших книг потихоньку стал исчезать этот одержимый герой-работник, герой-делатель, создатель, а заскользил тенью деловой человек.

Вихров, Бахирев или Устименко показались слишком открыто-доверчивыми, безоглядно нерасчетливыми. Само время, время точного планирования, учета дальних результатов, внедрения сложнейшей техники, словно требовало иного героя — собранного, получившего систематическое образование (нельзя на ходу доучиваться, имея дело с современной техникой, когда от точности одного инженера-оператора на нефтеперерабатывающем заводе зависят не только материальные силы, исчисляемые миллионами рублей, но и человеческие жизни), поверившего в абсолютную власть науки.

Широкое приобщение работников разного уровня к технике, как показалось литераторам, осваивающим с лета новый материал, требовало от современного работника не мастерства, а четкого ремесленного навыка. Мастерство — это индивидуальность, творческий поиск, доступный единицам. Ремесленный навык, вызывающий несомненное уважение, требует подготовки, способностей, энергичной деятельности, он доступен многим. Современное производство, современная наука нуждались в людях, причастных к новейшим знаниям. Их требовалось много — слишком велик размах строительства и научного поиска. Некоторым даже показалось, что научные открытия могут быть сnivelированы, принадлежать коллективу такого-то института. Это потом, по прошествии времени, освободившись от крайностей, поняли: открытия по-прежнему совершаются мастерами, придумавший новинку человек становится мастером — в недрах своего коллектива достойно работающих людей.

Но в момент рождения в нашей литературе нового характера — делового человека — многим показалось, что мастер, одержимый своим делом, устарел, массовидность социального явления словно бы предъявила к характеру в искусстве новые требования.

Еще раз — появление характера делового человека было вызвано настоятельной потребностью перемены, в производстве в первую очередь. Литераторы, особенно чуткие к современности, к текущему ее дню, торопились остановить наше внимание на новом типе героя. Идущие следом пытались понять конфликтность этой фигуры с этическими требованиями нашего общества.

В последние годы сложился целый ряд произведений, имеющих несомненный общественный резонанс, в центре которых не человек в многообразии его проявлений, но деловая, производственная ситуация, и человека мы видим лишь в зависимости от его участия в этой конкретной ситуации. Это уже не примелькавшийся, привычный и в известной мере себя скомпрометировавший производственный роман или повесть, где герой теряется в подробностях производственного быта из-за неумения авторов увидеть и написать объемно характер, но при этом неизменно делается попытка воссоздать частную жизнь героя, его семейно-бытовые отношения. Небольшие по объему повести, появившиеся в последнее время, типологически точно схватывают ситуацию — не данного конкретного производства, но общую практически для любой сферы деятельности. Характер в подобной литературе тоже строится не по законам искусства, авторы все не делают попытки воссоздать его многомерно, но, исходя из ситуации, выстраивают поведение человека типологическое, останавливая читательское внимание на общих для разных сфер деятельности мотивах этого поведения.

Повести такого рода — это явление пограничное между социологическим очерком и собственно прозой. Их много в редакционном потоке, несравненно больше, чем доходит до читателя (из самых последних — «Пространство для маневра» В. Чернякова, «Открытие. Несколько сцен из деловой жизни» Б. Гусева, «Производственный конфликт» С. Есина). Эти произведения — важная ступень для постижения ведущих тенденций действительности, однако вряд ли целесообразно анализировать их, исходя из принципов критического

подхода к художественной прозе. Отметим пока появление такого рода литературы, выделим ее из общего потока. И вернемся в недавнее прошлое, к истокам появления в нашей литературе фигуры делового человека. Попробуем проследить трансформацию этого характера.

Вы помните, конечно,— по общему мнению, именно драматургия явила нам новый тип работников промышленности. Мне уже приходилось писать: стоило И. Дворецкому в «Человеке со стороны» поставить вопрос в непривычной плоскости, столкнуть не характеры, каждый в своей нравственной атмосфере, а методы руководства современной промышленностью, столкнуть, грубо говоря, «домашний», человеческий, вникающий в потребности людей, но не по времени инертный, близкий к консерватизму метод с напористой, прагматичной, имеющей дело скорее с цифрами, чем с людьми, манерой руководства,— и в литературе одна за другой появлялись повести, романы, пьесы, где варьировался все тот же конфликт, а малосимпатичный деловой человек типа Чешкова рекомендовался как горькое, но полезное лекарство.

Извечный материал искусства — нравственная цель деятельности — словно списывался за ненадобностью. Сейчас, оглядываясь лет на пятнадцать назад, мы понимаем, что требования героя-прагматика было своеобразной реакцией на кажущееся всемогущество техники. Но и тогда художественное постижение действительности давало иные результаты, куда более традиционные, но и прозорливые. Не случайно вопреки общему впечатлению проза, а не драматургия открыла нам новое в характере делового нашего современника.

Абсолютное знание своего дела, строгий экономический расчет, умение ориентироваться в обстановке вовсе не абсолютизировались Липатовым, когда он писал своего Прончатова — героя масштабного, незаурядного организатора, вносящего в дело подлинную страсть, не потерявшего своей человеческой индивидуальности. Липатов писал не лидера, вырвавшегося вперед и забывшего о тех, кто должен принять у него эстафету, его герой не отдавался самозабвенно сиюминутной ситуации, желая лишь одного — любыми путями вырваться вперед, сохранить лидерство, а помнил о реальных конфликтах своего времени и о людях, живущих рядом, строящих эту жизнь.

Вряд ли здесь уместно подробно говорить о повести Липатова, хочется лишь

напомнить читателю, что ее герой — хозяин жизни, деловой человек не по должности только. В отличие от Чешкова живет для себя и ему интересно и радостно. И перспектива собственной жизни для него нерасторжимо слита с перспективой этой сибирской земли, где он родился, вырос, за которую дрался в гражданскую его отец и которую защищал в Отечественную он сам, где начинал свою рабочую биографию. В повести Липатова нет места конфликту между начальством и работягами, без которого не обходятся люди со стороны, жизнь Прончатова разве что обязанностями и повышенной ответственностью отличается от жизни сплавконторских рабочих, которые и зарабатывают-то побольше директора и хозяйскую свою роль понимают — вспомните Никиту Нехамова, уважаемого главу огромного рабочего семейного клана. Это Прончатов ждет одобрения Нехамовых, их поддержки, из-за них не спит накануне общего собрания, потому что не выстоять ему без коллективного доверия.

Однако в момент появления «Сказания о директоре Прончатове» и критике и части читателей липатовский герой оказался излишне традиционным с его жизнью взахлеб, потребностью отдавать делу не часть себя — себя полностью. Хотя он вовсе не уступал в профессионализме деловому прагматику — современному человеку, модно одетому и аккуратно мыслящему в пределах четко сформулированной конкретной задачи, он оказался слишком откровенным, открытым до доньщика, знакомым по литературе, где герой — увлеченный работник, для которого вне дела его жизни нет и самой жизни.

Казалось, новое время, сложнейшая техника, сменившая дедовские средства производства, требуют героя сдержанного, ироничного, многозначительного, а главное — знающего обо всей этой технике то, что не дано простому работнику, умеющему переносить законы технического прогресса на жизнь общества.

Было и новое, что увидел и показал Липатов в своем герое, — самоуверенную дерзость профессионала, чьи специальные знания словно бы дают ему ощущение превосходства над обычными техниками и инженерами, дают право самому предложить себя на должность директора, эдакая барственная уверенность в неотражимости своего обаяния, умении найти безошибочный подход к любому работнику. (Прошло время, и в только что появившейся повести Германа Балуева «Срок давности», написанной в манере, близкой Лип-

патову, мы читаем размышления Феликса Николаевича Молоткова, героя явно сродни Прончатову, о тех самых качествах, которые, по мнению Липатова, приближали его героя к характеру современного делового человека: «У него было ощущение, будто он заглянул нечаянно в комнату, где вдруг увидел себя в таком неожиданном, диком ракурсе, и то, что нравилось в нем всем и даже ему самому, вдруг выперло такой аляповатостью, таким сытым плебейством, что он ужаснулся. И уже сбжи- ваемая им новая, истинная жизнь тоже глянулась как-то неместно. Какой-то изъ- ян в ней бухтел, какая-то пустота». Вот как становится явным все наносное, по- верхностное в характере. Однако чтобы это стало явным, нужно движение жизни и литературы, движение художнической мысли.)

Приглядываясь к новомодному герою, вполне уважая его профессиональную под- готовку, литература постепенно накаплива- ла недоверие к этому характеру. Слишком бросался в глаза его прагматизм, готов- ность к компромиссу, аптекарски четкое взвешивание, какая мера этого компро- мисса, какая потеря кпд порядочности идет на пользу делу (постепенно в понятие «польза дела» прочно вошло представле- ние о собственном житейском, карьерном благополучии), отталкивала зачистую во- инствующая бездуховность современных практицистов, претендующих на роль учи- телей жизни.

Литература последних лет все более критически относится к этому типу героя, все чаще в ней разворачиваются мотивы граждански полноценно прожитой жизни, пользы дела, освященного нравственной целью. В повести «Кто-то должен» Д. Гранин предлагает нам всмотреться в два ва- рианта жизни одного героя — потерю и обретение человеком себя. Тема препари- руется спокойно, уравновешенно, словно бы вокруг не суетятся деловые люди, при- нимающие за истину лишь один вариант. Главная цель исследования — потенциа- льные возможности личности и их реализа- ция в одной судьбе, в одной конкретной жизни, рождение в человеке удачливом, приносящем объективно несомненную пользу, вполне довольном собой, чувства нравственной ответственности за свои по- ступки.

Напомню: в повести Гранина две части, каждая из которых — возможный вариант прожитой героем жизни.

Денис Семенович Дробышев, «крепкий, сравнительно молодой мужчина с прони-

цательно твердыми глазами, с высоким ин- теллектуальным лбом, исполненный радо- сти жизни и чувства ответственности», проделал за свои тридцать восемь лет трудный, но не редкий в наши дни путь от монтера на подстанции до руководи- теля кафедры, без пяти минут доктора наук. Докторская диссертация написана, моно- графия готовится к печати. В молодости, аспирантом, Дробышев вывел уравнение — плод, пожалуй, его единственной серьез- ной творческой работы, никогда потом он, автор многих книг и статей, не писал так вдохновенно, словно под диктовку. Урав- нением этим герой доказал, что он, спо- собный, перспективный ученый. Его науч- ный руководитель Кравцов присвоил себе результат исследования, разумеется под благовидным предлогом. И перспективный молодой ученый, почти не задумываясь, идет на компромисс, который определяет его жизнь на многие годы.

Перед самим собой Дробышев оправды- вает свой незаметный чужому глазу по- ворот с прямого пути высокими сообра- жениями. И с высоты обретенного им жи- тейского опыта будет поучать неудачника Селюгина, попавшего в аналогичную си- туацию, но по наивности или по нравст- венному чувству не умеющего перестро- иться и безуспешно пытающегося защи- тить свое авторство. Злоключения изобре- тателя как бы подтверждают реальность той опасности, которая в свое время уг- рожала самому Дробышеву.

Напористый, энергичный Дробышев сме- ло плывет по житейским волнам, его суд- но прочно оснащено целым арсеналом рав- носесия — здесь и знание тонкостей заку- лисных отношений в институте, и уверен- ность в собственном даровании, в своих силах, и азарт в работе, полная чаша до- ма, крепкий тыл — хорошая семья.

Гранин знакомит нас с весьма распро- страненным типом, у которого все вроде бы так, как должно быть. Этот тип на первый взгляд действительно приносит пользу обществу. А как же, вот какой послужной список... «Он, Дробышев, и есть новый тип интеллигента — не идеалиста, а трезво-расчетливого, умеющего постоять за себя без лишней рефлексии, деликат- ности и комплекса вины». Разумеется, ге- рой Гранина и мысли не допускает, что вся его насыщенная деятельностью жизнь искажена стремлением к личному преус- пеханию, он привычно, не задумываясь, уве- рен, что служит обществу.

Неудачник Селюгин, автор безусловно профессиональной, интересной и зрелой

работы, озлобленный отказами разных институтов заняться проблемой, которую он разрабатывает, приходит к Дробышеву как к последней инстанции. Одержимость Селюгина, его наивная надежда, что известный ученый сумеет поддержать ценную идею, возьмет на себя ответственность и защитит (не Селюгина — идею, открытие), — все это вызывает к лучшему в Дробышеве.

И читатель, который отмечает про себя искусственность и заданность строгой соотнесенности всех сюжетных поворотов повести, раздражающую акцентировку завязки, кульминации, тем не менее с неослабевающим интересом вглядывается в героя. Речь идет не просто о пустушке, а о степени гражданской зрелости Дробышева, о его способности отказаться от дорогих сердцу привычек и взять на себя ответственность, то есть выясняется способность героя к сознательной нравственной позиции. К истинному, неискаженному пониманию пользы дела. Так Д. Гранин продолжает в своей небольшой повести исконный поиск русской литературы — поиск положительных сил в человеке.

В первой части повести не происходит внутреннего самодвижения героя. Дробышев остается верен привычной для него логике приспособленчества.

Вот он, один из возможных финалов повести. Постепенно отзвучит в памяти Дробышева отчаянный шепот Селюгина: «Безнравственно!.. Все, что вы говорили... Я думал, что хоть кто-то должен...» — а потом отвлекут повседневные дела и обязанности, и все. Впереди снова душевный комфорт, размеренное, успокоенное существование человека, умеющего обходить острые углы, любителя бесспорных истин, готовых к употреблению. У малодушья много аргументов.

Если бы Гранин поставил на этом точку, он и тогда заинтересовал бы читателя пространенным и точно увиденным типом. Но писатель продолжает судьбу Дробышева, потому что верит в позитивные начала его характера. Теперь его герой вынужден опровергать собственную философию.

«Кто-то должен» — опыт логической прозы, и автор не слишком утруждает себя поисками психологических мотивировок. Он просто меняет персонажей местами, заставляет Селюгина воспользоваться уроком безнравственности, преподнесенным ему тем, прежним Дробышевым. И если прежде Дробышев поучал Селюгина, то теперь уже звучит проповедь Селюгина. Свою успокоенность, нежелание поддерживать Дениса Семеновича бывший изобретатель подкрепляет житейскими доводами.

Оказывается, вовсе незначем кого-то критиковать, что-то отстаивать, тратить нервы, энергию, время, здоровье. «По отношению к кому мне быть гражданином? — рассуждает Селюгин. — К своему директору? Так он болеет за завод больше меня. Кого критиковать? И начальники, и мои инженеры — мы все знаем наши беды. Я убедился — от критики часто вреда больше, чем пользы... Предложил я, к примеру, новую форму сепараторов. Невозможно, говорят, штампов нет. Опасались, что я буду настаивать. А я не спорю. Вправду нет штампов. Будет возможность, сделаем. Ужасно им понравилось это доверие. Сами беспокоятся. Парадокс? Представьте, благодаря таким отношениям больше удается сделать». Снова мы слышим банальную проповедь мещанства, снова для защиты душевного комфорта годятся любые средства.

А Дробышев? Впервые в жизни задумавшись над смыслом своей работы, связав «маленький коэффициент», «буковку в формуле» с реальной жизнью страны («...мир может преобразиться... Очистится воздух городов. Спасена будет природа...»), Дробышев целых два года защищает свою идею, бьется за нее — организывает лабораторию, выбивает ставки, приборы. Отстаивает право на научное исследование без гарантии близкого успеха.

Сам Гранин достаточно знает жизнь, чтобы не рисовать читателю идиллические картины легкого успеха и признания, которые благодарные сограждане обрушили на героя за его прекосный отказ от безбедной надежной жизни.

Когда-то давно, как гласит легенда, великий Галилей выбрал стратегическое отступление ради истинной победы. Дробышеву нет нужды в подобном стратегическом плане, общество и образ жизни его страны наталкивают его на служение открытое, честное; его потери бытовые и минимальные, и только непомерное самолюбие, развращающая привычка к тому, что окружающие обязаны считаться с его авторитетом, мешают самому Дробышеву понять это. Он может и не увидеть конца дела, которому теперь служит, или, как цинично говорит Селюгин, «вы даже и не знаете, кому достанется...».

Писатель категорически утверждает, что только человек, стоящий на активной гражданской позиции, обретает истинное лицо, что только тогда личность индивидуальна и неповторима. Решает в жизни каждый за себя, и дело общества помочь своему гражданину в том смысле, чтобы нрав-

ственная активность каждого ценилась как незаменимая нравственная норма.

Д. Гранин поставил проблему, проследил ее в двух вариантах характера героя, повесть его современна и актуальна, конструкция гармонична и законченна. За судьбой Дробышева угадываются другие жизни, с другими поворотами, другими искушениями и преодолениями.

Роман «Картина», вышедший через десять лет после повести «Кто-то должен», внес важный корректив в представление о современном герое и о путях художника к этому герою. Но об этом речь впереди.

Дробышев-гражданин не без помощи автора выбрался из зоны эгоистической отчужденности, разрушив собственное представление о преимуществах тщательно просчитанной жизни.

Мне довелось впервые писать о повести «Кто-то должен» лет восемь назад, когда она только что была опубликована, и тогда казалось, что вот настала точка отсчета, в герое ценится уже не только дело, но и мотивы, которыми продиктована деятельность.

Прошло время, и перед нами герой новой повести С. Рыбаса «На колесах», директор автоцентра неподалеку от Москвы, Никифоров. Поначалу автор характеризует его как человека деятельного: он не только построил свой автоцентр, но и людей собирал сам, знает цену истинному профессионализму и т. д. Однако уже через несколько страниц становится ясно, что готовность к компромиссу словно заложена в нем с детства. Автор объясняет: герой давным-давно понял, что ни талантом, ни характером природа его не наделила («...он был нормальным (разрядка автора.— Д. Т.) — в этом, наверное, и заключался его дар»), а значит, нужно принимать вещи такими, какие они есть, и утешаться тем, что к нему вроде бы дурное не пристанет («...такие, как он, никогда не защищаются. Им кажется, раз у них руки чистые, значит, все кругом идеально»).

«Нормальный», «обыкновенный» в этой повести синонимы смирения, пассивности, душевной дряблости, робости. (А мы-то уж было привыкли, что в нашей литературе «обыкновенный» человек — понятие, принятое для полемики. Вспомним Леонова, Панову, из тех, кто помоложе, — Тублина с его «Доказательствами».)

В новом автоцентре воруют запчасти и берут взятки, наш герой идет на каждодневное нарушение закона вроде бы по пустякам. Вот его завскладом, чтобы помочь дочке поступить в институт, вывез дефицитное ветровое стекло. Он готов воз-

местить стоимость («...мы делаем одно дело... Доверять должны. Будто в одной семье») и на упрек директора: «Ты же украл... Что тебе мешает завтра вывезти целый контейнер с запчастями? Закон тебе не писан...» — отвечает четко чувствуя себя вполне правым: «Так и вы, Александр Константинович, для себя злоупотребляете. Это ведь как поглядеть. Вот возил я на заводы разные подарки, в первую очередь ради вас. Чтобы вы были на хорошем счету. Однако вы честный человек. Не спору. Мы ведь с вами православные люди: совесть для нас — это совесть». Никифоров, как замечает автор, «не нашелся, что ответить на странное противопоставление совести и нормы...».

Не знает Никифоров, какотреагировать, когда «честный» и «непримиримый» инженер Журков, не склонный к компромиссам, при нем отстегал ремнем слесаря-ремонтника, который драл с клиентов втридорога. Не знал, как устоять перед напором девушки, решившей взять его в мужа. Не знал, как устоять перед цепкостью и нечестностью сокурсника и в угоду ему потребовала исключить из техникума товарища, вовсе не уверенный в его вине. Не знал, как... Этот Никифоров только виновато морщится, но исправно плывет по течению, нехотя ловчит, нехотя работает, нехотя становится мужем и отцом, возлюбленным стандартной красотки, полезной, впрочем, для дела, как ему кажется (красотка-то — санитарный врач), но, не путая любовных утех с делом, дама прикрывает столовую его треста...

Герой Рыбаса, не полагаясь на интуицию, изучает литературу по управлению людьми, пользуется безотказными приемами, вычитанными из американского «Курса для высшего управления персоналом», разглагольствует, что по сравнению с чеховскими героями, которые были «умнее своего времени», нынешние «сильнее своего времени». Теперь нет таких понятий о человеке — лучше или хуже, автор через годы как бы противопоставляет его Чешкову: в отличие от того Никифоров никогда не знает, что делать. Все его сотрудники, все подчиненные «были как бы членами его семьи, и это мешало директору: советливое родственное чувство плохо совмещалось с административным да и всяким другим правом и законом». Он плывет по течению, уныло убеждает себя, что изменить ничего нельзя — людей не хватает, все норовит что-то урвать для себя, а он, Никифоров, старается исключительно ради дела. Бригадир Филимонов, тертый мужик, всегда знающий, где и как побольше ур-

вать, уверен, что никакой разницы между директором и работягами, которые ловчат кто как умеет, обирая клиента, нет. Филимонов этот не любит «моду на показуху», терпеть не может суперменов, а вот Никифоров ему нравится. «Он хилый, голосок дрожит, рубаха на шее болтается, но я вижу — в нем хребет есть». В понимании Филимонова хребет — это все та же способность не упустить своего.

Этот хилый герой с дрожащим голоском и отсутствующими принципами, беспомощный перед жизнью в любом ее проявлении, утешает себя («...у нас все хорошо»), принимает бесконечные уверения близких, что он честный и хороший. Автор предлагает нам этаким пунктир героя уже 80-х годов, в оценке его полагается лишь на спасительную иронию (вот чему мы научились сполна в литературе о творцах и исполнителях НТР, так это иронии!), оставляя читателя в некотором недоумении. Что нам делать с этой равнодушной самоутешительностью, бесхребетностью? Пролить слезу? Согласиться, что первый вариант гранинской повести «Кто-то должен» — единственный?

Неужели пресловутое ретро добралось уже и до сравнительно молодой литературы о творцах и исполнителях НТР? Мы помним многочисленных предшественников героя Рыбаса пятнадцати-двадцатилетней давности, этих унылых тридцатилетних переростков, бродящих по нашим экранам и страницам повестей, рефлексирующих, инфантильных, ноющих, нервно подтягивающихся вверх по лестнице личного успеха. Собственно, Чешковы и возникли как антитепы этого бессилия, жалкой неспособности к действию.

В связи с трансформацией этого характера обратимся к двум романам Р. Киреева — «Победителю» и «Подготовительной тетради», вокруг которых не утихают критические дискуссии. А перед этим вспомним, как исподволь накапливалась наша литература черты интеллигентов, пришедших к сознательной жизни в середине 50-х — начале 70-х годов. Потом будут говорить о том, как часть этих людей преодолела инерцию такой жизни, в которой диктуют обстоятельства, как резко откинула соблазн внешнего благополучия, как шарахалась от высоких слов, понятий, как растерялась перед живой жизнью, кинулась в крайность — практицизм, прагматизм, — теряя по дороге извечную жажду духовности, как воинственно утверждала свою исключительность...

В пьесе А. Арбузова «Жесткие игры» этих людей иронически назовут гордым

поколением Политехнического — за гибкость принципов, стремление к житейскому успеху, за громогласные, крикливые дискуссии, в которых форма ценилась больше, чем содержание, за нынешнюю их респектабельность. Словом, как нелегко далась зрелость людям, детство которых пришлось на войну, юность — на годы восстановления социалистических норм жизни в нашей стране и на размах научно-технического прогресса.

За небольшим исключением люди эти активны и деятельны, энергичны. Сфера их интересов гораздо шире материальных, а ведь именно с преувеличенным утилитарно-материальным интересом связано для нас понятие мещанства. Эти любят и знают свою профессию, владеют ею часто артистически. Их отличительная черта — предпочитают всего добиваться своими силами, лишь бы не платить по векселям.

В их понятие современности входит образованность и владение профессией — это только придает им вес в глазах окружающих (а они это очень ценят). Они кланововны и, в общем, безразличны ко всему, что не касается их персоны впрямую. Даже любовь им в тягость. Впрочем, чаще всего они неспособны на серьезное чувство — для этого нужна слишком большая самоотдача.

Уверенный в себе, многообещающий и успешный ученый Лева Груздев появляется в пьесе В. Розова «От вечера до полудня» словно бы для того, чтобы с лета утвердить принципы жизненного практицизма и разумного эгоизма такими, какими они представляются современному убежденному рационалисту, уверенному, что сердечность, чувствительность, участие в чужой судьбе — интеллигентские пережитки, могущие вызвать в лучшем случае снисходительную улыбку.

В семье Жарковых Лева появляется после большого перерыва: когда-то он будто бы любил Нину, но та, на беду свою, ушла во время похода, где они были вместе, повредила позвоночник и долго болела. Лева же решил не взваливать на себя такую обузу: больная жена для начинающего ученого не лучшая гарантия будущего успеха. Он уехал от греха подальше «в волшебный край» — в Академгородок, в дружную и веселую атмосферу, в исключительную обстановку, где с учеными все считаются, доверяют, где материальные условия на высоте, да и квартирные тоже. «Даже свой театр есть... настоящий, профессиональный. И играют не какие-нибудь примитивки — у нас, знаешь, объяснять прописи некому, все образованные, а толь-

ко самые отборные, больше комедии. Мы— люди серьезные, посмеяться любим. Иногда какую-нибудь интеллектуальную потребуем...».

Пьеса В. Розова была впервые поставлена театром «Современник» в семьдесят третьем году. (Недавно телевидение показало фильм «С вечера до полудня» по мотивам этой пьесы). В характере интеллектуального супермена Лева Грузева прочитывается представление о деловом человеке тех дней.

Он не бездумный автомат, этот Лева, напротив, он размышляет над природой вещей, копит факты, ищет закономерности. Только факты он группирует таким образом, чтобы они работали на уже придуманную закономерность, подтверждали принципы поведения, которые облегчают жизнь, упрощают ее, оправдывая готовность к компромиссу. И хотя даже слова «предательство» не существует в Левином лексиконе, суть его проповеди очень близка к этому.

Мудрый супермен Лева Грузев пуще огня боится привязанности. И не самая счастливая семья Жарковых кажется ему скоплением неудачников, откуда нужно бежать сломя голову, пока задушевность и сердечность не размячили тебя, не привели все к тем же «несчастеньким» и «убогим». Ведь кодекс таких, как Лева, предельно прост, он все тот же: жить значит побеждать, любой ценой, любыми потерями. Впрочем, потери эти чисто нравственного свойства, поэтому Лева долго не будет их замечать, станет убеждать себя и пытаться убедить других, что естественно считать чувства иллюзиями, что нормален проповедуемый им усеченный вариант жизни. Подтверждает он это подробными перечнями повторяющихся фактов, которым хочет придать вес социологической закономерности,— вроде анкеты о единственной любви, проведенной коллегами по институту, современными интеллектуалами, с целью доказать, что ее, единственной и неповторимой любви, и не бывает вовсе... И это желание отместить все, мешающее великому делу, не аскетизм — «он знаа одной лишь думы` власть, одну, но пламенную страсть». Просто среди машин, порядка и точности Лева поверил в то, что он бог, и напористо, без лишних раздумий навязывает свои правила игры другим, убежденный, что его эгоистические куцые теориейки и есть истинная философия жизни.

Иногда ему и ему подобным это удается. И отсюда тревога, так ощутимая в пьесе В. Розова. Тревога, вызванная агрес-

сивностью бездуховности, прячущейся под маской практицизма. Это опасно для общества — шаблонность и механистичность мышления, автоматизм, даже когда у них видимость сложности и оригинальности, все это потери, замедляющие прогресс.

Но не случайно Розов не ставит крест на самоуверенном своем герое. Он останавливает внимание общества, предостерегает против всадников, которые, взобравшись на свою лошадку, «дупят во весь свой собственный карьер и не видят, куда их лошадь ставит копыта». Предостерегает прежде всего ради таких, как Лева. При всей его напористости грустью о несбывшемся задевает этот характер. В груздевых таится тщательно подавляемый заряд человечности и гражданственности, важно, чтобы окружающие спохватились вовремя, чтобы не санкционировали молчаливым одобрением расцвет их индивидуализма и практицизма.

Розовский Лева Грузев, агрессивно отстаивая право на исключительность для людей, причастных к науке, вызывающе эгоистичный, живет в крайностях, отгородившись от людей и потихоньку тоскуя без них. Появившийся спустя почти десять лет Станислав Рябов, главный герой романа Р. Киреева «Победитель», к крайностям относится брезгливо и иронически.

Образованный, вполне благополучный, этот кандидат наук, без пяти минут доктор совершенно уверен в себе, в своей способности разобраться в любой ситуации, славировать где нужно, чтобы не доводить дело до крайности. Не доводить до крайности — это принцип, основа душевного равновесия. Он труягта, всего добивается сам, и его диссертации вполне обеспечены вложенными в них усилиями, он в курсе всех направлений выбранной им науки, знаком со всеми новинками, студенты из его лекций извлекают множество полезной и не лишней информации — словом, его профессиональная форма вне подозрений. Мелькает, правда, мотив, что в компиляции он сильнее, чем в открытии собственных теорий и доказательств, так ведь ему всего двадцать восемь лет, все еще впереди.

Он человек вполне европейский, воспитанный, не позволяет себе резкости или небрежности в обращении с окружающими, готов прощать им маленькие слабости — вернее, согласен не замечать их. Старой профессорше приятно собственноручно связать шарф любимому ученику — пожалуйста, он готов носить этот шарф и не боится выглядеть смешным, хотя подобная

сентиментальность ему чужда. Как готов подыграть отцу — баловню женщин, добродушному, тщеславному диктору местного радио, довольному всем и собой в первую очередь, — в его желании казаться обожаемым главой дружного семейства. И добрый сын будет аплодировать рыбацкому успеху отца, всхлищаться им, хотя и не преминет провести коротенькое следствие, чтобы удостовериться в призрачности этого успеха, — рыбка-то куплена.

Он, в общем-то, покойно, грамотно и на долгие годы вперед утвердился в жизни. Выбрал себе такую жену, какая должна соответствовать его представлению о семье — красивую, практичную, деловую, способную показаться в обществе, преподнести себя, быть ровней перспективному мужу. У него есть свой кодекс порядочности: на протяжении романа (а все, что происходит в книге, читатель видит только глазами героя, это единственная предложенная читателю точка зрения) он не совершит ни одного дурного поступка, со скукой и брезгливостью отвернется от хапуги — институтского товарища, хотя от того зависит кооперативная квартира, благородно откажется от предложения сделать кое-какие усилия, чтобы занять кафедру своего учителя — той самой профессорши, чей шарф украшает нашего героя. Мы так и не узнаем причины этого отказа. Возможно, Рябову доступно чувство благодарности и из-за этого он не желает подставить под удар старую больную женщину. А возможно, просто ждет, когда созреет плод и кафедра сама придет к нему — больше-то ведь не к кому, сама-то профессорша тоже считает Рябова своим наследником.

Автор вовсе не стремится вызвать в нас недоверие к своему герою. Есть, правда, одна странность: окружающие, не отказывая ему в уважении, любят кого угодно — сибарита Рябова-отца, старую няньку, неудачника Рябова — старшего брата героя, кого угодно, только не Станислава. Но ведь и он, по-разному относясь к людям — к одним с симпатией и уважением, к другим с сочувствием, во всяком случае, никому не отказывая в помощи, — тоже не балует своих близких любовью.

На наших глазах происходит последнее испытание. Герой сам ставит эксперимент, проверяет свою способность на самозабвенное чувство, и девочке из Жаброва, случайной спутнице по трехдневной поездке в Ялту, предстоит сыграть роль катализатора. На протяжении всего романа герой тайт и делет свою надежду бросить всю налаженную свою жизнь, уехать

в это самое Жаброво и начать все сначала уже по иным, неизвестным ему законам.

Эта надежда, это желание не вполне бескорыстны. Больше всего Станиславу хочется поразить старшего брата, неудавшегося художника, для которого, как не без основания полагает младший, он — воплощение скуки, благонамеренности, отсутствия творческого начала. Но единоборства с братом не получается — тот профессионал лишь на словах, у него есть обаяние, контактность, неподдельный интерес к людям, доброжелательность, а вот профессионализм ушел в бегему, в жизнь ради удовольствия, такой брат нашему герою не соперник. Вот только этот неспособный к профессионализму старший брат явно наделен тем, что атрофировано у младшего, — способностью любить, сострадать ни за что, несет дар общения, ему невозможно жить без людей, он, неудачливый, неряха, оставшийся без дома, без семьи (сам виноват), все-таки чувствует себя постоянно среди людей, равным среди равных, нужным среди нужных.

Вот мы и добрались до главного итога, до хронической болезни, с которой давно смирился бедный «победитель» Станислав Рябов, запрятывая ее, однако, поглубже, подальше даже от самого себя. Очень он понадеялся на себя, очень поверил басням об «исключительных» прагматиках, которые насквозь все видят, всему знают цену и могут поэтому рассчитать меру своего участия в общежитии. Рябову в конце романа остается надеяться только на привязанность матери — эта суховатая, властная женщина, бессменный директор кондитерской фабрики, живет в строгой регламентации, не давая воли сердцу, рассталась со старшим сыном, когда тот оставил семью, и не простит его уже никогда. Станислава она любит куда меньше, чем своего первенца, но верит в его принципиальность, добропорядочность, а он, притерпевшийся к несовершенствам мира, выработавший такую позицию самоотстранения, паразитально одинок.

Так же как Груздеву, Станиславу Рябову показалось современным искать опору только в себе самом. Разъединенность с людьми — главный порок героя Киреева, его спрятанная боль, беда. В критике спорили о том, положительный или отрицательный герой этот Станислав Рябов, перечисляли его хорошие и плохие качества, шутили: побольше бы таких отрицательных. На самом же деле писатель показал нам человека, замкнувшегося в своей эгоистической философии, показал нравственные потери личности, нарушившей закон

коллективизма. Никакое виртуозное владение профессиональными навыками, никакое прогнозирование переноса законов техники на живое человеческое общежитие не в силах заменить потребности человека в общении с равными себе. Душевное одиночество Рябова, его глухота к окружающим (брат утверждает, что он дальтоник, не отличает цвета, не видит спектра красок жизни) мучит его, как болезнь, и он не знает, как от этого избавиться.

В темпераментной статье И. Дедкова «Когда рассеялся лирический туман» сделана попытка систематизации типических недостатков прозы сорокалетних, но все еще считающихся молодыми, прозаиков. В наблюдениях Дедкова много точного, вызывающего тревогу. Однако прочитывается в статье и некая предвзятость, подтягивание, как сказал бы ученый, под готовый результат данных анализа. Противопоставляя «перспективным современникам», героям литературы сорокалетних, прозу Абрамова, Распутина или Астафьева, критик напоминает о главном принципе этой прозы: не звание-прозвание важно для героя, а нечто другое, трудноуловимое, без чего «жизни недоставало бы надежности, ровного, сильного течения, постоянства...». Герои же сорокалетних заняты либо служебными страстями, либо любовью.

Отчего же, много раз упоминая романы Киреева, критик не задумался над сверхзадачей хотя бы того же «Победителя» — ощутимо показать несостоятельность жизненной позиции преуспевающего своего героя, несостоятельность, уже осознаваемую как нравственное увечье? Отчего не заметил, что это самое трудноуловимое и составляет писателя зафиксировать предчувствие, момент перелома в отношении деловых людей к реальной жизни? Может быть, не делая разницы между целым рядом писателей разного дарования и уровня, свалив все, ими написанное, в одну кучу, критик просто отказывает в равной мере любому из них в уважительном праве на индивидуальность, в праве на собственный поиск? И поэтому, характеризуя героя того же «Победителя», не замечает, что явно вслед за автором повторяет все признаки несостоятельности этого героя, при этом многоречиво упрекая автора в том, что тот не показал нравственную ненадежность этого преуспевающего человека?..

Однако вернемся к вопросу о том, как выглядит под пером современных писателей сегодняшний деловой человек. Ведь как бы ни отрицали критики его прав на существование в нашей литературе, он живет в ней, как и в самой реальности.

В романе «Подготовительная тетрадь» Р. Киреев пытается добиться точности в характеристике современного делового человека, сталкивая, сшибая две на первый взгляд резко противоположные натуры.

Его Свечкин, «великий Свечкин», могучий администратор, умеющий, как кибернетическое устройство, просчитать на несколько порядков вперед не только результат собственных усилий, но и усилий своих сторонников и противников,— гиперболизированный этот Свечкин фигура скорее сатирическая. Сгусток воли и энергии, устремленный в дело,— и вот уже за продукцией Светопольской фабрики, где директорствует неумолимый Свечкин, охотятся модницы всего Союза, и зарубежные фирмы наперебой предлагают контракты, и готовится объединение всего швейного дела под эгидой современного великого Администратора в качестве генерального директора.

Заметьте: деловой человек на этот раз выступает не ученым, не крупным инженером — администратором со скромным образованием, полученным поначалу в захудалом торговом техникуме (увы, учеба будущему административному таланту не давалась), а затем параллельно с деятельностью на мифической должности инженера по снабжению — в заочном институте. Право на исключительность, которое в глазах Рябова, Дробышева, Груздева оправдывалось знаниями в наисовременнейших науках, уникальностью профессии, и это была печать научно-технического прогресса, его размаха, для героя нового романа Киреева ни в каких оправданиях не нуждается. Здесь мы, пожалуй, впервые в литературе последнего времени сталкиваемся с убежденным американизированным представлением об успехе — любыми средствами, лишь благодаря личной бешеной энергии, пробойности, экономическому расчету.

Свечкин у Киреева — машина, однако же безотказно действующая всюду. Он ничего не забывает и выбрасывает из головы все лишнее, его комбинации — касаются ли они дела (как привлечь лучшего столичного художника-модельера, как достать фурнитуру, как наладить конвейер, распределять жизненные блага между работниками и т. п., а рядом — как отблагодарить бывшего своего директора (достать протез, который тому мог лишь грезиться), как найти подход к тому или иному руководителю, выведав и удовлетворив его личные пристрастия, и прочее), касаются ли частной, личной жизни (добиться не квартиры просто — дворца, оснастить этот бывший дом Дворянского собрания архисовременными

бытовыми комбайнами). — его комбинации головокружительно, подчинены системе, бесконечные картотеки Свечкина дают ему богатый материал для комбинирования.

Станислав Рябов, ныне ректор Светопольского университета (Р. Киреев создает целую страну Светополье, где по мере необходимости возникает герой то одного, то другого романа), объясняет успехи великого администратора метафорически: «Нелепо и опасно пользоваться в наш автомобильный век правилами уличного движения эпохи дилижансов». Разумеется, в правилах автомобильного века нет места размышлениям о смысле жизни, о нравственном обосновании собственной бурной деятельности — Свечкин не просто лишен всего этого, он прямо-таки с агрессивной брезгливостью отпихивает от себя эти бабушкины сантименты, запросто справляется даже с вечной темой жизни и смерти, легко, без затрат душевной энергии идет на обман, на предательство собственного отца. Железные нервы, безграничная вера в собственные силы, быстрота реакции, беспардонный, распространяющийся на все сферы жизни без исключения практицизм, холодная беспощадность к тем, кто путается в ногах, универсальная способность выстроить систему — вот, пожалуй, качества этого супермена уже начала 80-х годов, в котором по сравнению с его предшественниками новинка, пожалуй, только в одном: в полном отсутствии даже внешней интеллигентности.

И хотя статьи в «Литературной газете» о романе «Подготовительная тетрадь» броско назывались «Оправдание Свечкиных?» — «Нет, суд над ними!», трудно не заметить, что созданная Киреевым картина современной жизни словно бы пробуксовывает, в ней не угадывается развития.

Впрочем, это случается нередко — читая книги о современных деловых людях (а таких книг выходит немало), временами чувствуешь, словно наступил «стоп», движение характера остановилось. Прибавляются описания тех или иных новых поступков, само описание приобретает иронический, мелодраматический, даже сатирический характер, но художественное представление о деловом человеке наших дней словно бы стоит на месте, тогда как реальные творцы и исполнители научно-технического прогресса — это люди, способные не только на профессиональное решение конкретной задачи, но и на нравственное обоснование своих действий, умеющие заглянуть далеко вперед, люди, чувствующие ответственность за будущее своего народа.

И, очевидно, наступила пора литераторам задуматься над тем, что современный деловой человек выбирается из эмоциональной глухоты и представлений о безбрежности возможностей техники. Впереди снова маячит представление о герое-мастере, а значит, о личности многосторонне развитой, профессионально точной и совестливой. Личности, повернутой к людям.

Противопоставляя Свечкину другого героя своего романа, журналиста Виктора Карманова, от имени которого и ведется повествование, Р. Киреев, кажется, возлагает на свечкиных ответственность за размытость принципов, за некую всеядность интеллигентного своего героя.

Карманов в отличие от Свечкина образован, начитан, мучится желанием творчества и неспособностью выразить себя, легко уходит от жизненного успеха, материальные блага искренне не заботят его. Но вот беда, вместе с отвращением к самоуверенной силе, энергии, бездуховности Свечкина Виктор получил словно бы удар в солнечное сплетение. Он разьедаем одним желанием — объяснить самому себе несостоятельность Свечкина, и все сильнее вязнет в доказательствах неуязвимости своего антипода: «...он пишет свою жизнь набело, без помарок, в то время как у меня — сплошная подготовительная тетрадь. Только вот к чему подготовительная?»

Присутствие Свечкина, похоже, подтачивает веру Виктора не только в себя, но и в окружающих, да и журналистика, в которой он подвизается не без успеха, представляется ему занятием, зачастую лишеным принципов («Я, если потребуется, могу без особых усилий доказать (и доказал-таки Алахвату! — Д. Т.), что Свечкин — в авангарде прогресса, а могу убедить, как в иные минуты, поддаваясь недоброму соблазну, убеждая самого себя, что нет никого опаснее свечкиных. Где же истина? Положа руку на сердце говорю: не знаю»). Эта гибкость представляется реакцией на напор свечкиных, но она же оправдание робкой, ленивой души, хотя, казалось бы, Карманов вовсе не робок — пишет фельетон, разоблачающий должностных лиц, злоупотребляющих своим положением, и даже получает за это понижение (впрочем, все — от главного редактора газеты и его заместителя до рядовых сотрудников — суетливо заняты его трудоустройством, он явно не пропадет из-за своей смелости), но и фельетон этот питает злорадное чувство мести — ведь пострадает-то, пусть не впрямую, все тот же ненавистный Свечкин.

Карманов по-своему не менее эгоистичен, чем его антипод, вроде бы иронизирует над собой — я, мол, единственное свое достоинство, но по сути это и есть его истинное отношение к самому себе. Он не несет никакой ответственности ни за дело, ни за близких — жену, мать, сына. Мир вокруг сосредоточен для него только в нем самом.

Это герой молодежной повести лет десять назад, вырвавшись из тесного мира, бедного красками, вдруг попадал в широкий, бурный, разнообразный поток жизни. Вспомните хотя бы роман Л. Жуховицкого «Остановиться, оглянуться...» и его героя, тоже журналиста, Георгия Неспанова, который из эгоистического отчуждения врывается в полнокровную жизнь, драматичную, увлекательную, а читатель без скуки и недоверия шагает, бежит по жизни вслед за героем, узнает встречаемых людей и спешит дальше, потому что все события романа, пережитые Неспановым, все люди, увиденные его глазами, и то, как видит, как ориентируется в происходящем герой Жуховицкого, больше, чем высокое мнение о нем окружающих, убеждает, что перед нами газетчик, которого изматывающий плотный газетный быт не лишил ни зоркости, ни вкуса к жизни, ни жажды справедливости, ни, наконец, веры в силу печатного слова.

Теперешний газетчик, появившийся на страницах «Подготовительной тетради», без конца копается в своем куцем внутреннем мире, готовно принимая его ограниченность за разнообразие, охотно иронизируя над всем и вся (Карманов — временный сосед по роскошной квартире Свечкина — ждет, пока великий администратор выбьет ему подходящее жилье, и походя, без лишних угрызений совести делается любовником жены Свечкина, тщетно убеждая себя и читателя в том, что эта Эльвира — единственная, ему предназначенная судьбой. Что не мешает влюбленному оттачивать свое перо: «У нее (Эльвиры.— Д. Т.) духовные запросы были: она глотала детективы, упивалась шлягерами и знала, с кем спит режиссер, приглашенный в светопольский театр ставить О'Нила»). Этот герой, сильный скорее в трепе, чем в деле, тоже хочет предстать перед нами знаменитым, известным Кармановым, только известность его ограничивается студенческим КВНом, а дальше вся энергия уходит на внутреннее самоутверждение и на зависть, едкую зависть к тем, кто что-то создал. Невольно вспоминается чеховское: «Если молодой ученый или литератор начинает свою деятельность с того, что горько жалуется на

ученых или литераторов, то это значит, что он уже утомился и не годен для дела». Эта мысль из «Скучной истории» к Карманову имеет непосредственное отношение.

И на вопрос, кто же хуже, Свечкин или Карманов, ответить хочется однозначно: оба. Оба хуже.

Так какой же из Карманова антипод Свечкину? Может быть, Карманов — это «подготовительная тетрадь» к превращению в Свечкина? Как ни парадоксально, но эти два характера вполне дают пищу для добрых размышлений.

Здесь нет необходимости более подробно рассматривать этот роман Киреева, хочется сказать лишь, что в нем в отличие от «Победителя», как мне кажется, много неясного для самого писателя и характер делового нашего современника не обогатился, несмотря на сатирическую его заостренность.

Но вызвал тоску по одержимости, жизни взахлеб — без расчета собственного успеха, жизни ради людей и страны, чьим сыном себя ощущаешь, отринув эгоистическую самососредоточенность. Эта тоска прозвучала, к примеру, в небольшой повести ленинградского писателя Геннадия Прашкевича «Мыс Марии». В ней младший научный сотрудник лаборатории вулканогенных формаций на Южном Сахалине Тимофей Лужин, «счастливчик Лужин», учится понимать природу нравственного авторитета, масштабности личности.

Задумываясь над современным литературным процессом, видишь, как от книги к книге утверждаются в герое неизблемыми качествами (как опознавательный знак соответствия современному представлению о деловом человеке) активность, инициативность, профессионализм. Но герой все чаще отваживается на все более содержательный собственный поиск духовных ценностей. В счастливых случаях содержание этого поиска рождает качественно новый тип нашего современника. Так произошло в романе Д. Гранина «Картина».

Многих удивило возвращение Гранина к доброму традиционному роману с его последовательной неторопливостью, накоплением подробностей, с маленьким городком центральной России, описанном любовно, бережно, — тут и пейзаж, и атмосфера, и нынешние заботы горожан. Традиционность подхода к материалу вызвала недоумение, сожаление, заставила противопоставлять Гранина — автора романа «Картина» — Гранину — эссеисту, рационалисту, публицисту.

А между тем нынешний герой Гранина Лосев не случайно появился на страницах именно традиционного романа. Эта форма как никакая другая позволила писателю показать поступательную непреложность происходящих с героем перемен. Они, эти перемены, взялись из движения самой жизни, ее обстоятельств, из подготовленного длинным этапом развития ее текущего дня, это отражает неторопливый сюжет «Картины», его разветвления, позволяющие не конструировать взрыв в герое или варианты его поведения, а убедить читателя в том, что накопления научно-технической революции требуют перемен в тех, кто ее осуществляет.

Путь Лосева не был бы так художественно обоснован, не воспринимался бы как закономерность современной нашей действительности, окажись герой очередной моделью, прямолинейным выражением авторского желания, центром нового эссе.

Мы последнее время как-то стеснительно обращаемся с такими понятиями, как тип, типический характер. А между тем наша литература последних пятнадцати — двадцати лет создала такой характер и Чешков — один из них. Обобщенное понятие делового человека на определенном этапе развития научно-технической революции.

И в романе «Картина» живет такой Чешков — это «хозяин» области Уваров, написанный Граниным не без симпатии, характер живой, но упрощающий жизнь для удобства жить. Прагматик, практицист, наделенный властью и умело ею распоряжающийся, Уваров внушает окружающим чувство стабильности, рациональной значительности того, что происходит не только в провинциальном промышленном городе Лыкове, но и за его пределами. От него идет не сомневающаяся уверенность в разумности и единственной правильности всего, что делается, подтвержденная умением мгновенно проанализировать любую неожиданную ситуацию, найти из нее оптимальный выход. И окружающие люди, помощники, в его представлении расставлены четко, как на шахматной доске, каждый имеет право только на определенный ход, продиктованный правилами игры, и изменить ход можно, только заменив фигуру.

Поначалу Лосев безоговорочно принимает эти правила игры, тем более что ему то они сулят успех — и личный и деловой, для него деловой и личный успех неразделимы, он еще не пережил первые радости от той пользы, которую может и обязан по долгу службы принести родно-

му городу, он счастлив умением внушить симпатию, доверие, он хочет, надеется оправдать это доверие. Важно понять: Лосев — такой, каким мы его видим в начале романа, — приносит пользу, это объективный результат его деятельности. Как и Уваров, он поначалу считает блажью всякое отклонение от избранного пути, делает четкие ходы, соответствующие нынешнему своему служебному положению, и его вполне устраивает такая жизнь, дел вокруг множество, успевай, поворачивайся. Картина Астахова, которую Лосев, мэр города, хочет во что бы то ни стало вернуть на родину, прежде всего пробуждает в нем память. Городок его детства, мать, отец, молодой Поливанов, кумир тогдашней молодежи, — все оживает в Лосеве, все требует понимания от теперешнего, взрослого человека, восстанавливается связь времени. И это первый толчок, первое движение, заставляющее героя еще интуитивно, еще неосознанно желать, чтобы сохранилась как заповедник красота Жмуркиной заводи, красота древнего русского городка, где зрелый человек оказывается способным вновь пережить детство, ощутить свою связь не только с близкими, кого уже нет, но и с историей, свою роль продолжателя, а следовательно, хранителя, оберегателя красоты, созданной до него.

Ниточка тянется дальше, и вот уже люди, однозначно принимаемые Лосевым, оказываются далеко не однозначными. И самочувствие самого героя зависит уже не только от количества выстроенных в городе домов, что очень важно, но и от того, что не прислушался вовремя к просьбе скромной библиотекарши, а когда вспомнил, сделал что мог и ждал радости, благодарности, то оказалось — опоздал, не сумел понять человеческого наполнения просьбы. Пошутил с работницей, уверенный в своем праве — как, мол, дела, что на семейном фронте, — а в ответ услышал насмешливый встречный вопрос, на который она по табели о рангах вроде и права не имела, и почувствовал неожиданно, как порушилось уважительное к нему доверие.

Даже Поливанов, кумир детства, теперешний Поливанов, фанатично пытающийся восстановить то, что не менее фанатично разрушал, представляется нынешнему Лосеву фигурой многомерной. Лосев отчетливо видит, что борьба за сохранение дома Кислых, Жмуркиной заводи для Поливанова — последняя возможность оказаться в центре событий, людей, молодежи, привлечь к себе внимание, остаться в исто-

рин родного города положительным началом. Но именно Поливанов, не кто другой тербит совесть Лосева, требует от него решения, да не формального, личностного: «Ты-то сам для себя, в принципе, решил?» — и в этом тоже Поливанов: меняется масштаб характера, меняется и масштаб восприятия Лосева.

Финал романа, исчезновение Лосева из города вызвал кое у кого недоумение, несогласие. Гранин разрушил привычную схему: действительно, герой, обогащенный опытом пережитого, вместо того чтобы незамедлительно продолжить свою деятельность главы города, добровольно уступает свое кресло, возвращается к прежней профессии строителя. Именно в связи с этим героем писателю пришлось выслушать упрёки в дозированной риске.

Но если задуматься о происшедшем с Лосевым всерьез и без предвзятости, не окажется ли, что герой оставил свой пост, вовсе не убоившись ответственности. Он отказал себе в доверии («Ты сам свой высший суд», — как сказал поэт), в праве руководить людьми, справедливо полагая, что нравственные его, гражданские приобретения последних месяцев должны были не завершать, а предшествовать назначению на должность. Он понял, что стоит в середине пути к гражданской зрелости и вовсе не ищет лазейки, а хочет быть честным перед избирателями, перед своей совестью.

Способность многомерного взгляда, масштабность личности, последовательная защита выстраданной точки зрения, умение понять точку зрения, отличную от собственной, открытость чужой нужде — вот качества, необходимые деловому человеку на современном этапе. И это в сочетании с практицизмом, организаторскими способностями и навыками.

Лосеву открылась не умозрительная — действительная красота и богатство духовной жизни, характер стал значительнее, но и уязвимее: Лосев слег в сердечном приступе, вообразив себе на минуту, что это его, Лосева, праведный гнев стал причиной смерти нераспорядительного, нерасторопного директора, по чьей вине произошла авария. Лосев, деловито и решительно вставший на защиту дома Кислых, энергично ищущий места для завода счетных машин (этот завод по плану должен был встать на месте дома Кислых), Лосев, честно и открыто выступивший на панихиде по Поливанову с муклой, с доверием к согражданам, — этот Лосев не менее энергично и решительно распорядился и своею судьбой. Ему открылась неживая умозрительность

правил игры, исповедуемой Чешковыми — Уваровыми, и он поступил в соответствии со своим выстраданным представлением об истинной пользе дела: сохранил для города и красоту, и историю, и будущее — будущее растущего промышленного центра с заводом счетных машин во главе.

Параллельно этой сюжетной линии в романе звучит иная мелодия, написанная бережно, с сохранением атмосферы поразительной духовной чистоты, — письма художника Астахова к любимой женщине в пору, когда писалась картина. Письма эти, их напряженная духовность и честность дают необходимую поправку к пониманию картины современной жизни, запечатленной в романе Гранина, придают масштабность поискам Лосева.

В связи с этим хочется напомнить читателю несколько давно открытых Америк. И прежде всего вспомнить, что правда жизни, преподносимая нам самым реалистическим искусством, это не слепок с натуры, а образ, созданный фантазией художника.

Это ученый открывает готовую и скрытую в природе закономерность. Он тоже занят творчеством, но это творчество иной природы, иного рода. Это творчество исследователя. Он не создает, его открытие — это открытие существующего помимо него. Не то художник. Наблюдая жизнь, участвуя в ней, понимая побудительные причины поступка, деятельности того или иного человека, тенденцию времени, причины политических, экономических поворотов, можно быть прекрасным дипломатом, психологом, философом, экономистом, журналистом, наконец, но всего этого мало, чтобы быть художником.

Поэтому книги, где названа профессия героя — композитор, писатель, художник — привлекают особенное внимание. Читателю предстоит самому поверить, убедиться в том, что герой — художник, что он умеет не только добросовестно писать натуру, но, говоря словами Врубеля, «поймать ее красоту». Это удается редко, но в нашей прозе последних лет есть такие удачи — вспомним «Берег» и «Выбор» Ю. Бондарева. А красота, воплощенная в слове, красках, звуках, это уже образ искусства, и воздействие его на нас несравнимо сильнее любой добросовестнейше пересказанной нам житейской ситуации, если, конечно, речь идет о подлинных произведениях искусства.

Взять хотя бы такую категорию, как характер. Казалось бы, что проще: опиши деяния великих людей, оставивших вечный след в памяти человечества, — вот и реше-

на проблема. Ан нет. Это, оказывается, предмет истории. А создать характер, в котором индивидуальные качества так пересеклись со временем, его тенденцией, что человек этот кажется нам созданным для великих дел,— это занятие литературы. И не важно, что такого человека могло не быть вовсе, правда искусства такова, что для нас Тартюф или Плюшкин реальнее знакомого лицезера и скупца, и князь Мышкин — ключ для понимания высоты человеческого духа, а Клим Самгин — мерило нравственного падения, и чеканная строка «Медного всадника» таит в себе образ Петровской эпохи. И Дон Кихот навеки для каждого нового поколения будет отстаивать человечность — мог ли это предположить его создатель Сервантес, когда писал свою пародию на рыцарский роман? Все это, разумеется, основы эстетики.

Каждый день не рождается славный гидалго Дон Кихот Ламанчский и «Король Лир», «Красное и черное», «Евгений Онегин» или «Тихий Дон» — зверсты искусства, максимальное его выражение. Они внушают надежду, утверждая шекспирово «лучшая правда — вымысел», и всячески напоминают тем, кто признает единственным критерием соответствие произведения искусства факту реальной жизни (а это, несмотря на давно открытые эстетические Америки, явление вовсе не редкое) и все поднимающееся над этим требованием категорически объявляет вывертами и формализмом, — напоминают, что у искусства свои законы, свои средства воздействия на читателя, зрителя и слушателя.

Литература, разумеется, не состоит из одних зверстов. Попросите любого составить список самых любимых, самых значительных книг — и вы убедитесь, что их окажется не более двух десятков. У каждого свои, но для шедевров мировой литературы, избранной каждым в соответствии со своим вкусом, не нужно покупать вместительный шкаф. Даже объективно шедевры мировой литературы от античности до наших дней заняли всего двести томов — посмотрите последнее издание этой библиотеки.

Характер делового человека наших дней, то есть современного работника, требует художнического обобщения. От описания

отдельных его качеств, потерь или приобретений, от эмпирики, как бы ни была она богата, к типу. Пришла пора...

Это Дробышев — помните? — в повести «Кто-то должен» десяток лет назад мог поступить так или иначе. Гранин искал подступы к характеру, пытаясь определить его место в текущем дне. В романе «Картина» завершился определенный и очень важный этап писательского поиска. Гранину удалось написать движение характера, его обогащение, укрупнение его масштаба. Думаю, был прав в своих выводах Борис Панкин (статья «Сюжет для картины» — «Правда», 18 июня 1980 года): «...с образом Лосева на порядок выше поднимаются представления о «деловом человеке» наших дней».

Литература наша живет в постоянном поиске. Первоначальное ошеломление мощным развитием, размахом науки и техники уступило место вдумчивому исследованию человека, владеющего этой техникой. И заставило утвердиться в доверии к человеку. К нашему современнику, понимающему нынешний этап развития общества как этап истории своей страны, начатой более шестидесяти лет назад ради человека, для него. Этому современному герою пришлось потрудиться — не только в строительстве, науке, деле. Ему пришлось основательно потрудиться над собой, не позволяя душе лениться, как сказал поэт, — и литература с доверием отнеслась к этому труду. Помните стихотворение Твардовского, последнее опубликованное им при жизни?

К обидам горьким собственной персоны
Не призывая участие добрых душ.
Жить, как живешь, своей страдой
бессонной, —
Взялся за гуж — не говори: не дуж.

С тропы своей ни в чем не соступая,
Не отступая — быть самим собой.
Так со своей управиться судьбой,
Чтоб в ней себя нашла судьба любая
И чью-то душу отпустила боль.

В литературу приходит все чаще думающий герой-работник, понимающий свою ответственность не только перед сегодняшним днем. Но и перед грядущими поколениями.

(Окончание следует)

ЖИЖЖЖ ОЕ О Ъ О З Р Е Ж И Е

СОДЕРЖАНИЕ



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

А. Кондратович. Каждый из нас все еще воюет...— В. Шитова. В прозе и драме.— Марн Лисянский. Поэзия в строю.

ПОЛИТИКА И НАУКА

В. Победоносцев. «Общего дела водители».

Литература и искусство

КАЖДЫЙ ИЗ НАС ВСЕ ЕЩЕ ВОЮЕТ...

В а с и л и й С у б б о т и н. Избранные произведения в двух томах. М. «Художественная литература». 1981. Т. 1. Стихотворения, проза. 447 стр.; Т. 2. Проза. 527 стр.

Не знаю, кто произвел этот страшный, ледящий душу подсчет: из каждой сотни 1920—1924 годов рождения ушедших на фронт людей в живых остались только три человека. Я бы добавил к этому и рожденных в девятнадцатом, восемнадцатом и семнадцатом. С первого дня войны люди эти попали в ее чудовищное пекло — и первыми приняли удар гитлеровцев. Дрались, а иным довелось и скитаться в пугающих своей безвестностью лесах окружения. Вот уже сорок с лишним лет я думаю с непреходящим ужасом, что участь полавших в плен была хуже судьбы погибших в лагерях смерти, над ними день и ночь равнодушные трубы изрыгали серый темный пепел, еще час назад называвшийся людьми...

До сих пор я не могу без содроганья обо всем этом думать. Я двадцатого года рождения. Один из трех на девяносто семь не вернувшихся...

И какие ребята не вернулись! Михаил Кульчицкий, Николай Майоров, Павел Коган, Василий Кубанев, Вячеслав Багрицкий, Георгий Суворов... И другие и другие. И это только поэты. А непозов-то сколько! Не свершившихся Королевых и Ландау! Председателей колхозов и директоров предприятий, хлеборобов и сталеваров...

Но вот что поразительно: трое из ста оставшихся — как они много сделали для нашей литературы, для того, чтобы утвердить память о тех горьких и величествен-

ных, поистине исторических для всего человечества годах! Василь Быков, Юрий Бондарев, Григорий Бакланов, Дмитрий Жуков, Виктор Астафьев, Сергей Викулов, ушедшие от нас недавно Сергей Наровчатов, Михаил Луконин, Сергей Орлов. (Пусть на меня не сердятся живущие неназванные, они для меня из того же почетного золотого ряда, с ними я здороваюсь, у одного двух пальцев нет, ну это еще ничего, у другого на лице следы ожогов, третий на протезах, у четвертого руки нет. Но хоть живы, и то какое счастье!)

Я думаю о том, как эти трое из ста успели так много сделать, — конечно, не все, за сотню не сделаешь всего, но очень много. Обязанность? Долг? Не без этого. Но было что-то выше обязанности и долга.

Ах, своя ли, чужая,
Вся в цветах иль в снегу...
Я вам жить завещаю, —
Что я больше могу?

Завещание павших выше обязанности. Святее. Заставляет жить, работать не только в пределах категорий службы и даже призвания, а в иных, высших — совести, безмерного уважения к павшим товарищам и к их бессмертию.

Я пишу слова высокие, хоральные, но скажите, как мне без них, если 20 миллионов недосчитались мы? Назовите мне семью, которую совсем миновала косяя во время войны. Редкость, если найдете. Это на нашу-то огромную страну!

Чего они всё о войне и войне? — упрекают нас иногда на Западе. Потеряли бы с наше, может, этот вопрос им и в голову не пришел бы.

Я позволил себе такое пространное вступление, потому что все во мне опять всколыхнулось, когда я прочитал недавно вышедший двухтомник Василия Субботина. Он как раз один из тех счастливых (да счастливых ли? память о минувшем не такая уж легкая ноша), он один из уцелевших и потому призванных рассказать и живущим и будущим то, что, кроме него, никто не расскажет. Никто. В этом вся суть. И в этом смысле он все еще как бы и не пришел с войны, хотя сколько лет с тех пор прошло, как оттремели последние залпы. Если Василий Субботин и счастливчик, то только в одном: он был единственным журналистом, не только присутствовавшим, но и активно участвовавшим во взятии рейхстага в Берлине. Для миллионов немцев рейхстаг был символом германской государственности, пожалуй большей, чем сама имперская канцелярия Гитлера. Гитлер — около полутора десятилетий. Монументальный массив рейхстага — это «Германия превыше всего!», так они говорили и думали при виде именно рейхстага. Наше красное знамя взвилось над рейхстагом, оно-то и стало Знаменем Победы, хранящимся теперь внутри огромного стеклянного куба в Музее Советской Армии среди самых дорогих наших военно-исторических реликвий.

Василий Субботин прикоснулся к одному из высочайших, зенитных мигнов мировой истории. И отлично почувствовал, что ему нельзя не сказать об этом. Сказать так, как, кроме него, никто не скажет. Снова процитируем поэта: «А я лишь смертный. За свое в ответе, я об одном при жизни хлопочу: о том, что знаю лучше всех на свете, сказать хочу. И так, как я хочу».

Читаю в двухтомнике стихи и прозу Субботина и все время ощущаю эту главную и сейчас еще не остывшую тему писателя.

Провал окна. Легла на мостовую
Тень, что копилась долго во дворе.
Поставлены орудия на прямую,
И вздрагивает дом на пустыре...

Завален плац обломками и шлаком,
Повисли рваных проводов концы.
На этот раз в последнюю атаку
Из темных окон прыгают бойцы.

Это написано 30 апреля 1945 года (стихотворение так и названо — «30 апреля 1945 года»). Но почти то же самое и в его прозе, но, конечно, с большим коли-

чеством деталей, и многие из них просто поразительные.

«Когда наступил рассвет, все, кто был в доме Гимmlера, подошли к окнам, надеясь увидеть рейхстаг. Но ничего не увидели: мешало какое-то здание...»

Прибежал связной. Неустроева вызывали. Комдив Шатилов запрашивал, почему он не наступает.

«Товарищ «семьдесят семь»! Мешает серое здание».

«Постой, постой... Какое здание?»

«Прямо перед нами! Буду обходить справа»...

Пришел командир полка Зинченко. Он разместил свой штаб за рекой — рядом с швейцарским посольством.

«Что тебе мешает? Давай карту!» Они вымеряли и прикидывали. Мост Мольтке... Шпре... Дом Гимmlера...

«Неустроев! Да это — рейхстаг!»

А ему и в голову не приходило, что это четырехугольное серое здание, этот дом перед окнами (до него так близко!) и есть тот рейхстаг, к которому они стремятся. А ему казалось, что до рейхстага еще надо идти да идти».

Никакая фантазия не смогла бы такую деталь придумать. До цели оставались лишь сотни метров, несколько огненных и, конечно же, смертельных для кого-то бросков, а им еще казалось, что надо идти и идти. И вообще они, многоопытные люди, все еще не ведали, что перед ними! Тут все поразительно и, я бы даже сказал, в высочайшем смысле символично. Иногда кажется, что история каким-то особым, нам непостижимым ходом подготовила этот день для взятия рейхстага и, значит, падения Берлина — 30 апреля. Канун первوماйского праздника. Вспомните, какое это было неслыханное и невиданное первوماйское торжество, что за салют прогремел в тот день над Москвой — в честь взятия самого Берлина. Берлина, в котором во дворе рейхсканцелярии валялся возле бункера труп с пробитой головой, и многие еще его обходили, не обращая на него внимания: мало ли насмотрелись трупов; а это был труп Гитлера. Тоже, я вам скажу, деталь...

«Как кончаются войны» называется книга Василия Субботина, в которой обо всем этом рассказывается, книга, переведенная на многие языки. Романом от первого лица назвал эту книгу Константин Симонов, книгу дробную, отрывочно-взволнованную и этим одним превосходно передающую хаос, творившийся тогда в самом Берлине, и счастливое смятение в душе человека, которому посчастливилось все это описать.

Другого слова и не подберу — именно по-счастливилось. А человек в это время — зачинался рассвет 9 мая — спал. «Я спал. Ведь хотя мы и были в Берлине, но неделю уже не воевали... Пришел Митя, наш шофер и разбудил меня:

— Товарищ старший лейтенант, вставайте! Война кончилась».

Он спал, потому что шел к этому ликующему дню целых четыре года. Юноша, начавший войну на самой границе танкистом и кончивший ее журналистом скромной дивизионки 150-й стрелковой дивизии, которой принадлежит честь и заслуга взятия рейхстага и водружения над ним знамения победы.

«И все же и для меня она кончилась неожиданно», — скажет спустя много лет после войны автор. Еще бы! Совсем не случайно Симонов назвал эти только внешне разрозненные, блокотно-записочного вида листки романом. За ними встает вся война и зоркий, умный, все замечающий автор на этой войне. Оттого и «от первого лица».

Одна мною уже подчеркнутая деталь. У самой цели им еще казалось, что идти и идти. Это ведь потому, что никто и никогда не сосчитает, сколько они шли и прошли. Только на карте, да еще по прямой, от метельных полей Подмосковья сорок первого и пылающих зданий Сталинграда сорок второго до Берлина две или три тысячи километров. А попробуйте-ка сосчитайте, сколько пришлось им за долгие годы пехом пройти, да еще кривыми, а вовсе не прямыми дорогами! В неизменной шинельке, хорошо, если зимой в полушубке. Под тяжестью минометной плиты — знаете, сколько в ней килограммов? У самого легкого миномета два пуда. А пулеметчиком вы не были? Ручной пулемет тоже не игрушечка, и бронебойное ружье хорошо тянет. А попробовали бы вы залезть в танк в июле, когда броня обжигает, раскаленная, или в январе, когда до тронешься голый рукой — того и гляди оддерет кожу. Я видел в сорок третьем году на Мурманском направлении, как, дымя, ковылял за сопки наш истребитель, немецкий «мессершмитт» безжалостно добивал его. Мы стояли, безмолвно прощаясь с товарищем: чем мы могли помочь своими журналистскими пистолетами? Но через какую-нибудь минуту-другую, когда самолеты скрылись и кто-то вздохнул: «Все...» — мы, не веря своим глазам, увидели, как, пьяно пошатываясь, из-за другой сопки вывалился гитлеровец: он был смертельно подбит и рухнул где-то в километре от нас. До сих пор я так и не знаю, что же

сделал наш уже обреченный летчик, какое чудо позволило ему вывернуться и сразить врага в абсолютно безвыходном положении.

Вот как шли к Берлину и рейхстагу. Не исключая, что у иных этот путь на своих двоих да еще с боевой ношей на плечах был равен всей земной окружности. Разве что эти километры уменьшились у многих за счет ранений и госпиталей, как это было и с самим Василием Субботиным.

Теперь понимаете, что значило для него и его товарищей четырехугольное серое здание, которое они и не сразу опознали как рейхстаг? И что было с ними, когда поняли, что именно в их руках ключи от победы? Что наспех отысканный кусок алого полотнища станет великим Знаменем, которое увидит весь мир?

Нет теперь уже в живых ни Кантари, ни Егорова, ни многих других, кто, провавшись через стену огня, теряя на каждом метре каждого броска друзей и товарищей, поднял-таки это Знамя, вознес над горящими стропилами рейхстаговского купола. Одни приняли свою смерть. Другие... Не только у многих ветеранов войны, но и у тех, кто полуголодный и просто голодный вставал ежедневно к станкам и вкалывал в тылу по двенадцать и шестнадцать, а то и больше часов, чтобы потом опять встать, и снова вкалывать, и опять, и опять, разве лишь не слыша визга мин и грохота снарядов, у всех, у всех нервные клетки единственные, что не восстанавливаются.

Вот еще почему мы ненавидим войну, она глубоко противопоказана самому духу нашего народа, она и после того, как мы потеряли на ней 20 миллионов, раньше времени унесла еще не меньше.

Каково же было тем, о ком пишет Василий Субботин? Они же отлично знали, что война кончается, что жизнь неизвестно на сколько лет вот она, рядом, но еще ближе была стена огня, перечеркивающая эту жизнь. И они все-таки поднялись. Они не могли не подняться. И не кому-нибудь, а Василию Субботину мы обязаны теперь тем, что знаем их имена: он был вместе с ними.

«Среди имен бойцов и офицеров — людей, бравших рейхстаг, забыто имя Пятницкого. Петра Пятницкого.

Между тем именно он первым выпрыгнул на мостовую из окна дома Гимmlера, когда начался штурм, при первой атаке. Потом, под огнем, у канала, когда роты надолго залегли, встал солдат с красным полотнищем — только здесь он его развер-

нул — и увлек за собою своих товарищей. Это был — Петр Пятницкий».

Имя Петра Пятницкого появляется у Субботина еще не раз, как и другие навеки славные для нас имена — комдива Шатилова, комбата Неустроева, ну этих, приведших свои части от болот Псковщины к столице рейха, кто не знает! Но благодаря летописцу дивизии, автору страниц аккордных, заключительных, мы знаем теперь и менее известных — например, заместителя комбата Береста, отважно направившегося к немцам, продолжавшим в рейхстаге свое сумасшедшее, бессмысленное сопротивление (мало кто знает, что уже после того, как весь мир был оповещен о взятии рейхстага, там еще продолжалась кровавая бойня, об этом тоже пишет Субботин). Алексею Бересту было всего двадцать лет. Он пошел к обезумевшим от отчаяния гитлеровцам, он знал, на что идет, и он заставил их сдаться. Известно теперь множество и других людей, героически жертвовавших жизнью накануне мира. И спасибо за это скромному дивизионному газетчику, тоже солдату, тоже боевому офицеру. Во всяком случае, Василий Субботин был на войне до самого последнего выстрела не только человеком пера, а если и пера, то, так сказать, сугубо военного.

..Да что я все об одной книге? Ведь передо мной объемистый двухтомник, где не только о рейхстаге и о том, как кончаются войны. Понимаю: это, наверное, главная книга писателя и вообще звездный час его биографии, хотя, по совести, для настоящего писателя каждая новая книга представляется главной, поскольку пишется на том же напряжении мысли и чувства, что и остальные.

Но, так или иначе, от книги «Как кончаются войны» по всему двухтомнику словно круги расходятся. От нее серьезность, основательность всего, что делает писатель. Писатель своеобразный. Поэт или прозаик, лирик или эпик? Он и сам этого не знает. «К какому виду литературы отнести то, что я пишу? Как назвать все это? Что это — стихотворения в прозе, стихи в рассказах или что-нибудь еще?»

Бытует более чем наивное представление, главным образом среди самих пишущих, что прозаику надо иметь хоть один роман, на худой конец несколько повестей, поэту никак не обойтись без поэмы, ну а если уж написан роман в стихах, то считайте, что так уж состоялось, что хоть монумент ставь при жизни. Вот и Субботин все еще надеется написать «эти повести и

эти романы», так он оправдывается за собственную «неполноценность». А не лучше ли вспомнить, что Чехов написал единственный в своей жизни роман «Драма на охоте», да только в собрание сочинений ни за что не захотел его включить — и правильно поступил; это уже в наше время телевизионщики попробовали из этого заведомо пародийного, но очень затянутого (а что за пародия затянутая, длинная, продолжительная?) сотворить нечто серьезное — и напрасно. Зато «Ионьч», «Душечка», «Крыжовник», в которых в каждом меньше печатного листа, целых романов стоят, да еще каких!

Мне даже кажется, что весь двухтомник, то есть все лучшее, что написал Субботин, скорее похож на некий роман-монолог, где все время — в прозе ли, в стихах (в прозе, пожалуй, явственнее) — я слышу голос автора, его начатый еще во время войны рассказ о времени и о себе. И о многих друзьях, товарищах, старших мастерах, встреченных им на пути. Гораздо больше о них, чем о себе. И в этом смысле все, что написал Субботин, отмечено единством, слитностью и разнообразием. Как это получается — единство и разнообразие? А я и не знаю, я только удивляюсь. Удивляюсь зоркости автора, увидевшего даже очень хорошо знакомых мне людей своим взглядом. Своим, но вовсе не далеким от объективности.

Мне ли не знать Твардовского, но я вздрогнул от неожиданности, когда прочитал у Субботина о нем: «Он медленно и трудно разговаривался. Но на глазах ваших происходило чудо. Речь его ветвилась, усложнялась, как усложняют свою природу ветви дерева, когда они идут вверх. Я уже видел одно такое необыкновенное дерево. Это было у моря, зимой.. Я видел один такой мощный платан, уже сбросивший листья. Я знал один только такой платан в жизни, и это было поразительное зрелище». Я вздрогнул потому, что в свое время написал в книге об А. Твардовском то же самое — о ветвистости и синтаксической усложненности речи Твардовского. Но, поверьте мне, я не читал до этого у Субботина о Твардовском. Самое же изумившее меня, что у Субботина это была единственная (!) встреча с Твардовским. Он сразу почувствовал и угадал его речь. Сразу и так точно!

Вообще характеристики людей у Субботина при всей их лаконичности бывают на редкость меткими. «Писали диктанты, сдавали с грехом пополам грамматику, учили немецкий язык, который, признаться, зна-

ли гораздо хуже, чем паши не воевавшие с немцами товарищи по курсу, что нас, помню, тогда очень удивляло, мы никак не могли с этим примириться, не могли понять этого». Весь послевоенный Литинститут в одной фразе! А вот это абсолютно бытовое, но распространяющееся на весь человеческий и поэтический облик Ярослава Смелякова: «При том, что Смеляков вроде бы не обращал внимания на одежду и даже вроде бы был небрежен в одежде, он не любил и не хотел носить то, что носили все. У него и на это был отменный вкус». Опять весь Смеляков со своей поэзией, я бы только заменил применительно к поэзии «небрежность» на «вольность», смеляковскую свободу поэтического изъяснения, а так — чистый Смеляков. И опять в одной фразе.

Субботин любит цитировать любимых авторов. Его и самого хочется цитировать. Места, как вы понимаете, нет. А так бы с удовольствием.

Война. Поэты, писатели. Вот две главные темы Субботина. Как они соединились? Да очень просто. Он всего лишь писал все свои годы о том, что видел. Через книги стихов, потом прозы («Как кончаются войны») к своеобразнейшим зарисовкам «Жизнь поэта», «Работа над словом». А между ними «Город», «Старые ка-

зармы», «Дорога на Брескен». Впрочем, между ними ли? Субботин оговаривается однажды, что не любит ставить даты под написанным. И я понимаю его. При чем здесь даты, когда он пишет сейчас о том, что особенно хочется написать, а жило в нем это и ждало своего времени, может, десятки лет? И не оттого ли у него такое естественное само по себе письмо? «Чего я больше всего добиваюсь, так это того, чтобы речь моих рассказов была не письменной, а устной, слышимой». Это одно его признание. А вот другое: «Я всегда писал так называемые невыдуманные, чаще всего с самим со мной происходившие истории, случаи...»

На этом я бы и поставил точку. Только перевел бы «истории» в единственное число и изменил бы одну букву на прописную. Сделал бы ее Историей. Не ради пышности. Ради правды. Потому что те же «Как кончаются войны» — это ведь и о том, как бы они еще не начинались... В таком случае еще одна цитата из Субботина: «Каждый из нас все еще воюет...»

Именно так. Еще воевать и воевать. Теперь уже за мир. За высокое и чистое искусство. И, надо думать, еще и после нас кому-то придется заниматься этим.

А. КОНДРАТОВИЧ.



В ПРОЗЕ И ДРАМЕ

Михаил Роцин. Рена. Повести и рассказы. М. «Современник». 1978. 384 стр.

Михаил Роцин. Рассказы с дороги. М. «Советская Россия». 1981. 432 стр.

Михаил Роцин. Пьесы. М. «Искусство». 1980. 551 стр.

Удивляющее на первый взгляд обстоятельство: в долгой дискуссии о путях современной прозы, шедшей на протяжении двух лет — года восьмидесятого и года восемьдесят первого — на страницах журнала «Литературное обозрение», имя Михаила Роцина не упоминалось. Не упоминалось ни разу, хотя к этому времени у Роцина вышло пять сборников за шестнадцать лет — разве мало?

Сам Роцин объясняет это так: «Я считаю себя прозаиком, но меня считают драматургом». Просто? Куда уж проще. И к тому же сказано без тени обиды, в предисловии, где собраны его пьесы. Тоже из предисловия: «Всегда писал и пишу прозу. А пьесы — потому что в пьесе все можно покороче и побыстрее сказать. Может, прозаики пишут пьесы от лени? Когда наскучивает описывать?» И еще — вспоминая о том, как стал драматургом, Роцин пишет: «...я думал не о сцене, а искал на

иболее острую литературную форму выражения остроты жизни».

Любопытное предисловие. И за ним любопытный факт: есть такой вот едва ли не единственный писатель, который выходит на публику, держа в одной руке увесистую стопку прозаических сборников, а в другой столь же увесистый сборник пьес...

В пору, когда на страницах, где дискутируют, так и мелькают слова «онтологический», «духовность», «нравственные искания», «экологический кризис», он, Михаил Роцин, ничего не открывает, не опровергает, ничто не берется доказывать. По естественной склонности своего дара, своего мировидения он пишет жизнь, которую признает. Для него писательство есть прежде всего свидетельство принятия жизни. Это не прекраснотушное, не пассивное, потому что в его героях больше или меньше ощутимо некое потаенное напря-

жение. Когда они ищут — иногда находят, иногда нет — то, что Чабуа Амирэджиби назвал своей формой жизни, тогда они для Роцина наиболее существенны, хотя он не пренебрегает и теми, кто застыл в неподвижности.

Итак, два сборника: «Река» (1978) и «Рассказы с дороги» (1981). Первый из них компактнее, яснее по своей составительской мысли. Второй примечателен тем, что Роцин включил сюда две пьесы, явно самые для него важные, самые дорогие (и это при том, что они вошли в драматургический сборник, изданный всего лишь годом раньше): Роцин явственно хочет предстать в своем писательском двуединстве.

В книге «Река» вполне закономерно первой стоит повесть «Воспоминание», начинающаяся словами: «Мне было шестнадцать лет, я учился в школе и влюбился в учительницу». Время ее действия указано точно: это сорок седьмой, второй послевоенный год, когда отмечалось восьмисотлетие Москвы. Время коммунальных квартир, барахолки на Перовском рынке, перешитой отцовской одежды, трофейных вещей и трофейных фильмов (о эта леди Гамильтон!), раздельного обучения мальчиков и девочек, патефонов... Повесть Роцина ценна тем, что восполняет некую недостачу, о которой в заботах о дне нынешнем мы как-то позабыли; очень, очень мало в нашей литературе написано о том, как мы жили сразу после войны. У кого, где найдешь этот самый сорок седьмой год? Литература, ему единовременная, в общем-то, не в счет, редко-редко обнаруживается в ее составе то, чем наполнена роцинская повесть, написанная через три с лишним десятка лет.

Но Роцин занят чем-то куда более важным, нежели воскрешение успешных предметно-бытовых реалий. Это не модное ныне ретро с его искусно поставленными натюрмортами и фигурами, позирующими в исторических костюмах. Он хочет восстановить воздух и вкус времени.

...Совсем другая Москва — пустыне поля и деревни там, где теперь уходят в бесконечность все эти Ясенева, Медведковы, Бескудниковы, Орехово-Борисовы. Живое и реальное понятие окраины, она, к примеру, там, где Птичий рынок и Калитники, за которыми сейчас все Москва и Москва. Совсем другой быт — и слуха еще нет о телевизорах, магнитофонах, колготках, стенках. Совсем другая безотцовщина — сиротская, военная. И не ПТУ, а ремесленные училища. И нет обязательного среднего образования. И никаких тебе акселерантов.

И фильмов про то, что и шестнадцатилетние любить умеют (как еще далеко до раймановской картины «А если это любовь?»), даже вообразить себе нельзя. И чинные балы, где мальчики, приглашенные в женскую школу, каменно подпирают стенку, пока танцуют шерочка с машерочкой.

Роцин написал повесть о первой любви в ситуации, как теперь говорят, экстремальной: ситуация любви ученика и учительницы. Что говорить, случись такое сегодня, опять была бы она, эта самая экстремальность, но вся история была бы абсолютно иной. Потому что шестнадцатилетний он и двадцатидвухлетняя она были бы совершенно другими. Но Роцин несколько не озабочен сравнением. Его занимает невыносимая острота чувств героя, мучительное ощущение той полноты бытия, которую дает, во всяком случае должна давать, любовь. Бесценная важность каждой минуты ожидания, встречи, разлуки. Оглушительная сила нежности, жалости, страха.

Эта любовь, изначально обреченная на гибель не только потому, что она поднадзорна и запретна, преступна и караема, попросту скандальна, но и потому, что тут вершат свое дело естественные законы (ну в самом деле: не могут же эти двое пожениться, в самом деле не могут!), — эта любовь есть счастье. Есть высшая минута жизни.

Роцину человек интереснее всего, когда он приобщен к жизненной полноте, пусть даже она, эта полнота, будет мукой, страданием. Истинное несчастье состоит в потере, в утрате такой вот полноты — когда рвется связь с миром, когда человек гложет, слепнет, теряет обоняние, чуткость пальцев. Писатель, если угодно, чтит пять наших чувств, которые связуют нас с жизнью.

Но вот герой рассказа «Осень у Шатуновых» Николай весь состоит из одних первичных ощущений: он, как животное, повинуется зовам собственной плоти. Раб своих инстинктов, одинокий волк, которому не дано быть сыном, отцом, другом, он страшен. Люди, с которыми его повязала жизнь — родители, жена, дочка, — становятся жертвами его мгновенных, неуправляемых ни разумом, ни совестью побуждений. Все они боятся Николая, да и сам он, выйдя из заключения (заурядное дело: пьянка, злостное хулиганство, кража ящика мыла), боится сам себя: «Чего ж он испугался? Свободы? Себя?» Боится — и считает себя выше других, обижается на

жизнь — и воображает фантастические картины своего будущего злого торжества... Но Рощин, верный своей исходной позиции, дает этому Николаю минуту стыда, минуту просветления, когда тот с высоты Байдарских ворот глядит и видит морскую даль: «...просыпался в нем стыд за свою и своих близких мелкую жизнь перед этой полной и вечной красотой...» Стыд возвращается к нему вместе со зрением...

Писатель обеспокоен тем процессом вытеснения естественного, свидетельствами которого богата сегодняшняя литература. Тем, как привычно обыденное, престижное, ведомственное оказываются сильнее непосредственного, природного. Он не боится говорить о том, как это непосредственное, природное берет свое — пусть даже в формах слепых, пугающих, физиологически прямолинейных. В его последнем сборнике есть рассказ «Июль», есть эти две-три недели из жизни тридцатилетней женщины по имени Татьяна, когда, оставшись жарким московским июлем одна, без мужа и дочки, она обнаруживает в себе постыдный, пугающий и кружащий голову телесный бабий голод.

Рощин пишет летнюю Москву, как ее видит и ощущает Татьяна. Жара, которая прибавила свободы в одежде, запахи дезодоранта в тесном троллейбусе, женские глаза, мужские глаза, дурман цветущей липы, конец недели на даче — чад подгоревших шашлыков, нагота тел на берегу реки... Вот ночные мысли Татьяны: «Она управляет собой, а в это время вакантность управляет ею. И выходит, что сейчас она никакая не жена, не мать, а просто одуревшая баба. Самой стыдно. Но с другой стороны, отчего же стыдно? Ведь это есть, это пришло помимо ее воли, это нормальное человеческое желание».

Семейная жизнь Татьяны склеилась после двух трещин: ей изменил муж и назло, в отместку изменила ему она, спокойно выбрав равнодушного к ней сослуживца. Все, как теперь говорят, нормально — но есть потаенная, бередящая нутро пустота. Нет, Татьяна дождалась мужа (кто не знает, не пережил ли и он там, на берегу южного моря, нечто похожее?), лишь в воображении позвонила своему случайному любовнику, не пошла в мышеловку, расставленную для нее неким Икуловым (там, во время шашлыков и купанья): «Это наполняло ее самодовольной гордостью... Хоть стреляйте — она была чиста. И мужа она любила, хоть пусть это и не была любовь... Ерунда. Было и прошло. Она ведь не изменила? Не изменила. Ну и все».

Обратим внимание на эту странную фразу: «...она любила, хоть пусть это и не была любовь». Здесь Рощин выходит на встречу тревоге, вызванной эрозией чувств, замещением любви привычкой, превращением в часть обыденных удобств. Он не может свыкнуться с дряблостью сердца, с эрзацами отдушин, с комфортабельными треугольниками, которые порой приемлются как неизбежная данность, со всеми этими «служебными романами» — нет, не в том смысле, каким он был в изящной сказке для взрослых, поставленной Эльдаром Рязановым, где самый выбор партнеров как бы предопределен штатным расписанием.

Рощин-прозаик по самой сути своего дарования не склонен брать ту или иную жизненную тему в ее жесткой сформулированности — к примеру, в его рассказе «Сад» мотив порчи, корыстной эксплуатации естественной красоты природы проходит негромко, почти элегически, но оттого не менее горестно и определено. Рощин дает героине своего рассказа «Сад» Саше все, что надо для благополучия; ей около сорока, но у нее чистое холеное лицо, она прекрасно, как парижанка, одета (работает в «Интуристе», без конца возит делегации за границу, живет в центре Москвы. У Саши «немногие и нешумные друзья». В ее отношениях с людьми все определяется словами «не обременяла», «удобно», «устраивало». Не заключена ли тут определенная жизненная программа, нынче достаточно распространенная?

Но у Саши есть мать, а у матери есть большая старая дача в Апрелевке и сад. Мать и живет ради дочери и ради сада. Саша никогда не проводила отпуск на даче — ей там скоро «становилось скучно, томительно». «Саше было неловко, что она не может помочь матери, и, возможно, еще поэтому она старалась не пользоваться дачей», ее цветами и ягодами... Так вот он, этот сад, становится, по существу, главным действующим лицом рассказа — недаром он дал ему название.

Мы видим его обитаемым, заботливо ухоженным при жизни Варвары Ивановны. Мы видим его осиротелым, запущенным, ненужным при Саше. И наконец, мы видим его в руках крепкого мужчины Павла Андреевича: сад оказывается во власти торгаша, хозяина прилавка на московском рынке... Павел Андреевич вырубит старые деревья («...сад будто сжался, отступил в глубину, истаял»), начнет расширять дом, уберет цветные стеклышки из окон, будет

готовить участок под клубнику, картошку и парник для ранних огурцов: «До самой ночи жирный вонючий дым горящего мусора окутывал двор... стоял среди сосен и елей».

Уходит красота — и та выхолонная, созданная неустанными трудами матери, и та, совсем другая, вольная, одичавшая, которая берет свое при Саше, хотя крапива вымахала выше малины, красная смородина осыпалась, черную сожрала гусеница...

В рассказе Рощина вроде бы нет виноватых; но есть жертва — он, сад. Саша бесплатно пускает дачников, продает Павлу Андреевичу часть дома и участок за назначенную им низкую цену. Павел Андреевич как-никак пускает в дело то, что без него пойдет прахом, ведь у Саши нет ни желания, ни сил взять на себя такую обузу, и как ее за это осудить? Но сад, сад...

Правда, была у Саши минута, когда она захотела изменить жизнь, — и не он ли, сад, весенний, кружевной, бело цветущий «сам для себя», — нащептал ей желание «жить здесь, на земле, на чистом воздухе... найти доброго, хорошего человека, выйти замуж или взять ребенка из детдома... жить для кого-то, а не только ради собственного удовольствия». Но «зачем это толстовство?» — тут же обрывает себя Саша.

А вот и конец рассказа: «То, что она испытала, впервые увидев переделанный дом, разоренный сад... постепенно стерлось, забылось, и она даже рада была, что все так получилось с Апрелевкой: так вместе с горем чувствуется облегчение, когда умирает, наконец пусть близкий, но долго и мучительно болевший человек».

В тонкой, но уловимой переключке с «Садом» у Рощина находится лирическая повесть «24 дня в раю» (недаром этот рассказ и эта повесть дважды оказывались под одной обложкой). «24 дня в раю» могли бы показаться буколичкой, умилятельной картинкой той самой «простой жизни», по которой нынче так модно вздыхать. В самом деле: пасека, островок, затерянный в неоглядных лесах возле чистой Суры. Дружная семья Ивана и Шуры... Если «Сад» можно было посвятить Чехову, то эта лирическая повесть с ее мерным ритмом, с ее лишенной восторженных придыханий любви к этим людям, с ее ненаигранным интересом к их труду, быту, нравам, с ее прозрачно точными описаниями природы, времени суток, ясных и дождливых дней, растений, реки, зверья,

пчел, — эту повесть Рощин мог бы посвятить памяти Ефима Дороша, автора прекрасного «Деревенского дневника». Через шесть лет после кончины этого писателя появилось произведение, которое тот признал бы близким по духу, по самому подходу к «простой жизни», которая для него всегда была захватывающе содержательна...

Одна из героинь повести говорит о семье Ивана и Шуры: «Я поняла, они как святые...» Что ж, это сказано в минуту прощания, сказано такой размяченной сейчас женщиной. Но Рощин с дорошевской пристальной внимательностью никакого ореола святости вокруг этих людей не видит. Он не занимается ни личным опрощением, ни слезливыми покаяниями в собственном несовершенстве перед придуманными «богосцами». Он не программно, а естественно участвует в деревенских заботах, он с душевным стеснением думает о том, «как тут будет глубокой осенью: мокро, грязно, не пройти, не проехать. Мы уедем в город, в свою сухую и светлую квартиру, начнется сезон в театрах, гости, по вечерам телевизор, а тут будет к семи часам темно, глухо... все замрет».

Но эти двадцать четыре дня были для него счастьем. Счастьем, которое «должно быть буднично, доступно и полусознательно... Чтобы потом когда-нибудь, когда спросишь себя, был ли счастлив, сразу вспомнить синий далекий лес, какой-то поворот лесной дороги, облака сквозь сосны, лето, зеленый июнь». Но счастливым здесь можно быть еще и потому, что здесь, у этих людей, можно видеть, как сама собой осуществляется та самая «собственная форма жизни».

Сегодня Рощин-прозаик нашел свою интонацию, постепенно отработал свой стиль — ясный, абсолютно лишенный нервозности, порой чуть-чуть вяловатый, но никогда не допускающий фальши в самой своей тональности.

Вспомним: в предисловии к сборнику пьес Рощин говорит, что в пьесе можно все «покороче и побыстрее» сказать и что он «искал наиболее острую литературную форму выражения остроты жизни». Рощин шутит: как драматург он не просто говорит «покороче и побыстрее» (чего стоит хотя бы одна обдуманная пространный его ремарок). Во втором же высказывании он прав: слова о поисках наиболее острой формы литературного выражения тут на месте. Рощин-драматург куда менее традиционен, куда более динамичен, нежели Рощин-прозаик. Тут он любит много-

людство массовых сцен, их искусно выстроенную галдящую разноголосицу, любит принести сюда бытовой говорок, жанровое, а то и попросту жаргонное, или, как теперь называют, сленговое, словечко. Здесь он любит игру с условностью, когда, как в «Валентине и Валентине», герои оказываются незримыми свидетелями происходящего в их отсутствие; когда, как в «Старом Новом годе», он строит партитуру, в которой реплики из дома Полуорловых перемешиваются с репликами из дома Себейкиных; когда, как в «Ремонте», он вводит забавную фигуру Красной кепки, эту такую замену хора, который комментирует и встречается, дразнит и разыгрывает; когда, как в комедии «Муж и жена снимут комнату», он размыкает сценическое пространство, перемешивает прошлое с настоящим, а то и с будущим, выпускает сюда персонажей, о которых герои думают...

Если за прозой Рощина явственно встают такие его «боги и педагоги», как Чехов и, конечно же, Бунин (об уроках, которые Рощина берет у последнего, можно было бы сказать особо), то за его пьесами ощутимо наше театральное сегодня. Его стремление к контакту со зрителем. Новые принципы его сценографии — причудливые композиции из подлинных предметов, нагота задника, воображаемые стены, игра световыми акцентами. Новые актерские качества — владение выходами на авансцену для обращения в зал, естественность распоряжения тем самым бытовым словом и бытовой пластикой, полная и подчас рискованная свобода всего физического актерского аппарата.

Рощина искусно смешивает жанровые краски своих пьес — ему удается где-то поблизости от почти масочной интермедии поместить долгий-долгий исповедальный монолог, а рядом с подробно разработанной психологической сценой набросать целую груду «пестрого сора» мгновенных, как в эстрадном обозрении, промельков персонажей — реплик.

Рощина-драматург в отличие от Рощина-прозаика пишет острее, но порой и прямолинейнее; тут его рука делается познергичней, ему нравятся открытые сценические приемы обработки жизненной натуры. Поэтому он то и дело сознательно стирает индивидуальное ради массивидного, стужает бытовые подробности почти до фантазмагорических преувеличений (как то было с нашествием вещей в квартиру ошалевших от приобретательства Себейкиных или с полным разором, учиненным в своей квартире Полуорловым — последний объявил войну этим самым вещам).

Драматургия Рощина — это драматургия с откровенным авторским присутствием (в рощинской прозе, кроме лирических «24 дней в раю», повести «Воспоминание» и цикла маленьких «Рассказов с дороги», его сегодня не обнаружишь). Он, автор, не только прямо обращается в зал, как то было в «Эшелоне» (на первых представлениях этой пьесы в театре «Современник» Рощина выходил на сцену, чтобы, сидя за столиком, самому читать и эти обращения и ремарки), — он, как бы зримо присутствуя за сценой, то и дело принимается вести своих персонажей — вести их легко, уверенно, а порой и с лукавой улыбкой...

У пьес Рощина счастливая судьба: их ставили широко, их ставили лучшие режиссеры, в них играли популярные актеры, их охотно приняла зарубежная сцена... И все-таки думается, что лучшая пьеса Михаила Рощина пока впереди, в то время как в его прозе уже есть высшие точки, до которых ему, как это говорится, дай бог подниматься снова. И опять думается, что Рощина, принимаясь за новую пьесу, как бы стряхивает с себя тяжесть одинокого труда: его немного пьянит, что он из своей лодочки — это его сравнение — пересаживается на огромный корабль театра, а корабли, по собственному признанию, он любит больше всего на свете...

В. ПИТОВА.

★ ПОЭЗИЯ В СТРОЮ

Из фронтовой лирики. Стихи русских советских поэтов. Составление и вступительная статья А. Когана. М. «Художественная литература». 1981. 350 стр.

Об этой книге трудно писать, потому что в ней судьбы твоих друзей и товарищей, даже в том случае, если ты не был с ними лично знаком, и еще потому, что в ней и твоя судьба. В этой книге сти-

хи и тех, кто не пришел с войны, и тех, кого война догнала спустя многие годы, и тех, кто здравствует и трудится сейчас. Война и лирика. Это сочетание, пожалуй, звучит странно, особенно сейчас когда

прошло четыре десятилетия с начала Великой Отечественной войны.

Шла смертельная битва за жизнь на земле, битва за нашу свободу. И за нашу поэзию! «И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово», — писала в начале войны Анна Ахматова в стихотворении «Мужество». И это звучало клятвой, и в этих строчках мы слышим знакомый голос поэта.

Фронт и лирика. Они были рядом, они были вместе. В декабре 1941 года Борис Слуцкий писал:

Та линия, которую мы гнули,
Дорога, по которой юность шла,
Была прямою от стиха до пули —
Кратчайшим расстоянием была.

И мы снова слышим характерный голос поэта, которого по-настоящему узнаём через несколько лет, когда он утвердится в нашей литературе.

Да, именно лирика. В ней нуждались и те, кто мерз в окопах, и те, кто ждал вестей с фронта. Тут важно было найти самые необходимые, самые проникновенные слова, важно было их вовремя сказать. Константин Симонов на Западном фронте в 1941 году создает одно из лучших своих стихотворений — «Жди меня...». Оно ментально разошлось по всем фронтам, по всей стране и навсегда осталось в нашей поэзии.

В том же сорок первом году Алексей Сурков пишет свое самое лиричное стихотворение, обращенное к любимой женщине, посвященное ей, — «Бьет в тесной пещурке огонь...», и оно становится народной песней.

Оказывается, строки, рожденные на наших глазах, необходимые в эту минуту, можно сказать, злободневные, становятся нужными на все времена, становятся классикой. Помните у Пастернака: «Это было при нас. Это с нами вошло в поговорку?»

В книге то и дело встречаешь стихи, ставшие хрестоматийными. Я читаю Павла Шубина: «Прожить бы мне эти полмига, а там я сто лет проживу»; Михаила Лукошина: «...лучше прийти с пустым рукавом, чем с пустой душой»; Сергея Орлова: «Его зарыли в шар земной»; Семена Гудзенко: «Мне кажется, что я магнит, что я притягиваю мины»; Михаила Дудина: «И все-таки мы воздух ловим ртом при гибели товарищей»; Сергея Наровчатова: «...и в каждой бабе видел Ярославну, во всех ручьях Непрядву узнавал»; Юлию Друнину: «Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне»; Михаила Львова: «Мужчины умирают, если нужно, и пото-

му живут в веках они»... И великое мужество, нежность и боль поэтов обжигают душу.

Вот такая лирика создавалась на фронте.

Открывает книгу песня «Священная война», написанная в первые дни войны Василием Лебедевым-Кумачом. Предельно простая, безыскусственная, она как призыв, как приказ.

Есть в сборнике и такие страницы, которые читаешь с болью и благодарностью тем, кто сохранил драгоценные листки из фронтовых тетрадей и блокнотов. Более 400 писателей погибло, каждый третий писатель не вернулся с войны. Среди них поэты, чьи стихи навсегда останутся в поэзии, а рядом в сборнике поэты, только начавшие свой путь в литературе.

Евгений Березницкий ушел добровольцем на фронт и погиб осенью 1941 года под Ельней. Его стихотворение заканчивается словами: «Идем мы, смерть презирая, не умирать, а жить!» В июле 1942 года Елена Ширман, сотрудница ростовской газеты «Молот», в станице Ремонтной была схвачена фашистами и казнена. В сборник включено ее стихотворение «Возвращение» с эпиграфом из К. Симонова: «Жди меня, и я вернусь, только очень жди...». Вот стихотворение «Перед наступлением» Бориса Богаткова, воина Сибирской добровольческой дивизии. Он пал смертью храбрых в бою за Гнездиловские высоты, неподалеку от Смоленска, возглавив атаку. Его имя носят школа и улица в Новосибирске. Здесь вышла его «Единственная книга», куда, кроме стихов, вошли воспоминания. В сборник включено и стихотворение «Ожидание» ушедшего добровольцем на фронт Всеволода Багрицкого, сына поэта Эдуарда Багрицкого:

Кончился бой. Теперь отдохнуть,
Ответить на письма... И снова в путь!

Путь его оборвал осколок снаряда в 1942 году на Волховском фронте.

Да, Борис Слуцкий прав: дорога, которую мы, авторы этого сборника, выбрали, «была прямою от стиха до пули — кратчайшим расстоянием была».

С необычайным волнением читается стихотворение Александра Твардовского, датированное 1941 годом:

Пускай до последнего часа расплаты,
До дня торжества — недалекого дня —
И мне не дожидать, как и многим ребятам,
Что были нисколько не хуже меня.

Я долю свою по-солдатски приемлю,
Ведь если бы смерть выбирать нам,
друзья,
То лучше, чем смерть за родимую землю,
И выбрать нельзя.

Голос Твардовского звучит явственно и знакомо, его не спутаешь ни с каким другим. Спустя четверть века Твардовский напишет пронзительные строчки:

Я знаю, никакой моей вины
В том, что другие не пришли с войны
И что они — кто старше, кто моложе —
Остались там. И не о том же речь,
Что я их мог и не сумел сберечь.
Речь не о том. Но все же, все же, все же...

Как переключается это стихотворение с тем, написанным в начале войны! Закономерно, что именно такое стихотворение заключает книгу фронтовой лирики.

Стихи, рожденные на полях великих сражений, и сегодня волнуют нас не только как отражение и запечатление нашей истории, но и как живая сегодняшняя поэзия. Эти стихи, как и прежде, в строю.

Марк ЛИСЯНСКИЙ.



Политика и наука

«ОБЩЕГО ДЕЛА ВОДИТЕЛИ»

А. Гаврилов. Мужество и человечность. М. «Советская Россия». 1981. 224 стр.

Воздушный ракетносец терял высоту. Молодой командир капитан Виктор Кубраков заставил экипаж катапультироваться. Себе он этого не позволил: внизу был рабочий поселок. Непостижимым образом отвернув в сторону практически неуправляемую машину, тридцатичетырехлетний коммунист отвел беду от сотен жителей. Отвел ценой собственной жизни...

Люди яркой судьбы, свершенного подвига всегда привлекали писателей, публицистов. Такие, как капитан Кубраков. Как герои «Целины» Леонида Ильича Брежнева: «целинные Маресьевы» И. И. Иванов и Л. М. Картаузов, Герой Советского Союза тракторист Д. П. Нестеренко, комбайнер И. Г. Космыч, вместе с которым «растят и убирают хлеба девять его сыновей». О них и о многих других сборник очерков Александра Гаврилова, посвященных коммунистам нашего времени и образам коммунистов в советской литературе.

Рассказывая о самых разных людях, подчас с необычными, даже уникальными биографиями и характерами, автор все же видит в них нечто общее: их отношение к жизни, к делу, которому они служат. Именно поэтому сугубо, кажется, личное письмо погибшего во время бурана Василия Рагузова («Целина») превратилось, в сущности, в открытое письмо ко всем живущим: «Дорогие мои деточки, Вовушка и Сашунька! Я поехал на целину, чтобы наш народ жил богаче и краше. Я хотел, чтобы вы продолжили мое дело. Самое главное — нужно быть в жизни человеком».

Человек с большой буквы и стал объектом художественно-публицистического исследования, проведенного А. Гавриловым. Мужество и человечность, отвага и скромность, риск и расчет — вот лишь некоторые черты характера его героев. И это не ме-

ханическое соединение разнородных качеств, не эклектика. Это сплав, сплав органичный и прочный.

Есть у книги А. Гаврилова и еще одна очень важная грань — ее идеологическая направленность против всякого рода советологов, пытающихся исказить, оклеветать светлый, поистине рыцарский образ коммуниста. Книга А. Гаврилова — достойный аргумент в острой политической дискуссии двух идеологий. При этом весьма знаменательно то, что автор практически не вступает в полемическую перестрелку со своими злобствующими оппонентами. Как бы памятуя об усмешливом восточном речении «шакалы воют, а караван идет», он со спокойной уверенностью решает поставленную перед собой задачу: языком фактов и только фактов создает исполнительский собирательный образ, имя которому — Коммунист. Повествуя о некоторых сторонах жизни и деятельности В. И. Ленина и Ф. Э. Дзержинского, об их личностных качествах, публицист определяет строгие гражданские и человеческие параметры, необходимые для глубинного проникновения в образ коммуниста, для исчерпывающего постижения его. Знакомясь на страницах книги с десятками конкретных людей — представителями партии, читатель безошибочно обнаруживает в них черты пламенных революционеров, подлинно ленинские черты. И происходит это вне зависимости от того, когда и где действуют эти люди — в военное или мирное время, при самых рядовых или трагических обстоятельствах.

Поражает приведенное автором книги письмо молодого солдата Каюма Рахманова, написанное перед его последним боем, — поражает четкостью и цельностью мировосприятия, философской убежденно-

стью, наконец, афористичностью: «Жизнь — это Родина, Родина — это моя семья, мое село, вся моя Советская страна. Когда враг забирает пядь родной земли, он отрывает кусок моего тела...» Подвиги советских людей на полях войны, о которых знает весь мир, были разными, но у них, без сомнения, одна природа. Ее с предельной точностью определил в «Малой земле» Л. И. Брежнев: «Конечно, чувство страха перед смертью свойственно людям, это естественно. Но решение в критическую минуту приходило как бы само собой, подготовленное всей предыдущей жизнью. Значит, есть какой-то рубеж, какой-то миг, когда у воина-патриота сознание своего долга перед Родиной заглушает и чувство страха, и боль, и мысли о смерти. Значит, не безотчетное это действие — подвиг, а убежденность в правоте и величии дела, за которое человек сознательно отдает свою жизнь».

Каким неподдельным человеколюбием, пролетарским чувством единения с народами других стран, какой душевной щедростью должен быть наделен воин, чтобы и на чужой, враждебной земле творить добро! В разгар уличного боя в Дрездене майор В. Зеленый подбирает оглушенного немецкого мальчика и впоследствии усыновляет его. Редкая награда — «Аттестат патриота» — была вручена партизанским командованием Италии Якову Минаевичу Байдикову: «От имени Правительства и народа благодарим Байдикова Якова из батальона имени Кирова, который сражался с врагом в рядах патриотов во имя триумфа свободы... В освобожденной Италии владельцы таких аттестатов должны привествовать как патриотов, боровшихся за честь и свободу». Уникальным документом — свидетельством беспримерного героизма советских солдат стало и решение общего схода крестьян деревни Герасимовиче, принятое в честь Григория Кунавина, повторившего на польской земле подвиг Матросова: «Григорий Кунавин пришел к нам, на нашу землю, с далекого Урала воин-освободителем. Его сердце пробил пули врага. Но он проложил таким же, как он сам, отважным бойцам Красной Армии дорогу к победе. Он сражался за наше счастье... Мы поднимаем имя русского воина Григория Кунавина как знамя великого братства русского и польского народов...»

Размышляя над этими и другими бережно собранными красноречивыми эпизодами войны, А. Гаврилов справедливо говорит о высочайшем гуманизме и интернациона-

лизме как о неотъемлемых чертах коммунистов-ленинцев.

Но и мирное время повседневно дает богатейший фактический материал, неопровержимо доказывающий, что новый тип человека — советский человек — давно стал объективной реальностью, а нравственные качества коммунистов проявляются с не меньшей силой, чем в военное лихолетье, хотя, конечно, иным образом. Повествуя о самоотверженности героев трудового фронта, об их постоянной нацеленности на достижение максимального результата общих усилий, об их подлинно гражданском, государственном отношении к делу, А. Гаврилов напоминает, как высоко ценил Владимир Ильич Ленин героизм массовой будничной работы, считая его самым упорным и самым трудным. Именно этот неприметный для поверхностного взгляда героизм сделал известными всей стране имена строителя Н. Злобина, шахтера И. Стрельченко, ткачихи В. Плетневой, колхозника М. Клепикова, инженера В. Каширина и многих-многих других, чьи характеры, поступки и образ мышления исследует автор книги.

Безусловно, с особым интересом читатель прочтет те страницы, которые рассказывают о партийных вожакках, действующих в острых, нестандартных ситуациях, когда всю полноту ответственности за происходящее они берут на себя, проявляя при этом выдержку и решительность, смелость и большевистскую настойчивость, умение откровенно говорить с людьми, заразить их своей убежденностью и энтузиазмом.

Буквально захватывают действия первого секретаря райкома Ивана Ивановича Домбровского, который не колеблясь идет на резкий конфликт с неподведомственной ему организацией ради спасения зерна от надвигающегося с моря циклона. И страстной короткой речью, будто комиссар на передовой, увлекает людей на выполнение важнейшей работы. Это происходило в Николаевской области. А в Атбасаре, на целине, в такую же страдную пору за считанные дни предстояло вывезти из степи 3 миллиона пудов пшеницы. Элеватор же был загружен до отказа. Казалось, выхода нет, бесценное богатство обречено на гибель. И тогда партийный руководитель, расположив к откровенной беседе местных специалистов — заготовителей и путейцев, использовал мудрый народный опыт, находит дерзкое, не имеющее прецедентов решение проблемы. Конечно, для реализации плана партруководителю пришлось провести ог-

ромную организаторскую работу, держать под повседневным контролем все происходящее в Атбасаре. Но усилия того стоили — хлеб удалось сохранить полностью. Партийным работником, руководившим всем ходом хлебной операции, был тогдашний секретарь ЦК Компартии Казахстана Леонид Ильич Брежнев.

Своеобразие книги «Мужество и человечность» состоит в том, что автор, решительно раздвигая рамки публицистического исследования, проводит литературоведческий анализ образов коммунистов, созданных ведущими советскими писателями на протяжении последних лет. Правомерность такого расширения определяется законами социалистического реализма. Каждое произведение, будь то роман или повесть, точно, так сказать стереоскопически, отображает действительность в многообразии ее диалектического развития; каждый художник находит для своих героев колоритные прототипы из живой жизни. Это-то и дает А. Гаврилову простор для аналитического маневра, позволяет совершенно естественно переключать внимание читателя с поступков реальных людей на поступки литературных персонажей. И в итоге своеобразно решить изначально поставленную задачу — убедительно исследовать образ коммуниста, если можно так выразиться, в историческом и литературном времени и пространстве.

Советская проза, подчеркивает автор, пристально всматриваясь в образ коммуниста, раскрывает через него всю сложность работы партии по переустройству жизни. Изучая характеры героев таких романов, как «Сибирь» Г. Маркова, «Истоки» Г. Коновалова, «Соленая Падь» С. Зальгина, «Дыхание грозы» И. Мележа, «Вечный зов» А. Иванова, А. Гаврилов приходит к выводу, что при всей разнице творческих манер писатели не расходятся в главном: они измеряют жизнь персонажей высокой мерой партийности. И рисуют фигуры крупные, нравственно сильные, граждански зрелые, действующие активно и творчески. Достойными продолжателями их дела стали герои другого литературного поколения: рабочие Прохоров из повести М. Колесникова «Право выбора», Рудаев из романа В. Попова «Обретешь в бою», Потапов из пьесы А. Гельмана «Заседание парткома»,

геолог Баклаков из романа О. Куваева «Территория», секретарь райкома партии Одинцова из пьесы А. Салынского «Мария», инженер Прончатов из «Сказания о директоре Прончатове» В. Липатова, ветеран войны и труда Буков из повести «Особое подразделение» В. Кожевникова. Все они бойцы того «особого подразделения», которое всегда сражается на самом переднем крае жизни.

Весьма конструктивным представляется соображение А. Гаврилова о том, что современный партиец и в жизни и в литературе значительно приблизился к осуществлению ленинского призыва к коммунистам: умело сочетать деловитость и энтузиазм, научную трезвость в оценке объективного положения вещей с признанием значения энергии масс, строгий анализ общественных отношений с революционной романтикой.

В главе «И вечностью заполнен миг...» публицист, ведущий доверительную беседу с читателем свободно, раскованно, не связывая себя строгими академическими канонами, очень уместно напоминает эпизод из романа «Чапаев», где Д. Фурманов удивительно точно определяет народный взгляд на коммунистов как творцов исторического будущего, «общего дела водителей».

Пожалуй, именно это определение, подтвержденное А. Гавриловым на обширном жизненном и литературном материале, можно назвать объединяющей идеей его публицистических размышлений в книге «Мужество и человечность». В предисловии к ней лауреат Ленинской премии писатель Н. Грибачев так определяет ее значение: «...каждая новая книга о коммунизме и коммунистах — это новая возможность удовлетворить духовный запрос, пополнить знания о том, о чем знать совершенно необходимо для того, чтобы идти по современности с открытыми глазами, а не ощупывать дорогу палкой».

Аналитическая партийная публицистика — крайне нужное сегодня оружие. С этой точки зрения книга «Мужество и человечность» тоже из «особого подразделения», только литературного, которое призвано постоянно быть на передовой идеологического фронта.

В. ПОБЕДОНОСЦЕВ.

КОРОТКО О КНИГАХ



РАВИЛЬ ФАЙЗУЛЛИН. Короткие стихи. М. «Современник». 1980. 127 стр.

РАВИЛЬ ФАЙЗУЛЛИН. Снег новогодья. Стихи. Перевод Рустема Кутуя. «Литературная Россия», 22 января 1982 г.

Равиль Файзуллин давно и заслуженно известен как один из примечательных поэтов, пишущих на татарском языке. В последней книге и свежей публикации на страницах литературного еженедельника Р. Файзуллин обращается к своему сложившемуся кругу тем. Тут и раздумья о времени, о людях родного края, наших современниках, и воспоминания о детстве, пришедшемся на тяжелые военные годы, и проникновенная лирика, и притча, восходящая к фольклорным истокам. Большое место в книге занимают размышления о месте поэта среди людей, о гражданских, этических началах в поэзии.

Многие поэты в той или иной степени отдают дань малым формам. Р. Файзуллин не просто объединил под одной обложкой поэтические миниатюры, накопившиеся за годы творчества. У него получилась книгопоиск, книга-лаборатория. Не случайно в «Коротких стихах» можно найти сходство едва ли не со всеми видами поэтических миниатур, известными в мировой поэзии. И это не подражательство, хотя переводы многих стихотворений, например трехстиший, выдержаны в манере японских хокку. Это всестороннее овладение сложнейшим искусством сжатой, лаконичной речи.

Я разукрасил небо фейерверком,
а в это время
падал звездный дождь.

(Перевел Р. Бегиев)

«Короткие стихи»... А может быть, лучше, вернее — мгновенные стихи? Ведь эти миниатюры не что иное, как мгновения, выхваченные из непрерывного потока жизни и запечатленные в образе, в слове емком и выразительном.

Поднять ружье, курок на взвод...
И птица — наповал.

Но был ли человеком тот,
кто птицей не бывал?

(Перевела М. Авакумова)

Нейтральное название книги, видимо, не случайно, как не случайна и ее структура, развивающаяся по строго формальному признаку — количеству строк в стихотворении. Этой нарочитой суховатостью

поэт как бы пытается скрыть чрезвычайную обнаженность души, тем самым вызывая замысел каждого стихотворения, неизбежно диктующий ему эту обнаженность. Ведь малая форма не прощает не то что пустословия и фальши — простой небрежности не выносит, чем, к слову, иногда грешат иные переводчики книги Файзуллина, снижая тем самым уровень читательского восприятия. И содержание и построение книги подчеркивает, что поэт осознанно и по-своему решает одну из сложнейших задач, требующую найти поэтический эквивалент напряженному ритму нашего времени.

«Мои стихи себе под солнцем ищут родственные души», — пишет Р. Файзуллин в одном из стихотворений. «...а сколько их найдут — я не узнаю», — заключает он.

Есть уверенность, что поэзии Р. Файзуллина обеспечен благодарный отклик родственных читательских душ.

Евгений Папернов.



ВЛАДИМИР МАЛАХОВ. Жили мы на войне. Фронтные рассказы. Челябинск. Южно-Уральское книжное издательство. 1981. 181 стр.

Во фронтных рассказах Владимира Малахова отчетливо стремление передать психологию, всю сложность внутреннего мира человека, живущего бок о бок со смертью. Автор осмысливает войну с учетом нового жизненного опыта, с позиций уже достигнутого в литературе о войне. Не случайно книга названа строкой из стихотворения («Пришедшим с войны» Михаила Луконина, не случайно обращение к читателю «От автора» так перекликается с известным стихотворением Сергея Орлова «Мой лейтенант».

«Среди тысяч воинов, — пишет В. Малахов, — я вижу девятнадцатилетнего офицера в пилотке набекрень и поначалу никак не могу вспомнить: кто он, почему так знакомо его лицо?

Постойте, постойте... Да ведь это же я!» Житейскую и психологическую достоверность книги можно продемонстрировать на примере рассказа «Непутевый». Только что прибывший на фронт молодой лейтенант получил от командира роты, двигавшейся походным порядком, задачу ловить

«непутевых». О чем идет речь, он не понял, а переспросить постеснялся, дабы не показаться несведущим. И вот на марше во время длительного перехода, когда люди засыпали прямо на ходу, он и «зашагал перпендикулярно строю». Так на личном опыте он познал, что уснувших на ходу солдаты и называли непутевыми.

Фронтные рассказы Владимира Малахова привлекают достоверностью картин воинского быта и батальных описаний, проникновением в духовный мир рядовых защитников Родины. Запоминается эпизод отражения танковой атаки противника в рассказе «Ночь над Берлином». Автор пишет о нравственной непримиримости нашего воина к бесчеловечным действиям нацистов: «Самое жуткое и отвратительное было то, что немецкие танки двигались прямо по своим раненым солдатам. Мы слышали их крики, проклятия и молебны. Кровь, как говорится, стыла в жилах»...

Война увидена как бы глазами рядового ее участника, на плечи которого лег самый тяжелый груз испытаний. Через переживания воина, его фронтную судьбу В. Малахов стремится выразить и правду тех лет и свое личное представление о войне. Отчетливо звучит тема нерушимого фронтного братства, нота сердечного интереса автора к сегодняшним делам и судьбам товарищей. Это живое слово о войне. И, как всякое живое слово, фронтные рассказы В. Малахова обогащают наше представление о грозных событиях той поры, о людях, которые в них участвовали.

Петр Ткаченко.



ВИКТОР ГОРН. *Характеры Василия Шукшина.* Барнаул. Алтайское книжное издательство. 1981. 247 стр.

ВАСИЛИЙ МАКАРОВИЧ ШУКШИН (1929 — 1974). Библиографический указатель. Издание 2-е, дополненное. Барнаул. Алтайское книжное издательство. 1981. 68 стр.

Жизнь и творчество Василия Шукшина никак не обделены вниманием нашей литературной критики, это особенно ясно понимаешь, листая дополненное переиздание библиографического указателя (составитель А. В. Редько), охватывающего публикации писателя, статьи и воспоминания о нем с 1958 по 1980 год. Ученые отклики на актерские и режиссерские работы Шукшина, есть даже рубрики «Стихи о В. М. Шукшине» и «В. М. Шукшин в изобразительном искусстве». Такой указатель не только ценное подспорье для исследователя, он мог бы стать настоящим подарком для многочисленных читателей Шукшина, но, увы, не тот тираж (4500).

Интерес к наследию Шукшина не ослабевает, выходят новые книги (в указателе, естественно, не отраженные), сделано уже немало, и сам по себе выход еще одной книги о Шукшине (например, книги В. Горна) не воспринимается нами как что-то исключительное. Это именно «еще одна» книга, «будничная» факт литературного

процесса. «Характеры Василия Шукшина» — книга не случайная для ее автора, барнаульского критика, многие годы занимающегося изучением творчества земляка (кстати, В. Горн — научный редактор только что упомянутого указателя). Отдавая должное своим коллегам, пишущим о Шукшине, В. Горн считает, что «необходимо сделать еще один шаг «в сторону спокойного методического исследования, аналитического разговора» о шукшинской прозе.

В своей книге автор так или иначе затрагивает почти всю область шукшинского наследия — рассказы, киноповести, романы. Но объект самого пристального интереса исследователя — внутренняя целостность шукшинской прозы, и не только прозы. Глава «„Материк“ Василия Шукшина», — пожалуй, самая интересная в книге В. Горна, который подразумевает под таким материком «эстетически воссозданное органическое единство живой жизни». В. Горн приходит к выводу, что «между отдельными произведениями Шукшина существует органическая связь, в результате чего их совокупность образует единое целое, которое в свою очередь означает гораздо больше, чем сумма отдельных элементов», и потому (вот главная!) прозу Шукшина «необходимо рассматривать как качественно новое эстетически целостное повествование». Это утверждение, неожиданное, методологически спорное, но, надо отметить, не голословное, — пожалуй, основной итог исследовательской работы В. Горна.

Среди рабочих записей Василия Шукшина есть и такая: «Рассказчик всю жизнь пишет один большой роман. И оценивают его потом, когда роман дописан и автор умер». Но одно дело — рабочая запись писателя, и совсем другое — призв исследование относится к прозе В. Шукшина как к одному большому произведению в буквальном смысле слова. В. Горна можно было бы упрекнуть не только в том, что он почти не обращает внимания на жанровые различия, например на специфику киноповести, но и в том, что он подходит к творчеству писателя так, как если бы все его наследие было заведомо равноценным в художественном отношении. Психологически это понятно — отдельные работы всенародно признанного писателя получают как бы подсветку от его лучших творений; но от профессионального литературоведа можно ждать более дифференцированного подхода к произведениям, более ясного понимания, где истинный свет, где отраженный. Впрочем, отмечая недостатки рецензируемой работы, следует признать, что наблюдения, содержащиеся в ней, если воспользоваться словами автора, «могут дать толчок новым размышлениям об искусстве Василия Шукшина».

Андрей Василевский.



В. М. ДАЛИН. *Историки Франции XIX — XX веков.* М. «Наука». 1981. 327 стр.

Для всякого историка историография (если не сводить ее к комментированной библиографии, как иногда бывает) — это

высшая математика исторической науки. Серьезное занятие историографией предполагает безупречное знание всей имеющейся специальной литературы, знакомство с течениями политической и экономической мысли, способность к философским обобщениям, наконец свободное ориентирование в истории изучаемой страны. Не случайно, видимо, лучшие историографические работы написаны крупными учеными, имеющими богатый профессиональный и жизненный опыт. Новая книга В. Далина, старейшего советского франковедения, недавно отметившего свое восьмидесятилетие, подтверждает правило. Это итог многолетних размышлений автора над судьбами французской исторической науки от эпохи Реставрации до современной нам школы «Анналов».

Точнее сказать, речь идет не только о науке французской, — В. Далин анализирует исторические труды о Франции. О Тьерри и Ф. Гизо, А. Матъез и К. Виллар, «Старый порядок» А. Токвиля, князь Кропоткин как историк Французской революции, «Наполеон» Е. В. Тарле и «Наполеон...» А. З. Манфреда — вот лишь несколько имен и названий из многопланового исследования В. Далина.

В короткой рецензии трудно перечислить все освещаемые в книге темы. Выделю лишь две, на мой взгляд основные: Великая французская революция 1789 года и французские историки сегодня.

Показательно, что интерес к истории Франции и ее революции, традиционный для нашей страны, особенно возрос на рубеже веков. Исследованиями своих историков революционная Россия пыталась найти ответы на мучившие ее вопросы о будущем в Великой французской революции — ее истоках и последствиях. В. Далин подчеркивает, что русским и советским историкам принадлежит немалая заслуга в разработке истории якобинской диктатуры и ее внешней политики, термидорианской реакции, социальных идей в годы революции, крестьянского движения. Пожалуй, ни в одной стране не уделялось столько внимания истории Франции, как в нашей...

Со страниц книги В. Далина предстает впечатляющая картина достижений фран-

цузской историографии в разработке узловых проблем истории Франции, в совершенствовании методов исторического познания. Однако рассматривая полувекую эволюцию так называемой школы «Анналов», автор показывает, что современное ее направление категорически отказалось от событийной истории в пользу «серийной» (количественной) и даже «ментальной», объясняющей исторический процесс исключительно действием эмоционально-психических факторов. По мнению В. Далина, это направление в целом мало перспективно. Автор против подобного модернизма в истории, будь то нынешние тенденции «Анналов» или концепция английского историка Ричарда Кобба с его отрицанием самостоятельной роли масс в период революций и негативной оценкой якобинцев и их вождя Робеспьера. Симпатии автора на стороне французских историков-классиков.

Многих из них В. Далин знает не только по работам, но и лично. В свою очередь, советские историки (в том числе и автор рецензируемой книги) хорошо известны во Франции. Это тоже традиция. Между историками Советского Союза и Франции давно установились прочные связи, в чем важную роль сыграл профессор А. З. Манфред. Иденым и организационным центром сотрудничества советских и французских историков стал созданный по инициативе академика В. П. Волгина и А. З. Манфреда «Французский ежегодник», издающийся уже два десятилетия Институтом всеобщей истории АН СССР. Вокруг него группируются и все советские историки-франковеды, объединенные в группу по истории Франции, руководителем которой ныне является В. Далин...

Когда книга написана человеком равнодушным (случается и такое), это сразу же чувствуется и, как правило, даже специалист оставляет ее, ограничившись несколькими необходимыми выписками, с тем чтобы никогда более к ней не вернуться. О работах В. Далина такого сказать нельзя, они серьезны и эмоциональны одновременно. Это определяет долгую жизнь его книг, неизменно привлекает к нему молодых историков.

П. Черкасов.

ПАМЯТИ МАРИЭТТЫ ШАГИНЯН

Столетие лежало в ее ладонях. Казалось, сама природа отступила перед неизбывной силой ее таланта, стойким жизнелюбием, немислимой работоспособностью, подавив ей феноменальное творческое долголетие. До последнего мгновения, до последнего вздоха всеми своими помыслами она находилась в гуще жизни — радовалась, горевала, восхищалась, гневалась и творила, творила, творила. Одного дня не дожидаясь она до своего дня рождения — девяносто четырех лет, и лишь год отделял ее от восьмидесятилетия активного творческого пути. Аналог подобному едва ли есть в истории литературы.

Мариэтту Шагинян провожали в последний путь, а на ее рабочем столе лежала стопка — первые экземпляры только что вышедшей книги, вобравшей в себя и то, что создала писательница, перешагнув свое девяностолетие. Она так и назвала свое последнее детище: «Столетие лежит на ладони». Полемические, остролюбодневные статьи, проблемные очерки, литературоведческие эссе, отмеченные печатью пытливого философской мысли, и, конечно же, раздумья о Ленине, его великом наследии — такова широта тем, волновавших писателя-гражданина, писателя-коммуниста, заключенных в последнем сборнике. Он составлен буквально по горячим следам последних публикаций в «Правде», «Коммунисте», «Комсомольской правде», «Советской культуре», в литературно-художественных журналах.

Да возможно ли такое в возрасте за девяносто! Ей все было подвластно. И, может быть, привычное выражение «молодость души» в применении к духовной сути Мариэтты Шагинян получило свое наиболее яркое и убедительное воплощение, ибо с годами не угасало в ней творческое горение, не остывал пыл воительницы, не покидали ее бесстрашие и прямота в борьбе за высокие идеалы, которым служила она всю жизнь. Потому-то столь справедливыми прозвучали над ее гробом слова: чудо-человек, человек-феномен, человек-уникум... Неправда, что только эпоха Ренессанса порождала людей-универсалов, — Мариэтта Сергеевна из их породы.

Мариэтта Шагинян оставила богатейшее наследство, охватывающее все жанры литературы. Поэт и публицист, романист и переводчик, драматург и эссеист, литературовед и мемуарист. Но и это не все. Ее работы о музыке, книга-открытие о чешском композиторе Йозефе Мысливечеке получили достойную оценку музыковедов, высоко ценил ее работы в этой области Дмитрий Шостакович. Не случайным вторжением были ее работы в области экономики, политики, отмеченные новаторством и глубиной исследования. Необычайное многообразие интересов, поистине энциклопедическая широта познания — и на всем, что выходило из-под ее пера, лежала печать высокой идейной убежденности.

Добрая к людям, обладавшая талантом сопереживания, горячо откликавшаяся на чужую беду, щедро дарившая людям знания, она становилась беспощадной, когда речь заходила о защите светлых идеалов коммунизма, бескомпромиссной, когда вступала в борьбу с идеологическими противниками.

Поэт труда Мариэтта Шагинян одной из первых создала произведение о рабочем классе Советской страны, произведение, художественно воплотившее героику пятилеток, — «Гидроцентральный». Ее Лениниана стала классикой, вошедшей бесценным вкладом в мировую сокровищницу художественных и философско-исследовательских работ о великом Ленине.

Благодарно, с почтительной любовью называют новомирцы Мариэтту Сергеевну Шагинян своим старейшим автором и давним другом. Ее имя тесно связано с историей становления и развития журнала. Роман «Гидроцентральный» в 1930 и 1931 годах печатался на страницах «Нового мира». Здесь же публиковались ее работы «Эстетика Тараса Шевченко», «О природе времени у Гегеля», «„Разговор с Гете“ И. П. Эккермана», «Письма из Закавказья» — не перечислить всего. Но самое крупное после Ленинианы произведение, которому она отдала почти десятилетие творческой жизни, — «Человек и время» из года в год начиная с 1971 года глава за главой, по мере написания, появлялось на страницах «Нового мира». Талант познания и чувство правды ведут эту книгу, писала «Правда» о «Человеке и времени», в ней — история непрерывного развития человека и как высший итог развития — предельное сближение идеалов, мыслей и чувств одной личности с общей жизнью народа и страны...

Ясным мартовским днем страна проводила в последний путь выдающуюся писательницу, Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской и Государственной премий СССР Мариэтту Сергеевну Шагинян. Пламенная патриотка своей родины, она навсегда останется в памяти народа.

Редколлегия журнала «Новый мир».

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



ПОЛИТИЗДАТ

В. И. Ленин. Очередные задачи Советской власти. 144 стр. Цена 15 к.

В. И. Ленин. Что делать? 208 стр. Цена 35 к.

Материалы XXVI съезда КПСС. 223 стр. Цена 45 к.

Партия и Советы. 255 стр. Цена 1 р. 10 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

Г. Бакланов. Военные вести. 415 стр. Цена 2 р. 70 к.

А. Вознесенский. Безотчетное. Новая книга. 254 стр. Цена 80 к.

Б. Галин. Избранное. Очерки. Предисловие В. Василевского. 535 стр. Цена 2 р. 60 к.

В. Кондратьев. Сашка. Повести и рассказы. 503 стр. Цена 2 р. 30 к.

А. Кривоносов. Горы, горы ясно. Повесть. Поживем — увидим. Роман. 568 стр. Цена 2 р. 30 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Б. Делабранча. Избранное. Рассказы. Перевод с румынского. 239 стр. Цена 1 р. 50 к.

Избранные стихотворения писателей Дальнего Востока. Сборник. Переводы с китайского, корейского, монгольского, японского. 614 стр. Цена 3 р. 80 к.

И. Пезешк-зод. Дядюшка Наполеон. Роман. Перевод с персидского. 464 стр. Цена 3 р. 10 к.

Поэзия современной Югославии. Сборник. Переводы с сербскохорватского, македонского, словенского. 510 стр. Цена 2 р. 90 к.

«СОВРЕМЕННИК»

А. Овчаренко. От Горького до Шукшина. 494 стр. Цена 1 р. 10 к.

А. Хачатрян. В году триста пять дней. Роман. («Новинки «Современника»») 288 стр. Цена 1 р. 30 к.

М. Шагинян. Столетие лежит на ладони. Очерки и статьи последних лет. Составление и предисловие К. Серебрякова. 351 стр. Цена 80 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Ф. Алиева. День добра. Роман. Перевод с аварского. 384 стр. Цена 1 р. 30 к.

С. Дангулов. Зауреня в Рапалло. Роман. 254 стр. Цена 1 р. 20 к.

Молодые поэты Закавказья. Перевод с армянского, азербайджанского, грузинского. 207 стр. Цена 1 р. 30 к.

З. Нури Поют влюбленные. Стихотворения и поэмы. Перевод с татарского. 111 стр. Цена 50 к.

Самолет над домом. Рассказы писателей ФРГ о молодежи. Перевод с немецкого. 287 стр. Цена 1 р. 70 к.

«ПРОГРЕСС»

М. Отеро Сильва. Когда хочется плакать, не плачу. Лопе де Агирре, Князь Свободы. Романы. Перевод с испанского. 397 стр. Цена 2 р. 70 к.

Современная французская новелла. Сборник. Перевод с французского. 351 стр. Цена 2 р. 20 к.

В. Тюрнали. День одиночества. Роман. Перевод с турецкого. 472 стр. Цена 3 р. 70 к.

Э. Хемингуэй. Избранное. Перевод с английского. 735 стр. Цена 4 р. 30 к.

«НАУКА»

Карельское народное поэтическое творчество. Подготовка и перевод текстов В. Я. Евсеева. 412 стр. Цена 1 р. 90 к.

Китайская поэзия. Перевод с китайского и предисловие Л. Черкаского. 239 стр. Цена 95 к.

Е. Маймин. Пушкин. Жизнь и творчество. 209 стр. Цена 75 к.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Р. Кутуй. Осенняя воля. Стихи. Казань. Татарское книжное издательство. 126 стр. Цена 50 к.

А. Нурпеисов. Кровь и пот. Трилогия. Перевод с казахского. Алма-Ата. «Жазушы». 655 стр. Цена 3 р.

Русские советские писатели о Низами Гянджеви. Составитель и автор предисловия С. Турабов. Ваку. «Язычы». 256 стр. Цена 1 р. 20 к.

Н. Эрнай. Родники души. Речи, статьи, воспоминания. Составление М. Ф. Строгановой, А. И. Брыжинского. Саранск. Мордовское книжное издательство. 223 стр. Цена 1 р. 40 к.

Главный редактор **В. В. Карпов**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, И. Н. Бубнов, Ф. К. Виграшку (зам. главного редактора),
Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, В. А. Косолапов, В. М. Литвинов,
М. Д. Львов (зам. главного редактора), **Д. Мулдагалиев, А. И. Овчаренко,**
Б. И. Олейник, Г. И. Резниченко (ответственный секретарь),
А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, Д. В. Тевекелян

Адрес редакции: 103806 ГСП, Москва К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29
Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
Москва К-6, Пушкинская пл., 5

Сдано в набор 23.02.82 г. Объем 17 п. л. Подписано к печати 8.04.82 г.
Формат бумаги 70×108^{1/16}. 27,82 уч.-изд. л. 8,5 бум. л. (23,8 усл.-печ. л.)
А 06851. Тираж 350.000 экз. Зак. 692.

Набрано и сматрицировано в ордена Трудового Красного Знамени типографии
«Известий Советов народных депутатов СССР», Москва, Пушкинская пл., 5
Отпечатано в ордена Ленина комбинате печати издательства «Радянська Україна»,
Киев-47, Врест-Литовский проспект, 94. Зак. 01358.

Цена 1 руб. 20-коп.

70636